ISSN 0012-7656

ДРУЖБА НАРОДОВ

- *Генрикас Альгис Чигреюс*
  Мимо ладьи вселенной
  Стихи
- *Галина Климова*
  Юрская глина
  Путеводитель по семейному альбому
- *Наум Басовский*
  Дальний свет
  Поэма
- *Юрий Каграманов*
  Крик Майастры
- *Лариса Нода*
  Под одним небом,
  под одним шаныраком

ДРУЖБА НАРОДОВ 2/2013

2'2013

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

Основан в марте 1939 года

Дружба народов

2'2013

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр.2.
Фонд «Русский мир»
для журнала «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.
E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/druzhba/
LiVEJORNAL: http://drujba-narodov.livejournal.com/

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.90 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.
Отпечатано в типографии ОАО
«Можайский полиграфический
комбинат», 143200, Московская
область,
г. Можайск, ул. Мира, 93;
тел.: (496)20-685; (495)745-84-28;
факс: (49638)21-682;
www.oaompk.ru, e-mail:
oaompk@oaompk.ru

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 20.12.12.
Подписано в печать 23.01.13.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 1739. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Александр ЭБАНОИДЗЕ
Лев АННИНСКИЙ
Леонид БАХНОВ
Ирина ДОРОНИНА
Наталья ИГРУНОВА
Галина КЛИМОВА
Владимир МЕДВЕДЕВ
Зам. главного редактора Фарит НАГИМОВ
Ответственный секретарь Сергей НАДЕЕВ

Редакционный совет

Рамазан АБДУЛАТИПОВ
Сухбат АФЛАТУНИ
Муса АХМАДОВ
Резо ГАБРИАДЗЕ
Алла ГЕРБЕР
Денис ГУЦКО
Иван ДЗЮБА
Александр КЛЯЧИН
Валентин КУРБАТОВ
Ольга ЛЕБЁДУШКИНА
Захар ПРИЛЕПИН
Кнут СКУЕНИЕКС
Сергей ФИЛАТОВ
Ринат ХАРИС
Левон ХЕЧОЯН
Вячеслав ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Генрикас Альгис ЧИГРЕЮС. Мимо ладьи вселенной. *Стихи. С литовского. Перевод Елены Печерской* **3**
Артур СОЛОМОНОВ. Театральная история. *Роман. Окончание* **5**
Андрей ГРИЦМАН. По горючим следам. *Стихи* **78**
Галина КЛИМОВА. Юрская глина. *Путеводитель по семейному альбому в снах, стихах и прозе* **81**
Наум БАСОВСКИЙ. Дальний свет. *Поэма* **170**
Евгения ДОБРОВА, Зураб РТВЕЛИАШВИЛИ. Распутья. *Диптих* **178**
Владимир ТОРЧИЛИН. Друзья. *Рассказ* **184**
Александр ОБРАЗЦОВ. Рассказы **192**

Публицистика

Юрий КАГРАМАНОВ. Крик Майастры. *Перспектива консервативной революции в Европе* **203**

Нация и мир

Лариса НОДА. Под одним небом, под одним шанырaком **220**

Критика

Осознание границ или жизнь за заборчиком? *Литературные итоги 2012 года. Заочный «круглый стол». Окончание* **240**
Валентин КУРБАТОВ. Материя жизни **268**

Культурная хроника

Олег КАРПУХИН. Общность человеческой души. *О книге «Пушкин и Абай»* **277**
Юрий ПОДПОРЕНКО. Волшебная Бухара Марата Садыкова **279**
К нашей вклейке
Марат САДЫКОВ. Акварели

Эхо

Рубикон генерала Ермолова. *Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ* **282**

Summary **289**

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА «РУССКИЙ МИР»,
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ **(МФГС)**

© «Дружба народов», 2013

Генрикас Альгис Чигреюс

Мимо ладьи вселенной

С литовского. Перевод Елены Печерской

Кровля

Бесприютными станут пространство и время,
Если не будет настелена крыша.
Кровля — лист, на котором мы все расписались
В любви к Отчизне.

Оглянись — и кольнут тебя прямо в сердце
Праздники и повзрослевшие дети,
Навсегда готовые разлететься
Из-под отчей кровли.

Вот тебе оттепель — песенка апреля,
Вот тебе оттепель — капли за стеной...
Медленно тикают часики капели,
Строго отсчитывая
Серый свет дневной.

* * *

Вернулись к нам веселый ветер марта
И воробьиной стайки болтовня.
За солнцем вслед и прошлое обратно
Бредет, чтоб оглянуться от плетня.

И мнится: очень скоро возвратится
И детства бесконечный день.
Вот и листаем старых книг страницы
И, взрослые, мостимся на плетень.

Генрикас Альгис Чигреюс — литовский поэт и прозаик. Родился в 1933 г. в Видугиряй (Пасвальский район). Окончил Вильнюсский университет по специальности литовский язык и литература. Лауреат Национальной премии Литвы в области культуры и искусства (2012). Переводил на литовский прозу русских писателей. Автор нескольких книг стихов, в т.ч. «Жаворонку и тысячелистнику» (2004), «Ворона смахивает слезу» (2007) и книг новелл — «Дорожка через клеверное поле» (2007), и др. В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Вильнюсе.

Печерская Елена — поэт, переводчик, литературный критик.

* * *

Очаг погашу и запру
Дверь в горницу и сени,
Досками окна заколочу
И задвину засов на воротах.

И побреду по тропе,
С которой возврата нет,
Пахать полосу неживую.
Оглянусь посмотреть,
Как пылает
Мост из явора и ольхи.
Перейду через длинный ров,
Где по дну струится поток,
И пойду все дальше и дальше
Мимо ладьи вселенной,
Наклоняясь под ветром
В сторону ниточки
Нашего дома.

Старик показывает дорогу другому старику

Не сворачивай, ступай все прямо, прямо —
И придешь туда,
Где под заревом заката борозда,
Мимо времени и мимо дома.

В поле мглистом дуб растет дуплистый,
Листья ноября легли вразброс…
У корней улегся сонный пес,
А вершина — с воробьиным свистом.

Добредешь до берега, до края —
Поплывешь по морю-океану,
Душу из ряднины домотканой
Высоко вздымая.

* * *

Нужно ехать срочно, только вот лошадок
Не запрячь так скоро: старые, упрямы…
Пегого в оглоблю, а хомут с дугою?
И куда седелку? Разучился, право…

Замечаю: люди молча усмехнулись,
Не со зла, конечно, только вот что странно:
Лужи на дороге, лошади в конюшне —
Словно сговорились тоже посмеяться.

Кое-как запряг их. А над головою
Угрожает небо тучей грозовою.

Да вообще, кто гонит, можно и не ехать.
А сказать по правде, лучше бы остаться.

Артур Соломонов

Театральная история

Роман

Бог создал человека не для играний

Ипполит Карлович нажал на кнопку и тонированное окно его «майбаха» бесшумно открылось. Высунул руку — на нее в то же мгновение упало несколько снежинок и в то же мгновение растаяло.

— Ты посмотри, — обратился он к сидящему рядом с ним на заднем сиденье отцу Никодиму. — Как повалил. Вдруг… Сюрприз. Небесный.

Священник приоткрыл окно и вгляделся в черное, сеющее снег, небо.

— Заедь в какой-нибудь дворик, — мягко приказал Ипполит Карлович шоферу. Тому самому, который несколько дней назад отвозил Наташу на перекресток Тверского и Тверской.

Шофер свернул с дороги, проехал немного, нежно нажал на тормоз, и машина остановилась в одном из дворов. Это был так называемый «тихий центр» — дома солидны, молчаливы, заключены в чугунные заборы. Ни души. Вернее, только три — шофера, священника и недоолигарха.

Ипполит Карлович раскрыл дверь, вышел и прикрыл ее тихо, стараясь не нарушать воцарившегося снежного молчания. Отец Никодим выкарабкался с другой стороны. Ипполит Карлович запрокинул голову и смотрел на гроздья снежинок. Кружась, они приближались к нему и таяли на лице. Те, которым повезло больше, садились на его черное пальто и поблескивали в свете фонаря.

— Вот когда. Смотрю так. Не верю, что умру. Это невозможно. И вместе с тем. Несомненно. Как быть с этим парадоксом? А? Святой отец?

— Я не святой отец, — устало ответствовал священник. — И вы не умрете. Не умрете так, как вам кажется. Думайте лучше о том, сколь страшен суд Божий. Настанет час, и вы будете просто одним из подсудимых.

Отец Никодим проповедовал довольно вяло. Без огонька. Он почти совсем разуверился, что его слова смогут обратить к Богу многогрешного недоолигарха. «Не в коня корм, — хмуро поглядывал на Ипполита Карловича священник. — Не в этого здорового, обожравшегося коня…»

Разочарован он был не только многогрешным поведением Ипполита Карловича, которое бросало тень на его все менее безупречную пастырскую репутацию. Отец Никодим, по природе своей реформатор и революционер, не оставлял мечтаний «преобразить театр, вверенный Богом моему духовному чаду». Он

Окончание. Начало «ДН» № 1, 2013.

чувствовал и видел: его мечта — сколь безумная, столь и непреодолимая — все дальше от воплощения. И страдал от этого не меньше, чем от грехов Ипполита Карловича.

Недоолигарх чувствовал назревающую перемену в отношениях с батюшкой. Чувствовал Никодимов гнев. Но пока не решил, что предпринять.

— Наша болтовня. Так нелепа в этом. Черно-белом. Великолепии. Давай молчать.

«Наша болтовня! Это ты мне говоришь, мне, священнослужителю! — горестно воскликнул про себя отец Никодим. — Как же я дошел до этого? За тем ли я пришел к нему, чтобы стать слугой его грехов и прихотей? И вот теперь слышу — помолчи, дай мне снежинками полюбоваться?! Еще чуть-чуть — и я покрою позором свой сан. Или уже покрыл?»

Отец Никодим оглядел свою рясу. И даже как будто слегка успокоился — пятен позора на ней не было. Но оскорбление он чувствовал глубокое. Безветренно. Тихо. Снежно.

Священник переминался с ноги на ногу. Обувь поскрипывала, но звук этот растворялся в едва слышном шуршании падающего снега. Ипполит Карлович стоял неподвижно. Поскрипев ботинками, отец Никодим с некоторым вызовом произнес:

— Девушка, которая была у вас, на следующий же день была назначена на главную роль.

Недоолигарх не отвлекся от наблюдения за снегопадом:

— Да ты что? Она так одарена?

— Она одарена... Связью с вами, прости Господи!

— Сильвестр так никогда не поступал. Он никогда не назначал. Моих посетительниц. Только на основании посещения.

Безветренно. Тихо. Снежно.

— Ипполит Карлович, — голос отца Никодима задрожал, — если вы не оставите свои прелюбодейства, я буду вынужден оставить вас.

Ипполит Карлович ничего не ответил.

— Вы меня слышите?

— Один на один меня оставишь? С деньгами и соблазнами?

Отец Никодим вдруг подумал, что словосочетание «деньгами и соблазнами» по ритму похоже на «духами и туманами». Не углядев в этой мысли ничего, кроме нелепости, священник разгневался еще больше. Он учащенно задышал-засопел, подыскивая самые хлесткие слова, чтобы достойно ответить дерзкому чаду. Он ожидал, что Ипполит Карлович продолжит оправдываться, но недоолигарх снова отдался окружающей красоте.

— Пока я с вами, пока я рядом, получается, я даю вам санкцию на все ваши мерзости! Я покрываю позором свой сан! — выкрикнул священник, и снова, не отдавая себе в том отчета, оглядел рясу. — А я индульгенциями не торгую! Прошли те времена! И у нас их вообще не было!

— А уйдешь — откуда знаешь, что я натворю, скольких с собою в ад заберу?

Ипполит Карлович вдруг отказался от своих излюбленных точек, и произнес предложение ровно, на одном дыхании. Отец Никодим заметил эту лексическую перемену, и снова затеплилась неумирающая надежда, что есть смысл в его проповеди. Что не мечет он бисер перед свиньей-миллионером. А Ипполит Карлович продолжил говорить — так же ровно, без запинки. И священник вдруг расслышал не только надежду, но и едва ощутимый голос страха.

— Подумай, на каком краю ты меня держишь. Видишь, каков я даже при

тебе! А без тебя? У меня денег даже на богоборчество хватит... Не поджимай так губы, я шучу. Уходить ты собрался, потому что со мной рядом слишком грязно. Ты о репутации задумался. Об имидже.

Священник хотел выкрикнуть — «довольно паясничать!», но вместо этого тихо сказал:

— Я как в капкан угодил. И оставаться совесть не дозволяет, и уйти.

Отец Никодим замолчал. Губы его подрагивали. Ноздри раздувало гневом. В издевках Ипполита Карловича была правда, и это вызывало еще большую обиду.

— А на что тебе сдался этот театр? — вдруг спросил Ипполит Карлович, — Хорошо, настанет момент, я выгоню Сильвестра. Тем более что он там что-то затеял нехорошее. Это ясно как божий день. Или божья ночь. Вот эта.

Священник с внезапной страстью произнес:

— Театр необходимо сделать храмом.

Ипполит Карлович опешил.

— Храмы и так есть.

Отец Никодим нервно зашагал вокруг недоолигарха — скрип ботинок окончательно победил шелест снега.

— Меня терзает, что культура и религия так разделены. Когда я один, ночью, наедине с собой...

На секунду он задумался, стоит ли говорить столь откровенно. И решил: нужно наконец узнать, как отреагирует Ипполит Карлович на его мечту. Узнать и принять решение окончательное: оставаться дальше подле такого человека, или же это не имеет смысла. Причем — ни для кого из них. И отца Никодима понесло:

— Ночью, когда я слышу голос Бога, я чувствую, что призван восстановить разрушенные связи религии и культуры.

Ипполит Карлович посмотрел на священника с каким-то удавьим интересом.

— Если вам, и правда, интересно, то вот что! Вот что я вам скажу! Меня завораживает история двух христианских мучеников. Они для меня символы слияния религии и культуры.

— Я тебя очень слушаю, отец Никодим.

«Он уже не называет меня святым отцом, выучил, наконец!» — и, вдохновленный этим, как добрым знамением, священник начал приоткрывать перед Ипполитом Карловичем грандиозное здание своей мечты.

— Завораживает меня история двух мучеников! До того, как стать мучениками, они были знаменитыми языческими актерами. Это было в первые века христианства. Тогда было опасно открыто признаваться, что ты христианином... То есть, что ты христианин. Да что же с языком моим! Не слушается совсем... Не смогу без них говорить... Без нее...

И тут случилось чудо. Отец Никодим порылся в подряснике и достал непочатую пачку сигарет. Тоненьких, с ментолом. Блеснул огонек зажигалки (она тоже была извлечена из подрясника), и дым взвился над головой священника. Ипполит Карлович восхищенно шепнул:

— И давно грешите, святой отец?

— Это не грех. Хотя грех, конечно, но сейчас волнуюсь так, что не могу без него. Простите меня.

— Я-то что. Мне даже. В радость. — Ипполит Карлович снова вернулся к точкам и многоточиям. — А вот эту простую душу. Смотри, как смутил.

Он указал на шофера Шуру, который почти с ужасом наблюдал, как дымит батюшка. Отец Никодим с тоской поглядел в его сторону, но занятия своего не оставил.

— Будучи актером-язычником, Ардалион должен был изображать отречение от Христа. Прямо на сцене он почувствовал присутствие Духа Святого. И отказался играть. Отказался! Игра была кончена навсегда. Но ощутил он присутствие Духа Святого благодаря ей!

Отец Никодим выпускал на волю свою речь вместе с клубами дыма. Ипполит Карлович думал с изумлением: «Так вот куда клонит отец наш... Игра и Дух Святой... Однако.»

Почти уже не заботясь о том, понимает ли его Ипполит Карлович, слушает ли, отец Никодим в волнении и дыму продолжил:

— Мученик Порфирий! Пожалуйста!

— Да, пожалуйста!

— Он должен был прилюдно надругаться над таинством Крещения. Тоже на сцене, прямо перед толпой язычников. А я думаю, что зрители — всегда язычники, что любая толпа — это язычники, которых нужно неустанно обращать в веру, которым нужно неугомонно напоминать о Христе...

Отец Никодим почувствовал, что последняя фраза звучит комично, а смешным он быть не хотел. «Неугомонно напоминать... Как о стае птичек говорю, а не о вестниках Царства Божьего». Он сбился снова. Замолк тоскливо.

— И что Порфирий? — помог Ипполит Карлович вопросом.

— Едва он произнес крещальную формулу, — продолжил отец Никодим, разгорячаясь с каждым новым словом, — как почувствовал, что не может кощунствовать, не может измываться над святым таинством. Он ощутил всем сердцем, что в христианстве — истина. И, не страшась ничего, — поскольку он узрел Господа, а что тогда может испугать? — он сказал, что верует во Христа как сына Божия. А назвать себя христианином перед языческой толпой значило — умереть. И он был обезглавлен.

— Отец Никодим, ты куда клонишь?

— Где сейчас обитают люди, религиозно одаренные, но не нашедшие религии? К какой пристани причаливают те, кто неустанно ищет истины, и не верит, что она — в Церкви? Чьи голоса громче голосов всех проповедников? Это голоса людей искусства. Тех, кому ведом пыл крестоносцев, но неведом крест.

Отец Никодим перевел дух. Сигарета закончилась, он обернулся по сторонам, ища, куда бы ее кинуть.

— Бросай в снег, — кратко рекомендовал Ипполит Карлович, и окурок был брошен, а речь продолжена:

— Художники говорят с народом, как власть имеющие. Они влияют на души так, как мы — священники — уже давно разучились. И это правда! Уже несколько веков это правда! Мы должны это признать. И сделать движение им навстречу. Мы должны признать, что на театральных сценах, в тиши писательских кабинетов, на съемочных площадках нередко случается то, что уже перестало случаться в Церкви.

— Отец Никодим. Ты куда ведешь?

— Ипполит Карлович! Ипполит Карлович... Я думаю о власти воображения.

Шофер шире открыл окно, чтобы словам было удобнее долетать. Очень уж необычную проповедь произносил изрыгающий дым священник.

— Именно разгоряченное воображение позволило мученикам Ардалиону и Порфирию мгновенно — мгновенно! — увидеть истину. Что такое вера? Это, по

словам апостола Павла, уверенность в вещах невидимых. Чем занимаются актеры? Невидимым. Они не только в него верят, они в нем живут. Они на полпути к истине. Да! Да!

Отец Никодим подошел к машине и приоткрыл дверь (поскольку заметил, что шофер Шура заинтересовался). Вместе с тем он хотел воздать Шуре за шок от священничьего курения. Воздать интересной беседой. А может быть, даже душеполезной.

— Но какова же цель человека? — обратился отец Никодим к шоферу. Тот беспомощно улыбнулся, отнял руки от руля, робко воздел их, снова положил на руль и улыбнулся еще беспомощнее. Тогда отец Никодим ответил сам:

— Цель человека — служить высшей реальности. Научиться видеть, как сквозь земное повсюду, везде проступает вечность.

Шофер согласно кивнул: мол, да, батюшка, в этом, в общем-то, цель моя и состоит — служить высшей реальности. Вот этой, которая сейчас рядом с вами стоит и вас слушает.

— Воображение уносит актеров намного дальше простых смертных. И они становятся способны воспринять истину. Вот тут, вот тут-то надо их остановить и не дать им попасть в еще более цепкий капкан, чем капкан реальности! А они попадают в капкан своих фантазий. И чужих фантазий! Ведь режиссер, как злой демиург, порабощает их волю, заставляет видеть его глазами, слышать его ушами, и они перестают чувствовать, чего требует их душа. Под присмотром и по настоянию злого демиурга они начинают жить иллюзорной, чужой жизнью полнее, чем своей, реальной!

— Ты про Сильвестра? Он злой демиург?

— И про него тоже! Да! В первую голову про него! — вскричал отец Никодим. — Ни в одном театре так не презирают реальность! Он совершает дьявольскую подмену! Церковь учит: смирись, ты — ничто перед Господом. А он: смирись, ты ничто передо мной! Он ответит на Суде!

«Подсудимый Сильвестр, восстаньте из гроба, Высший Судия идет!» — подумал Ипполит Карлович. А шофер подумал: «Хочу домой». А отец Никодим: «Пусть я злобен, но злоба моя — священна».

— Церковь в упадке, а искусство — разве не разрушено? Разве не появляется там все меньше пророков, разве не уходит все в игру? Тогда как игра — лишь путь к истине. А о цели все забыли, и занялись средством. Выходит, искусство и Церковь повязаны одним преступлением. Искусство для искусства — величайший грех, грех изливающегося понапрасну семени, подобный греху библейского Онана. Но и наш грех таков же: Церковь для Церкви. А ничто не должно существовать само для себя, ничто! Это не Божье, не Божье!

Отец Никодим возвысил голос — так он читал проповеди в церкви, увлекаясь, жестикулируя. Его даже критиковали за «театральность». Но он бы никогда не решился произнести даже поблизости от церкви то, что говорил сейчас. Ипполит Карлович подумал: «Я знал, что в этом тихом омуте водятся черти. Но чтобы столько!» Отец Никодим, переведя дух, снова начал говорить:

— Иоанн Златоуст и Августин Блаженный — величайшие писатели! Чем была бы литература без их влияния? Но потом благодать великой проповеди пропала, и великое слово покинуло нас. И заговорили те, кто против нас, и заговорили громче грома, а что мы могли сказать в ответ? Мы могли только прошептать «Анафема!».

— Браво, отец Никодим! — воскликнул Ипполит Карлович. — Браво! Ты уже говорил о своих прозрениях. Высшим иерархам?

— Вам смешно, а я страдаю, — вдруг тихо проговорил отец Никодим. — Нам — искусству и Церкви — нельзя друг без друга. У художников есть все средства воздействия. Они владеют сердцами. А мы знаем, как употребить их власть. Потому я и мечтаю начать с вашего театра великое возрождение...

— Ты мечтатель, отец Никодим. Ты же видел их. Недавно в ресторане ты их лицезрел. С кем ты. Будешь веру восстанавливать? С карликами-буддистами? Полупидарасами? Или с Иудой, который трижды в день всех и самого себя предает? Не с ними тебе надо. Истиной своей заниматься. Их надо учить, как детей малых.

Ипполит Карлович даже разволновался. А отец Никодим вдруг вспомнил, как еще в школе он поражал всех умением пускать дым кольцами. Но решил своего мастерства не демонстрировать. Хотя кольца его наверняка бы успокоили.

— Или ты из священников, что ли. Труппу составишь?

— Вы снова смеетесь! Что я еще мог ждать?

«Революционные идеи всегда кажутся нелепыми», — хотел добавить священник, но удержался. Это стоило ему таких же больших усилий, как и отказ пустить колечки.

— Не из священников я труппу составлю. А из настоящих артистов. Потому что дар воображения и дар преображения в человеке от Господа. Если бы вы видели, как ведет себя в церкви, например, Сергей Преображенский!

— Одна фамилия чего стоит, да? Великий актер. Я его не в церкви видел. Я его на сцене видел. Зачем мне на него в церкви глядеть?

— Если бы вы видели его в церкви, вы бы не говорили, что труппу можно составить только из священников! Как он стоит перед иконами! Как падает на колени! Как простирается перед распятием!

— А публики много было вокруг?

— Что?

— Ну, прихожан много было рядом?

— Вот вы о чем... Нет, не в этом дело.

— Когда твой прихожанин Сергей Преображенский посещает церковь. Он же не оставляет за порогом. Свою душу. Артистическую. Он приходит, и его так вдохновляет атмосфера. Что он начинает играть. В глубоко верующего. И становится им. Если бы ты ему одолжил рясу, он бы почувствовал, что и служить может. И проповедь бы произнес. И уж поверь мне. Многие бы заплакали. Не хмурься. Ты великолепный проповедник. Я о другом сейчас говорю.

— Я не хмурюсь! Напротив! Это улыбка! — сказал отец Никодим, хотя никакой улыбки не было и в помине. — Вы же мою мысль только что подтвердили и утвердили! Вы тоже говорите о власти воображения! Главное — направить таких, как Преображенский. Чем он отличается от тех мучеников?

Ипполит Карлович почувствовал, как хохот просится наружу, но усилием воли подавил его. Отец Никодим поглядел на него с улыбкой, не зря он ее только что обещал и пророчил:

— Я чувствую, что вам хочется смеяться — так смейтесь, меня это больше не смутит.

Ипполиту Карловичу смеяться сразу же расхотелось. Отец Никодим вдохновенно продолжал:

— Зачем же Господь дал Сергею такой дар? Неужели чтобы он собачек изображал? Или Ромео? Он только в начале пути. В самом начале великой дороги. Преобразившись сам, он поведет за собой людей к божественным видениям. К тем, которые может увидеть только он. Может быть, даже я не могу

их увидеть. И не только я, но многие, многие священнослужители. А он увидит и поведет. К Христу. К Богоматери.

Ипполит Карлович ответил без вызова, но почему-то сурово:

— Сергей не станет всю жизнь одну роль играть.

— Это уже будет не роль, не роль! И он станет! Как говорил отец Игнатий Бренчанинов: «Бог создал человека не для играний!» Не для играний! А сейчас актер чаще всего использует свой дар, чтобы в свинью перевоплощаться!

— Сергей перевоплощался в свинью? Почему меня не позвал посмотреть?

— Зачем вы опять смеетесь? Я образно.

— Слишком образно, отец Никодим. — Вдруг Ипполит Карлович снова сменил тон с высокомерно-ироничного на серьезный: — Ты да я — мы накрепко приколочены к самим себе. А такие, как Сергей, они могут. Открепить эти гвозди. И почувствовать. Много лиц. Много судеб. Много жизней. Ради чего им отказываться. От этого счастья.

— И вы меня только что называли мечтателем! — улыбнулся священник, глядя на просветлевшее лицо Ипполита Карловича.

— Я тебе о деле говорю. А не о мечтаниях.

— А этот человек, который Джульетту играть должен был, Александр, кажется. Он же истомился в поисках смысла, потому и согласился на все дьявольские провокации Сильвестра. Я посмотрел тогда в его глаза — он жертва страшного хаоса, уже не понимает, не только где добро и где зло, а где право и лево.

— Где баба, где мужик... — продолжил Ипполит Карлович. — Ты любые мерзости добрыми побуждениями объясняешь. Но на то ты и священник.

Он напоминал отцу Никодиму о его сане — хотел тем самым вернуть его в привычные берега. Разговор начинал утомлять недоолигарха. Но священник утомлен не был.

— Не вам осуждать его! Не вам!

— Прав ты. — Ипполит Карлович на секунду задумался. — Но я все равно буду.

— Александр тоже может быть с нами. И карлик, Ганель его зовут, кажется, — вы видели, сколько в нем достоинства?

— Это лучший из виденных мною карликов. Самый совершенный.

Отец Никодим улыбнулся.

— Я понимаю ваш скепсис. Обдумайте мои слова. Я подожду. Хотя времени все меньше. Чувствую, скоро Сильвестр сделает что-то такое...

Отец Никодим хотел добавить «Он мне закроет путь к моему призванию», но сказал:

— Что-то настолько мерзкое, что я не смогу больше переступить порог вашего театра.

Ипполит Карлович со вздохом сообщил:

— Я замерз. А ты?

— Я нет, — ответил отец Никодим.

— Давай я из машины буду с тобой разговаривать.

Ипполит Карлович забрался в машину. Мелькнула у него мысль, что священник, зная его пристрастие к людям талантливым, прикидывается, будто одержим творческим пламенем. Но эту мысль он отринул как гадкую и недостойную.

— Православная церковь обязана искать новые формы воздействия, — уже тише, но упрямо твердил отец Никодим. — Иначе мы станем союзом бабушек. И в меньшей степени дедушек, — улыбнулся он и произнес негромко, но

твердо: — А потому нам нужен православный театр. Первый в истории России. И мира.

Ипполит Карлович глянул на него непроницаемо-серыми глазами:

— А может, тебе лучше заняться православной нефтедобычей? Я могу подсобить. Я это даже легче себе представляю. Чем то. О чем ты говоришь.

Отец Никодим был оскорблен. Он впервые высказывал свои недооформленные идеи, свои мечты. И прекрасно понимал, что говорит нечто на грани не только абсурда, но и ереси. И когда услышал от другого человека то, о чем подозревал и сам — обиделся. И тем самым опроверг одну из самых глупых в мире сентенций: «на правду не обижаются». Но самое главное, самое печальное заключалось в том, что он понял: Ипполит Карлович не верит в него как в религиозно-театрального реформатора.

— Знаете что, — упавшим голосом сказал отец Никодим, — дальше я пойду пешком. Извините, если сказал лишнего. Спаси Господи.

Он развернулся и зашагал прочь. Даже следы, которые он оставлял на снегу, показалось Ипполиту Карловичу, излучали обиду. Шофер вопросительно глянул на босса — будем догонять? Или отпустим?

— Вот человек нескучный. Да? — помолчав, обратился Ипполит Карлович к шоферу.

— Да, — ответил тот со скучающим видом. Ему давно уже хотелось домой.

— Не будем его. Беспокоить. Пусть мечтает. А мы домой.

Шофер с облегчением нажал на газ, и через десять секунд они проехали мимо отца Никодима. Ипполит Карлович помахал ему рукой и улыбнулся. Священник даже не повернул головы.

— А можно я теперь буду тебя называть отец Кинодим? — крикнул Ипполит Карлович, но ветер унес его дерзость в противоположную от священника сторону.

«А Сильвестра надо прижучить, — подумал недоолигарх. — Затеял какую-то мерзость. Назначил Наташу. Всему миру меня на посмешище выставляет. Значит, спектаклем этим не дорожит. Это ясно. А Наташа одарена! — Он улыбнулся. — Какой бенефис устроила в четыре утра! Настоящее горловое пение! Думала, я поверил. Вот ведь загвоздка — женский оргазм тоже требует веры... Надо бы втолковать отцу Никодиму, что веры требует не только его профессия... — мягкий ход машины умиротворяюще действовал на Ипполита Карловича. — А как святой отец возопил, когда про Сильвестра речь зашла. Тоже почти горловое пение... Знаю я, какая причина у этого вопля. Зависть». И приятное чувство всепонимания снизошло на Ипполита Карловича. Он глядел, как снег укрывает дома, и его душой овладевал покой. И он вновь поверил, что смерти — для него — не будет.

...Священник замедлил шаг. Отдышался, огляделся. Безветренно. Тихо. Снежно. Вдохнул холодный воздух. Остановился. Почувствовал окружающую его безбрежность. И ему стало неловко за столь истовую защиту своих идей.

Он подумал, что сейчас, в тиши и одиночестве, можно вспомнить школьные годы. Достал сигарету, зажег, и стал мастерски пускать изо рта кольца. «Что я рву, что я мечу? Тихо, тссс... Ведь главное случилось. Я все рассказал Ипполиту Карловичу», — думал отец Никодим, исторгая кольцо за кольцом. «Я смиренно буду ждать, какое будущее пошлет мне Бог. Смиренно...»

Театральные атаки

Их было двое — Сильвестр Андреев и господин Ганель. Они были объединены — заговором. А раз заговором — значит, и тайной.

Последние две недели, после каждой репетиции, они сидели в кабинете Андреева и обсуждали во всех деталях пятиминутную интермедию, которая должна начаться перед вторым актом «Ромео и Джульетты». Интермедия была призвана покрыть позором Ипполита Карловича и отца Никодима. Играть в ней должен был только господин Ганель.

Как всегда, ровно в девять зашла Сцилла Харибдовна и принесла два бокала воды: господин Ганель стал приобретать привычки Сильвестра. Он полюбил простую воду. Порой он даже — неосознанно — добавлял в свой голос интонации Андреева. А у себя дома давал волю подражанию уже вполне сознательно. Стоя перед зеркалом, покрикивал: «Репетируйте, пока мне не станет интересно!» Через час проходил мимо зеркала и с презрением бросал: «Мне все еще не интересно!»

А сейчас он смотрел на Сильвестра, делал маленькие, почтительные глотки и шептал:

— Об этом будет говорить вся Москва. Это войдет во все учебники... По истории театра...

— Это не войдет. Поскольку к искусству отношения не имеет, — равнодушно, как будто речь шла не о нем, отвечал Сильвестр.

— Но в книжки ваших биографов точно войдет. — Господин Ганель глотал и восхищался. — Я так благодарен вам, что могу быть к этому причастным!

Эти речи не были льстивыми. Господин Ганель любил Сильвестра, а разве можно назвать лестью слова восхищения тем, кого любишь? Молитва — разве лесть Богу? Это свободное выражение любви и веры. Так и слова господина Ганеля не были запятнаны подобострастием.

— Благодарен, что можешь быть причастным... — задумчиво повторил Андреев слова господина Ганеля. — Ты же и так, телепат, угадал, что я тут затеваю? Да? — улыбнулся Сильвестр, и господин Ганель улыбнулся в ответ. Со временем он научился-таки догадываться о том, что творится в Сильвестровой голове. — Ну вот. А потому и увольнять тебя уже поздно было. Что мне оставалось делать? Только, как бы сказал отец Никодим, причастить.

В такие моменты господин Ганель понимал, что перед ним капризный ребенок, которому необходимо каждую минуту доказывать, кто тут царь и бог. Проверять на прочность любовь к нему окружающих. Но когда проходили «припадки инфантилизма», как про себя именовал их господин Ганель, он снова видел перед собой великого режиссера, который даже свой уход из театра хочет поставить как грандиозный спектакль.

— А вы не думаете, что будет с труппой после того, как вы уйдете?

Сильвестр разглядывал свои руки. Поворачивал — к себе и от себя — ладони, медленно сгибал и разгибал маленькие пальцы. Красноватые, с коротко постриженными ногтями, они вызывали мысли о земле и деревне, но никак не о театре и искусстве. Такие пальцы могли принадлежать сеятелю, комбайнеру, в лучшем случае — начальнику рабочей бригады. Сильвестр вспомнил, как в театральном институте мечтал о других пальцах, которые бы соответствовали его представлению о «руках творца». Тогда он даже подумывал о пересадке — от какого-нибудь погибшего пианиста. Господина Ганеля он почти не слушал. Вспо-

минал свои юношеские терзания из-за «простонародных пальцев». Его студенческая мука сейчас казалась ему такой умилительной. И все же в воспоминания проник слабый голос карлика — не думает ли он о том, что будет с труппой после скандала и его ухода?

— Нет. Не думаю.

Проявления абсолютного, державного эгоизма завораживали господина Ганеля. Он, так трепетно относящийся к долгу перед ближним, был потрясен тем, как легко Сильвестр поставил этот долг в подчинение другому долгу — перед собой, своим талантом, перед искусством. Отсутствие долговых разногласий действовало гипнотически. Он предчувствовал, что аморализм Андреева когда-то коснется и его, Ганеля. И был готов безропотно принять неизбежное. Снова желая насладиться (и ужаснуться) стальными принципами аморализма, карлик спросил:

— Вы видите, как страдает Александр. Я предлагаю дать ему увольнительную.

Короткий взгляд Сильвестра обдал холодом господина Ганеля, и он сразу внес в свою речь поправки:

— Я не предлагаю, я прошу... Прошу вас подумать об этом. Вы видели его, когда объявили, что Наташа будет Джульеттой? Нет? А я видел. И по телефону с ним разговаривал после того, как Наташа была у... У этого... — Господину Ганелю было неприятно даже выговаривать имя Ипполита Карловича, так он его ненавидел. — Саша очень страдает. Как он будет сейчас играть? С одной души нельзя столько требовать.

— Ганель! Мне скучно.

— Он мой друг, — карлик понял, что в его словах была не только провокация. Не только желание наблюдать за реакциями «сверхчеловека», как называл Сильвестра карлик. Был и настоящий дружеский порыв, желание защитить Александра от новой надвигающейся боли, — Сильвестр Андреевич, мне тяжело видеть, как он мучается.

— А ты не смотри, если тяжело. Ганель! Ты говоришь, с одной души нельзя столько требовать. А куда он денет сейчас свою душу? Свое отчаяние? Жажду мести? Что он может? Только обстрелять особняк нашего спонсора из рогатки. Помнишь, о чем наш спектакль? Вот именно. О ненависти! Подумай, как великолепно Саша, с такой бездной в душе, сыграет Тибальта! — Сильвестр вгляделся в лицо господина Ганеля. — Ах, Ганель, улыбающийся Ганель, почему тебе нравится от меня слышать такие слова? Ты же сам сказал, что он твой друг?

Господину Ганелю стало стыдно, но жгучий интерес к «сверхчеловеку» был сильнее стыда.

— Я не представляю, как они вместе будут репетировать. Втроем! Он, Наташа и Сергей? Вы же помните, как он...

— Влюбился в Сергея? Это весь театр помнит. К сожалению. Ганель. Оставь это. У них лишь несколько совместных эпизодов. Давай дождемся, когда он сам откажется играть. А этого — поверь — не произойдет. Ты вот уверен, что добро делаешь, когда пытаешься стащить его с роли. А ты не решай за него. Он хочет прожить в этой роли все, что его терзает. А потом, когда наша интермедия грянет над Ипполитом и Никодимом, Саша будет счастлив, что стал свидетелем их позора.

Сильвестр вдруг засмеялся, карлик вопросительно посмотрел на него, и режиссер объяснил причину:

— Я представил, как Саша обстреливает из рогатки особняк...

Сильвестр захохотал, и к его смеху присоединился тоненький хохоток господина Ганеля.

Актеры, которые еще остались в репетиционных комнатах неподалеку от кабинета Сильвестра, вздрогнули от ревности. А Иосиф в своем кабинете вообще ничего не понимал — ни своего нового положения, ни своих новых желаний — и с нарастающей тоской вслушивался в раскаты режиссерского хохота и мелкий смешок господина Ганеля. Но больше всего печалил Иосифа не смеховой дуэт режиссера и карлика. Его мучило трагикомическое положение прощеного доносчика. «Какие великолепные обязанности возложены на Иосифа! — говорил директор театра Семен Борисов. — Тосковать за хорошую зарплату!»

И все артисты — а главное, сам Сильвестр — обходили Иосифа стороной. Он поначалу радовался, что прощен, но вскоре понял, какое коварство заключалось в этом прощении. Сильвестр знал, что Иосиф не в силах будет сам принять решение уйти из театра. И посадил его в этот кабинет. В театре Иосифа стали презирать без всякого стеснения и меры. Труппа разделилась на тех, кто перестал его замечать и тех, кто потехи ради, походя, над ним измывался. Сильвестр все правильно рассчитал.

Толстое лицо Иосифа за время передряг даже несколько осунулось, стало не столь блиноподобным. Пригорюнясь, он стал рассматривать потолок. И вдруг вскочил. «Я пойду к нему! — подумал он почему-то с гордостью. — Я или уволюсь, или снова приближусь к нему, снова! Или и то и другое сразу...» И он пошел туда, откуда раздавался этот манящий, этот оскорбительный смех.

Он шел по коридору быстро — решимость, стремительно постепенно покидавшая его душу, все еще пребывала в теле. Сциллы Харибдовны в приемной не было. «Наверное, отлучилась ненадолго», — подумал Иосиф и почувствовал оставленный ею отчетливый, терпкий запах ревности. Она тоже страдала от сближения Сильвестра с Ганелем. Или Иосифу так только показалось? Едва дыша и еле слышно ступая, он подошел к двери вплотную. Занес толстенький кулачок, чтобы постучать, но неожиданно для себя припал к двери ухом.

— А теперь узнай про мою новую идею, — заговорил Сильвестр. — Я так давно хотел прийти к отцу Никодиму, когда он проповедует! Мы пойдем как на урок актерского мастерства! Я тебя уверяю, любому артисту есть чему поучиться у отца Никодима. Одареннейший тип! Вот мы сначала поучимся, а потом учителя нашего осрамим. Для начала — легонько. Не будем же мы сразу все обрушивать. С одной души нельзя столько требовать.

Иосиф расслышал лишь «поучиться у отца» и «осрамим». Ему стало неловко.

— Когда директор-то придет? — снова дверь допустила до ушей Иосифа голос Сильвестра. — Уже семь минут ждем.

На этих словах в приемной появился директор театра — симпатичный и ушлый Семен Борисов. Узенькими серыми глазками он впился в толстую фигуру у черной режиссерской двери, мгновенно оценил ситуацию и глянул так, что Иосиф понял, что в очередной раз погиб. «Да сколько же можно погибать-то?» — вместе со страхом он почувствовал досаду.

— Добрый вечер, — ласково обратился к нему Семен. — Уже так поздно, а вы все трудитесь.

Для того чтобы ирония была несомненной, Семен указал на дверь. — Я... Я... Пытаюсь понять, что происходит с нами, — и, понизив голос до шепота, Иосиф спросил директора. — Знаете, что мне только что стало известно?

Борисов сделал решительный жест рукой, обозначающий «не знаю и знать не желаю!». Иосиф окончательно сник.

Директор осведомился подчеркнуто официальным тоном:

— А когда я войду в кабинет Сильвестра Андреевича, вы тоже будете пытаться понять, что с нами происходит?

Иосиф глубоко вздохнул. И вдруг сверкнул глазами: его лицо снова осветилось решимостью. Резко открыл дверь кабинета. Струя воздуха ударила ему в лицо, но пыла не охладила. Кабинетный диалог прервался. Господин Ганель выразил крайнюю степень удивления и даже брезгливости. Сильвестр же посмотрел на вошедшего приветливо. И без тени изумления, словно ждал.

— Я подслушивал! — торжественно объявил Иосиф. Как будто это было не признание в подлости, а оглашение приказа о присуждении всем присутствующим награды.

Сильвестр захохотал.

— Садись! — весело приказал режиссер. — А что же ты еще в театре мог делать? Только подслушивать. Что ты еще умеешь? Не раздувай губы, тебе не идет. Пусть хоть что-то в тебе будет тонким. Садись.

Иосиф с неуместным достоинством сел.

— Снова в эпистолярном жанре упражняться будешь? Давно святейший твоих посланий не получал? Не скучно тебе так жить, друг?

— Я вовек... Нет, я не вовек... — забормотал Иосиф. Оттого, что Сильвестр, долго и мучительно с ним не разговаривавший, сначала так легко оскорбил его, и сразу, с такой же легкостью, назвал другом, у Иосифа все поплыло перед глазами.

— Садись тоже, — обратился режиссер к директору, как показалось Иосифу, с гораздо большим уважением, чем к нему. Семен сел от Иосифа подчеркнуто далеко.

— Семен, ты принес договор? — спросил Сильвестр.

— Обязательно, — ответил тот и протянул режиссеру белую бумагу с коротким текстом и тремя печатями. Семен взглядом указал на Иосифа: «не опасен ли?», Сильвестр взглядом же ответил: «нисколько, пусть все знает», взял бумагу и прочел, смачно окая:

— «Я, отец Никодим Введенский, прошу принять меня в театр на должность артиста с окладом согласно штатному расписанию»... Семен, я же просил написать «ведущего артиста»... Обидим батюшку. Он к нам на таких условиях не придет.

Иосиф сквозь туман внезапных слез глядел на директора и режиссера, глядел на договор, ничего не понимал, и уже понять не пытался.

— Под вашу... — начал Семен и намеренно сделал паузу.

— Под мою ответственность... — закончил фразу Сильвестр.

Директор кивнул — утвердительно. И вздохнул — печально. Такой была его вечная игра с режиссером: он возмущался юридическими или финансовыми несообразностями, предупреждал о возможных неприятных последствиях, и Сильвестр брал всю ответственность на себя. А Семен смиренно и уже безответственно делал, что ему велели. В случае с отцом Никодимом он особенно не волновался, поскольку прекрасно понимал, что поступление в театр священника столь же нереально, как пополнение труппы, например, пандой. Потому и договор этот считал не особо важным.

— Завтра мы совершим театральную атаку на дом Божий, — сказал Силь-

вестр и одарил присутствующих теплой улыбкой, словно сообщал, что завтра они отправляются за город на шашлыки.

Семен слегка приподнял брови. Удивился он неглубоко. Пять лет, проведенных с Сильвестром, научили директора не тратить себя на изумление. И не спорить, а ласково-ласково высказывать свое мнение, попутно освобождаясь от ответственности.

— Да-да, завтра мы атакуем церковь, где служит отец Никодим, — продолжал Сильвестр, — Прямо в храме и посвятим батюшку в великие артисты. Ведь он давно этого заслуживает. Да, Иосиф?

Иосиф замялся и, как всегда, когда не знал, как реагировать на происходящее, задал вопрос:

— А мы прямо в церкви посвятим отца...

— Святого отца! — сурово поправил Сильвестр.

— Святого отца мы прямо в церкви... Посвятим в артисты?

— Как мне нравится это «мы»! Сам мятущийся Иосиф примкнул к театральному воинству! Теперь мы непобедимы! Теперь нам не только море, нам океан по колено! Да что там по колено! По щиколотку!

Иосиф с тоской посмотрел в черное окно: «Бог мой... Что он затеял... А мне теперь? Куда с этим? Вот представьте, — продолжил Сильвестр. — Стоят добрые прихожане, молятся, думают каждый о своем. Кто-то в рай путь прокладывает, кто-то грехи отмаливает, кто-то вообще о предстоящем ужине мечтает, и вдруг — батюшки святы! Нашего батюшку в артисты посвящают! Поздравляют, аплодируют, подносят цветы! Заключают договор! А? Ну что за взгляд, Ганель?

Карлик подумал, что, скорее всего, после этого скандала им не удастся довести спектакль до премьеры. Значит, их интермедия останется невоплощенной.

— Любительщиной отдает? Дилетантизмом? Да, Ганель?

Карлик кивнул, поскольку высказать свою подлинную мысль при всех не мог.

— Ты прав, Ганель. Но первые опыты атакующего театра не могут не быть любительскими. И помни: мы убиваем столько зайцев, что игра стоит свеч.

«Зайцы... свечи... Что это с ним?» — подумал господин Ганель.

А Сильвестр продолжал:

— Отец Никодим хочет, чтобы церковь пришла в театр. Ну а мы приведем театр в церковь. Он все время увещевает: надо бы ваш театр к Богу приблизить! А мы приблизим Бога к театру. Ну как? Хорош наш ответ Никодиму?

Иосиф еще сильнее затосковал, но кивнул одобрительно.

— Я в последнее время часто думаю о том, как узко, как убого мы понимаем театр. Ты поразмысли. И ты поразмысли! — обратился он к Иосифу, и тот еле удержался, чтобы не принять позу роденовского мыслителя.

Сильвестр сделал несколько больших шагов — от кресла к двери. Остановился, оглядел свою публику: Иосиф слушал пристыженно, Ганель — восторженно, Семен — учтиво.

— Попробуйте сформулировать: театр — это то-то и то. Вы будете правы только одну секунду. Через мгновение эта истина покроется морщинами, умрет и исчезнет. То же самое происходит с любой мыслью о жизни. Когда и кто выпустил закон, что театр может пребывать только в определенном для него здании? Кто его туда заточил? Мы? С прискорбием констатирую — да, это сделали мы, театральные, черт нас побери, деятели. В семь или восемь часов вечера театр робко вступает в свои права. А еще занавес надо открыть, а то театру и не прорваться к людям. А настоящий спектакль может начаться в любую

секунду и где угодно! И никто от него не защищен. Никто не в безопасности! — Сильвестр вдруг стал пародировать стиль проповеди. — Ибо было сказано — играйте только на сцене! А я говорю вам — выпустите театр из душного помещения! Было сказано — театр должен знать свое место! А я говорю вам — нет такого места, куда театр не имеет права проникнуть! И завтра мы это докажем. С акции «отец Никодим становится актером» я начинаю новую театральную эру. Кто желает, пойдет за мной.

— Сильвестр Андреевич, вы же просто сорвете службу, — столь же ласково, как и раньше, заговорил Семен. — И у нашего театра начнутся проблемы. Церковь лучше не трогать, вы же знаете. Влиятельная организация. Пришлют к нам всякие инспекции с проверкой.

Директор театра сильнее, чем безумия Сильвестра, боялся проверок, а тем более — проверок с пристрастием.

— Семен, дорогой, ты, как бы сказал отец Никодим, в ересь сейчас впал. Какой самоубийца пошлет проверять театр Ипполита Карловича?

Семен развел руками — да, тут вы правы. Однако не преминул напомнить:

— Но сам Ипполит Карлович спектаклю в церкви рад не будет.

— Ты прав! Не о таком театре он мечтал. Я знаю, как защищаться, но сейчас не в этом, не в этом сейчас дело... — Сильвестр снова разгорячился. — Я чувствую призыв других пространств. Я хочу играть спектакли в каменоломнях, в детских домах, в нотариальных конторах, в зоопарках и тюрьмах... Я чувствую призыв другого зрителя. Я хочу играть перед преступниками, деревенскими старухами, глухонемыми, умалишенными — и каждый, каждый раз искать с ними общую территорию, общий язык, общую энергию и общие чувства. Вот — задача! Моя и Питера!

— Какого Питера? — не без тревоги спросил директор театра. Но Сильвестр не ответил ему. Он мечтал.

— Вот задача ближайших лет! А потом, обогащенный и освобожденный, я вернусь в обычный театр, и все увидят такое, что раньше и представить не могли.

Сильвестр остановился. Посмотрел на кресло, подумал — не сесть ли? — но решил продолжить мечтать стоя.

— Что должно произойти завтра в церкви? Помимо того, что отец Никодим поймет наконец, в чем его истинное призвание? Мы должны будем найти контакт с теми, кто, скорее всего, театр презирает. Найти общую территорию с теми, кто боится даже думать о чем-то общем с такими, как мы. Вот задача — конкретная артистическая задача завтрашнего дня. Она стоит только перед господином Ганелем и отчасти передо мною. Для вас, господа теоретики и директора, нет в этом пользы. А я завтра многое пойму. О театре! По реакции прихожан, по тишине, которую создаст их страх и трепет. По первым робким крикам протеста. По сгущению в воздухе самых разных эмоций. Я пойму то, чего не понял бы, здесь, в театре.

— Сильвестр Андреевич, а спектакль? — осторожно спросил директор. — «Ромео и Джульетта», я имею в виду. Премьера так скоро... Или не скоро?

— Скоро, Семен, скоро. Сроков я не нарушу. Я выпущу его! А то, что случится завтра — только начало. Я вам обещаю тотальное наступление, повсеместные театрально-военные действия.

Вся жизнь господина Ганеля в театре летела в пропасть. И у него захватывало дух от этого полета. Он был готов идти за Сильвестром куда угодно, но понимал — такой жертвы не потребуется. Когда режиссер выиграет все раунды

затеянной им битвы со священником и недоолигархом, он уйдет. И не позовет с собой его, господина Ганеля. «Он пойдет своей сверхчеловеческой дорогой, а мне останется только вспоминать о неделях, которые мы провели вместе», — думал карлик.

Вдруг Андреев заключил Иосифа в объятья и завопил:

— Прими мой трон! — Он указал короткопалой рукой на свое кресло. — Прими и царствуй! Все клятву верности тебе дадут! Мы все! Актеры и гримеры — поклонимся тебе в одном порыве! Я так решил! Владей моей империей, Иосиф!

Объятый Сильвестром толстяк беспомощно выглядывал у него из подмышки и взглядом умолял господина Ганеля ему помочь. Сильвестр расковал объятия и оглядел растерянного и снова пристыженного Иосифа.

— Вот ты в шоке, и мне так нравится твой шок. Ты испытываешь эмоции, которые никогда бы не испытал, не устрой я это представление. Почему же мы, актеры и режиссеры, так робки! Жизнь ждет от нас совсем другого... Друзья мои, мы слишком долго робели. Зачем нам таланты? Мы живем так, что сам Бог — Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, многие бы добавили, Бог отца Никодима, но я категорически против такой добавки, — так вот, сам Бог со скукой взирает на нас. Наше самое страшное прегрешение — мы нагоняем сон на Бога... Итак. Служба в девять. Иосиф, ты с нами? Что молчишь?

— Я с вами! — воинственно ответил Иосиф.

— Браво! Перед входом в церковь я тебе скажу, что ты должен делать. А если скажу сейчас, ты испугаешься... О, да ты уже испугался! Хорошо, завтра я дам тебе самое легкое задание. Ну, вам пора, — сказал Сильвестр и сел в кресло. Он устал излагать свои идеи, а ничто другое сейчас для него интереса не представляло.

Семен и господин Ганель попрощались с режиссером без слов — каждому он пожал руки. И они ушли один за другим, мягко придерживая дверь в черной обивке. Иосиф же продолжал сидеть, не решаясь подойти к Сильвестру и протянуть ему руку. И не решался уйти, не подав ему руки. Заметив его замешательство, режиссер подошел к нему сам, схватил за пухлые кисти, потряс их, отлепил Иосифа от стула и мягко выставил из кабинета.

Иосиф ехал в лифте, с радостью и страхом понимая, что Сильвестру магическим образом удалось втянуть его в новую авантюру. Или снова стукнуть? Но разве не показали ему отец Никодим и Ипполит Карлович, как они относятся к его искренним порывам? Разве недоолигарх не назвал его Иудой? И разве не молчал при этом отец Никодим? Лифт остановился на первом этаже и медленно раскрылся. Свет в коридоре уже был погашен. Иосиф вышел, лифт захлопнул двери, и все погрузилось во тьму. Нащупывая рукой настенный выключатель, он подумал: «Если и можно кому-то верить, то только Сильвестру».

Растут габариты гробов и могил

Во время ужина Сергей Преображенский предвкушал еще одно удовольствие — посещение своего недавно созданного сайта. Этому занятию он отдавал все последние вечера.

На экране компьютера засверкал лучезарный сайт его имени. Сергей полюбовался разделом «Детство, отрочество, юность» — вот он в смешнейшей пилотке, пятилетний и важный; потом уже отрок, робеющий и гордый; и вот уже студент, чувствующий, что слава неминуема.

Раздел новостей: новые роли в театре и кино, гастроли, мастер-классы. Кадры источают успех, словно фотоаппарат чудесным образом зафиксировал атмосферу всеобщего обожания. Внизу кнопочка — «преподнести букет». Созданию этой кнопочки Сергей сопротивлялся, но очень быстро уступил настояниям своих поклонников, которые разрабатывали сайт. И теперь каждый вечер, с иронически-самодовольной улыбкой проверял, сколько ему подарили виртуальных букетов. Сегодня — сорок семь. Результат неплохой, хотя бывали и более урожайные дни.

Но самым приятным разделом, неизменно повышающим уровень радости в крови, был фанатский форум. Сюда со всей России стекались признания в любви.

Чтобы фанаты не заподозрили Преображенского в высокомерии, он им отвечал. А чтобы не возникло впечатления, что он легко доступен, отвечал только избранным и был предельно краток. И вскоре видел, как тут же, на форуме, счастливицы и счастливцы обменивались восторгами.

Каждый день он выбирал только трех поклонников. В этом случайном выборе было что-то от произвола судьбы: счастья ждут все, а достается оно только избранным. А как они избираются, за какие достоинства — тайна. Сергей вполне комфортно чувствовал себя в роли судьбы. Сегодня он решил выбрать трех женщин из российских городов на букву С: Самара, Сыктывкар и Симферополь. Написал каждой буквально по несколько слов — очаровательных, теплых, намеренно небрежных. Закрыл сайт и откинулся в кресле.

Мобильный, что лежал на столе, вдруг затрясся, забеспокоился и засверкал именем «Сцилла Харибдовна». Удивляясь позднему звонку, Сергей услышал: «Сережа, дорогой. Сильвестр Андреевич переносит репетицию с одиннадцати на два». — «Понял, спасибо», — сказал Преображенский, и невозможно было определить, рад он переносу репетиции или огорчен.

Он положил мобильный обратно на стол и вдруг вспомнил, что Крым-то давно отдан Украине одним из самых артистичных генеральных секретарей. Значит, Симферополь — заграница. Как это ни парадоксально. Выходит, надо написать еще кому-то, раз уж решил ответить трем фанатам именно из российских городов. Сергей зашел на сайт и снова заулыбался. Не удержался, глянул в раздел букетов — там расцвел еще один.

Среди десятков посланий он выбрал письмо из Саранска... «Какое имя странное у города... В честь саранчи, что ли? А кто пишет? Ага, имечко тоже не без странностей... Люба Ч... Даже фамилию назвать боится...Такой сокращенный человечек». Образ Любы Ч. мгновенно возник в воображении Сергея. Скромная дева в очках, темной блузке и серых туфлях на высоких каблуках. Лицо переходного периода: из подростка в девушку. Стыдливо-чувственный взгляд провинциалки. Скромные косы. Если их расплести, скромность исчезнет, и чувственность победит. Но пока что они туго заплетены.

Он еще вальяжнее раскинулся в кресле. Рука с прекрасными длинными пальцами — пальцами художника (о таких в студенчестве мечтал Сильвестр) — красиво подпирала голову. Сергей не забывал о невидимой публике. Чуть улыбнувшись, он открыл письмо.

«Уважаемый Сергей Леонидович! Просим отнестись со всей ответственностью к нижеследующей информации. Мы отправили подобные письма всем известным людям нашей страны. Мы сообщаем вам, что разработали уникальный метод утилизации мертвых тел. Люди даже представить не могут, сколь острая необходимость назрела в применении именно этого метода. Иные спо-

собы — кремация и разложение в земле — доказали свою неэффективность. (И еще улыбающимися губами он прошептал: «Чушь какая-то, чушь...») Знаете ли вы, что кремация трупов загрязняет окружающую среду? В процессе сжигания тела происходит мощный выброс канцерогенных веществ, поскольку перед этим в труп вводят формальдегид. Задумывались ли вы о том, что будет с вашим телом, когда вы умрете? (Сергей облизал губы. Распрямился в кресле. Рука, подпиравшая голову, упала на колено. Невидимая публика покидала его.) Вы известный человек, и мы призываем вас подать пример вашим поклонникам, подписав договор с нами. Проблему переполненности кладбищ американцы уже признали. (Глаза Сергея медленно скользили от строки к строке, темнея от ужаса.) Аналитики приводят данные похоронных служб о значительном увеличении средней массы одного покойного за последние 10 лет: растут габариты гробов и могил».

«Растут габариты гробов и могил», — повторил Сергей и прикрыл экран ладонями.

Что это?! Розыгрыш? Это смешно? Деловое предложение? Без подписи? «Что это?!» — шепнул он, пытаясь сквозь ладони рассмотреть, что происходит на экране. Там самопроизвольно запустился рекламный ролик, который заставил глаза Сергея расшириться — и не моргать. Под торжественно-печальную музыку выплыл гроб. Из левого края экрана — в центр. Из гроба выпорхнул покойник, словно пловец нырнул с вышки в бассейн. Но упал не в воду, а на металлическую доску. Сверху ринулся луч света. Труп приподнялся ему навстречу, но надежда была напрасной: луч вонзился в тело и начал его жечь. Через несколько секунд на месте трупа осталась жидкость кофейного цвета.

Голос за кадром не без ликования сообщил, что вместо семидесяти килограммов мы теперь имеем три литра жидкости. А это очень хорошо для планеты. Для нашей Земли это просто прекрасно. Ведь умерший, минуя разложение и скелетирование, может сразу стать высококачественным удобрением. Многие люди, продолжал бодрый голос, узнав о новом способе утилизации, попросили после смерти довести их до состояния воды. И пропитать ими сады и огороды. Ибо и после смерти они хотят быть полезными.

Далее (под неизбежного во всех подобных случаях Альбинони) энергичный голос сообщал, что знаменитостям, которые подпишут договор о согласии на новый вид утилизации, будет выплачена премия в размере десяти тысяч долларов. Поскольку метод нуждается в рекламе. А люди в большинстве своем консервативны. Сергей резко вскочил со стула. Кто же запустил на его лучезарный сайт такую мерзость? «Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой», — повторял он без перерыва, сливая слова, не заботясь о дикции, не думая, как выглядит его лицо, сколько в нем смятения и тоски. Взывание к Богу принесло результат: он вспомнил, как давно не был в церкви и дал себе обещание завтра же, перед театром, сходить на службу к отцу Никодиму. Благо, Сильвестр перенес утреннюю репетицию.

Тем временем ролик запустился снова, и снова полился голос «вместо семидесяти килограммов мы имеем три литра воды»; и снова полился на труп ужасающий свет...

Сергей подбежал к компьютеру и — чего он никогда не делал — резко нажал на кнопку выключения.

Черная пустота. Как будто ничего не было.

Тишина.

Сергей закрыл глаза.

Если вдуматься, предложение Любы Ч. пронизано иронией — пусть и потусторонней: первый среди живых, он должен стать первым и среди мертвых. Может, это следует воспринимать так? Может, стоит улыбнуться? И послать данные своего банковского счета этой Любе Ч.? И приписать, что он, как любитель всех современных течений, с благодарностью сыграет посмертную роль. А что — последнее перевоплощение Преображенского: из трупа в воду!

И тогда пусть попробуют ему, ставшему жидкостью, начать аплодировать по старой театральной традиции. Право, неплохой способ избежать этого идиотизма, этих оваций твоему трупу!

Сергей поднялся со стула и медленно вышел из комнаты. В коридоре немного успокоился. Вошел в спальню. Жена мазала ночным кремом лицо — веки, щеки, шею, нос. Массирующими движениями наносила и наносила, наносила и наносила, наносила и наносила крем на кожу. Она не любила, когда Сергей заставал ее за косметическими усовершенствованиями. Но раз уж такое случилось, сделала вид, что ей все равно. Сергей закрыл глаза. Не открывая век, произнес:

— Я так, я на будущее, хочу тебе сказать.

— Что с твоим голосом?

— Я на будущее хочу сказать. Когда меня будут хоронить...

Пальцы жены, легко порхавшие от щек к переносице, от шеи к щекам, остановили свой бег.

— Сережа! — воскликнула она. Посреди крема засверкали встревоженные глаза.

— На далекое будущее я хочу сказать, — повторил он, не раскрывая век. — Ни в коем случае не надо аплодировать! Умоляю. Это противно, это нельзя.

И он сел на кровать — спиной к супруге. Несколько минут прошло в безмолвии и безмыслии.

Он обернулся — жена спала. Спокойное лицо ничем не выдавало недавнего испуга. Она уже привыкла к тому, что мужа посещают самые экзотические мысли, и старалась не тратить эмоций на изумление. Сергей не смог заставить себя выйти из спальни, чтобы почистить зубы и принять душ перед сном. Так и лег подле жены, не снимая одежды.

И мгновенно оказался рядом с Александром. Они стояли босыми ногами на земле, окруженные сизым светом. Не говоря друг другу ни слова, они втискивали в черные пакеты кочаны капусты. Раскапывали ямы в земле. И хоронили их.

В сизом молчании прошло невесть сколько времени — его можно было измерить только капустными кочанами. Похоронено было восемь. Потом настало разделение труда: Сергей раскапывал лопатой неглубокую ямку, Александр открывал пакет, клал туда капусту, и уже оба закидывали кочан землей.

Проснулся Сергей на рассвете так же внезапно, как заснул. Почувствовал, что его рот забит землей. Попробовал прокашляться, но вместо кашля из окоченевшего горла вырвался еле слышный свист. Попытался пошевелиться — тело словно окаменело. Он крикнул так громко, как только позволил рассвет:

— Доброе! Утро!

Жена проснулась. Вяло повернула к нему голову. Сергей почувствовал сладкий женский сонный запах. Супруга нехотя глянула из-под полуприкрытых век, и, так и не сумев ничего сказать, снова заснула.

Вопль-пожелание «доброго утра» и запах жены слегка притупили страх

Сергея. Он провел языком по небу, по зубам, по губам — конечно же никакой земли. Рот пуст, готов к приему пищи, произнесению монологов, поцелуям — на сцене и вне сцены.

И через полчаса Сергей заснул, любимый всеми, окруженный обожанием и почтением. Невидимая публика снова была рядом, снова восхищена.

Сергей стоял в рясе посередине церкви, перед ним пал на колени Александр. Отец Сергий Преображенский благословлял раба Божьего Александра: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа изгоняю из тебя Джульетту и загоняю в тебя Тибальта». Сергей Преображенский улыбался во сне.

Жена проснулась в восемь утра. Долго смотрела на спокойное лицо Сергея. Дыхание ровное. Улыбка. Где бы он сейчас ни был, ему хорошо.

Рано утром Саша позвонил Преображенскому.

— Сережа, приветствую.

— И я тебя.

— Паршиво на душе. Очень.

— Та же история.

— Как борешься?

— Иду в церковь.

Пауза. Такого ответа Александр не ожидал.

— Помогает?

— Мне — да.

— Можно с тобой?

Пауза. Такого вопроса Сергей не ожидал. Ходить в церковь парами ему еще не приходилось. Предложение Александра показалось Преображенскому признаком дурновкусия. Все-таки не в кабак собрался. Но он решил не спорить. Что ему, ввязываться в долгие разъяснения — мол, поход в церковь дело глубоко интимное? И обидеть Сашу, которому плохо? Лучше отделаться согласием. Сергей давно понял — и согласием, и добротой, и даже любовью — можно отделываться. Ставить точку и идти, куда хочется, покинув обласканного там, где тебе заблагорассудится. «Когда придем, я отойду в другой конец храма. Оставлю Сашу наедине с Богом и прихожанами». И он ответил добродушно:

— Конечно, пойдем вместе.

Александра смутила пауза, но он с благодарностью принял согласие Сергея и стал собираться.

Отец Никодим, Сильвестр со своей боевой группой и Сергей с Александром шли разными путями. Но цель у них их была одна — храм Николы Мученика. На подходе к храму Сильвестр спросил у господина Ганеля:

— Ты не забыл фейерверк? — Карлик кивнул. — Значит, когда я начну аплодировать, ты, Иосиф, вручишь грамоту о присвоении отцу Никодиму звания лучшего артиста Москвы, да? — Иосиф сначала помотал головой вниз-вверх, потом вправо-влево, но на это ни Сильвестр, ни господин Ганель не обратили внимания. — И как только грамота и заявление о поступлении в нашу труппу будут вручены, ты, Ганель, запускай фейерверк. Да так, чтобы все это восприняли как чудо, а не как кощунство. Понял задачу?

Господин Ганель кивнул. Сильвестр помрачнел. Остановил шаг.

— Не нравится. Хило. Вяло. Глупо... — Он задумался. — Давайте просто войдем в дом Божий и посмотрим на игру выдающегося артиста больших и малых храмов. Нет? Настаиваете на атаке? Я вас понимаю.

Хотя ни Иосиф, ни Ганель ни на чем не настаивали, уважение в голосе Сильвестра пленило обоих. И они синхронно насупились — конечно, настаиваем.

— Но смысл же не в том, чтобы похулиганить в святом месте. Так мы просто сорвем мессу, и все. — Сильвестр снова задумался. — Что мы должны сделать, чтобы придать нашей атаке смысл больший, чем хулиганство?

Господин Ганель и Иосиф молчали.

Зря я вчера понадеялся на вдохновение... — пожалел Сильвестр. Он никогда до мелочей не планировал мизансцены спектакля, говорил, что «это как планировать секс. Все равно все будет не так, как ты рассчитал, да еще и не с тем, на кого рассчитывал». И всегда в репетициях (про секс неизвестно) вдохновение к нему приходило. Сейчас он чувствовал, что пуст. «Как красиво и дерзко звучало про театральную атаку, а на деле — какой-то балаган... Дешевый. Неизобретательный, — с досадой думал Сильвестр. — Похоже, меня пленила авантюрность замысла. И размах возможностей. А низкого качества самой авантюры я не заметил...»

Храм неотвратимо приближался.

Сильвестр еще раз проанализировал свой план и дал ему беспощадную окончательную оценку: дерьмо. Но, как всегда, видя, что актеры нуждаются в его твердости, Сильвестр начинал чувствовать, что твердости у него в избытке.

— Вы меня поняли? — Две головы кивнули в ответ. — А что именно поняли? — Две головы растерялись. — Главное, не начинайте без моего сигнала. А сигнал — аплодисменты.

И подумал: «Если ситуация сама не спровоцирует мою фантазию, значит, этой ситуации моя фантазия не нужна. Тогда просто уйдем. Потом сочиню причину. Уж на это у меня воображения хватит». И он раздраженно и громко спросил (и повышением децибелов вогнал в страх Иосифа и заставил беспокоиться господина Ганеля: карлик впервые почувствовал, что Сильвестр колеблется):

— Помните диспозицию? Ганель у распятия, Иосиф под иконой всех святых. Ну, с Богом.

Они вошли во двор церкви. Первым — карлик, поглаживая сумку с фейерверком, вторым — Иосиф, слегка зажмуривая глаза. Он, как ребенок, думал сейчас, что если прикроет глаза, то его как бы и не видно. Или, по крайней мере, его видно так же плохо, как ему сейчас сквозь полусомкнутые веки. Третьим следовал Сильвестр. Широким шагом он вступил во двор и впился взглядом в большую группу людей, что стояли у входа в храм.

Их было около сорока человек. Молчаливая толпа. Траурные одежды. Скорбные лица. Правда, скорбь распределялась неравномерно: у кого-то были погасшие глаза и лицо земляного цвета, кто-то вздыхал глубоко и печально, а кто-то поглядывал со скучающим видом на часы и с интересом следил за полетом одиноких ворон. Все эти люди находились в разных степенях родства и дружеской близости с усопшим, которого вскоре должен был отпевать отец Никодим. «Вот теперь-то отступать некуда», — подумал Сильвестр и почувствовал не только азарт. Ему передавалась печаль собравшихся здесь людей.

Смерть, где твое жало?

Сильвестр и два его соратника — Ганель воинственный и Иосиф трепещущий — прошли в храм вместе со скорбящей и вздыхающей толпой. Родные и близкие покойного собрались вокруг гроба. Всю ночь отходную усопшему читал молодой дьячок Фома, который сейчас со взглядом сонным стоял подле гроба и вяло приветствовал окружавших покойника людей. Все ждали отца Никодима.

Иосиф и господин Ганель заняли боевые позиции. Сильвестр Андреев встал в центре храма, скрестив руки на груди и взгляд его из сосредоточенного стал изумленным: в храм заходили Сергей Преображенский и Александр.

Сергей, увидев гроб, остановился. «Что с тобой?» — прошептал Саша, заметив, как внезапно побледнел его друг. Преображенский ничего не ответил. Только кивком головы указал на гроб. Сильвестр быстрыми шагами подошел к ним.

— Какими судьбами? Ромео и Джульетта! Все-таки решили обвенчаться? По моему давнему совету? И вопреки реальности? Вот это я уважаю!

Сильвестру показалось — они стесняются, что он застал их в церкви. — А мы здесь с особой миссией. — Он указал рукой на Иосифа (тот не без ужаса глядел на купол церкви, где царил седобородый Бог Отец) и господина Ганеля (на него церковная атмосфера не производила никакого впечатления — он стоял у колонны и без всякого благоговения искоса поглядывал на распятие).

Что за миссия у них в храме, Сильвестр пояснять не стал, поскольку сам не был уверен в ее необходимости, а главное, высоком качестве. Андреев отошел от артистов, снова встал в центре храма и начал разглядывать позолоченный алтарь, пытаясь взбудоражить воображение.

Тем временем Ипполит Карлович устроился в своем кабинете с благоговением и коньяком. Своим любимым — еще с советских времен — коньяком «Арарат». Он приготовился внимать прямой трансляции боговдохновенной речи своего любимого проповедника. Огромный «Самсунг» послушно передавал все, что творилось в храме Николы мученика.

Сам недоолигарх в церковь ходил редко. Зато он тайно установил в храме отца Никодима (с его согласия) несколько камер. Никодимовы проповеди порой пробирали почти до слез. Особенно, если, как сейчас, усилить проповедь коньяком. Отче Никодиме, зная, что за ним следят скрытые камеры, испытывал на службах дополнительное волнение. Быть может, схожее с тем, что чувствуют телеведущие в прямом эфире и артисты во время спектакля. Определить суть этого волнения невозможно, но факт бесспорен: когда отец Никодим понял, что создается видеоархив его проповедей, то воодушевился безмерно и стал еще усерднее исполнять свой священнический долг...

Ипполит Карлович знал, что сегодня состоится отпевание. Он относился к предстоящему действу с должным трепетом. При этом испытывал свой неизменный, даже можно сказать — фирменный — ужас перед смертью. А коньяк был постоянным спутником благоговения и ужаса: поначалу углубляя эти чувства (первая половина бутылки), потом их же и притуплял (вторая половина и последующие стопочки, рюмочки, бокальчики и даже глотки прямо из горла, но уже другой бутылки). Коньяк создавал равновесие, которое не давало чувствам толкать его на поступки. Все ограничивалось религиозно-алкогольным трепетом. Коньяк и отец Никодим поначалу воздействовали разнонаправленно: каждый на

зону своей ответственности. Коньяк лился в желудок, слова отца Никодима — в душу. А потом все смешивалось — дух пьянел, тело благоговело, и Ипполит Карлович засыпал. Часика на три — если это была утренняя проповедь, и до следующего утра, ежели недоолигарх виртуально присутствовал на службе вечерней.

Сейчас он, приняв первые пятьдесят, вдруг заметил на «Самсунге» высокую фигуру, ознаменованную усами. Ипполит Карлович стал с азартом настраивать камеры на увеличение. «Так и есть! Сильвестр. А кто рядом? Дружок Наташи... Кажется, Саша его зовут. К Преображенскому пристроился. А кто под всеми святыми? Иуда! А под распятием? Буддист! Труппа в церкви! Дивны дела твои, Господи!» То приближая, то отдаляя лица артистов, Ипполит Карлович впадал во все большее изумление. Он позвонил отцу Никодиму, который уже выходил к прихожанам. Священник остановился и с недовольством поглядел на мобильный — перед службой и проповедью он реагировал только на звонки высших иерархов и Ипполита Карловича.

— Да-да, — сказал он тоном человека, которого отрывают от самого святого, что, в общем-то, было правдой.

— Слушай. Отец Никодим. А ведь так и есть. Что-то между вашими. Организациями творится. Ток какой-то пробегает. Полный храм актеров налетел. Во главе с Сильвестром.

У отца Никодима воинственно заходили желваки — благо, под бородой это было почти незаметно.

— Ипполит Карлович, я же говорил — он замышляет что-то. Как мне сейчас отпевание проводить? В каждом углу артист.

Ипполит Карлович глухо захохотал, отцу Никодиму тоже показалось, что его слова не лишены юмора, и он слегка подхихикнул (борода и усы скрыли и это проявление эмоции). Но настороженности он не утратил.

— Так ты же хотел чего-то такого. Слияния Церкви с театром хотел. На ловца и зверь. Бежит.

Священник, нервничая, вышел к верующим. Увидел: слева гроб с телом покойного и внушительной толпой родственников вокруг; в центре, отдельно от всех — Сильвестр Андреев «со своими непристойными усами»; неподалеку от гроба, под распятием притаился Ганель с огромной сумкой в руках. Отец Никодим подумал, что там бомба. Но тряхнул головой и таким образом стряхнул эту нелепую мысль. Заметил под иконой всех святых дрожащего Иосифа. Приветственно кивнул ему — единственному из всех. Иосиф, заметив поклон батюшки, ничего не ответил, и снова, трепеща, вознес глаза к куполу. Бог Отец смотрел так же сурово. Иосиф задрожал еще сильнее. Эта дрожь не оставила сомнений: здесь что-то затевается.

Отец Никодим встал подле гроба так, чтобы камеры могли фиксировать все его жесты, все слова. Волнение волнением, но коллекцию пополнять надо. А потому, изгнав страх перед возможными провокациями, он принял решение выступить во всеоружии своих ораторских, артистических и богослужебных дарований. И да разбегутся от лица его собравшиеся здесь бесы!

Отец Никодим обвел толпу строгим и печальным взором. Заметил Сергея Преображенского — с бледным лицом. Неподалеку ютился Александр.

Священник повернулся к стоящему неподалеку молодому дьячку и тихо спросил:

— Как зовут усопшего?

— Раб божий Александр.

Это едва не рассмешило отца Никодима. Но взглянув на лица родственников покойного, на гроб с мертвым телом, он мгновенно изгнал даже подобие веселья из души. Взгляд стал наполняться скорбью. Сменилась поза — он едва заметно сгорбился. Дыхание замедлилось: ритм навевал печаль.

Прихожане отреагировали на преображение священника. Толпа дисциплинировалась, даже шепот прекратился. На отца Никодима устремились взгляды — надежда, скорбь, любопытство. Священник почувствовал, как его наполняет силой присутствие прихожан. Посмотрел на покойника — мужчина лет пятидесяти. Судя по изможденному лицу, долго болевший и умерший в мучениях. Ввалившиеся глаза. Впалые щеки. Волосы странного желтого цвета, как будто их отравили каким-то лекарством.

Отец Никодим посмотрел на Преображенского. «Он как будто в обморок собрался... Выведу его». Мелькнула мысль, что взволнованный Преображенский может проболтаться, зачем здесь собрался весь состав будущей премьеры. Священник подошел к Сергею, погладил его по плечу, спросил:

— Что с вами? Вам нехорошо?

Сергей улыбнулся так болезненно, что отец Никодим понял — толку от разговора не будет. Было очевидно: этот человек находится здесь без задней мысли и дальнего плана.

— Мне плохо. Я потому и пришел. К вам. А здесь...

Сергей осекся. Отец Никодим подумал, что Ипполиту Карловичу тоже сейчас несладко — страх смерти наверняка снова овладел им. «Господи, живут как бессмертные, живут как боги, а едва смерть рядом, то они так растеряны, словно это какая-то новость, словно не ожидали...»

— Вам лучше уйти. Разве нет?

— Нет-нет... Вы же сейчас надежду... Да? Надежду будете давать? На воскресение?

Отец Никодим подумал — не смеется ли над ним этот удивительный артист? Нет. Бледность Сергея, его нездоровый взгляд сомнений не оставляли — автором только что произнесенных, наивных слов может быть только страх. Он еще раз ласково погладил артиста по плечу и отошел.

Ипполит же Карлович тем временем глотнул еще пятьдесят грамм, закусил лимоном, скривился и увидел, как отец Никодим снова подошел к гробу. Взгляд недоолигарха помрачнел, и он налил себе новенькие пятьдесят, поднес ко рту, но передумал: «Так не восприму. Проповеди не восприму. Не будет потрясения», — объяснил он бокалу, почему временно пренебрег им.

Отец Никодим вдохнул церковный воздух. Он взглянул на покойника и тихо, но твердо начал проповедь. И почти сразу начал воодушевляться (или пламенеть, как говорил дьячок Фома, любивший и боявшийся отца Никодима).

— Благословен Бог наш! Этими словами начинается служба отпевания усопшего. Сколько нужно веры, чтобы восславить Бога перед мертвым телом, которое будет сегодня погребено! Взгляните! Близкий человек лежит перед нами. Пройдет час, и мы положим его в землю. Но, скорбя и плача, мы все же восклицаем — благословен Бог наш! Мы говорим так, потому что знаем: гроб не последнее пристанище, но временное жилище. Он не полон ужаса для нас, верующих в воскресение. Потому что мы знаем, что сейчас происходит с рабом Божьим Александром. Сейчас!

Отец Никодим остановился, чтобы всем стал ясен смысл последнего произнесенного им слова. Чтобы собравшиеся ощутили, какое богатство и сила заключены в этом «сейчас». Он только выходил на старт, еще тщеславясь, еще

наслаждаясь производимым впечатлением. Но знал, что наступит момент, когда он забудет и о впечатлении, и о камере Ипполита Карловича.

— Мы видим скрещенные руки, бездыханную грудь и глаза, закрытые словно навечно. Но сейчас, прямо сейчас, в это мгновение, которое для Александра стало вечностью, он предстоит перед живым Богом!

Снова пауза. Благоговейная тишина, которая установилась в церкви, настроила его душу на еще более возвышенный лад. Священник видел, как преобразились лица, как потянулись люди к его словам, ища в них веры. Отец Никодим подумал: «это ведь только слова-легионеры. А скоро в бой пойдут слова-генералы».

— Сейчас для всех, кто собрался у гроба, начинается великое испытание — испытание смертью ближнего. Его смерть может отозваться в наших душах глухим и безысходным отчаянием, она может поколебать нашу веру, она может на долгие годы лишить нас радости. Но для того мы и собрались здесь, чтобы уверить друг друга, что смерть не конец, а дверь, распахивающаяся в вечность. Дверь, за которой ждет нас, каждого из нас — наш Бог. Да, мы собрались чтобы скорбеть, но скорбеть — ликуя! Да, мы плачем о разлуке, но слезы наши полны надежды на встречу. Ибо разлука наша — не вечна. Да, мы будем скорбеть и плакать, но не забудем ни на мгновение о том, что Христос, Бог наш, победил смерть. И я знаю, что, помня об этом, всем сердцем помня об этом, мы сможем без сомнения, без тайного гнева произнести слова молитвы: «Блажен путь, в который ты идешь сегодня, душа, ибо уготовано тебе место упокоения».

Отец Никодим словно вспомнил что-то, давно и тяжело его тревожившее.

— Я часто думаю о той страшной ночи, когда наш Бог уже умер, но еще не воскрес. Вдумайтесь, вчувствуйтесь в то, что происходило более двух тысяч лет назад с теми, кто окружал умершего Христа. И вы, знающие, что Бог воскрес, поймете, сколь светла ваша скорбь. Сколько в ней надежды. А тогда с креста снимали исстрадавшееся, бездыханное тело Христово — кто мог предположить наверняка, что этот крест станет символом торжества над смертью! Представьте — к ногам Богородицы падает тело ее Сына, с запекшейся кровью, с пробитыми руками и ногами, с лицом, застывшим в выражении бесконечного страдания. Все, кто были подле креста, на котором в страшных муках умирал Иисус, слышали его крик — «Бог мой, Бог мой, зачем ты меня оставил!» Разве не зародилось в них сомнение: кто кричит так, сам не может быть Богом!

И я часто, может быть, непозволительно часто думаю о той ночи, когда еще не подтвердилась вера тех, чьи иконы сейчас находятся в нашем храме и во всех храмах по всей земле. Там были Богородица, апостол Иоанн, жены-мироносицы, и тайные ученики Христа — Иосиф и Никодим. Ведь апостолы, кроме Иоанна, побоялись быть рядом с Христом в час его пытки и смерти. Мы празднуем Пасху больше двух тысяч лет, а они, могли они это представить?

Отец Никодим так взволновался, что почувствовал, как перехватывает дыхание. Остановился. Оглядел толпу. Посмотрел в глаза каждому.

— Вот что от нас сейчас требует Бог: смотреть на мертвое тело и не верить своим глазам. Что же поможет нам поверить в истинность совершающейся сейчас встречи усопшего с Богом? Нам поможет великий дар Господа. Дар воображения! Мы взглянем на это опустевшее тело, на сомкнутые веки, на бледный лик и воскликнем — это ложь! А правда — то, что свершается сейчас между тобой, Александр, и вечным Богом. То, что мы видим — обман! То, что невидимо — истина!

Слово «истина» отец Никодим произнес так широко и властно, и так убеди-

телен был, когда требовал «не верить глазам своим», что стоявшие вокруг гроба люди в это мгновение поверили, что лежащее перед ними тело не вполне реально. Его голос стал торжествующим:

— Братья и сестры, помните во все дни, помните, что побеждена смерть! Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?

Усы Сильвестра восхищены.

Долька лимона трепещет во рту Ипполита Карловича.

Иосиф трепещет в такт дольке.

Господин Ганель стоит прямо, как тростник, ветром не колеблемый. Он никогда не был чувствителен к речам о Боге и бессмертии. На короткое время его развлекли совпадения имен — Александр во гробе, тайных учеников Иисуса, оказывается, звали Иосиф и Никодим. Но что бы это значило? Господин Ганель не знал, и, в общем-то, знать не хотел.

Александр уже успел оправиться от того, что покойник — его тезка, и слушал отца Никодима, затаив дыхание, чувствуя, как откликается его душа на каждое слово. Ведь такие слова сегодня можно услышать лишь в этом пространстве, под иконами, при свечах, при наглухо закрытых от суетливого мира дверях. И вдруг он отчетливо вспомнил, что слышал почти то же самое и совсем не в церкви. Это были слова Сильвестра, когда он «изгонял Ганеля из Ганеля». Тогда режиссер рассказывал историю про безответно влюбленного горбуна. Александр вспомнил слова Сильвестра: «Я говорю о презрении к реальности. Я говорю об абсолютной, полной власти воображения. Мы, как герой одной великой пьесы, должны сказать: «Вдохновение выводит меня за пределы здравого смысла». Потому что только там, за его пределами, начинается искусство». Это воспоминание мелькнуло быстро, но не погасло, как это часто бывало с мимолетными воспоминаниями Александра. Оно настойчиво требовало внимания. Пути двоились. Мысли путались. Александр был растерян, он не знал, что ему думать. А потому решил слушать, слушать, слушать.

Сильвестр Андреев не был изумлен — он хорошо понимал, в чем их сходство с отцом Никодимом, и в чем различие. Сейчас, глядя на священника и восхищаясь им, он сформулировал различие так: «Для отца Никодима игра — это путь к истине, а для меня игра — это истина. Вот и разница. Но какой артист! Как от моих актеров добиться такой же подлинности? В каждом слове и жесте? Не впервые же он обо всем этом говорит и думает? А кажется, что слова льются, как будто их рождает не память рабская, но сердце… А как он держит равновесие между свободой и точностью, между дисциплиной и вдохновением! Дар! Причем Божий», — с восторгом думал Андреев, глядя на священника. Таким коршуньим взглядом, в котором смешивались зависть, ревность и восторг, он смотрел только несколько раз в жизни — на великого итальянского актера Ферручио Салери, на француза Марселя Марсо, и вот сейчас, в храме Николы мученика, на отца Никодима.

Тот закрыл глаза и молчал. Все замерли в ожидании новых слов. А отец Никодим стоял с предельно напряженным лицом, словно добывал слова на такой глубине, куда простому смертному не добраться. Сильвестр подумал: «Ни в коем случае я не прерву этот спектакль… Акция отменяется навсегда…»

Ипполит Карлович, который становился все пьянее и все религиознее, пользовался всеми привилегиями подсматривающего — то приближал, то отдалял лицо отца Никодима. На огромном экране лик священника то разрастался до немыслимых размеров (и тогда Ипполиту Карловичу казалось, что и слова отца Никодима становятся больше и мощнее), то сжимался до грецкого ореха

(тогда недоолигарху становилось полегче, серьезность проповеди отступала, и он наливал себе новую порцию коньяка).

Сергей Преображенский внимательно слушал слова о воскресении, о встрече с Богом. Но они меркли перед тем, что Преображенский видел. Скрещенные руки. Желтые волосы. Ввалившиеся щеки. Воображение, которое отец Никодим призывал на помощь вере, в случае с Преображенским подействовало противоположным образом. Ему чудилось: то, что он сейчас видит — становится его частью, властно в него вторгается; желтые волосы, скрещенные руки, впалые щеки — теперь уже с ним, теперь уже в нем — глубоко и навсегда. Казалось, холод церковного пола и холод самого покойника проникают в него.

Ему неудержимо захотелось вырваться из толпы, пытающейся поверить в вечную жизнь. Он неловко повернулся и толкнул плечом старушку, которая посмотрела на него так зло, словно он бес. Как минимум, бес.

Глядя на источающую ненависть старушку, Преображенский подумал: «Какой это священник называл церковных старушек "наши православные ведьмы"? Неужели не вспомню, память разрушается, нельзя мне было так долго смотреть на труп, нельзя было, я же знал, я же избегал, я же на похороны друзей не ходил, что же сейчас...» И уже не глядя на старушек и стариков, отроков и отроковиц, Сергей, как сквозь чащу, стал пробираться сквозь толпу. Верующие расступались с недовольством. Немногие пропускали его смиренно. Какая-то женщина с двумя гвоздиками вдруг всплеснула руками (гвоздики задрожали) и вскрикнула: «Не может быть! Вы! Здесь!» Потом, видимо, сообразив, что церковь не место для подобных восторгов, с восхищенной улыбкой пропустила Преображенского и еще долго искоса поглядывала на него.

Преображенский наконец вырвался из толпы. Увидел, что под колонной стоит Иосиф и с ужасом читает какую-то бумажку. Сергей снова посмотрел туда, где живые пытались уверовать, что тот, кто лежит перед ними, не умер. Издали было заметно, что покойник маленького роста, и потому гроб у него тоже маленький. «Значит, габариты гробов и могил растут только в Америке... Слава Богу... Нам, русским, не придется подписывать бумажки, что мы желаем стать жидкостью кофейного цвета... Будем по старинке разлагаться и скелетироваться».

Ирония не помогла. Он закрыл глаза. Прислонился лбом к холодной колонне. Холод подействовал угнетающе. И Сергей почувствовал, что нет ничего за пределами этого гроба, ничего, кроме щек-волос-рук, кроме ужаса, который разрывает ему душу.

Отец Никодим продолжал:

— Сейчас, стоя перед мертвым телом Александра, мы должны осознать — вот наше неизбежное будущее. Вот чем все закончится, какими бы ни были наши пути. Ведь куда бы ни шли, мы идем к смерти. И перед этой страшной реальностью разве не рассыплется в прах все, чем мы живем? Разве не останется лишь самое главное, самое важное? Что же останется? Любовь. Только ею мы спасемся. Только ее сможем предъявить Господу на Страшном суде. Ведь не о постах же, не о молитвах мы расскажем Богу! А о том, как мы, живые, обращались с другими живыми. Исполнили мы единственный завет или нет? Любили ли мы? Радость и надежда, которую мы принесли другим — только они будут свидетельствовать за нас, когда Господь спросит: на что ты потратил жизнь, которую Я дал тебе?

Любовь между нами и сложна, и трудна, и так часто заглушается суетой, но она нам понятна. Все мы в той или иной мере испытали любовь других людей и любили. И поблагодарим Бога за те мгновения, когда совершалось это чудо

любви, и мгновения не распыляли ее, а продлевали, и любовь действовала в нас, оставляя в нашей жизни дивный, никогда не исчезающий след. Но есть непостижимый аспект любви: Бога к человеку и человека к Богу. Что же происходит сейчас между Богом и сотворенным им человечеством? Страшный период. Невиданный. Бог испытывает к нам безответную любовь. Не надо унижать нашего Господа абстракциями. Он живой, и он страдает от безответной любви.

Что обычно делает человек, когда безнадежно любит другого человека? Он порой проявляет себя, нелепо и робко, давая понять — я здесь, я люблю тебя, но не хочу тебе мешать, не хочу навязываться. Так и Бог наш порой проявляет себя через образы, в которых трудно даже предположить Его присутствие. И в такие мгновения, когда Его не ждешь. И так робко, что Его можно не заметить. Потому что Он не желает нам навязываться.

Божественная неловкость в попытке обратить на себя внимание — вот какой исторический период мы переживаем. И вдруг, порой в самой прозаической ситуации, нас охватывает чувство Его присутствия. Но чувство проходит, мгновение не удерживается, и остается лишь воспоминание о том, что жизнь исполнена глубины, что мы окружены и пронизаны вечностью.

Александр вспомнил свое мгновение — подземный переход, господин Ганель исчезает в толпе, голос Сергея раздается из телефона. Вспомнил и чувство счастья, пришедшее ниоткуда, не имеющее причин, но пронизывающее все тело. Неужели нужно понимать смысл этого мгновения так высоко, как говорит отец Никодим?

Но когда священник говорил, что на отсутствие любви можно ответить только страданием, в Александре отозвалась его неутомимая мука. Он снова подумал о Наташе. Не подумал даже, а почувствовал сразу все, что с нею связано — от давней радости первой встречи до нынешнего страдания. Он мысленно — за несколько секунд — увидел их совместный путь: от встречи у театра, когда ветер спровоцировал его на хулиганство с юбкой, до последнего разговора — «ты пойми, нет, ты пойми». Ему показалось неправдоподобным, что она сейчас с мужем.

— Будем же дорожить каждым мгновением и страшиться каждого мгновения, ибо сколько бы ни обманывало нас время, сколько бы ни обманывал нас опыт непрекращающейся жизни, одно из мгновений станет последним. И если мы, пока живые, откликнемся на слово Бога только чувством, всего лишь умилимся и ничего не сделаем, то мы должны признать: мы — мертвы. Мы, а не тот, кто сейчас лежит перед нами! О нем мы не можем ничего знать, он пребывает в великой тайне, имя которой — Бог.

Наша душа, лишенная любви, наглухо закрытая для веры, разлагается, гниет прямо сейчас, в это мгновение. Мы сами — гроб для нашей души. А душа почившего раба Божьего Александра принята Господом, Он любовно вглядывается в нее. И Александр сокрушается о днях, которые потратил на что-то, кроме любви. И понимает, что ничего, ничего уже не может исправить, и надеется только на милосердие Божие.

Мы же — можем исправить! У нас есть время. Посмотрите на великое богатство времени, на дни, которые распростерлись перед нами, они у нас есть, они наши, наши до каждой секунды! Неужели мы потратим их на то, чтобы доказать Богу, что он был неправ, создавая нас? Какое нелепое, ущербное желание отчаявшейся души!

Неужели мы скажем Господу, когда придет и наш час — я мог любить, но

испугался, я мог сделать столько добра, но было много других дел, я отдал свой талант и свое время тем, кто даже не взглянул в мою сторону, я был слепым и искал признания слепцов! Вот, Господи, моя жизнь, суди меня! И Бог будет молчать, и мы будем молчать, и не будет ничего страшнее этой тишины. Ибо ничего, ничего уже нельзя будет исправить.

Отец Никодим, все более вдохновляясь собственной речью, проживал глубоко каждое свое слово, видел каждый образ. Его волнение передавалось тем, кто окружал — теперь уже не гроб с телом, а священника. Подошел к нему и Преображенский — слова о любви заставили его приблизиться. Отец Никодим был уже далек от того, чтобы тщеславно примечать такие мелочи. Он забыл о камерах Ипполита и о том, что Сильвестр что-то замышляет.

— И о себе скорблю я, ибо не могу идти путем любви! Не пускают меня грехи мои, и тщеславие мое, и гордыня. И о любви я говорю не только вам, собравшимся вокруг меня, я это говорю и себе. В первую голову себе говорю, сам себя пробуждаю. Я и сеятель, я и поле. И вам, вам, я хочу сказать, что знаю и чувствую, как велика любовь Бога и как сладко пребывать в ней, но нужна решимость. Нужна решимость! То, чего нет больше у наших мужчин, то, что исчезло из нашей жизни вместе с верой и надеждой. Не потому ли исчезли надежда и вера, что у мужчин истаяла решимость? Решимость быть? Мужчина сейчас перестает быть мужчиной, потому что боится встать в полный рост и сказать: «Это я, Господи!» Мы прячемся по норам и углам, и даже во грехе ведем себя, как шкодливые дети! Посмотрите, есть ли среди нас те, кто живет прямо, кто ходит не извилистыми тропами, кто не отрекается от себя по десять раз на дню? Есть ли среди нас мужчины, которые сохранили верность хотя бы себе?

На нас, на мужчинах лежит миссия предстояния перед Богом. Женщинам это не по силам, какой бы силы ни была эмансипация. Но они так же, как мы, страдают от разлуки с Богом. В беспомощности своей они могут только тосковать, что их мужья не исполняют положенного им предназначения, что рассыпают себя в песок мелких дел.

Сильвестр подумал: «И этот человек помешал моему спектаклю! Да он бы мог сам, при желании, дополнить его мыслями об истощении мужского начала... В богословском аспекте... И разве я бы отказался от такого консультанта? А как великолепно, как вовремя он заговорил о себе и своих грехах — как раз когда все начали уставать от проповеди! И — раз! — в одно мгновение она стала исповедью. И все снова потянулись к его монологу! Все точно, божественно точно. И вот так же точно, безошибочно он загубил мой спектакль!» — с тяжелой ненавистью посмотрел он на отца Никодима.

Ипполит Карлович слушал проповедь, пил «Арарат» и чувствовал, как пронзительные слова, подкрепленные спиртным, будоражат его душу. Он снова, как и всегда, когда евангельское слово сливалось с коньяком, хотел отказаться от своих миллионов, пожертвовать их, отдать, раздать, отправиться странничать, жить отшельником, питаться кореньями, обрести, наконец, смысл и не бояться неотвратимой смерти. Но пройдет несколько часов, коньяк улетучится вместе со словами отца Никодима, и Ипполит Карлович, мрачный, сядет в свою машину, поедет на одно из своих предприятий, соберет совещание, будет медленно и

страшно говорить, и пугать всех ритмом своей речи, и светиться многомиллионным нимбом, и тосковать, и желать большего...

Большой экран передавал то, что не было видно стоящим вдалеке прихожанам. Глаза священника сверкали вдохновением; он сделал глубокий вдох и сказал:

— Мы, раздробленные на части, мы очень сложны, мы адски противоречивы, а есть очень простой способ избавиться от мучающих нас противоречий.

Иосиф, который уже поставил мировой рекорд по беспрерывному дрожанию, услышал близкое ему слово и как-то странно повел носом в сторону проповедующего — словно начал не вдумываться, а внюхиваться в смысл того, что говорит отец Никодим.

— Если в вас будет любовь, вы не будете знать противоречий, не будете мучиться вопросом, как поступить. Вам не будет мерещиться, что все пути верны. Я имею в виду не любовь-страсть, не любовь-увлечение, а жертвенную любовь, любовь дающую. Только полюбив вот так, без оглядки и расчета, не вкладывая свои чувства будто в банк в ожидании процентов, мы можем уже сейчас, на земле причаститься вечности. И тогда мы погибнем навсегда для раздробленного на части, истерзанного противоречиями мира, живущего в иллюзии, что между одним человеком и другим есть различие. А если его нет, то о каких противоречиях может идти речь?

Итак, запомните, есть лишь один закон — закон любви. И мы должны его исполнить, ведаем мы его или не ведаем. Ведь не знающий божественного закона не освобождается от ответственности.

Сильвест радостно улыбнулся: «Прокол. Ну, слава Богу! А то я уж подумал, что есть в мире совершенство, и мне надо идти к Никодиму в ученики. "Незнание божественного закона" — домашняя заготовочка. Дешевый калабмурчик! Совсем не на уровне предыдущего монолога. Лажа! Уф...»

— В человеческой любви самые незначительные слова и жесты имеют безмерный смысл. Разве не то же самое происходит в любви Бога к своему созданию? Бог есть любовь, и наши незначительные жизни в свете Его любви к нам обретают безмерное значение. Бог безграничен, а потому перед его лицом нет ни малого, ни великого. И самый великий для него — мал, и самый маленький — велик. Бог, когда жил с нами на земле, показал нам, что нет людей, которые бы не стоили любви. И нет ничего подлее словосочетания «маленький человек». Наш Бог показал нам, что в этих словах нет ни логики, ни совести. Бог есть, а потому нет маленького человека.

Александр слушал во все уши и смотрел во все глаза. В нем совершался переворот. Он всегда пленялся силой, любой силой, и сейчас происходило то же самое. Но было и существенное отличие — перед ним открывался путь, на котором разочарование в человеке не будет окончательным разочарованием. Это Александр, столько раз ошибавшийся в людях, столько получивший от них боли, чувствовал безошибочно.

На Сергея Преображенского неотразимо подействовали слова о любви. Воскрешение, встреча с Богом — всего этого он не понимал, не чувствовал. Любовь же людей, которая давала ему чувство избранности и бессмертия — в ней он разбирался прекрасно. Он покосился на женщину с двумя гвоздиками — так и есть, она смотрит на него, и взгляд ее восхищен. Проповедь отца Никодима воздействовала на нее меньше, чем его присутствие! Преображенский снова ощутил потоки любви, которые как будто возносили его над смертью, и встал

перед иконой Богоматери — начал креститься и кланяться, помня о тысячах любящих его.

Сильвестр, зорко наблюдая за выражением лица батюшки, за его жестами и паузами, восхищенно покачал головой и инстинктивно поднял руки для аплодисментов, но вовремя осекся, вспомнив, что аплодисменты — сигнал к наступлению. Однако, господин Ганель, нервы которого были уже на пределе (поскольку отсекать от себя все происходящее, сосредоточившись только на режиссерском задании, стоило ему все больших усилий), принял поднятые для оваций руки Сильвестра за сигнал к началу боевых действий.

Он мгновенно открыл сумку, достал фейерверк и поджег фитиль. В церковной тишине послышался треск. Вверх взвились красные, зеленые, синие линии. Под куполом они превращались в цветы. Цветы один за другим распускались и тут же гибли. На их месте появлялись новые, которые жили не больше секунды.

Верующих сначала охватило смятение. Но очень быстро на смену ему пришел гнев. Испускающий цветы карлик нарушал установившийся для всех священный покой. Господин Ганель, подле которого давала залпы цветочная артиллерия, видел, как сгущаются вокруг него ряды прихожан, и отнюдь не любовью светились их лица. Иосиф начал на мелкие кусочки рвать грамоту.

Отец Никодим был изумлен этим вопиющим ребячеством. Он даже не верил, что Сильвестр сам — сам! — дал ему в руки такое оружие против себя. Священник заговорил властно:

— Здесь присутствуют артисты одного из лучших наших театров. Они пришли поглумиться над таинством отпевания. И совершенно напрасно господин Андреев сейчас ухмыляется в свои усы.

Сильвестр же и не думал ухмыляться, но ход отца Никодима понял сразу: священник давал толпе понять, где находится ее настоящая жертва, ее подлинная цель. Люди послушно потянулись в сторону человека с усами.

Господин Ганель, не в силах даже представить, чему сейчас может стать свидетелем, беспомощно взвизгнул:

— Это я все затеял, я! Один!

Этот крик изумил даже самого господина Ганеля. От волнения он взял неожиданно высокие ноты, попросту говоря, запищал. Услышав этот писк, некоторые из прихожан заулыбались. На этом крике, вызвавшем улыбки на хмурых лицах, последний цветок взвился под купол, вспыхнул и угас под суровым взглядом Бога Отца.

Отец Никодим наслаждался растерянностью Сильвестра, которого стала окружать толпа, правда, с гораздо меньшим энтузиазмом, чем карлика. Во-первых, господин Ганель был чужд и странен, а во-вторых, как ни крути, а проще все-таки верить в то, что ты видишь, чем в то, что говорит отец Никодим. Может, Сильвестр и не зачинщик вовсе, а просто высокий дядя с усами? Тем более что и карлик пищит: «Я все затеял, я!» Почувствовав настроение толпы, отец Никодим повел свою речь к вершинам великодушия.

— Остановитесь! Не трогайте их! Я прошу у Господа одного — прости им, ибо не ведают, что творят.

Сергея Преображенского ошеломили цветы под куполом церкви. Возмутил запах гари. Он почувствовал, что свершилась катастрофа, почувствовал ненависть к тому, кто был ее причиной. Желая отомстить за разрушенное им благоговение перед любовью, он сказал карлику презрительно:

— Убожество!

И добавил:

— На такую гадость способно только мстительное убожество.

Преображенский был красив в своем презрении к кощунству. Он знал это, он нравился себе, нравился окружающим. И был искренен.

Господин Ганель стоял прямо, смотрел гордо. Но то, что творилось в его душе, не имело отношения ни к гордости, ни чему бы то ни было подобному. Он огляделся — можно ли двинуться к выходу? Вроде бы да. Господин Ганель сделал шаг, и Преображенский отшатнулся от карлика, как от какой-то заразной твари. Он сам уступил ему дорогу, отошел в сторону, скорбя по утраченным чувствам, и больше всего боясь, что в нем снова установится бесконечный ужас перед смертью.

Сильвестр двинулся в сторону господина Ганеля, и они, провожаемые брезгливыми и осуждающими взглядами, вышли из церкви. Иосиф же остался под иконой Всех святых. Александр увидел клочки бумаги, разбросанные на полу, и понял: это — свидетельство очередного отречения Иосифа.

Отец Никодим обратился к Сергею — так, чтобы слышали все:

— Я понимаю твой гнев. И все мы помним, как Господь изгонял торговцев из Храма. Но нельзя ни к какому человеку, сотворенному Богом, обращать такие слова, какие только что сказал ты. Даже если этот человек преступил закон. Господь сам наказывает и сам награждает. Не пытайся сделать это за него.

Сергей с благодарностью посмотрел на отца Никодима. Александр заметил это. Ипполит Карлович дождался, когда Андреев выйдет из церкви. Гневно вращая пьяными глазами, набрал его номер. На мобильном Сильвестра засверкало «Ипполит».

— Ну что, господин Ганель, послушаем, как исчадие ада читает нам мораль? Или убережемся от радиации? Говорят, телефон радиоактивен. А тут будет двойное облучение — радиоволны и проповедующий черт. Ну его, а?

Господин Ганель одобрительно кивнул головой. И Сильвестр нажал на сброс вызова. Такое случилось в первый раз за семилетнюю историю звонков недоолигарха своему режиссеру.

Ипполит Карлович от изумления рухнул в кресло. Перестал вращать глазами. Перезванивать он не мог: второй сброс вызова хуже пощечины. Но гневные слова, которые он хотел высказать Сильвестру, жгли нутро. Он должен был от них избавиться. Он набрал номер отца Никодима. Тот, хоть находился еще в церкви, ответил. Ипполит Карлович сразу взял быка за рога.

— Тут говорят. Фейерверками ты в храме. Балуешься. Уже начал. Храм в театр. Обращать. Хотел-то вроде наоборот.

И тут случилось второе чудо. Отец Никодим, не сказав ни слова, нажал на сброс. Ипполит Карлович подошел к «Арарату», склонился над бутылкой, взял ее в рот, поднял зубами и выхлебал остатки коньяка. Снова рухнул в кресло. Вместе с коньяком по его телу расползалось приятное чувство. Ему понравилось, что и режиссер, и священник отшвырнули его звонки. Значит, есть еще что-то помимо него. Это раздражало, но и внушало надежду. И он решил поступить в соответствии со своими непростыми чувствами — отца Никодима наказать, поощрив, а Сильвестра — поощрить, наказав.

— Короче, будет так! — объяснил он коньяку. — Сильвестр у меня на амвон выйдет, а Никодимка спектакль поставит. А то чего они вокруг да около ходят? Пусть каждый свою мечту исполнит. Только без нюансов. Надоели нюансы. Одного — на амвон, другого — на сцену. Все. А иначе зачем мне столько, — Ипполит Карлович смачно икнул, — денежных средств?

«Арарат» одобрительно сверкал пятью звездами. Как-то нагло, по-гене-

ральски сверкал. Ипполит Карлович решил смирить его. Стал засовывать в горлышко бутылки лимонные дольки. Через семь минут — Ипполит Карлович засекал время — он втиснул в бутылку весь расчлененный калабрийский лимон.

И заснул тут же, на диване. Удовлетворенный.

Однако губы нам даны на что-то?

Скандал в кабинете Андреева был грандиозным. С кошмаром внезапных пауз, обрываемых дерзким хохотом. Боролись они несколько часов — наплывающая тишина и разрывающий ее хохот. Победителей не было. Прощались Сильвестр и Ипполит Карлович в приемной. Сухо и нервно.

— Следующий. Сезон, — начал было Ипполит Карлович, но Андреев перебил его гримасой недоумения — мол, для нас с вами не может быть ничего «следующего».

Ипполит Карлович вышел из приемной. Глаза Сциллы Харибдовны сверкали страхом и гордостью.

В машине Ипполита Карловича ждал отец Никодим: в руках — четки, в глазах — любовь. Ипполит Карлович сел, и «майбах» качнулся. Священник с шофером почувствовали: в недоолигарховой груди клокочет буря. Но Ипполит Карлович крайне редко принимал решения в гневе. Глядя на черную обивку переднего сиденья, он процедил:

— Дадим ему сыграть. Премьеру. Сейчас не прерву.

— А потом? — рассеяно спросил отец Никодим.

— Станешь ты владыкою. Морскою.

Отец Никодим, глядя в сторону (нежно), сказал (легко):

— Ипполит Карлович, мне этого не нужно. Пусть каждый останется при своем. А после Бог нас рассудит.

Ипполита Карловича залила злоба. Эти двое — режиссер и священник — словно сговорились во всем ему перечить. Недоолигарх почувствовал, что ни за что на свете не позволит Сильвестру остаться на посту. «Но как его сейчас, перед премьерой снять... Раскричатся деятели культуры... Завопит свободная, мать ее, пресса... А тут еще этот отче выпендривается... — Недоолигарх неотрывно смотрел во тьму переднего сиденья. — Надоели... Хуже пареной репы... То есть горькой редьки».

Ипполит Карлович покосился на глядящего (ласково) в окно отца Никодима и фыркнул шоферу (с ненавистью): «Домой!»

«Майбах» рванул. Из-под колес полетели грязь и снег...

Назначением Наташи на главную роль Сильвестр добился своего — выставил напоказ пагубное влияние на театр Ипполита Карловича. Смотрите, мол, до какого кошмара недоолигарх довел всемирно известную труппу! Даже я, Сильвестр Андреев, устал сопротивляться его причудам и порокам и вынужден дать главную роль его ублажительнице. По театральной Москве поплелись разговоры, что Ипполит Карлович «оборзел окончательно», что он мешает «гению творить». Все эти соображения и события не устраняли недовольства Сильвестра Наташей, которая «на самом-то деле недостойна даже тенью пройти по задворкам моего спектакля». Во всем остальном спектакль был безупречен. Как сформулировал господин Ганель, «это великолепный корабль, в котором возникают гигантские пробоины, когда появляется Наташа. И он идет ко дну. Но едва

Наташа покидает сцену, он снова всплывает, блестит на солнце, подставляет ветру свои флаги».

...Вечером, после очередной репетиции, в которой участвовала Наташа, Александр снова взял в руки дневник. Тибальта он играл, как уверял Сильвестр «сносно, хотя хотелось бы побольше ярости».

Александр видел, в каком окружении оказалась его подруга: равнодушная агрессия Сильвестра, скрытое, но ощутимое презрение Преображенского, зависть труппы, ждущей, когда она оступится.

«Когда она стояла на сцене и смотрела на Сильвестра взглядом ко всему готовой жертвы, я понял — я ответствен за нее. Разве я оставлю Наташу барахтаться в ее ошибках и заблуждениях? Разве я могу злорадно желать ей плохого? И наблюдать, как ее постепенно будут растаптывать? Наташа даже сама не знает, насколько нуждается в защите и помощи. И уж точно не мечтает принять их от меня. Ну и что же? На то нас и двое. Чтобы один был глубже другого. Чтобы помнил о главном».

В памяти прозвучали слова отца Никодима: «Только полюбив без оглядки и расчета, не вкладывая свои чувства, словно в банк в ожидании процентов, мы можем уже сейчас, на земле, причаститься вечности».

Он вспомнил, какой свет источал Никодим, и с еще большей решимостью начертал: «В конце концов, и бескорыстие, и самопожертвование, хоть и осмеяны, но ведь имею же я право проявить их хотя бы тайно? Имею право хоть от себя не скрывать таких порывов? Что же, в конце концов, за стыд нас всех одолел? Дерьмо друг другу показываем едва ли не с гордостью, а если испытываем высокие чувства — прячемся, как если бы нам нужно было в туалет. Все перевернуто, все извращено — стыдимся хорошего, гордимся плохим. И вот сейчас я пишу так свободно лишь потому, что знаю: в любой момент я все это могу запятнать иронией и сказать — «да ладно, все это так, души прекраснень-кий порывчик». А вот нет. Так не будет. ТАК НЕ БУДЕТ».

Александр решительно поставил точку. Символическую. Точку, которая отрезала возможность пути назад.

Пролетела еще неделя репетиций. Наташа все глубже сознавала, что не дотягивает до уровня Сильвестровой труппы. Перед Преображенским она преклонялась, и потому ее не ранила слишком очевидная разница в дарованиях. Напротив, своим преклонением она как бы причащалась его таланту. Но она видела, как великолепно были подобраны Сильвестром индивидуальности в труппе, видела, что едва ли не все актрисы одареннее ее. В своем назначении она начинала подозревать какую-то жестокую насмешку над собой и над труппой.

Мысли об Александре она прогоняла, но они возникали помимо ее воли.

Она спасалась тем, что шептала монологи Джульетты. Жизнь и смерть этой тринадцатилетней девочки были ей более понятны, чем то, что происходило с ней самой.

Рука Александра со все большей легкостью порождала слова. Грешным делом, он начал подумывать — не стать ли ему писателем? По крайней мере, он все настороженнее относился к делу, которому отдал жизнь.

«Я читаю, упорно читаю, хоть мне и часто скучно, жизнеописания святых. Замечательные слова я там нашел: «держаться в вере». Сколько упражнений, ухищрений существует для того, чтобы держаться в вере! Разработаны тактика и

стратегия борьбы с соблазном. Чтобы держать в памяти сердца те мгновения, когда Бог явил себя».

На кухне голодно мяукнул Марсик. Александр за чтением святых книг совсем забыл о нуждах своего питомца. Он вышел на кухню, подхватил голодающее животное на руки и поцеловал в нос. Но кот не ответил любовью на любовь — ему была нужна не ласка, а еда. Александр положил неистово размахивающего хвостом Марсика на пол, открыл холодильник, и понял, что ничего кошачьего там нет. Разве что сметана? Он вытащил поллитровую банку деревенской жидкой сметаны и вылил ее в кошачью миску. Марсик благодарно заурчал и с голодным азартом воткнул морду в сметанное озеро...

Наконец пир Марсика, как все хорошее, закончился. Александр, удовлетворенный сытым видом кота, продолжил свои театрально-религиозно-любовные исследования: «Веру поддерживают молитвами, службами, постами. Поддерживают ее и общением между верующими, которые уверяют друг друга, что Бог есть. В театре существует отточенная веками техника пестования таланта и удержания вдохновения. Любовь же, возникшая однажды, оказывается оставленной на произвол судьбы. И нет сомнений, что судьба этот произвол обязательно применит — рано ли, поздно ли. Как монах обороняет свою веру от соблазнов, так я буду оборонять свою любовь. Как актер взращивает образ, лелеет, обдумывает во всех деталях, отсеивает лишнее, так и я буду взращивать свою любовь. Я буду держаться в любви, как актер в образе. Сначала! А потом, когда научусь любить, я буду держаться в любви, как в вере. Есть система управления вдохновением — система Станиславского. Нас ведь не смущает — ах, он посягнул на божественное! Необходимо создать систему удержания любви. Я посвящу этому оставшееся у меня время».

...Денис Михайлович, лежа в постели рядом с Наташей, впервые за несколько недель позволил себе протянуть руку. Наташа ощутила, как ладонь мужа робко коснулась ее запястья. Поднялась выше.

Плечо.

Шея.

Волосы.

Наташа вскочила с кровати.

Денис Михайлович забормотал «извини, извини».

Наташа села. Вгляделась в темноту — даже глаз Дениса Михайловича не было видно. Похоже, он их закрыл, не желая видеть, что предпримет его супруга. А Наташа не знала, что можно предпринять. Разводом она уже грозила. Уходила. Изменяла. Жила с другим. И вот она снова рядом с этим «всепринимающим пустым местом».

Ей страстно захотелось на сцену.

Она легла на край кровати.

Денис Михайлович старался не дышать, чтобы ничем не проявить своего присутствия. О том, чтобы снова отправить руку на разведку он и не помышлял. Решил, что такое путешествие он попробует предпринять только через несколько недель. Он был бесконечно унижен. И счастлив.

Джульетта меня обвиняет

Во время репетиций Александр сидел, как всегда, в пятом ряду. Наташа уже не могла игнорировать его присутствия, чувствовала поток обращенных к ней слов — «я есть, я тебя люблю, я тебя жду». Раньше Наташа хотя бы временно избавлялась от хаоса, играя Джульетту, бесстрашную максималистку, бесповоротно решившуюся любить. Теперь все изменилось. Юная Капулетти так крепко вошла в сознание Наташи, что однажды она подумала: «Джульетта как будто меня обвиняет, что ли?» Эта мысль ни на секунду не показалась ей нелепой или смешной.

Она выходила из метро, повторяя слова своей героини: «В минуте столько дней, что, верно, я на сотни лет состарюсь, пока с моим Ромео свижусь вновь». К кому ей обратить эти слова?

И она поднималась по лестнице, и заходила в дом, и здоровалась с Денисом Михайловичем, который как будто уменьшался в ее присутствии, робел, и ей даже не верилось, что человек может так решительно и бесповоротно отказаться от достоинства. Ей становилось так жалко мужа, что она несколько раз попробовала его приласкать. Он был изумлен и даже напуган ее ласками.

Хилое, червивое чувство, которое она испытывала к мужу, угнетало ее. Ей не хотелось жалеть. Теперь этого было мало. Наташа преображалась. В артистическом смысле она оставалась столь же бескрасочна. Однако паразит, заселенный в нее Шекспиром, требовал, чтобы она жила другой жизнью.

Александр в общении с коллегами становился все ровнее. Актеры находили, что он стал скучным, а он все меньше желал кому-то понравиться. Возможно, в нем рождалось что-то новое, но артист погибал — ведь артист для того и выходит на сцену, чтобы быть любимым.

Тем не менее Тибальта он играл «очень пристойно», как ему сказал, встретив его у гримерной, Преображенский. Было видно, что Сергей очень устал, и сумятица последних репетиций утомляет и раздражает его.

— Мы должны после премьеры напиться. Просто обязаны, Саша...

— Конечно.

— Ни один спектакль мне так не давался. Все наперекосяк! И неясно, зачем все это? Я от таких предложений в кино отказываюсь уже который месяц! А зачем? Чтобы поучаствовать в чужой игре! Пользуясь нами, Сильвестр мстит Ипполиту. Ты же это понимаешь?

— Это, мне кажется, все понимают.

— И еще что-то затеял с Ганелем, как будто мало ему назначения этой... Извини... — Саша махнул рукой, мол, не извиняйся, проехали. — Я утром просыпаюсь и чувствую, что мне необходимо все это прекратить. А потом прихожу сюда, вижу гримерную, мой костюм, и так играть хочется... — Преображенский улыбнулся. Как показалось Саше — виновато.

Он знал, что Сергей никогда не откажется от такой роли. Никогда не откажется от работы с Сильвестром, хоть и чувствует себя оскорбленным. И потому Александр сказал:

— Терпеть недолго осталось. А после премьеры напьемся так, что сможем проходить сквозь стены.

— В смысле? Как это?

— А вот увидишь.

— Обещай.

— Обещаю!

Рукопожатие было крепким.

И Саша записал вечером в дневнике «Может быть, люди и смертны. А их чувства — нет».

Пожарная безопасность — вот наше спасение

За день до премьеры Иосиф, не выдержав груза тайны, позвонил отцу Никодиму. Звонил он из своего кабинета по служебному телефону — Иосифу казалось, что этот дряхлый советский телефон не способен разболтать никаких секретов. Потускневший от времени телефонный аппарат вызывал у Иосифа безоговорочное доверие. А значит, он вполне годится, чтобы, пользуясь им, предать.

Священнослужитель был, как всегда, у Ипполита Карловича.

— Отец Никодим. Отец Никодим. Отец Никодим. Это Иосиф. Иосиф.

— Слушаю вас.

— Я буду краток. Краток.

— По началу не похоже, — хохотнул священник.

— Тут репетируют не только Ромео... Тут что-то готовится кроме... Я точно не знаю... Один раз только слышал... Подслушал случайно... Намеренно случайно... Против вас что-то... Прямо на сцене будет...

— А почему тянули? — В голосе отца Никодима сверкнула сталь.

— Не знаю я, не знаю, я запутался тут окончательно, это все выше моих сил...

Почему-то Иосиф захотел добавить: «Я как свинья в лабиринте», — но вовремя остановился. Сказал только:

— Не мог говорить, и молчать не смог...

И подумал: «Вот сейчас положу трубку, и все будет кончено». И захотел длить и длить разговор, слушать и слушать голос отца Никодима, чтобы чувствовать себя хоть кому-то союзником.

— Иосиф Матвеевич, премьера ведь завтра?

— Завтра, — ответил Иосиф и вздохнул.

— Спасибо вам.

Иосиф облизал тонкие губы и сказал:

— А... а поговорите еще со мной...

Отец Никодим в раздражении возвел очи к потолку высокого зала.

— Иосиф Матвеевич, вы крещеный?

Иосиф смутился. Забормотал:

— Говорят, меня бабушка крестила тайно от еврейских родственников... Она умерла, когда мне было пять. Крошка такая... Был я... Так никому бабушка и не сказала точно, христианин я или... совсем наоборот... Потом родители меня обрезали... Мама кричала... Папа... Не кричал... А когда я встретил в институте друга школьного, он читал Коран и сказал мне: «Мусульманин вдовеет постепенно», — и мне это так понравилось, что я пришел в мечеть...

— Иосиф Матвеевич, — сверкающая сталь в голосе священника, как показалось Иосифу, обратилась в саблю, — вам нужно или к врачу, или ко мне. Выбирайте сами. Бог вам в помощь.

И отец Никодим нажал на сброс звонка. Иосиф еще долго слушал телефон-

ные гудки, звучащие из старого советского аппарата. Они были то тише, то громче, то короче, то длиннее... То тише, то громче, то короче, то длиннее. То тише, то громче, то короче, то длиннее... И взвыл Иосиф — даже в гудках согласия нет. Нет — даже в гудках! — гармонии.

Отец Никодим выразительно посмотрел на Ипполита Карловича. Тот мрачно спросил:

— Ну? Что хрен грядущий. Нам готовит.

— Я предупреждал вас.

— Я больше всего. Ненавижу. Когда кто-то мне так говорит.

— Ипполит Карлович, надо запретить премьеру. Сильвестр готовит что-то кроме «Ромео и Джульетты».

— Кроме того. Что в газетах уже пишут. Что я своих бездарных любовниц на главные роли ставлю. Какой еще компромат может приготовить этот. Паяц.

— Не знаю, не знаю, и Иосиф не знает. По всему видно, что-то против нас. Против вас!

Отец Никодим показал на пригласительный билет, присланный Сильвестром вместе с личным письмом — приглашаю, мол, жду, приходите всенепременно. Ипполит Карлович посмотрел туда же. Пригласительный был пафосный, с золотым тиснением.

— В этом золоте кроется наш позор! — воскликнул отец Никодим.

— Он не осмелится, — сказал Ипполит Карлович и понял, что осмелится, и еще как.

Вдруг лик отца Никодима просиял.

— Ипполит Карлович, есть же пожарная безопасность! Пришлите инспекторов! Пусть закроют театр, пусть отложат спектакль по своим противопожарным причинам!

Недоолигарх задумался и одобрил:

— Мысль.

— Мысль! — воодушевился священник и восторженно воскликнул: — Противопожарная мысль!

— И после этого. Я его уволю.

— Пожарная безопасность — вот наше спасение!

— Аминь, — сказал Ипполит Карлович.

Сцилла Харибдовна контролировала все, что происходило в кабинете Иосифа. Раньше это был кабинет директора, с которым Сильвестр переговаривался по аппарату внутренней связи. Когда Иосиф гордо заселился в кабинет, режиссер приказал оставить аппарат круглосуточно включенным. Так, чтобы все звуки из Иосифова логова были слышны Сцилле Харибдовне.

Дослушав до конца сбивчивый донос Иосифа, Сцилла Харибдовна без стука вошла в кабинет Сильвестра. Небрежно кивнула господину Ганелю (ревность не проходила, и секретарша не могла ее скрыть даже в присутствии режиссера), встала напротив Сильвестра и торжественно объявила:

— Все как вы предсказывали. Не выдержал.

— Но ведь как долго крепился! — улыбнулся Сильвестр. — Эксперимент удался, друзья мои, эксперимент удался...

Он откинулся в кресле и закрыл глаза. Достал мобильный, приоткрыл левый глаз, нажал на какую-то кнопку, закрыл глаз и сказал ласково:

— Иосиф, зайди ко мне, дорогой.

Господин Ганель заворчал:

— Я же предупреждал же...

— Ты ведь знаешь, я ненавижу, когда мне так говорят.

В проеме двери нарисовался Иосиф — взгляд потерянный, голова склоненная, ладошки потные.

— Я выпишу тебе премию, дорогой. Крепился ты сказочно долго.

На лице Иосифа — смирение и печаль. На плечах Иосифа — серый свитер. В душе Иосифа — жажда бури. Бури, которая вбросила бы его в круговорот событий. А события заставили бы его забыться. Но событий он ждал напрасно. Сильвестр обрек его на пустоту:

— Все, иди, дорогой.

Иосиф повернулся задом к режиссеру, потом повернулся лицом, и, медленно пятясь, утек. Когда дверь за ним закрылась, Сильвестр сказал:

— Ну что же, наши огневые позиции засечены врагом... Прекрасно. Светочка, у меня... — Сильвестр остановился. — А вот это уже будет лишнее. Посмотри, дорогая, не подслушивает ли наш виртуоз?

Сцилла Харибдовна резко открыла дверь, надеясь расшибить Иосифу лоб. Но дверь рассекла только воздух.

— Я так и думал. Все, Иосиф закончился, друзья мои. Так. У меня вечером эфир на Первом канале. Я его отменить хотел, но Иосиф не дал мне выбора.

«Вы сами себе не дали выбора!» — мысленно взвизгнул господин Ганель.

— Видимо, придется пойти. Света, позвони, скажи им, что я еду. Откроем занавес за день до премьеры. Тоже ведь хороший ход? Пускай поспорит жалкий звоночек толстяка священнику с моим эфиром на миллионы зрителей. С тревогой думаю — кто победит? — И Сильвестр засмеялся.

И в который раз господин Ганель, не верящий в Бога, подумал: «Этот человек — богоподобен».

Отче наш, как же мы допустили?

Прайм-тайм. Время обетованное для фирм и концернов. Мечта политиков. Недостижимость и невозможность для деятелей культуры всех величин, кроме первой. Сильвестр Андреев был деятелем именно такой величины. А потому он вошел в студию, как в дом родной, попутно здороваясь с давними знакомыми — операторами, продюсерами, режиссером. Слегка щурясь от яркого света, вальяжно опустился в огненно-красное кресло напротив ведущей. С легкой усмешкой сказал ей: «Как у вас жарко всегда. Вечное лето».

Ведущая Юлия Кликникова улыбнулась ему с приторным восхищением. Он ответил ей понимающим взглядом: и мне нередко приходится улыбаться по долгу службы. Потом пригляделся к ее улыбке и подумал: «Но все-таки гораздо реже, чем тебе». Режиссер, человек с навечно утомленными глазами, подошел к Андрееву:

— Добрый вечер, рад! У нас всегда-всегда такие рейтинги с вами! На всякий случай напомню, Сильвестр Андреевич. Лицо руками не трогаем, микрофон на пиджачке не задеваем. Если вокруг вас люди будут ходить, а они будут, внимания не обращаем. Только вы и Юля. И так двадцать минут. А когда будет реклама, расслабляемся, шутим, потом снова — только камера, вы и Юля. Прямо в камеру не смотрим.

Сильвестр кивнул.

— Я помню все ваши правила. А лицо руками я, поверьте, и вне эфира не трогаю. По крайней мере, свое.

— Две минуты до эфира! — крикнул кто-то с неба.

В этот момент инспекторы пожарной охраны вошли в театр. Слегка дрожащий от страха Семен Борисов ждал их у дверей кабинета. Он утратил хитрость, потерял хватку, когда услышал, что идет инспекция, идет ночью, идет по приказу с самого верха. Это был приговор. Семен Борисов это понимал. Одно лишь слово «проверка» повергало его в страх, потом в трепет, а затем страх и трепет действовали сообща, раздирая директорскую душу. Уже сейчас первая стадия (страх) стремительно переходила во вторую (трепет). Но оставалась надежда, что третья стадия (совместная) так и не наступит: проверка все-таки была не финансовая, а пожарная.

Борисов был так напуган поздним проверочным визитом, что, когда на лестнице появился инспектор первый — улыбчивый мужчина лет сорока в изящном костюме — директор театра удивился, почему на нем нет пожарной каски. За первым инспектором следовал второй — его антипод. Сразу было видно: улыбка на его лице восходила редко. Он протянул директору руку с тусклым золотым кольцом:

— Добрый вечер. Макар Панфилов.

— Добрый вечер, — ласково, даже почти нежно повторил первый.

«Сейчас скажет Панфил Макаров», — подумал перепуганный директор, но услышал:

— Борис Плеханов.

— О, да мы тезки! — обрадовался директор.

— Не сказал бы, Семен Иванович. — Инспектор Плеханов даже как-то опешил.

— Тезки по фамилии... — Директор тонул, хотя не знал за собой никакой вины. Но под перекрестным огнем суровых и смеющихся глаз начал ее чувствовать.

— Так не бывает, любезный, — ласково ответил Панфилов. — Тезок по фамилии не бывает.

— И не будет никогда, — отрезал неулыбчивый, и директор театра почувствовал, как остатки воли покидают его.

Почему же Сильвестр держал трепещущего перед инспекциями директора? Он ценил Борисова именно за его непреходящий страх перед тем, что его вот-вот проверят. Благодаря этому страху директор не позволял себе никаких отступлений от закона. Театр был в образцовом порядке. Но директор прекрасно понимал специфику державы, гражданином которой являлся, и знал, что ночной визит двух проверяющих сулит ему, безвинному, мало хорошего.

— Ну-с, — сказал неулыбчивый. — Сами предъявите нарушения? Или нам поискать? Это хуже.

— Это гораздо, гораздо хуже, — доверительно сообщил лучезарный.

— Какие нарушения, что вы, — лепетнул Борисов и проклял Сильвестра Андреева в душе своей.

А тот, кто накликал на директора двуглавый кошмар, приветливо улыбнулся многомиллионной аудитории и небрежно наклонил голову в сторону ведущей.

— В гостях «Вечернего часа» знаменитый режиссер Сильвестр Андреевич Андреев, лауреат Госпремии, премии «За заслуги перед Отечеством» второй и

третьей степени, призер Эдинбургского фестиваля, лауреат премии «Европа — театру», человек, в театре которого двадцать лет не прекращаются аншлаги. Добрый вечер, Сильвестр Андреевич!

Андреев молчал.

— Сильвестр Андреевич? — интонация Юлии Кликниковой потеряла несколько децибелов доброжелательности.

Наконец Андреев вышел из паузы:

— Повторите, пожалуйста, все это еще раз. Мне так нравится.

Юлия испытала хоть и легонький, но все же шок, прежде чем поняла, что это была шутка. И, глянув в листок с вопросами, глубоко вдохнула. Настроилась на лучеиспускание. Начала испускать:

— Сильвестр Андреевич, расскажите нам, пожалуйста, о завтрашней премьере! «Ромео и Джульетта» в постановке выдающегося режиссера! В главной роли — Сергей Преображенский! Театральная Москва замерла в ожидании.

— Это она правильно сделала. Потому что завтра Москву ждет событие не только театральное, но и общественное. Всех, кто придет завтра, ждет сюрприз.

Юлия улыбнулась стране. Ипполит Карлович и отец Никодим сидели перед экранами — один жевал горящую сигару и цедил коньяк, другой перебирал четки и нашептывал молитву.

— Сюрприз, — сказал Ипполит Карлович.

— Сюрприз, — повторил отец Никодим.

Ипполит Карлович посмотрел в искрящиеся, наглые глаза Сильвестра:

— Молись, отец Никодим. Молись. Чтобы он не гаркнул чего. На всю Россию. Если хоть намекнет на нас. Инспекторы пожарные. Нам уже не помогут.

Отец Никодим шептал: «Отче наш, сущий на небесах, как же мы допустили?»

— Связался я с этим чертом... — с досадой молвил недоолигарх.

— Ипполит Карлович!

— Да брось ты!

Отец Никодим зашептал еще тише «Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое... Да не попусти ты позора адского, позора великого, позора кругосветного». Отец Никодим прервал молитву и взглянул на вражину в телевизоре. Крупный план. Ужасающе огромное лицо. Нахальные усы. Священник почувствовал, как поднимаются в нем волны ненависти. В таком состоянии он бы прекрасно сыграл Тибальта — таким, как его задумал Сильвестр.

— Моя интерпретация, возможно, покажется кому-то слишком радикальной, — сообщил Сильвестр Андреев. — Мы делаем спектакль не о вечной любви, а о вечной ненависти.

Отец Никодим метнул на Ипполита Карловича исполненный надежды взгляд: может, это и есть тот самый сюрприз? Но каменный взор недоогигарха разметал в прах надежды священника. Конечно. Это не может быть тем самым трижды проклятым сюрпризом.

Сильвестр Андреев вдруг спросил:

— А нельзя ли мне водички? Простой водички? — и обратился к кому-то стоящему вне кадра. — Ну, пожалуйста, вот вашу бутылочку. Можно?

Телережиссер схватился за голову, видя, как продюсер, прикрывая лицо рукой, вползает в кадр и подает Сильвестру бутылку воды.

На всю страну горло режиссера благодарно принимало влагу.

Ипполит Карлович наблюдал, как Андреев смачно, крупными глотками пьет воду. У недоолигарха не осталось ни капли сомнений: Сильвестр победил его. По крайней мере, в этом раунде.

В студии на десятках мониторов режиссер видел, как десятки Сильвестров утоляют жажду и портят кадр. На других мониторах улыбаются десятки Юлий Кликниковых и кадр украшают. Режиссер мгновенно сделал выбор и дал в эфир «юлиного оператора». Телеведущая заулыбалась городам и весям. Внутри, за этим лучащимся фасадом, царила паника.

— Приятного аппетита, — попыталась разрядить обстановку Юлия, видя, как пробегает ужас по лицам продюсеров. — Но мы же привыкли, что это самая великая пьеса о любви, а вы говорите...

— Да я тоже привык, — сказал Сильвестр и легонько прокашлялся. — Но нужно бороться с вредными привычками.

— Мы не очень поняли вас.

— Мы — это телезрители?

Юлия Кликникова кивнула. Неуверенно. Всей своей маленькой теледушой она почувствовала подвох.

— А у вас в ухе на связи вся страна? Вот в этом еле заметном наушничке? Превосходно. Как бы я хотел иметь такую обратную связь с публикой. Если вы позволите, о самом спектакле я говорить не буду. Я хочу сказать о завтрашнем сюрпризе, который станет великолепным подарком и вам, журналистам, и даже исследователям общественной психологии.

Сильвестр посмотрел прямо в камеру — в глаза аудитории. Отец Никодим и Ипполит Карлович застыли в отчаянии.

Сильвестр продолжил:

— На сцене появятся пародии на людей, которых вы все знаете. Они символы нашей болезни. Очень яркие символы. Даже талантливые.

— Какой болезни? — спросила Юлия, чувствуя, как у нее поднимается температура.

— Знаете, я вот когда читаю о православных чекистах, православных банкирах, мне становится противно. Так, знаете, мерзко мне становится. Особенно когда Церковь начинает награждать их своими орденами. Если это не болезнь, то что это? Хорошо. Назовем это беспорядочными связями. Но ведь именно они приводят к болезням. Вы же знаете.

Юлия Кликникова хотела утвердительно кивнуть, но вовремя удержалась.

— Я хочу заострить общественное внимание на некоторых участниках этого финансово-политически-православного союза. И зритель сделает выводы — от частного к общему. Тем более что часть выводов я и так уже сделал. Для вас.

— А каких людей вы имеете в виду? — поинтересовалась Юлия и наклонила головку, как она полагала, обворожительно. И тут же получила визг режиссера в «ухо»: «Ты о чем его спрашиваешь, ты офонарела! Юля!»

— Все увидите завтра. Москва узнает своих героев, я уверен, узнает!

В «ухе» Юлии Кликниковой вопил режиссер: «У нас сюжет о его театре, объявляй, затыкай его! Плевать, что не время еще! Объявляй! Мне голову оторвут, уже отрывают...» Юлия с облегчением приготовилась объявить сюжет, как вдруг услышала визг громче прежнего: «Юля, сюжет не готов, заткни его, умоляю, умоляю...»

— Сращение Церкви и капитала достигло пародийных высот, — продолжал Сильвестр. — Или, говоря на языке одного моего знакомого, сращение Бога и мамоны. Посмотрите на толстосумов, ищущих Царствия Небесного. Вернее, они хотят, чтобы мы так думали — что они ищут Бога, а не прибыли. А что ищут наши высшие иерархи? Подумайте, в какой они существуют гармонии! Почти божественной гармонии!

Ипполит Карлович посмотрел на отца Никодима. Взгляд недоолигарха был спокойным. Свершилось. Сильвестр все-таки сказал. А значит, закрытие театра с помощью пожарной команды — слишком очевидный для всех жест.

— Перед художником в современной России встают почти неразрешимые вопросы, — продолжал не обрываемый никем и ничем Андреев. — Как высмеять то, что само по себе уже смешно? Как обвинить тех, кто, сами того не подозревая, каждым своим словом и жестом себя обвиняют?

«Юля, Юля, уводи его от этой темы, срочно, бляха муха, Господи, Господи!» — бесновался режиссер в прекрасной ушной раковине телеведущей.

— Сильвестр Андреевич, вы же нам расскажете, при чем тут Шекспир? Разве об этом он написал великую пьесу про двух влюбленных?

— Юлия, в вашем лице Шекспир нашел такую защитницу, что теперь уже точно может покоиться с миром. Не волнуйтесь так. Мы отдадим Шекспиру — шекспирово. Но и не забудем, в каком веке и в какой стране мы живем.

«Юля, — стенал режиссер, — спроси его, чего это он такой актуальный стал, он же всегда презирал все такое... В Шекспира его сбрасывай, в Шекспира! Нас всех уволят!»

— Почему вас так заинтересовали актуальные темы? Насколько я знаю, вы всегда их сторонились.

— Я ошибался. Если не заниматься злобой дня, то наши дни станут еще злее. В каком-то смысле я наказан за то, что, зажав нос, пробегал мимо общественных проблем.

— И в ответ вы подготовили нам сюрприз, — язвительно сказала ведущая.

— Да. Называйте это сюрпризом, сделанным от раскаяния.

«Юля... все... выходи на рекламу... » — прошептал изможденный режиссер, и ведущая, из последних сил испуская лучи, объявила:

— А у нас рекламная пауза.

— После нее мы вернемся и снова расскажем вам о Шекспире, — усмехнулся Сильвестр.

Тем временем улыбчивый и безрадостный вошли в кабинет Семена Борисова.

— Чайку?

— На работе не пьем, — изрек лучезарный. И рассмеялся легко и просторно, как смеются только люди с кристально чистой совестью.

Два инспектора устроились на черных кожаных креслах. Причем лучезарный сел на место задопребывания Семена Борисова. Директор занервничал еще сильнее: его инспекторы присесть не пригласили.

— Вот здесь, — показал безрадостный на свой кожаный портфель, — у нас уже есть заключение о ваших нарушениях.

— Я так и знал.

— Вот видите, — заискрился «фамильный тезка». — Вы знали, что виновны. Давайте пойдем навстречу друг другу: вы признаетесь, а мы вам скажем, в чем.

В директорском взоре сверкнули ненависть и воля к борьбе. Но один лишь взгляд на черный портфель погасил их.

— Вы садитесь, — сказал лучезарный и показал на стульчик напротив. — В ногах правды нет.

Директор театра опустился на стульчик и подумал: «Что в конце концов это

значит — в ногах нет правды? А в чем есть?» Он оглядел свои руки, черные туфли, папки бумаг на столе. Оглядел инспекторов. Правды нигде не было.

Сильвестр спокойно пил воду, примечая, что не только продюсеры, но даже операторы поглядывают на него с тревожным изумлением. «Операторы — народ равнодушный. А зацепил. Прекрасно». К Андрееву подбежал режиссер — в усталых глазах плескался испуг.

— Сильвестр Андреевич, мне звонил руководитель телекомпании, очень просил вас не говорить больше ничего про церковь. Обещаете?

— Торжественно клянусь.

— Двадцать секунд до эфира, — раздался небесный глас.

Юлия Кликникова засверкала улыбкой и сообщила стране:

— Напоминаю вам, что у нас в гостях всемирно известный театральный режиссер Сильвестр Андреев, и говорим мы с ним о завтрашней премьере «Ромео и Джульетты».

— Вы, наверное, думаете — чего это он так завелся, говоря о священниках, которые так любят находиться подле сильных мира сего? Печально то, что мы принимаем это как должное. Мы уже не в состоянии отличить белое от черного. Вот что я имею в виду, когда говорю о болезни. Юлия, дорогая, я рассказываю о предстоящей премьере немножко уныло, потому что она касается невеселых вещей. Но, знаете, театр такое место, где даже самые серьезные проблемы можно, — Сильвестр задумался, подыскивая точное слово, — можно протанцевать... — Он обратил внимание на нахмуренные бровки телеведущей. — Я образно говорю, Юлия.

Юлия мотнула головой — да понимаю я, что образно, я же не идиотка! Она была окончательно сбита с толку. Она хотела задать восемь вопросов, которые ей написали, обворожительно улыбнуться после каждого, выйти два раза на рекламу, один раз на сюжет, и завершить программу. А перед финалом улыбнуться так, чтобы, как всегда, пленить всю страну. Ее улыбка должна была достичь всех потаенных уголков России, всех квартир и домов, сверкнуть из каждого телевизора и оставить в каждом сердце дивный след. «А этот Сильвестр Андреев... — думала она со злобой. — Дурой меня выставляет перед Россией... Какие у него противные короткие пальцы!»

— Я, кажется, начинаю догадываться, о ком вы говорите, о каких всем известных персонажах, — блеснула наконец Юлия Кликникова, если не интеллектом, то хотя бы познаниями из жизни высших слоев общества. Сильвестр вдруг привстал, перегнулся через стол и, приблизив губы к уху ведущей и беснующемуся там режиссеру, понизил голос до полушепота:

— Только не упоминайте их имен всуе!

Рейтинг программы подлетал до небес. На голову телережиссера сыпались звонки с такой высоты, что он думал только об одном — уволят его с выходным пособием или по статье?

А в ухе обворожительной Юлии раздавались вопли.

— Бог мой, — шептал отец Никодим, закуривая ментоловую сигарету. — Бог мой... Он нас отымел... Как он нас отымел!!

— Хрен. Короток.

— Да нет. Не короток. — Священник закашлялся, прикурив не ту сторону сигареты. — Через всю страну протянул.

Ипполит Карлович взял мобильный. Набрал номер.

Неулыбчивый сразу ответил:

— Слушаю вас. — И подобие радости сверкнуло на его лице. Улыбка восходила только в случае телефонного явления людей масштаба Ипполита Карловича. А поскольку такие люди звонили ему нечасто, то и радости его были так мимолетны, так редки!

— Отмена.

Безрадостный мгновенно вышел из кабинета. Оставил Семена Борисова смотреть в нежные глаза второго инспектора — смотреть и холодеть.

— Так мы почти уже... Закрыли заведение.

— Отмена.

Ипполит Карлович нажал на сброс.

— Вы отменили! Вы отменили! — Слова отца Никодима вылетали вместе с дымом. — Тогда он нас и завтра... Снова! Отымеет и завтра!

— Да что ты заладил. Святой отец.

— Я не святой отец!

— Я вижу.

— Зачем, зачем вы отменили, зачем!

— Знаешь. Если после такого. Мы закроем спектакль. Это будет. Еще хуже.

— Да как же мы допустили? Ипполит Карлович! Как? — Священник был почти в слезах.

— И мы с тобой завтра придем. На премьеру.

— Да ни в жизнь...

— Это единственный шанс. Что он не посмеет.

— Да это его только раззадорит.

— Прийти надо. Иначе решат, что мы в испуге. А мы плевать на него хотели. На Сильвестра.

Отец Никодим взял еще сигарету из пачки, тоскливо на нее глянул, сунул в дрожащий рот и задымил.

— Оказывается, все у вас в порядке, — сказал неулыбчивый.

Семен Борисов приподнялся со своего стульчика. Ноги обретали правду. Пока только они.

— Тогда, — тихо промолвил директор, — тогда спасибо вам.

— Вам спасибо, — заулыбался лучезарный. — Образцовый театр!

— А нельзя ли... — замялся неулыбчивый, как бы стесняясь, вернее, неуклюже изображая стеснение.

— Конечно! Сколько вам билетов?

— Четырнадцать.

Директор понял, как проведет эту ночь: извиняясь перед теми, кого уже пригласил. Но тут его осенило: инспекторы-то больше не опасны. Заказ-то отменен. И Семен Борисов, директор прославленного театра, распрямился и ответил не без гордости:

— На наши премьеры даже премьер-министр столько билетов не просит.

Инспекторы, извиняясь за беспокойство, вышли из кабинета. Семен Борисов, вытирая платком покрасневшее лицо, сел в свое кресло, глубоко вздохнул и закрыл глаза. Правда воцарялась в кабинете директора театра.

«Прощайся с ним, Юля, прощайся! — кричал режиссер. — Мы дикую природу поставим! Или черт знает что! Прощайся, не давай ему говорить!»

— У нас есть традиционное прощание с телезрителями, — сказала Юлия Кликникова.

«Ты очумела, Юля! — вопил режиссер так громко, что некоторые слова начал слышать даже Сильвестр. — Я сказал, не давай ему слова!»

— Я помню ваше традиционное прощание, — сказал Андреев. — Снова хотите, чтобы я вам о своей мечте рассказал?

— Ну да... — улыбка телеведущей была похожа на крик о помощи.

— Я, конечно, был бы рад поделиться с телезрителями своей новой мечтой, но, знаете, Юлечка, она как-то не успела во мне сформироваться к сегодняшней нашей встрече. — Андреев чуть наклонил голову, как бы отвечая на невидимые аплодисменты. — Так что давайте отложим этот вопрос на следующий раз. А пока я приглашаю всех на премьеру. Будет ярко. Незабываемо.

— Спасибо, спасибо, дорогой Сильвестр Андреевич, — с явным облегчением затараторила, Юлия, по экрану поплыли титры, зазвучала музыка и началась программа «Джунгли: посторонним вход воспрещен».

Ипполит Карлович и отец Никодим, не в силах оторвать взгляда от телевизора, смотрели, как львица нападает на буйвола, как прыгают обезьяны с лианы на лиану, как поднимается во весь свой страшный рост кобра, а индусы, улыбаясь, рассказывают, что частенько на их машины в горах нападают тигры. Поэтому они всегда ездят вдвоем.

— Ты что-то понимаешь. Отец Никодим?

— Да что же, что же тут непонятного! Это фиаско.

— Вот это слово получше. Чем раньше. Но я не о том. Почему они вдвоем. Против тигра не боятся? То есть два индуса. Равны. Одному тигру. Что ли?

— Это мы с вами завтра в театре будем, как два индуса в джунглях.

— Да не страдай. Дорожное происшествие назревает. Чует мое сердце.

Отец Никодим посмотрел на Ипполита Карловича с испугом. Тот расхохотался — так, как умел только он: властно, протяжно, с тяжелыми, мрачными паузами.

...В половине второго ночи агентство «РИА-Новости» передало с пометкой срочно: «Вчера в 23.40 знаменитый актер театра и кино Сергей Преображенский погиб в автокатастрофе. На месте аварии работает следственная группа. Наш корреспондент дозвонился до Сильвестра Андреева, художественного руководителя театра, где великий актер работал в последние годы. Но режиссер был так шокирован, что отказался поверить в произошедшее».

«Что же ты. Милый мой... — Ипполит Карлович мелко отхлебнул чай из металлической походной кружки. Сильвестр стоял в двух шагах от него и молчал. — Думал. Что держишь Бога за бороду? На мои деньги хотел. Плеть купить. И меня же. Ей выпороть. Мечтатель... — Ипполит Карлович отхлебнул снова. Тихо, бережно поставил кружку на край стола. — Теперь его смерть и на твоей совести. А ты думал. Я тебя? Разобью? Смешно. Но ты. Страдай в меру. Помнишь ведь. Что отец Никодим говорил. Христос. Воскрес. Из мертвых. Смертью смерть. Поправ. И сущим во гробех. Живот. Даровах».

Сильвестра выбросило из сна. Всем своим — с головы до ног — заболевшим телом, он вспомнил, что случилось вчера. «Нет. Не верю», — прошептал Сильвестр и почувствовал, что у него соленые губы. Провел ладонью по лицу — оно было в поту. Даже в усах гнездились капли. «Человеческая роса», — подумал

Сильвестр. И снова: «Не верю. Нет». Он вспомнил, как отец Никодим оглашал храм: «Что мы чувствуем, когда умирает наш близкий? Мы кричим: «Нет!!!» И в этом крике больше истины, чем в смирении, которое наступает вскоре. Ибо зачем же смиряться с несуществующим?» Сильвестр подумал: «А несуществующий — это ведь Сергей».

Нет.

Ну, нет же.

Из-под подушки раздалось глухое жужжание. Мобильный. Странно. Сильвестр уже много лет не клал его рядом. С того времени, когда он, молодой режиссер, днями и ночами ждал звонков с предложениями хоть что-то хоть где-то поставить. Правда, тогда не было мобильных, и начинающий режиссер Сильвестр Андреев ставил возле кровати старый, в трещинах, телефон. «Значит, — начал соображать Сильвестр, — после вчерашнего катастрофического звонка, который, дай Бог, мне приснился, после этого звонка я свалился в постель? А разделся когда?» — недоумевал он, приподнимая одеяло. Посмотрел на экран мобильного.

Время — полвосьмого утра. Сорок семь неотвеченных вызовов. Значит — правда.

Сильвестр медленно поднялся с кровати. Вышел на балкон. Зимний холод окружил кожу, пробрал до костей, а он смотрел в наливающееся светом небо, и не было мыслей, и не было чувств. Жена вышла и молча протянула ему пальто. Ушла. Значит — правда.

Сильвестр покорно надел пальто, хотя холод его совсем не тревожил. Смотрел в небо, смотрел на снег, смотрел на машины и людей. Он чувствовал только изумление: нет ни боли от утраты, ни дрожи от холода.

Часы на мобильном показали восемь. Сильвестр решил вернуться в комнату. Потянул дверь на себя. Закрыта изнутри.

Стал стучать — жена не слышала.

Стал кричать — жена не слышала.

Редкие прохожие видели, как усатый человек на балконе второго этажа, в пальто, наброшенном на полуголое тело, стучит в дверь, громко и гневно зовет кого-то, выкрикивает какие-то требования и вроде бы даже угрозы...

— Извини, извини, — забормотала жена, открывая Сильвестру. — Ты что, забыл, в какую сторону дверь открывается?

Жена изумилась — лицо Сильвестра, стоявшего на таком морозе, было усеяно каплями пота. Но изумление мгновенно сменил страх за мужа. И она повлекла его на кухню, причитая, что сейчас будет поить его горячим чаем, что никуда не пустит сегодня, что хочет отдыха для него и себя... что сейчас будет поить его горячим чаем, что никуда не пустит сегодня, что хочет отдыха для него и себя...

Александру показалось, что телефон стал как-то весомее оттого, что в него влетело сообщение Наташи. Он прочел: «Саша! Ты же знаешь, что случилось?» Глаза Александра сверкнули надеждой. Он ответил вопросом: «Нет, а что».

«Ночью погиб Преображенский».

Александр вглядывался в телефон. Пытался соединить в сознании эти три слова. Ночью. Погиб. Преображенский. Так, еще раз. Ночью. Слово привычное. Погиб. Случается. Преображенский. Продолжение фразы проскальзывало мимо сознания.

Александр набрал Наташу.

— Откуда ты узнала?

— Отовсюду.

— Как это?

— Зайди в Интернет, включи телевизор, это говорят отовсюду.

Он почувствовал по голосу — она только что плакала. Сашей постепенно начал овладевать смысл эсэмэс.

— Как это случилось?

— В машине погиб.

— Как в машине? Сердце?

— Авария.

Александр положил мобильный на стол. Долго сидел в тишине. Ни чувств. Ни мыслей. Ни образов. Вдруг воскресло воспоминание: вечерний Тверской бульвар, господин Ганель исчезает в толпе, а пьяный Сергей, смеясь, просит, чтобы Саша не закрывал своими руками от публики его лицо. И неизвестно откуда пришедшее чувство счастья. Явилось другое, черное воспоминание: как он еще до назначения ненавидел Сергея. Как желал ему смерти. Думал убить его троном. Сейчас в это трудно поверить. «Но ведь так было», — прошептал он. Он быстро нашел это место в дневнике: «Он будет раздавлен собственным троном. А зритель будет восхищен — как великолепно наш кумир играет покойника! Бездыханный, бездвижный, он получит последнюю порцию аплодисментов».

Александр закрыл дневник. И снова вспомнил, как смеющийся Сергей говорил: «Саша, это твои руки. Твое решение, куда их девать. Только не надо так долго закрывать мое лицо от зрителей». И снова засмеялся — в тот вечер они долго, долго смеялись.

...Александр быстро оделся, чувствуя, как вспыхивает и гаснет в его голове «сегодня ночью погиб Преображенский». Выбежал на улицу. Холод окружил его.

Елена Преображенская не спала всю ночь. Она уже должна была выехать в морг, чтобы провести опознание. Потом ей надо было заниматься какими-то делами, кому-то звонить, принимать соболезнования... Но ее охватила, как бы сказал ее муж, «грандиозная пауза».

В девять утра раздался звонок. Она машинально подняла трубку, хотя до этого ни на один звонок не отвечала.

— Доброе утро, Елена Евгеньевна, — зажурчал мужской голос. — Мы приносим вам глубочайшие соболезнования. Это такая утрата!

— Кто вы?

— Наша фирма называется «Земля и люди». Мы около недели назад послали вашему супругу, как бы это сказать, предложение. Он нам не успел ответить, но может быть, вы знаете о его решении?

— Каком решении...

— Наши ученые изобрели новый метод утилизации мертвых тел. Я понимаю, что вам сейчас очень тяжело это слышать и еще тяжелее об этом говорить. Но потом, когда вы примете решение о кремации или захоронении, будет уже поздно.

— Поздно? — Она пыталась понять, чего хочет этот журчащий голосок. Он, похоже, дает ей какую-то надежду? Иначе что значат слова «будет уже поздно»? Разве уже не поздно?

— Выслушайте меня ради вашего же блага.

Услышав слово «благо», жена Преображенского окончательно перестала

понимать, о чем ей толкуют. Какое сейчас возможно благо? Откуда оно может прийти? С какого света?

— Мы изобрели новый метод, который позволит Сергею Леонидовичу миновать процесс разложения и скелетизации.

Миновать разложение? Значит, есть какая-то надежда на жизнь? Но как? И кто это журчит?

— Я не понимаю вас... Позвоните позже. Я не могу сейчас понимать.

— Елена Евгеньевна, милая, скорблю вместе с вами, но позже будет поздно, я же говорю вам. — Ее невидимый собеседник издал глубокий протяжный вздох. — Скажу тогда, так сказать, о бренном. О деньгах. Если известный человек — а ваш супруг был известнейшим человеком! — соглашается воспользоваться нашей методикой, мы выплачиваем ему десять тысяч долларов. В вашем случае деньги пойдут вам. Вы должны будете лишь подписать некоторые бумаги, которые, скорее всего, Сергей Леонидович подписал бы сам. И вы покроете существенные расходы на поминальные торжества.

В голове нечастной женщины вновь разразилась сумятица — разве поминки могут быть торжеством?

— Когда вам перезвонить? Когда вы решите, что принимаете наше предложение? Сегодня вечером, да?

— Я не знаю. Я все равно не поняла. Я попрошу друзей. Извините.

Она положила трубку. Звонок раздался снова. Она не подошла.

Пора было отправляться в морг Института имени Склифосовского проводить опознание трупа. И, хотя надежды никакой не было (Сергей не звонил всю ночь, его телефон выключен, а искореженная машина принадлежала ему), в супруге Преображенского вдруг загорелась надежда — а может быть, еще не поздно? Какие-то блага, быть может, еще впереди? Миновать процесс? Миновать процесс! Сергей еще может миновать процесс?!

А вдруг погиб не он, а кто-то чужой? А он с поклонницей! Дай-то Бог! Вот прямо сейчас проснулся, посмотрел на часы, и похолодело сердце — как же я виноват перед женой! Дай-то Бог! Может быть, в морге она увидит совершенно чужой труп? И заплачет от радости? И работники полиции принесут свои извинения. Глубокие-глубокие извинения — насколько же они лучше соболезнований! А она ничего не ответит, просто убежит из этого проклятого места. И полицейские начнут искать близких покойника. Будут набирать чьи-то номера. И эти ужасающие звонки пролетят уже мимо нее.

С этими мыслями-чувствами она вышла из дома, села в такси, сказала «в Институт Склифосовского» и зарыдала так, что шофер дал себе слово не брать с нее ни копейки. И слово свое сдержал.

Опознание прошло успешно.

Сергей Преображенский лежал в холодильной камере под номером сорок семь.

Вдова попросила отца Никодима отпеть покойного. Священник отказать, конечно, не мог, но его терзало чувство, что он косвенно виновен в гибели Сергея. Он смотрел в окно своей кельи при храме Николы Мученика. Шел мелкий снег. Неизвестный отцу Никодиму юноша смачно и даже с какой-то плотоядной яростью ел грейпфрут в храмовом дворике. «Все же русские невероятный народ, — думал отец Никодим. — Грейпфрут на двадцатиградусном морозе...»

Священника передернуло, и он отвернулся, чтобы не дать отвращению овладеть собой.

Вошел Ипполит Карлович. Без стука. Встал посередине кельи. Уперся взглядом в отца Никодима.

— Не заходишь. На звонки. Не отвечаешь. И вот Магомет. Пришел к горе.

Отец Никодим тяжко вздохнул и указал Ипполиту Карловичу на стул.

— Я знаю. О чем ты мыслишь. Это совпадение. Я когда услышал, всю ночь не мог в себя прийти. Веришь?

— Ипполит Карлович, обращайтесь ко мне как положено духовному чаду обращаться к своему духовнику. Или найдите другого священника.

— А как. Положено.

— Положено на «вы».

— Так к Богу же. На «ты» обращаемся.

Ипполит Карлович начинал постепенно впадать в ярость — с каждым новым словом.

— Что вот вы все. Демонизируете. Меня. Сильвестр позвонил сразу. После кошмара. И говорит: «Я тебя. Теперь в покое. Не оставлю». Вот он ко мне. На «ты» стал. Ты предлагаешь на «вы» к тебе. Обращаться. Перемены. А?

— С Преображенским перемены произошли гораздо более серьезные.

Ярость заклокотала в недоолигархе. Отцу Никодиму даже почудилось, что он этот клокот слышит.

— Я тебе сказал. Совпадение. И мысль свою. При себе держи. Совпадения они, знаешь. Со всеми случаются. Тайна это. Страшная тайна.

Отец Никодим почувствовал, как в нем зашевелился страх. Но ответил довольно дерзко, не преминув собою восхититься:

— Вы мне угрожаете?

— Господь с тобой. Святой отец. Я говорю о судьбе. О том, что нас кто-то слышит. И уже по своему капризу. Наши желания выполняет. Порой. Не всегда. Так не дай мне. Плохого тебе пожелать. Мои желания сильные. Вот и вся угроза.

— Вы все сказали, Ипполит Карлович?

— Вот как? Гонишь. В чистоте решил остаться. В чистоте и в обиде. Только ведь и ты не овца. Безвинная. Если ты. Например. Прав.

— Я буду завтра отпевать Преображенского. Пожалуйста, уберите свои камеры из церкви.

— Завтра не успею. Пока подожду. Передумаешь ты, святой отец. Передумаешь.

Ипполит Карлович, шумно вздохнув, попросил у отца Никодима благословения. Священник перекрестил недоолигарха, глядя в окно. Юноша тонкими пальцами вскрыл второй грейпфрут.

Тяжело ступая и тяжело дыша, Ипполит Карлович вышел из кельи.

Отца Никодима охватила тоска.

Сейчас будет цунами

Семен Борисов вчитывался снова и снова, отдалял бумагу от глаз, приближал, пытался даже рассмотреть ее на свет. Сильвестр наконец потерял терпение.

— Слушай, что ты на моем заявлении ищешь? Водяные знаки, что ли?

— Вы это серьезно?

— Нет, это символический уход, — усмехнулся Сильвестр. — Там всего шесть слов: прошу уволить меня по собственному желанию. Что ты там изучаешь? Заметь, я впервые тебя о чем-то прошу...

— Глазам своим не верю, — бормотал Семен, продолжая тщательно исследовать документ.

— Очки надень.

— У меня дальнозоркость. Тогда вообще все расплывется.

— Семен. Подписывай. Завтра я сюда уже не приду.

— Неужели театральные атаки?

— Ну, что-то в этом роде. Только концепт нужно сделать почетче. А влияние Питера Брука поменьше.

— Как же театр без вас?

— Так же как я без него.

— Одному из вас будет хуже, — грустно улыбнулся Борисов.

— Семен! — загремел Сильвестр. — Подписывай! Чтобы завтра же! Заявление о моем уходе! Обрело статус! Вошедшего в силу документа! Я приказываю тебе меня уволить!

Выпалив это, Сильвестр потерял интерес к разговору. Встал и вышел из директорского кабинета. Через пять секунд открыл дверь, засунул в проем усатую голову:

— Семен. Ты же знаешь, я и без этой бумаги уйду. Это тебе нужно, чтобы все с документами было в порядке. Нет разве?

— Мне вообще не хочется иметь такие документы. Даже в полном порядке, — сказал Борисов.

— Понимаете ли, господин директор, — Сильвестр вдруг заговорил с пафосом, как чтец на поэтическом вечере, — будущее уже распахнуло мне свои объятья. Но совсем не здесь. У меня нет выбора. Так тебе понятнее? Ты же всегда любил такие вот, прости господи, высоты.

Семен Борисов положил бумагу на стол. Взял ручку.

— Историческая минута, Сильвестр Андреевич.

— Даю тебе шанс попасть в историю.

— Влипнуть в историю. Представляете, что со мной будет, когда Ипполит Карлович узнает, что без его ведома...

— Семен, он все равно поставит нового директора. Ты же знаешь. Передашь дела в полном порядке, чтобы тебя не мучили.

Семен повертел ручку в руках. Почесал ею за ухом. Посмотрел в окно. Прищурился. Стал искать на столе очки, бормоча «что это там пролетело в темноте, жуть какая-то».

— Сейчас будет цунами, Семен.

Директор, вздохнув глубоко и печально, с внезапной быстротой подписал заявление. И перевернул лист, как будто таким образом заявление теряло свою силу. Дверь захлопнулась. И слегка раскрылась. В щель протиснулся поднятый вверх большой палец.

«Какой все-таки короткий у Сильвестра палец, — вдруг подумал директор. — Маленький большой».

Палец исчез. Дверь, закрываясь, слегка щелкнула.

«Что бы ни случилось: болезнь, смерть, землетрясение — в театре должны идти спектакли!» Принцип Сильвестра соблюдался неукоснительно, и потому на замену вместо премьеры «Ромео и Джульетты» поставили спектакль «Принцес-

са Турандот». В приемной Сильвестра ждала группа китайских придворных. Когда режиссер вошел, они разом повернули к нему загримированные лица.

— Мы все, все знаем! — пробасил Балабанов. Он играл слугу принцессы. Был облачен в нечто, похожее на просторное кимоно розового цвета.

— Да, я ухожу. Я собирался сказать вам сегодня.

Загримированное, костюмированное стадо молчало. Оно теряло своего пастыря. Сильвестр засмеялся.

— Слушайте, я поднялся с третьего этажа на пятый. Прошло три минуты. Неужели за это время весть уже разнеслась?

Артисты не без гордости потупили взоры.

— Люблю я театр, — сказал Сильвестр.

— Что-то не похоже! — обиженно вскрикнул Балабанов, испугался своей дерзости и сделал вид, что увлечен широким правым рукавом своего кимоно. — Думаешь, я поступаю неправильно? — вдруг спросил Андреев.

Балабанов смутился. За десять лет службы в театре его мнением интересовались впервые. А слово «думать», обращенное к нему, звучало как-то противоестественно. Даже он это чувствовал.

— Я задал вопрос.

— О люди! — зашептал Балабанов спасительную шиллеровскую цитату. — Порожденья крокодилов...

Легкий смех пробежал по актерской стайке. Засмеялся и Сильвестр.

— И все же я задал вопрос.

— Быть или не быть — вот в чем вопрос! — неожиданно ответил Балабанов, ободренный смехом Сильвестра.

Артисты расхохотались — еще легче, еще свободнее.

— Не бросайте нас, — попросил слуга принцессы Турандот.

Сильвестр вздохнул. Лишь трое из восьми актеров поверили в искренность этого вздоха.

— Увы, — снова вздохнул режиссер, и верующих осталось всего двое. — Иначе я не могу.

— Мы слышали про атакующий театр, — продолжал свое отчаянное наступление Балабанов.

— Вы и об этом знаете! Не удивлен. Вот что я скажу — ты, Балабанов, настоящий гренадер. Ты будешь в авангарде атакующего театра.

— Да? — Глаза актера засветились счастьем.

— Обещаю! — сказал Сильвестр, и уже все собравшиеся, кроме Балабанова, почувствовали, что обещания он не сдержит.

Сомнений ни у кого не осталось: раз он так легко соглашается с Балабановым, значит, уже попрощался с этим театром. Это не ход в его игре. Это твердое решение. Никто из присутствующих ему больше не нужен.

— Но атакующий театр — это такая дальняя перспектива! — весело сказал Сильвестр. — А на ближайшее время план вот какой: я закачу несусветный банкет! Вы еще будете благодарить судьбу, что она дала вам повод для такой грандиозной пьянки!

— А когда? — заинтересовался Балабанов, и тут уже хохот беспрепятственно вырвался на свободу. Он подвел черту в истории этого театра. Артисты впервые так хохотали вместе со своим режиссером. Легко. Свободно. Не думая о произведенном впечатлении. О том, кто как выглядит и кто кого пересмеет. Сильвестр Андреев и подданные принцессы Турандот, смеясь, расставались со своим прошлым.

Сильвестр вошел в кабинет, где его ждал господин Ганель — он пришел без приглашения.

Смерть Преображенского Ганель переживал очень тяжело. Едва узнав о случившемся, он затосковал и заметался по своей квартире, выкрикивая «бессмысленно, все бессмысленно». И наутро переехал к своему другу, бывшему коллеге из Детского театра, который специализировался на ролях котов: старик-дворник из «Кошкиного дома», «Кот в сапогах» и другие всемирно известные персонажи из семейства кошачьих. Друг рассказывал о своих крохотных радостях и горестях, и карлику казалось, что мир не так уж плох. По крайней мере, не так уж серьезен.

Карлик вскочил навстречу вошедшему Сильвестру и сказал:

— Завтра похороны Сережи...

Сильвестр помрачнел. Сел в кресло. Посмотрел на господина Ганеля с тяжелым недоумением. «Зачем ты об этом? — прочел его мысли телепат. — Мы что, должны сейчас пасть друг другу на грудь? И горько причитать — вот это был артист, кого мы потеряли, какой талант...»

— Извините, не понимаю, зачем я так сказал. Совсем о другом хотел, это вырвалось спонтанно, само, без ведома, — залепетал господин Ганель.

Он действительно хотел говорить о другом. Но постоянно думал о той аварии еще и потому, что его мучили слова Сергея, которые тот презрительно крикнул в церкви: «так могло поступить только мстительное убожество!» Эти слова оказались последними, которые Преображенский сказал господину Ганелю. После этого, в течение нескольких недель, Сергей только вежливо здоровался с ним на репетициях.

— У меня для вас подарок! Вот это я хотел сказать!

— Подарок? Ты знал?

— Сильвестр Андреевич, я же...

— Ты же телепат. — Андреев показал господину Ганелю на стул. — Садись.

Господин Ганель присел. Посмотрел робко. Было видно, что он принимает важное решение.

— Хорошо сидим, — сказал Сильвестр после минуты молчания.

Ганель протянул Сильвестру тонкую пачку бумаги. Десять листов. Андреев взглянул на заголовок. На первой странице огромными буквами было напечатано «Изгнание Ганеля». Взгляд Сильвестра потребовал объяснений.

— Здесь ваша речь слово в слово. Я тогда был оскорблен, унижен, но чувствовал, что передо мной открывается новый мир. И мне не войти туда подругому.

— Здесь не только ваша речь, но и мои чувства. Все чувства, которые вы пробудили во мне. — Он подумал и добавил почти шепотом: — Знаете, я никогда так много не чувствовал.

Сильвестр взял бумаги. Открыл первый лист. Большими буквами было напечатано: «Вчера я услышал историю настолько печальную, что, возможно, поэтому и наступила осень».

Начало второго листа: «Так не может долго продолжаться в жизни существа, которое никогда не встанет вровень с другими — с теми, кто его вроде бы и принимает и привечает».

Начало третьего: «Он оттолкнулся от берега башмачками с загнутыми носами и изящными бантами, погрузил голову под воду и... его парик поплыл к центру пруда».

Начало четвертого: «Подчиняться вдохновению — очень рискованно. Но

мы обязаны экспериментировать с нашими душами — иначе какие же мы артисты?»

На этом цитирование речи Сильвестра заканчивалась. И дальше мелким шрифтом шло описание чувств господина Ганеля. Долгая, богатая история его чувств на протяжении службы у Сильвестра. Подготовка интермедии, которая так и осталась невоплощенной. Разговоры в этом кабинете.

Андреев был ошеломлен.

— Знаешь, Ганель, — сказал он, — что написано на воротах Дантова ада?

— Не бывал, — без улыбки отшутился карлик, неотрывно глядя на Сильвестра.

— Там написано: «И меня создала вечная любовь».

— Почему вы это?

— Для тебя ведь это был ад.

— Какая же любовь без ада? — улыбнулся карлик. — И вы ведь тоже создали его для меня не без любви.

Андреев крикнул:

— Света!

Сцилла Харибдовна вбежала в ту же секунду — изнывая от ревности, она подслушивала под дверью.

— Света, принеси нам, пожалуйста, шампанское и два бокала.

Грустная секретарша ушла выполнять поручение.

— Ганель. Я должен тебе сказать. В свою новую театральную жизнь я не возьму никого из прошлого.

— Сильвестр Андреевич, я это знаю.

— Ах да!

— Вы все время забываете, — улыбнулся Ганель. — Обидно даже.

Светлана вошла. На подносе — шампанское и три бокала. И Сильвестр, и господин Ганель почувствовали себя неловко.

— Света, садись сюда, — показал Сильвестр на свободное кресло. — Ну, друзья мои... — Андреев открыл бутылку, она весело чпокнула, и шампанское заискрилось и облило режиссеру пальцы и побежало вниз — от горлышка к подносу. Светлана подставила свой бокал, потом еще два. — Друзья мои, с вас тост.

Светлана и господин Ганель смотрели друг на друга, смотрели на Сильвестра, и слова не шли к ним на помощь.

— Ну что, без тоста? — видя их смущение, спросил Сильвестр. — Главное ведь чокнуться.

В тишине раздался звон бокалов.

Позови карлика, он всех прогонит зеленой туфлей

Наташа набрала эсэмэс. Отправила Александру: «Завтра в одиннадцать панихида в театре. Ты же знаешь? А потом?»

«В два отпевание в церкви», — ответил он.

«Ты пойдешь?»

«Конечно. А ты?»

«Тоже».

«У тебя есть платок?»

«И не один. А какой нужен?»

«Тебе все идут. Бери любой. Только потемнее».

«Я не о том, как я буду выглядеть!»

«Ну тогда я об этом... До завтра тогда, Наташа».

«J».

И, немного подумав, она спешно отправила:

«L».

В этих эсэмэс заключалась такая огромность надежды, что Саша позволил своей мысли лишь слегка прикоснуться к ним. Он положил мобильный под подушку. Вдруг подумал, что за эти странные, страшные и счастливые месяцы так и не сменил звук будильника. Мобильный нахально кукарекал каждое утро. Вдруг Саша подумал, что, если он сменит мелодию прямо сейчас, это станет обозначением черты, которая разделила его жизнь — до Сергея и после него. Через минуту петух был уничтожен.

Александр изумился величавому спокойствию, которое установилось в нем после такого ничтожного действия. Он лежал на кровати. Протекло полчаса.

Покой.

Поднялся с кровати. Вставал он с огромным трудом, словно тело стало в несколько раз тяжелее. Сел за стол. У него не было более действенного способа преодоления горя — только писать. Он взял ручку. Она показалась ему непривычно тяжелой.

Вдруг услышал свист. Обернулся. На кровати лежал Сергей, изящно подперев голову красивой рукой. Он повернул к Саше голову и, небрежно кокетничая, произнес:

— Слушай, как странно, что ты поверил! Я что, похож на человека, который вот так исчезнет?

Александр почувствовал, как улыбка — медленно — начинает согревать его лицо. Сергей положил голову на ладонь.

— Слушай, Саша, мой костюм так и не готов, я ведь знал, что они не успеют к премьере. Я же просил, я даже умолял — туфли должны быть не темно-коричневые, а повеселее, зеленые например, а они сразу такого мрака на мою обувь нагнали! И что в итоге? Они не успели мне даже сшить костюм, даже по своему убогому вкусу...

Сергей вздохнул, пробормотал: «Ну ладно, ерунда», — и стал осматривать потолок.

— Боже ты мой, сколько у тебя пауков... Позови карлика, он их прогонит зеленой туфлей, они страшно боятся туфель, которых мне так и не сшили... — Сергей покачал головой и снова повернулся к Саше: — Мне как-то приснилось, что мы с тобой хороним капустные головы. Страшный сон. Ты был такой деловой, практичный. — Сергей улыбнулся. — Я проснулся и почувствовал, что у меня рот забит землей.

Будильник кукарекнул.

— Ну как ты мог поверить! Что такое случилось со мной! Ты что! Ты так быстро меня забыл?

Будильник кукарекнул.

Вдруг Сергей закашлялся, лицо его посинело, взгляд стал беспомощным, движения — резкими. Глаза покрылись красными прожилками. Повернувшись к Саше лицом, он стал указывать большим пальцем на свою спину — ударь, ударь! Александр подбежал к нему, поднял руку, ударил, услышал всплеск, и увидел, как у Сергея изо рта вылетел небольшой черный ком. Земля. Саша раздавил его тапком. Тщательно растер по полу. Почувствовал, что дышит все чаще и чаще.

Что сердце бьется лихорадочно. Сергей поблагодарил его внезапно потемневшим взглядом. И сказал:

— Мне так больно!

И почему-то показал на свое горло.

Будильник кукарекнул. Сергей вдруг захохотал:

— Ты посмотри, что у тебя на стене! Это же я!

Александр посмотрел на стену. Обои, картины. Больше ничего.

— Бог ты мой, — хохотал Сергей, — там, вот там, на стене — там же я!

Будильник кукарекал.

— Как же ты не видишь? — Сергей начинал раздражаться. — Там, на стене — я, я, я, я, я, я!

Сергей уже кричал — все громче и громче, и кукареканье становилось все мощнее, и звуковые волны обжигали... «Я, я, я, я, я, я...»

Александр открыл глаза. Вытер пот со лба. Тишина оглушила его. Он лежал на кровати.

Стена пуста. Комната тоже. Тяжесть, сковавшая его, постепенно отступала. Дыхание успокаивалось. Сердце билось все тише.

Саша облизал сухие губы.

Долго сидел на кровати.

Подошел к столу — робко. Хотел что-то записать в дневник, но побоялся дотрагиваться до ручки.

Зашел в Интернет. Набрал в поисковике «Преодоление горя». На этот запрос явилось множество советов. От знахарей, психологов и священнослужителей. Александр выбрал науку. Религиозных советов этой ночью он решил избежать. По крайней мере, сейчас, когда за окном мрак, и он один в квартире. А потому — психология. Он выбрал работу Уильяма Вордена, который был отрекомендован как «классик работы с горем». Короткий текст назывался: «Задачи горюющего».

— Итак, — Александр затянулся сигаретой. Выдохнул с облегчением. — Каковы же мои задачи?

Буквы деловито мерцали: «Одна из целей терапевтической работы с утратой — изъятие эмоциональной энергии из прежних отношений и помещение ее в новые связи».

Сияющие слова были чужими. Холодными. Саша вырвал лист из дневника, чтобы написать их от руки: «Я должен изъять эмоциональную энергию из прежних отношений».

Посмотрел на эту фразу. Внимательно. Даже специально прищурил глаза — мол, я предельно сосредоточен. Смысл все равно оставался по ту сторону букв, какими бы они не были — компьютерными или написанными его рукой.

Он отбросил ручку. Стал читать дальше. Его вдруг охватил исследовательский энтузиазм. Он тряхнул рукой, рассыпав на столе горку пепла, и воодушевленно зашептал:

— «Первая задача горюющего — признание факта потери. Как только горюющий признает реальность потери, он переходит к решению второй задачи, которая состоит в том, чтобы пережить боль потери...»

Александр зааплодировал компьютеру.

— Как прекрасно расписано! Прямо режиссерский совет — сначала не веришь в потерю, потом веришь, потом начинаешь переживать боль. Так я

прямо сейчас и начну решать все задачи горя. Я же человек горюющий? Безусловно. Так надо решать задачи.

Он вдохнул дым так глубоко, что обжег гортань. Вспомнил, как его недавний гость показывал на горло и говорил «мне так больно».

Саша откинулся в кресле и внятно, громко сказал:

— Блядь.

Его взгляд упал на сидящего около кровати Марсика. Он подошел к коту, схватил его на руки, посадил на стол подле компьютера. Левой рукой он подносил сигарету ко рту, а правой крепко держал кота. И втолковывал ему, как правильно работать с утратой.

— «Выясните, какие качества были присущи тому человеку, по которому клиент горюет. Пусть клиент выберет символическое представление этих качеств, НЕ САМОГО ЧЕЛОВЕКА, а его качеств...» Марсик, не пугайся, это было огромными буквами выделено, потому я прокричал, я же артист, а буквы большие, вот я и крикнул — НЕ САМОГО ЧЕЛОВЕКА! Не пугайся, кот мой, тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота! Ну, так веселее? Разрадовался? Тогда смотри, что делает горюющий дальше. Он начинает сеять: «Пусть клиент посеет эти качества по всей линии будущего».

Горки пепла заселились на клавиатуре. Александр подул на них — ему понравилось, как пепел исчез.

— Ветер, Марсик, ветер, помнишь, как я любил ветер? А я его сам могу произвести, и очень даже просто... Ветер к тому же и сеять помогает, сеять! То есть, — Александр продолжил убеждать кота, — я должен представить, чем мне был дорог Сергей. Каким таким особенным свойством? Или многими свойствами? Представить и отделить эти качества от Сергея. И посеять их по всей линии будущего. Посеять! — торжествующе повторил он. — И потом надо понять простую штуку: любил-то я не человека, а качества! И эти качества я смогу в будущем найти! В других людях, живых! Вот формула преодоления горя — людей много, качеств мало! Количество качеств ограниченно!

Он кричал все громче. Белые усы Марсика колебались от его прерывающегося, продымленного дыхания. Кот несколько раз порывался убежать от сигаретного ветра. Но Александр держал крепко. Требовал совместно решать задачи. Наконец Марсику надоело безгласно принимать крики и дым, и он жалобно, хрипло мяукнул.

— Какое-то у тебя мяуканье прокуренное, — сказал Александр, выпустил кота из рук и вдруг засмеялся. — Какие же ничтожества! Ничтожества какие пишут такое?! Как они предлагают выбраться? Из нашего бермудского треугольника? У которого одна сторона теперь — мертвая! А очень просто! Посеять! Поместить эмоции в новые связи!

Саша внезапно притих. Пробормотал:

— Хоть одним глазом, вот этим, левым, гляну, да? — Он показал на свой левый глаз. — Может там та-а-а-кой блестящий совет кроется, что я засну счастливым?

Александр, повернувшись к компьютеру вполоборота, прочел «если клиент верит в вечную жизнь, то мешать этой вере не надо».

Он снова начал смеяться. Так или иначе, психологические тексты свое дело сделали. Сила печали «переместилась» в ярость. Он принялся ходить по комнате, посылая проклятия психологам.

Александр подошел к окну, раскрыл занавески, и закричал в темноту слова из трагедии, где так и не сыграл:

— Ты обомрешь. В тебе не выдаст жизни Ничто: ни слабый вздох, ни след тепла. Со щек сойдет румянец. Точно ставни, Сомкнутся наглухо глаза. Конечности, лишившись управленья, Закоченеют. В таком, на смерть похожем, состоянье, Останешься ты сорок два часа, И после них очнешься освеженным!

Александр усмехнулся и прошептал:

— А вы говорите... «Посеять качества». «Поместить эмоции в новые связи»... Кастраты, чистейшей воды кастраты.

Он задумался: что же это такое — кастраты чистейшей воды? И закричал снова:

— Сей сам! И жни! Ворден! Ворден! Кавдорский тан!

Он декламировал, проклинал и пел еще несколько часов.

Не заметил, как уснул на кухне. Снов не было.

Весна начиналась исподволь. Она чувствовалась даже в холодном ветре. В нем уже появлялись теплые струи. Они победят — календарь не оставлял сомнений.

Начало марта. Время капитуляции зимы.

Александр вышел из подъезда — хлопнула дверь, загудел ветер.

Предстояла панихида в театре. Гражданская. А потом — в церкви. А потом, в течение дней, недель и месяцев — прощание в мыслях, прощание в чувствах. И — невозможность прощания.

Он направил шаги к метро. Взглянул на небо — облака плыли по-весеннему быстро.

Он знал, что сейчас начнется в театре: «Коллеги станут лить слезы. Стенать. Скорбно восклицать. Вопрошать, куда он ушел. Ведь прощание будет на сцене. Разве актеры не воспользуются шансом проявить мастерство? Облить слезами полпартера? Какой артист сейчас не ждет своего выхода к микрофону, чтобы, замирая от скорби и внимания публики, воскликнуть: «Это не он умер! Это мы умерли! Ведь с ним ушло лучшее, что было в нас, в нашем театре!»

Да, это будет парад скорби. Парад возвышенных чувств. Саша представил тщеславную возню вокруг смерти Преображенского. Он почувствовал, что совершенно не желает участвовать в театрализованном представлении «гражданская панихида по великому актеру».

Конечно, он был несправедлив к коллегам. Вернее, не вполне справедлив. Но сейчас он испытывал инстинктивное отвращение ко всякого рода театру. Он вдруг принял решение, что подаст заявление об уходе. Все события — после его назначения на роль Джульетты — требовали этого. Он не знал еще, чем будет заниматься, но точно, что не театром. Саша замедлил шаги около скамейки. Посмотрел на это облупившееся, убогонькое сооружение, на котором, все же еще можно было сидеть. И думать. И прощаться.

— Никуда я не пойду, — садясь, сказал он вороне, деловито проходящей мимо. — Никуда.

Ворона, заподозрив неладное, захлопала крыльями и улетела. Александр глубоко и скорбно вздохнул. И вновь отметил, что воздух неуклонно меняется на весенний.

Около скамейки подавала признаки жизни первая проталина. Саша окунул ботинок в воду. Влага окружила черный носок. Саша погрузил ботинок глубже. «Будет здорово, по-весеннему, ноги промочил». Но счастливого промокания не случилось. Ботинки были упорны в своем неприятии влаги.

Темные облака проплывали все так же быстро. Сквозь них проглядывало

ярко-синее небо. Мысли плыли гораздо медленнее: «Любовь к женщине и мужчине. К живой и… к неживому… Как теперь эти чувства станут жить во мне? Не перенесу же я их в новые связи?»

Сзади что-то зашумело и еле слышно скрипнуло. Александр с испугом обернулся. Ворона вернулась. Шум был от ее крыльев, а скрип — от когтей, впивающихся в скамейку с каждым вороньим шажком. Неприветливая птица сидела на краю. Смотрела довольно злобно своими черными глазками. Глядя на ворону, Саша подумал: «Я чувствую, что эти любови останутся нерасторжимыми. И если уменьшится одно, начнет иссякать другое… Почему? Да бог знает. Но чувствую так».

Ворона пошагивала с видом весьма важного чиновника средней руки. «Вот если каркнет сейчас… Если каркнет… То мы уже сегодня вернемся домой вместе с Наташей. Или наоборот? Каркают же к беде? Значит, если не каркнет, то вернемся… — он внимательнее посмотрел на цепкие коготки, и какие-то черно-серые, словно полинявшие, крылья. — Дай бог, чтоб мне попалась немая ворона… Или ворона, давшая обет молчания».

Как будто почувствовав, что над ней издеваются, ворона распахнула клюв. Сейчас она докажет, что она не немая. И никаких обетов не давала. Это пусть другой, тоже облаченный в черное, их дает. Клюв распахнулся шире — видимо, в преддверии грандиозного, опровергающего клевету, карканья. Саша замер. Клюв захлопнулся. Ворона улетела — уже безвозвратно.

Ногам стало холодно — ботинки, приобретенные за «водоупорность», все-таки дали течь. Пришло эсэмэс от Наташи: «Ты где, я тебя жду». Он ответил: «Я не пойду туда. Пойду в церковь. Там встретимся».

Саша поднял голову. Облака плыли так же быстро. Пиликнуло эсэмэс: «Здесь так мрачно. Мне плохо».

Пока он думал, что ответить, пришло еще одно сообщение: «Все аплодируют. Жена кричит, чтоб перестали. Ударила Иосифа и Балабанова по рукам. Кошмар». «Приходи ко мне». «Уходить неловко. Давай сразу в церкви».

В полуоцепенении он просидел около часа. Наконец встал и направился к метро. Почти не заметил, как ехал, как делал пересадки, как поднимался по эскалатору.

И вот впереди — церковь Николы Мученика. Издалека он увидел, как вносят гроб с телом Преображенского. Вливающуюся в церковь огромную толпу окружало молчание. В толпе Александр различил Наташу — как будто внезапно посмотрел в бинокль. Увидел заплаканные глаза, серый, изящный платок. Ему показалось, что и она его заметила, но не решилась поприветствовать.

Он все еще стоял поодаль. Услышал громкие, прерывистые рыдания — это была Елена, вдова Преображенского. К ней подошел Андреев и обнял. Рыдания стали тише. Она вошла в храм вместе с Сильвестром.

Вдруг Александру стало почти смешно от своей нерешительности — он даже улыбнулся. «Что изменится, что я там увижу, что там такого будет, чего не было», — пробормотал он бессмысленные слова, которые почему-то его успокоили.

И он вошел в церковь. Кивнул господину Ганелю. На приветствие ему ответил и карлик, и стоящий рядом с ним Иосиф. Александр, не чувствуя ног, подошел к гробу. Ему даже показалось, что он не шел, а как будто кто-то поднес его к Преображенскому. Саша посмотрел. «Это же не он!» Да — вьющиеся волосы, благородный профиль. Но глядя на Сергея, Александр ничего не почувствовал. Он не смог найти сходство между тем, кого знал и любил, и тем, кто сейчас лежал

перед ним. В голове пронеслось «смерти нет, это всем известно, повторять это стало пресно».

Он отошел на несколько шагов. Посчитал — их было пять. «А давай-ка еще на три», — подумал Саша, и отступил еще на три шага. Серый платок. Голубые — сейчас голубые — глаза. Они рядом. Саша наклонил голову, и, глядя в синеву, шепнул:

— Как же мы с ним попрощаемся, если это не он?

Наташа погладила его по руке.

Ипполит Карлович расположился со всеми удобствами. Включил трансляцию. Стал рыскать камерой по толпе. Увидел всех актеров. Увидел Сильвестра. Увеличил его лицо. Усы, как и прежде, были высокомерны и великолепны.

— Таракан. Таракан. Тараканище, — молвил он с ненавистью, сквозь которую пробивалась-таки непобедимая симпатия.

Увидел Наташу с Александром.

— Две Джульетты. И все у них. Прекрасно. А отец Никодим. Меня винил. За мою эстетику. Да я их еще крепче. Сцементировал. Невооруженным взглядом видно. А уж вооруженным!

Камера скользила по лицам господина Ганеля, Иосифа, Елены Преображенской. Он увеличил ее лицо. Рука потянулась к бокалу с коньяком. Сигара была зажжена. Лимон так и остался не разрезанным.

И началось отпевание.

— Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.

Наташа взяла за руку Александра. Он не шевельнулся. Господин Ганель, который не любил церковных обрядов, иногда посматривал на Александра с Наташей. От взгляда на них он чувствовал большую радость, чем от уверений хора, что предстоит «жизнь бесконечная». Ганеля раздражало, что служба идет на плохо понятном языке. «Хотя, — думал он, — может, в этом особая гармония: мертвого провожают на мертвом языке?»

— Како предахомся тлению? Како сопрягохомся смерти?

Ипполит Карлович потребил за это время рекордное даже для себя количество коньяка. От семисот грамм оставалось не больше ста. Он умилялся и пил, пил и умилялся. Недоолигарха, как всегда, пронимало церковное пение. Уже наступил момент, когда он начал мечтать, что раздаст по рублю свое состояние. Как оглянется в последний раз на особняк свой, поклонится ему в благодарность за прожитые там годы и с легким сердцем пойдет навстречу солнцу. Навстречу смыслу. Но волнение не оставляло его. Он чувствовал, что это отпевание сулит ему мало хорошего. И, пытаясь отвлечь себя от мирского, шептал: «Како предахомся тлению? Како сопрягохомся смерти?» Он поставил бутылку на стол и спросил ее (ибо пришло уже время для разговора с изделием стеклянным):

— Како? Вот како предахомся тлению? Како бы так сделать, чтобы никако?

И отрезал лимонную дольку. И отправил ее в широко распахнутый рот. И, щурясь от кислоты, шепнул: «Како-никако». И закрыл серые непроницаемые глаза.

По храму поползла оглушающая тишина. Никто даже не кашлянул. Отец Никодим тихо сказал:

— Приидите... — но вдруг осекся. Его голос оказался таким хриплым.

Священник прокашлялся и произнес:

— Приидите, последнее целование дадим, братие, умершему, благодарящие Бога...

И снова всех оглушила тишина. Никто не решался первым подойти для последнего прощания. Все ждали вдову, но она стояла, закрыв глаза. Тишина становилась почти неприличной.

— Братья и сестры! — совладал наконец с собой отец Никодим. — Я не могу сейчас говорить то, что обычно произношу на отпевании. Я хорошо знал усопшего. Но высказывать мои слишком личные чувства неуместно сейчас, когда рядом его жена, его близкие, его друзья. Какие перемены произвела во мне его смерть — это останется моей тайной. Но отзовется на всей моей последующей жизни. Говорить об этом — не время и не место.

— Прав. Не время и не место, — проговорил Ипполит Карлович, глядя на огромный экран, выпивая неизменный коньяк и закусывая неизменным же лимоном. Ибо новая бутылка была уже открыта.

— Мы препровождаем в жизнь вечную человека, которого Господь наш щедро одарил, которого послал нам на радость. Этот человек — художник. Все мы знаем, как в символе веры назван Бог наш.

— Творец неба и земли! — воскликнул Иосиф.

— Да, — ответил отец Никодим, не посмотрев в сторону кричавшего. — Творец неба и земли. Но буквальный перевод этих слов — Поэт неба и земли.

Когда отец Никодим произнес слово «поэт», вдохновение наконец-то овладело им. Он обвел пламенеющим взглядом господина Ганеля, Наташу и Александра, плачущего крупными слезами Балабанова и Сильвестра, который молчал так глубоко, что, казалось, никогда больше не заговорит.

Елена смотрела на плохо загримированный шрам на виске мужа и тихо причитала: «Столько денег взять, столько, и ничего, ничего не замазать... как же Сереже сейчас стыдно, он разве так выглядел когда-то, он всегда хорошо выглядел, за что же его так сейчас, все же смотрят... когда все смотрели раньше, он не мог так выглядеть, а сейчас воспользовались и опозорили, воспользовались и опозорили...»

— Поэт неба и земли! — огласил храм отец Никодим. — Бог — Великий Поэт, который своим словом сотворил мир. И своим словом посылает Он в жизнь таких, как Преображенский. Мы видели человека, на кого Господь указал — ты будешь своим даром свидетельствовать, что Я есть... Я часто думаю о том времени, которое наступило после сотворения Адама и Евы. Тогда в эдемском саду первый человек давал имена всему, что сотворил Господь. Давая имя, Адам постигал сущность каждой твари. Тогда был сотворен первый, эдемский язык. И сотворен человеком! К чему же стремится каждый художник? Дать имя всему, что сотворил Бог. И тем самым прорваться к тому первоязыку, которым говорил Адам.

Наташа вспомнила, как в первые дни их с Сашей романа говорила, что мечтала бы «жить в то время, когда создавались слова». Она со значением посмотрела на Александра. Он ответил ей насмешливо-ласковым взглядом:

«Нет-нет, твои игры со словами никакого отношения к эдемскому языку не имеют».

— И неверующие в Бога чувствуют, что в минуту скорби, в такую минуту, как сейчас, слова — единственное, что у них есть. Как без них онемевший мир провожал бы своих умерших? Мне страшно представить эту тишину.

И сейчас, когда свет погас, а холод сгустился, на помощь тем, кто не верит в Бога, слетаются слова. Только они могут помочь нам сейчас, когда земля вот-вот скроет того, кто вызывал в нас столько любви.

Но мы, верующие, знаем о священном происхождении слов. И знаем, что каждый, кто творит, сопричастен Господу нашему. И если в творческом порыве художник вступает в спор с Творцом, Бог наш смотрит на него с любовью. Как на дитя, которое только учится говорить, а потому произносит слова бессмысленные и нелепые. Но ребенка не остановить — он учится неустанно, и наконец начинает складывать слоги в слова, слова в предложения. А потом научается вкладывать в слова мысль и дух. Сергей был еще ребенком, который только учился складывать слова. Он был в начале своего пути. Лишь начинал служить Господу. И служение его было прервано, едва начавшись. Кто знает, куда бы привел его дар? Каким путем он пошел бы к Богу? Но так получилось, что пошел он самым коротким, и глаза наши от этого полны слез.

Отец Никодим поднял глаза на купол церкви — туда, где царил Бог Отец, которого так боялся Иосиф во время неудавшейся «театральной атаки».

— Поэт неба и земли! Мы провожаем к Тебе одно из лучших Твоих созданий. Мы помним, что все мы — часть твоей бесконечно создающейся поэмы. Все мы — строки, буквы, частицы букв. И только Бог знает, когда наступает время одной из этих строк растаять. Но в великой Поэме Господа строки не исчезают. Его рукописи не горят. И сейчас слово, благодаря которому был создан Сергей, сияет в других мирах. Мы счастливы, что были подле, когда он сиял в нашем мире.

В нахлынувшей тишине Наташа и Александр крепче сжали ладони, а Сильвестр — зубы. Он подумал: «И снова не понимаю, почему этому талантливому лицедею и лицемеру не аплодируют».

— Теперь я скажу, — не терпящим возражений тоном сказал режиссер.

Отец Никодим, не глядя на Сильвестра, ответил всем собравшимся:

— В церкви мирянам произносить речей не положено.

Пыл только что произнесенной им проповеди начал остывать. Глаза становились тусклее, мысли — земнее.

— Я скажу, — повторил каменным голосом Сильвестр, и отец Никодим почувствовал, что если не уступит, режиссер как-то страшно его опозорит.

На лице батюшки было написано: «Повинуюсь силе, и то лишь из уважения к усопшему». Уступая место Андрееву, священник вдруг заметил плохо загримированную рану на лице Сергея. Сильвестр встал туда, где только что пребывал батюшка. Оглядел собравшихся — все были под глубоким впечатлением от слов отца Никодима. Качество наступившей тишины режиссер оценил сразу.

— Я понимаю ваше волнение. Речь прекрасная. Жесты, интонации — безупречны. Но я не прощаю того, кто сейчас так искренне, так нежно оплакивал Сергея. Более того — мне есть в чем его обвинить.

— Да как вы смеете! — воскликнул дьячок Фома. Он был возмущен тем, что отец Никодим позволил говорить мирянину. И теперь этот допущенный до амвона режиссер позорит священника в доме Божьем.

Сильвестр не обратил никакого внимания на дьяконов крик.

Вдруг из самой людской гущи взревел Балабанов:

— Я! Я! — Он обратился к Сильвестру голосом, не ведающим возражений. — Я должен выступить! Я написал стих! О люди! Крокодилы! Дайте волю моему стиху!

И Балабанов стал прорываться сквозь толпу. Казалось, что колоссальных размеров артист прорубает себе дорогу сквозь человеческую чащу. Он размахивал руками-саблями. Бешено вращал глазами. Еле сдерживал ругательства. От него несло алкоголем. Режиссер метнул в него грозный взгляд. Но это не произвело на артиста никакого впечатления. Смерть Преображенского, «заявление об уходе» Сильвестра и триста грамм на гражданской панихиде сделали свое дело: Балабанов потерял страх. Мощным голосом артист возгласил:

— Стих короткий... А я длинный... Для контраста говорю. Нас учили — контрастируй — и зритель твой... Высокое-низкое, громкое-тихое, короткое-длинное, я и стих... Я написал его даже не на смерть Сергея... На смерть другого, почти Сергея, да какая же вам разница! — взревел он. — Но стих подходит, подходит, о люди!

Он посмотрел на собравшихся с яростью.

Дьячок Фома подошел к отцу Никодиму, театрально всплеснул руками и закатил глаза, но это не произвело никакого впечатления на батюшку. Он разглядывал рану Сергея и что-то шептал. Дьячок не разобрал, что именно, и с возмущением сказал намеренно громко:

— Актерам в храме не место!

— А ты знаешь, как на старославянском называется сцена? — вдруг тихо спросил его отец Никодим.

— Не знаю, — ответил дьячок и добавил взглядом «и знать не желаю».

— Она называется «позорище».

— И очень правильно, — кивнул головой Фома, пристально вглядываясь в отца Никодима. Он понял, что его старший по чину коллега имел в виду нечто совсем иное, но что? «И знать не желаю!» — снова подумал Фома, глядя на Балабановский балаган.

Пьяный артист вынул из кармана затертый листок с полинявшими, написанными от руки, строками. И все поняли: он не врал, стих был сотворен задолго до кончины Преображенского. Артист стал декламировать, делая в конце каждого четверостишия широкий жест правой рукой:

Обожгла сначала глотку,
Пролетела вниз.
Выпив «самопальной» водки,
Умирал артист.
Он один лежал в гримерной,
Не закончив роль.
Не дождавшись нашей «Скорой»
Умирал «король».
Что врачи напишут? — «Сердце...»
Или «Был инсульт».
Кто же скажет: «Водка с перцем
Выключила пульт».
В небольшом театре нашем,
Не доигран «Лир».
За столом — актеры-братья:
Поминальный пир.

Балабанов перевел дыхание, утер слезу, и продолжил дрожащим голосом:

Помянут хорошим словом,
Режиссер всплакнет.
Доиграет кто-то новый,
Если не запьет[1].

— Ох! — вздохнул Балабанов, вытер пот со лба и обратился к Сергею. — Прощай, милый мой друг! Я тебе завидовал! Я тебя не любил! Но чтобы вот так, вот так на тебя смотреть — душа моя разрывается! — и закричал: — На мелкие части расколота теперь душа моя! О люди! Порожденья...

И он снова зарыдал — громко, протяжно, с горестными руладами.

Ипполита Карловича позабавили и стих, и сам Балабанов. Недоолигарх мелко, прерывисто посмеивался. Усиленно моргал. Вытер едва заметную слезу ладонью.

— Красавец. Премию ему! Премию! Где он был? Талант! Затирал тебя Сильвестр. А ты славный! Все переменится теперь. Для тебя. Обещаю.

Балабанов вдруг как-то сник, подошел к гробу и погладил Преображенского по волнистым волосам. И тихо отошел в сторону, прошептав кому-то: «Он такой холодный».

Отец Никодим побледнел. Дьячок возмущенно зашептал в Никодимово ухо:

— Прекратите это кощунство! Отец Никодим!

— Сильвестр Андреевич, — тускло, безучастно обратился к режиссеру отец Никодим. — Вы остановите этот балаган? Или мне придется его прекратить? Вы не у себя дома. Вы в доме Божьем.

— Имейте уважение к усопшему, раз нас не уважаете! — взвизгнул дьячок Фома.

— Вы помните Бродского? — обратился Сильвестр к толпе.

Какой-то старик утвердительно кивнул.

— В каком смысле? Вы помните самого Бродского? — Старик замер. — А его дедушку?

— Отец Никодим сейчас позовет охрану! — возопил дьячок.

— Какую охрану, Фома? — тихо спросил отец Никодим.

— А я говорил — нам всем нужна охрана! Всем, — злобно прошептал дъячок.

— Так вот, у Бродского написано: «входит некто православный, говорит — теперь я главный». Какая все-таки неистребимая воля к власти у этих профессионально верующих. Что бы сказал об этом Бог, распятиями которого они себя украшают? Мне страшно представить это, отец Никодим. Вам, как вы говорите, порой бывает так трогательно страшно за меня, когда вы думаете, в каком затруднительном положении я окажусь на Страшном суде... Честно говоря, я-то думаю, что мы будем сидеть на одной скамье подсудимых. Вдова Сергея вдруг подошла к Сильвестру и залепетала:

— Сильвестр Андреевич, вы видите, как они плохо его загримировали, почему вы не проследили, вы всегда следили за гримом, а тут, в последний раз, вы тоже его бросили, тоже бросили и в последний раз, и как все, как все...

Сильвестр обнял Елену, и она затихла. Он снял руку с ее плеча и она отошла на два шага, потом сделала еще один. Замерла, слушая Сильвестра.

---

[1] Стихотворение Юрия Шмидта «Смерть артиста».

— Сегодня рано утром я пришел в театр. И почувствовал, как опустел он без Сергея. Везде — в гримерных, на сцене, в зале, в портретном фойе — его страшно нет.

Сильвестр замолчал. Все ждали его слов, и он продолжил:

— Я не знаю глубинных миросозерцаний Преображенского. Я не знаю, как он думал о бессмертии. Возможно, он желал в него верить. Я полагаю, что ему было сложно, почти невозможно представить, что столь богатая натура вдруг, в одно мгновение перестанет быть. Я почти уверен, что Сергей понимал: загробной жизни не будет. По крайней мере, для него.

— Отец Никодии-ии-м! — простонал дьячок. — Отец Никодим, это нонсенс!

Священник ласково поглядел на дьячка:

— Тебе не идет это слово, Фома.

— Да не об этом же речь! — обиделся дьячок. — И вообще, что вы сказать хотите? Что мне рассуждать надо только про то, как пол в церкви подметать?

Отец Никодим потерял к Фоме интерес и обратил взор на проповедующего режиссера. В священнике бушевал протест, но вместе с тем он испытывал жгучий интерес к происходящему.

— Вы знаете, как ненавистен мне пафос, — продолжил режиссер. — Но сейчас, когда я стою над гробом лучшего актера, с которым мне доводилось работать, для меня нет ничего естественней пафоса. Он принадлежал к тому великолепному актерскому племени, которое верит только в сегодня. Только в тело. Только в чувства. Сергей как великий артист смеялся над завтрашним днем. Потому, когда предыдущий оратор говорил о вечности, мне это показалось не только потешным. Это кощунственно именно по отношению к Преображенскому. Господа! Какое бессмертие? Он жил, как бессмертный. Нет ничего более чуждого вечности, чем театр. Остановите свое воображение, отец Никодим. Вы оскорбляете память того, о ком сочиняете свои возвышенные проповеди.

Сильвестр изредка посматривал на отца Никодима. Видел, что тот необычайно взволнован. Он углядел в священнике, как говорил его педагог в театральном училище — «духовную расщелину». Именно туда Сильвестр и метал сейчас слова.

— Я бы хотел, чтобы все мы помнили о том непрекращающемся торжестве, каким была его жизнь в искусстве. Он торжествовал — здесь и сейчас, с нами и для нас. Я бы хотел, чтобы мы помнили об этом, а не о его служении, или, — Сильвестр не смог сдержать язвительной улыбки, — о том, как Сергей мечтал прорваться к первоязыку... Я сказал, что Преображенский верил в тело. Не поймите меня превратно. Он верил в тело, если так можно сказать, до краев наполненное душой. Даже когда он поворачивался к залу спиной, его боль чувствовали все — до последнего ряда.

Отец Никодим с некоторой даже ревностью подумал: «А я о чем только что говорил? Разве не о том, что в людях одаренных себя проявляет Бог? Что они напоминают нам, что мы окружены вечностью?»

Сильвестр, словно отвечая священнику, продолжал:

— Предыдущий оратор и я — мы оба занимаемся невидимым. Я даю невидимому шанс, пусть на время, стать явным. На время обрести плоть и голос. Никто лучше Сергея не мог этого сделать.

Отец Никодим заволновался. Очевидно, желал что-то возразить.

— Не надо, отец Никодим, со своим уставом пытаться проникнуть в наш монастырь, — бесстрастно остановил его порыв Сильвестр. — Мы не имеем никакого отношения к тому, что вы сейчас воспевали... А теперь... Теперь главное. Самый щедрый из всех меценатов, каких я только видел, взял с моего театра непомерную плату за свою помощь. И я клянусь, что буду преследовать того, кто виновен в гибели моего лучшего артиста.. И того, кто виновен косвенно. — Сильвестр долгим взглядом посмотрел на отца Никодима.

Ипполит Карлович разглядывал Сильвестра и улыбался. Лимонный сок вместе с мякотью тонкой струйкой стекал с его губ.

— Страстей и публики. Вот чего ты хочешь. И больше ничего. Вот и вся твоя погоня за правдой. Если это эффектно. Будешь правду. Матку. Рубить. А неэффектно. Не будешь.

Вдова Преображенского кинулась к гробу и стала жадно, часто целовать лицо Сергея.

— Лоб такой холодный, его ничем не согреешь, вот монетки, любые-любые монетки — пожалуйста, их можно подержать и погреть, погреть и подержать, и они уже теплые, а его лоб не согреешь, только сам весь холодом покроешься...

Отец Никодим отвернулся. Посмотрел в глубину церкви — туда, где не было людей. Ему вдруг почудилось, будто у него вытащили землю из-под ног. Но оказалось, что при этом он может стоять. И ходить. Потому он пошел к гробу Преображенского с сердцем легким. Страха не было совсем.

Сильвестр, видя выражение лица отца Никодима, мгновенно уступил ему место.

— Истинно, истинно говорю вам, — воскликнул отец Никодим, — если зерно, падши в землю, умрет, то прорастет и принесет много плода. Сергей — то семя, которое погибло, но принесет много плода. Я должен сказать о том, что меня мучило все эти дни. О том, чем стала для меня его смерть.

Ипполит Карлович сдавил в зубах новенькую лимонную дольку.

— Я с печалью думаю, — продолжал отец Никодим, — почему погибает тот, кого так одарил Господь? Но с еще большей печалью я думаю: почему человек такого дара погибает от руки того, кто не достоин даже омыть его ноги?

Ипполит Карлович выплюнул на пол лимонную кожуру.

— Омыть ноги, значит. Недостоин. Как говорят мои друзья-украинцы. «Цо есть хамство». А за хамство. Ответить тебе придется. Святой отец.

Отец Никодим остро почувствовал, что его жизнь теперь разделена непроходимой границей: до этих слов и после**.** Он оглядел толпу, которая начала шептать, вскрикивать, качать головами.. «Нецерковное настроение у прихожан... — подумал отец Никодим. — Но как хорошо!»

Ипполит Карлович приблизил лицо священника. Стал наблюдать, как пробегают по нему — бесстрашие, страх, растерянность, уверенность, восторг, ужас.

— Так вот же. Православный-то театр. Вот о чем он мне тогда толковал. И предъявил. На славу предъявил.

— Я говорю это сейчас, — голос отца Никодима срывался, — потому что несу ответственность за свое духовное чадо. Я не излечил его, поскольку сам был болен, болен и ныне. А значит, есть и моя вина в смерти того, кто сейчас лежит перед нами.

Ипполит Карлович прошептал сквозь зубы:

— Вот за это. Уважаю.

Наташа и Александр переглянулись, и одновременно у них возникла мысль — уйти из церкви. У дверей их застал крик отца Никодима:

— Он смотрит сейчас на нас! Он нас видит! И я прошу — покайтесь! Ипполит Карлович! Покайтесь! Милосердие Господа безгранично! Без! Гранично!

В толпе послышался шепот — не помешался ли батюшка? Как это Ипполит Карлович на нас смотрит? И так же, как скорбь только что сменило смятение, ему на смену пришел ропот. Возмущена была вся труппа — артисты, гримеры, осветители, рабочие сцены. Возмущение артисток, которые после вручения сорока семи роз побывали в особняке Ипполита Карловича, слагалось из непростых чувств. Здесь были и озлобление, и — местами приятные — воспоминания, и стыд, и разбитые надежды. В числе этих сложно возмущенных артисток была и Наташа, которой, ко всему прочему, совсем не нравилось слышать из уст отца Никодима имя покровителя театра. Тем более в присутствии Саши.

Иосиф вдруг стал как-то болезненно энергичен, будто его внезапно включили. Он прокрался к господину Ганелю и сказал: «Ну, каково, а? Какой батюшка? Рыцарь! Рыцарь-батюшка!» Карлик тихо ответил: «Я чувствовал... Но не думал, что окажусь прав...»

Балабанов громко завопил «А-на-фе-мааа!»

Дьячок Фома прошептал: «Господи, спаси меня, грешного, из этого ада.

— Позор толстосуму! — крикнул Иосиф и испугался.

Отец Никодим обвел торжествующим взглядом паству и понял, что пора бежать. Вдохновение покинуло его. И столь же торжественно он вдруг высказал мысль, которая явилась только сейчас и поразила его:

— Андреева защитит его талант, его мировая известность. Я же теперь беззащитен.

Сказал и понял — это ведь правда. «Господи, что же я натворил? Что же я натворил?» — забилось, затрепетало в его голове.

Тем временем к нему уже быстрым шагом приближался господин Ганель.

— Вам сейчас лучше всего поехать ко мне. Причем немедленно.

— Правильно, правильно! — страстно зашептал священник. — Только к вам!

— Вы все здесь... все закончили?

— Я главное закончил, главное! Теперь без меня! Фома! Фома!

Насмерть напуганный Фома мелкими шажками подбежал к отцу Никодиму.

— Дослужи за меня.

— Отец Никодим, зачем же вы? — восклицал Фома. — Что же с вами будет?

— Правда воссияла! Вот что главное! — воскликнул отец Никодим и с тоской почувствовал, что все меньше верит сам себе. Там, на амвоне, он был герой, он был трагик, он был правдооткрыватель. А сейчас? Запуганный человечек, ищущий щель, чтобы спрятаться.

— Фома! — зашептал он дьячку. — Поезжай с ними на кладбище. А я удалюсь. А попросту говоря, убегу.

— Ну, я же, я... — забормотал Фома. — Я же никогда сам...

— Начинай путь свой! — вдруг снова воодушевился отец Никодим. — Ступай, милый, ступай, кроткий! Неси слово Христово! И спасай брата своего. Дай ему уйти от врага.

Господин Ганель потянул священника за рукав. Отец Никодим перекрестил Фому, хотел сказать что-то очень возвышенное, но услышал шепот карлика:

— Драпаем, батюшка, драпаем!

Возникшая суета помогла карлику хотя бы временно не думать о смерти Сергея.

— Вы не упадете в рясе? — спросил карлик.

Эта шутка была лишней. Господин Ганель, хоть и чувствовал почти нежность к совершившему геройский поступок священнику, все равно чуть-чуть, да наслаждался его униженным положением. Еще сильна была память о том, как отец Никодим уничтожал их общее дело. Священник это понимал, а потому сказал кротко:

— Не упаду.

Сильвестр с изумлением наблюдал, как господин Ганель уводит отца Никодима. Да, вот теперь батюшка заслужил аплодисменты! Вот что значит атакующий театр! Может, и правда взять его в новую труппу? Но, наблюдая, как властно господин Ганель тащит священника к выходу, как растерянно тот озирается по сторонам, он понял, что разыскать одаренного батюшку в ближайшее время ему не удастся. «Значит, — подумал Сильвестр, — он начнет одинокое театральное служение. Примет театральную схиму. Станет, прости Господи, священником-перформером».

Отец Никодим вдруг остановился. Захотел попрощаться с храмом, где прослужил долгие годы. Господин Ганель понял это и отпустил его рукав. Потом решил, что все-таки надежнее рукав не отпускать, и снова вцепился в черную ткань...

Наташа и Александр вышли из храма. На улице похолодало.

— Ты веришь? — спросила Наташа.

— В убийство? Я и в смерть его пока не могу поверить.

— Мы же не поедем на кладбище?

— Нет... нет.

Похоже, они оба чувствовали сейчас одно и то же. А именно — ничего не чувствовали. Не было скорби, не было даже глубокого изумления. Усталость и растерянность, растерянность и усталость.

Из храма выбежал Иосиф, бормоча на ходу:

— Вот это событие, вот это выбор, вот это решение... Вот это решение, вот это событие, вот это выбор... Вот это батюшка! Пока Наташа, пока, Саша... — и поскакал-покатился дальше.

Александр и Наташа оказались за воротами церкви.

Из храма выскользнули господин Ганель и отец Никодим. Испуганно озираясь по сторонам, священник шептал:

— У меня там «мазда», «мазда»...

— Так бежим же к ней...

Они скорым шагом устремились за ворота.

— Ты посмотри, что происходит, — сказала Наташа, показывая на парочку, подбегающую к машине. — Хотя похороны Сергея и не могли быть другими. Как будто это он закрутил на прощание такой сюжет... Такой театр...

Наташа говорила, наблюдая, как ее дыхание создает маленькие облачка, которые тут же тают в холодном воздухе. Вдруг улыбнулась: вспомнила, какими глазами смотрел на эти облачка господин Ганель в тот день, когда ее назначили на роль Джульетты.

Отец Никодим и господин Ганель наконец добежали до машины. За руль сел священник. Через секунду «мазда» взревела, и, набирая ход, проехала мимо Александра и Наташи. Господин Ганель высунулся из окна и крикнул:

— Никому ни слова!

Александр приложил палец к губам, Наташа непроизвольно сделала то же самое и улыбнулась.

Господину Ганелю определенно нравилась эта авантюра. Отец Никодим, сидевший за рулем, кивнул артистам и услышал, как карлик тихо поет: «А-ли-лу-йя! А-ли-лу-йя!» (Господин Ганель вспомнил, что именно эти слова торжественно пел Сильвестр в день назначения его на роль монаха Лоренцо, а Саши — на роль Джульетты.) Машина выехала на проспект.

— Я живу на Тверской.

— Богато!

А ведь точно так же ответила Наташа, когда он встретил ее на Тверском бульваре, растерянную и подавленную! Хорошо бы она поскорее забыла все это! Хотя, — улыбнулся Ганель, — похоже, так оно и будет. И крикнул отцу Никодиму:

— На газ, батюшка, на газ! Мы в опасности!

— Триллер, прости господи, сущий триллер, — покосился на карлика отец Никодим и изо всей силы надавил на педаль.

Дождь над океаном

В квартире господина Ганеля было тихо. Отец Никодим ходил по гостиной и с любопытством оглядывал старинную мебель — ему необходимо было отвлечься.

— В этой тишине чего-то не хватает... Наверное, тиканья часов? — спросил он робко и сел за резной стол с массивными ножками. «Это не ножки, это ноги. Или даже ножищи». — Отец Никодим старался думать о пустяках.

Господин Ганель вышел из кухни с изящным чайником и двумя фарфоровыми чашками.

— Тиканья не хватает? Я почему-то не люблю настенные часы, — сказал он, садясь напротив отца Никодима.

— А обязательно настенные?

— Другие сюда не подойдут... Будем пить чай.

Отец Никодим чаевничал громко, раскатисто. Как будто старался этими звуками разогнать страх. Господин Ганель чаевничал скромно, неспешно. Он был уверен, что ничего плохого больше не случится.

Вдруг отец Никодим поперхнулся. В горле его что-то булькнуло. Он громко охнул и стал падать на бок. Господин Ганель подскочил к нему, когда тот уже распластался на полу.

Обморок.

Карлик сбегал за водой и стал прыскать батюшке в лицо. Не помогло. Отхлестал по щекам. Безрезультатно. Убежал на кухню, причитая: «"Скорую" вызывать опасно, опасно "скорую" вызывать, а кого же тогда вызывать?»

Голова священника болела так сильно, что если бы он мог кричать, то наверняка огласил бы квартиру воплем. Но губы онемели. И все тело онемело. Когда священнику показалось, что дальше — смерть, боль вдруг исчезла.

В ушах звучал шум прибоя. Отец Никодим почувствовал: ветер мягко прикасается к его лицу. И несет запах моря. Господин Ганель внес в комнату бритвенные приборы и какие-то тряпки.

— Как прекрасно, что вы очнулись. Вот бритва. Вот мой костюм кришнаита. Он мне больше не нужен.

— Постойте... А зачем?.. У нас ведь и габариты разные... — приходя в себя и искоса поглядывая на оранжевые одежды, отец Никодим принялся подниматься.

— Габариты? Полная ерунда! — Карлик махнул рукой. — Вы же знаете наш театр.

— А бритва? Бритва зачем?

— А как же без нее, отец Никодим? Как же без бритвы-то? — Господин Ганель слегка пританцовывал.

— То есть?.. — Догадка пронзила отца Никодима. — Вы хотите сказать...

— В ванную. Пойдемте в ванную! Хотите, я вам помогу?

— Постойте.

Священник закрыл глаза. Вдалеке, где океан соединялся с небом, сгущались тучи. Облака плыли в синей бесконечности — все быстрее и быстрее. Соленый, свежий ветер вспенивал воду. Он был наполнен еле заметными каплями. Но небо было еще ясным.

Из оранжевых одежд свисало что-то блестящее. Бусы?

— Да-да, — сказал Ганель. — Именно! Самый лучший способ спрятаться — быть у всех на виду. Например, на Арбате. Вы будете кришнаитом. Вы скажете москвичам и гостям столицы: вся ваша жизнь — только лишь сон.

— Я?! Гос... — Рука отца Никодима рванулась ко лбу, но застыла на полпути. — Нет, не могу и не буду! — Рука решительно рассекла воздух.

— Это было убийство? — спросил карлик. — Вы уверены?

— Уверен, — тяжело подтвердил священник.

— Тогда не медлим. В ванную! — скомандовал господин Ганель. Вдруг голос его стал серьезным: — Уж не думаете ли вы, что мне так просто расстаться со своим костюмом? Я ведь вам роль свою дарю! К которой привык, с которой сросся! Как действовал наш учитель? Первым делом он изгнал из меня господина Ганеля, да-да, меня самого. Вы сейчас станете Махабрагинанда. Вот ваше новое имя. Вот ваша новая суть... Значит, так! Вы бриться как — не забыли? Сначала избавляемся от бороды. Потом — голова...

Ветер усиливался. Волны поднимались все выше. Облака темнели. Горизонт, соединяющий океан с небом, становился ближе и ближе.

— Пожалуйста... Я не смогу сам, — сказал отец Никодим.

— Конечно! — Карлик хлопнул себя по лбу. — Я и не подумал. Как же вы будете брить себе голову? Разумеется, я помогу.

Явились ножницы, забурлила вода, отец Никодим, закрыв глаза, склонился над раковиной, а господин Ганель, приподнявшись на цыпочки, начал вершить обряд обривания.

Отец Никодим вскинул голову. Из зеркала смотрело совершенно голое и совершенно чужое лицо. Он простонал:

— Ну и харя!

— Харе, — поправил, чуть отодвинувшись и оглядывая дело рук своих, господин Ганель. — Харе Кришна, уважаемый Махабрагинанда.

Косые полосы дождя хлестали по воде. Не было конца, не было края тучам, сливающимся в одну темную клубящуюся массу. И не было конца воде, которая вспенивалась от падающих — все быстрее, все крупнее — капель.

— Христианский монах, кощунственно преображенный в кришнаита — это отрицание наших ценностей! — голосом Иосифа зазвучало отовсюду — из раковины, из Ганеля, из самого отца Никодима.

Загремел гром, в океан вонзилась молния, и священника стали бить по щекам.

Он открыл глаза и увидел господина Ганеля. Карлик приводил священника в чувство пощечинами.

Тишина. Чай в фарфоровых чашках на столе. Остывший. Недопитый.

Он лежал на полу. Сбоку возвышалась толстая ножка массивного стола.

— Наконец-то! — воскликнул господин Ганель. — Давно у вас случаются такие обмороки? Такие глубокие? Вы почти не дышали...

— Зеркало.... Принесите зеркало... умоляю... — прошептал отец Никодим.

Господин Ганель, недоумевая, принес из ванной маленькое зеркальце — свое любимое, с синим ободком. В зеркале отец Никодим увидел — о счастье! — бороду. А выше — о радость радостей! — шевелюру.

— Господи! Господи! Если бы вы знали, — не поднимаясь с пола, шептал священник. — Если бы вы знали, какое наказание пришло ко мне во сне!

— Наказание во сне — это лучшее из наказаний, — с улыбкой ответил господин Ганель. — Вам опасно оставаться у меня. Надо уходить.

Отец Никодим опечалился.

— А я было понадеялся, что мне и наш побег приснился... — вдруг он тихонько засмеялся, стараясь не шевелиться, чтобы не растревожить боль в голове. — Еще мне снился дождь над огромной, бесконечной водой... Как в первые дни творения. Когда Дух Божий носился над водою...

— Действительно? — удивился господин Ганель. — Помню, много месяцев назад, я увидел в мыслях Преображенского что-то подобное... Только там над водой носились овации. Сразу же после дождя.

— Такой сон... Такой... Явнее яви!

— Я лично уверен, что сны гораздо реальнее, чем нам кажется, — с некоторой даже важностью открыл свои мысли карлик и торжественно произнес: — Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь.

— Что это?

— Шекспир.

— Неужели и он был женщиной? — вдруг спросил отец Никодим.

— Как понять, «и он»? — насторожился господин Ганель.

— Эти события последнего времени... Все говорят о воцарении женщин... Вот и спектакль ваш был об этом... И, говорят, Шекспир тоже женщина... Все говорят, что грядет их царствие... А мы-то рассчитываем на Царствие Божье...

Господин Ганель лихо скомандовал:

— Вам нужен — срочно! — душ. А потом — срочно! — бежать.

Отец Никодим посмотрел на карлика с благодарностью. Но когда представил, что его ждет за порогом этой тихой квартиры, снова затосковал.

Наташа и Александр в молчании стояли у входа в метро.

— Странное чувство. Пусто-пусто, — сказала Наташа.

— В каком смысле? — нахмурился Саша. — А! Я думаю, все чувства оживут потом.

За этим диалогом Саше чудился совсем другой. Наташа спрашивала: «Ты простил меня?» — «А ты разве не видишь?» — «Вижу».

— И куда же мы пойдем?

— Мы не пойдем, мы поплывем.

— Поплывем?

— Открыта же навигация.

— Ты что! Весна еще не настолько весенняя. По Москве-реке ничего не плавает.

— Так, значит, и мы тоже не поплывем?

Она засмеялась. Диалог, продолжался: — «Саша, получается, отец Никодим был прав, когда говорил о зерне, которое умерло и дало плод? Если бы не Сергей, разве бы мы стояли сейчас здесь? Вместе? Значит, у того, что мы вместе, такая грустная, такая страшная причина? Это странно? Или не странно?» — «Наташа, давай запретим вопросительные знаки. Пусть у нас будет больше точек. Утверждений. Согласий. Это нам сейчас нужнее всего».

— Саш, у тебя на губе темное пятно.

Он стал вытирать рот тыльной стороной ладони.

— Нет, не получилось. — И она быстро, указательным пальцем вытерла его губы.

— Спасибо.

— От тебя пахнет вишней, — сказала она.

— От меня не может пахнуть вишней. Если так, навигация уже открыта, — улыбнулся он.

— Насчет навигации не знаю, но метро работает, — сказала она. — На нем-то мы точно сможем поехать.

На Ярославском вокзале отец Никодим купил билет в Кострому. Там жил его единственный друг, с которым они больше тридцати лет назад вместе поступали в семинарию. И вместе учились. Сейчас это был многодетный батюшка, очень остроумный и очень бедный. Он осуждал отца Никодима за то, что тот был неравнодушен к чинам и званиям — «карьерный голод». Осуждал за пребывание

подле Ипполита Карловича — «слабость к сильным мира сего». Но редкие, примерно раз в год, встречи свидетельствовали: осуждение не мешает любви.

Священник быстро шел к своему поезду. Ряса запачкалась весенней грязью. А на ботинки и вовсе было больно смотреть. Изгвазданы. Посрамлены. Люди провожали взглядами священника — кто с почтением и даже с чувством вины, кто с насмешкой и с презрением. Отца Никодима не смущала столь широкая палитра взоров. Он к ней давно привык.

Мысли о дожде над океаном не оставляли его: «Сейчас мне кажется, что всю мою жизнь я тайно бунтовал. Против чего? Не мог смириться с тем, как многого Бог мне не дал почувствовать, не дал увидеть. Отсюда моя любовь, замешанная на зависти, к людям, которых Бог просто так, ни за что, наградил талантом». При мысли о бунте отц Никодим вспомнил Иова, первого в священной истории бунтовщика против Бога. Иов вопрошал Бога о смысле страдания. И Бог явился ему, чтобы задать свои вопросы.

Отец Никодим, глядя, как мрачный грузчик толкает перед собой тележку, наполненную тюками и чемоданами, остановился. Он вспоминал, как ответил Бог Иову: «Где был ты, когда я землю утверждал? Дошел ли ты до родника пучин и ходил ли ты по дну морей? Скажи, есть ли у дождя отец, и кто рождает капли росы?» Грузчик остановился, чтобы перевести дыхание. Посмотрел на священника. На секунду его взгляд загорелся мрачным, как он сам, любопытством. Но мгновенно погас, и руки с грязными ногтями снова надавили на тележку. Тягостно заскрипев, она двинулась вперед.

Отец Никодим прошептал: «Окликнешь ли тучу гласом Твоим, чтобы обилие вод покрыло Тебя? Прикажешь ли молниям, чтобы они пошли? Скажут ли они Тебе — вот мы?»

Грузчик остановился и стал с таким же мрачным видом сбрасывать с тележки вещи, сопровождая каждый жест солидным и злобным сопением. Отец Никодим почувствовал, что смотрит на него с умилением, и поспешно отвел взгляд. Священник думал: «Но главными были не вопросы, которыми Бог давал понять, как немощен разум бунтующего против него Иова. Главное, что Бог явился ему».

— И что сказал Иов, когда увидел Бога? — вслух спросил он себя. — Он сказал: «Теперь мои глаза видят Тебя, и потому я отступаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле...» Вижу тебя и отступаюсь! — повторил отец Никодим. — Вижу во всем.

К нему подошла женщина лет пятидесяти. Хотела что-то сказать или спросить. Услышала, что священник довольно громко что-то шепчет. Увидела, что глаза его блестят. Помедлив мгновение, прошла мимо.

Отцу Никодиму страстно захотелось курить, но об этом не могло быть и речи. «У агрессии и ненависти столько оттенков! — подумал отец Никодим, но прервал свою мысль. — Нет, не о том, не о том я должен думать. — И он продолжил проповедовать самому себе. Это приносило покой. И даже торжество. — Твое создание кажется нам избыточным, пугающе великим. Дождь над океаном... Из глубины небес вода льется в воду. Зачем? Нам никогда не понять ни причин, ни целей. Слышится только музыка, только ритм, загадочный, неизбежный, соединяющий все вокруг.

Отец Никодим подошел к седьмому вагону, на котором висела тусклая табличка «Москва—Кострома».

Когда Наташа и Александр вошли в метро, отец Никодим заходил в наполненный людьми плацкартный вагон.

Когда Александр обнимал Наташу на эскалаторе, отец Никодим неуклюже забрался на верхнюю полку.

Александр спросил:

— Мы едем ко мне?

— Мы же договорились не задавать вопросов, — ответила она.

Когда Наташа поцеловала Александра под шум идущих в разные стороны поездов, отец Никодим с печалью посмотрел в окно.

Москва удалялась. Удалялась жизнь, удобная, комфортная, жизнь, которую он вел долгие годы, и надеялся, что она будет продолжаться и продолжаться без изменений. Его мысли были исполнены решимости, но душа сомневалась. Какая жизнь откроется ему там, куда везет поезд? Он боялся будущего. Колеса стучали все чаще — Москва удалялась быстрее...

Отец Никодим слушал стук колес, и думал, что если он закроет глаза, то снова увидит дождь над океаном. Попутчики увидели, как он медленно закрыл глаза. И лицо его осветила улыбка.

Между небом и океаном стояла огромная, живая стена воды. Словно безбрежная река, соединяющая океан с небом. Постепенно река мельчала. Облака меняли цвет. Сквозь них начали пробиваться лучи солнца. И встала огромная радуга.

Отец Никодим ни за что на свете не открыл бы сейчас глаза. Он любовался водой, светлеющей под солнечными лучами. Любовался небом, которое как будто протянуло океану радугу: сквозь нее пролетали тонкие дождевые линии.

Стук колес и шум дождя сливались в единую мелодию.

Андрей Грицман

По горючим следам

* * *

Господи, как я хочу начать сначала!
Поселиться в пригородном домике,
окруженном магнолиями и покосившейся
деревянной оградой.
Выносить мусор по средам,
банки-бутылки по четвергам.
Приезжать домой вовремя.
Рассказывать о событиях дня.
Распускать галстук, плотоядно глядя
на индюшачьи котлеты.
Долго спокойно курить, наблюдая
как ты сортируешь почту.
Смотреть сериал вполглаза.
К двенадцати лечь, почитать
дневники Кафки, просмотреть
стихи в последнем «Нью-Йоркере»,
напоминающие скелеты лодок
на берегу пересохшего озера.
Ощутить счастье обитаемого
острова в океане.
Дождаться момента наступления
твоего легкого женского сна,
плывущего все дальше от меня
к берегам девичьего детства.

Улучив момент, выскользнуть из постели,
бесшумно выломать дверь счастья,
выскочить наружу,
бежать куда глаза глядят
мимо чужих фосфоресцирующих окон,
оставляя клочья шкуры на
ветвях деревьев. Добраться
до окраинного сырого оврага,
где все еще тлеет тот костер,
пахнет дымом неизвестного
мне дерева, найти место,
где я когда-то спрятал то,
что все равно не могу найти,
заметить тень ее фигуры,
стремительно ускользающей
в темноту.

Грицман Андрей — поэт, эссеист, главный редактор международного журнала поэзии «ИНТЕРПОЭЗИЯ». Родился в 1947 г. в Москве. Окончил 1-й Медицинский ин-т. Автор нескольких книг стихов и прозы, в т.ч. «Вариации на тему» (М., 2009) и «Голоса ветра» (М., 2010). Пишет по-русски и по-английски. С 1981 г. живет в США, в Нью-Йорке.

* * *

Я всю жизнь прохожу из комнаты в комнату.
Двери без замков, где ногой, где — ладонью.
Анфилада бездонная, а дома нет.
Как по вагонам, по перегонам.

Где-то остынешь, где-то чайку дадут,
а то и с отцом присядешь, обсудишь:
Бильрот, или Ру, или Меккеля.
Так и время убьешь, а ночью в бреду —
в каждой комнате спят калеки.

Кто с Валаама, у кого-то удар:
курит и пишет лишь левой, с Божьей помощью.
В паре кабинетов — там копят навар,
а другим бубнят: ищите, да обрящете.

Я вот не ищу ничего, только толкаю двери,
наугад, навскидку, иду в поисках выхода,
Где-то там в конце, в бузиной заросшем саду,
вся жизнь проходит от вдоха до выдоха.

* * *

Одному оставаться не страшно.
Надо только едой запастись,
стать веселым, как Чебурашка,
сердце сжать в мускулистой горсти.

Позабыв предсказанья и вести,
разглядеть слюдяной циферблат,
отраженью сказать: мы же вместе! —
и уйти в средиземный ландшафт.

Там, присев, как Спаситель, на камень,
дожевать и фалафель, и хлеб.
А они доживают пусть сами,
без меня, холодеющий век.

* * *

До меня доносится шум и гам.
Я — в зале бессмысленного ожидания.
Кто-то в город идет по горючим следам.
В зале моем дыханье молчания.
Поезд придет — кто за кипятком, а кто всухомятку.
В толпе веселее.
Я в буфет протолкнусь бочком.
На площадке гадкой
три истукана с простертой рукой
гонят толпу по пыльным аллеям
к пруду отчаяния.

Я вроде со всеми, но тайком — в мой зал.
Там на скамье моя книга мерцает.
Поезд прошел, опустел вокзал.
На портрете в углу нету лица,
но и к провалу, к черной дыре
глаз привыкает.

* * *

Горечь переплавленную в слова —
плеснуть в лицо — умникам, умозрителям.
Тычется пьяная голова слева направо
в жизни цветной дурной телевизор.

Покажут картинку — как люди живут,
как едят легко, медленно пьют,
собеседника уважают,
ублажают, градуса не снижают,
чего-то жуют.

Что ж, мы-то с тобой уроды,
пьем настойку на травах,
нам только известных,
на бессловесном бреде
на падежах, корнях бесполезных.

Наверх нам нельзя, но есть место родное:
снег тихо идет на дорогу в долине.
Нас там ждут, то есть мы — друг друга.
Съемная комната, кровать, надежда.
Вот так и живем, идем по кругу.
На жизнь за окном — снег падает свежий.
Голоса нас зовут,
но все реже и реже.

* * *

Разве жизнь эту можно вынести,
просыпаясь и засыпая?
Словно тайная горечь выкреста
все же дышит, едва живая.

Ничего не понять, не ведая,
где те струны, что за пределом
цвета, звука. Но с тьмой беседуя
вдруг поймаешь звук между делом.

И поймешь — до конца не вынести
одиночества тень прозрачную.
Две души за пределом истины
словно дали обет безбрачия.

Так тоска пьет опивки прошлого,
дышит давним прикосновением.
За окраинами заросшими
ветра темного дуновение.

Из библейского цикла

Потоп

Издалека с оливковой веточкой в клюве
голубь вернулся, замер над нами в полете.
Не виден ковчег, замурованный в сказанном слове.
Мерцает вода в приснопамятном данном нам свете.

Там ли мы ищем ковчег ведает только слово.
Берега все далее уплывают водами и годами.
Каждый сам по себе. Но я знаю вернется снова,
прилетит тихий голубь, наверно, за нами.

На краю мы и ждем, на счастье, судна любого.
Густа мгла неземная, слово плещется всуе.
Ждем мы всю жизнь прилетит ли тот голубь
с тонкой, прозрачной, последней веточкой в клюве.

Галина Климова

Юрская глина

Путеводитель по семейному альбому в снах, стихах и прозе

Настоящего болгарина я увидела впервые, когда была еще первокурсницей, полностью невменяемой от любви к Сашке. По законам жанра, похудела килограммов на десять. Ненавистные розовые щеки стали, наконец, впалыми и бледными, как у поэтесс Серебряного века, но я продолжала себе не нравиться, да и Сашка время от времени напоминал, что красоты и ума во мне – кот наплакал. Я смиренно соглашалась и от этого любила его еще сильней.

Однажды мама, поправляя новый парик, сказала:

– Из Варны прилетел мой коллега с сыном. Красивый мальчик, интеллигентный, не чета твоему обормоту! Покажи ему Москву, угости мороженым, я профинансирую. А вдруг он тебе понравится, начнете переписываться, а потом ты в Болгарию, на Золотые Пески полетишь... Его отец вроде бы не прочь подыскать русскую жену для своего мальчика, у них это теперь модно.

– Фу, какая гадость! – вырвалось у меня.– Я не собираюсь замуж за первого попавшегося болгарина. Я Сашку люблю, вот за Сашку и выйду. Зачем мне болгарин?

Разозлилась жутко, но маме отказать не посмела. Решила, что покажу этому красавчику Красную площадь, продемонстрирую русское гостеприимство, и – баста! Может, еще на свидание к Сашке успею?

Он узнал меня по красному пальто с белым капюшоном:

– Привет! Здравствуй, я – Асен Маринов.

Протянув руку, похожую на тощую мороженую селедку, я что-то буркнула себе под нос и, не теряя ни минуты, потащила его на Красную площадь.

Болгарин выглядел настоящим иностранцем, хотя по-русски говорил почти без акцента. Никто из наших парней не носил шарфа поверх пальто. В ноябре от загара уже и следа не оставалось даже у тех, кто знал не понаслышке, что такое «бархатный сезон». А его лицо было как из шоколада, и глаза ореховые: стопроцентный натуральный шоколад с орехами. Собирался стать моряком, ну не простым, разумеется, а сразу капитаном корабля... Говорил без

Галина Даниелевна Климова — поэт, переводчик. Окончила МГПИ им. В.И. Ленина и Литературный институт им. М. Горького. Автор четырех книг стихов, составитель трех поэтических антологий. Лауреат премии Союза писателей Москвы «Венец» и «Летящее серебряное перо» международного поэтического фестиваля «Славянска преградка» (Варна). Живет в Москве.

Журнальный вариант. Полностью книга выходит в издательстве «Русский импульс».

умолку, забегал вперед, брал под руку то справа, то слева, острил, сам угощал мороженым, но я была неприступна. И лишь поглядывала на часы, прикидывая, когда бы сбежать, чтобы не обидеть иностранного гостя.

И вдруг болгарин понял:

– У тебя, наверно, есть парень?

– Я не обязана тебе отвечать.

– Значит, есть, ты – красивая девушка...

– Красивая? Что ты несешь? Что ты вообще понимаешь в красоте? – со всем раздражением, покраснев до ушей, накинулась я.

– Может, не все понимаю, но красоту сразу чувствую и вижу. Не слепой. Вот и тебя сразу увидел. Зачем ты разозлилась?

Я растерялась.

Кто говорил правду: Сашка или этот смазливый болгарин?

Даже мама никогда не говорила, что я красивая.

С головной болью я приехала домой.

Мы с Асеном больше не виделись, но приезжая в Варну, я часто оглядываюсь вокруг: *Асен Маринов, ты здесь?*

Замуж за Сашку я не вышла.

Согласившись стать женой Юрия Михайловича Леснова, красавца с синими глазами и несоветской свободной улыбкой, жизнелюба, пижона и франкофона, старше ее почти на двадцать лет, Тася решила не экономить и сшила в ателье на Покровке длинное свадебное платье покроя «принцесса» из золотистой иранской парчи в белый горошек. В магазине для новобрачных «Весна», поставив штамп на спецприглашении «1 пара. туфли жен.», купила лаковые белые гэдээровские шпильки.

В середине декабря зима вошла в пору бесснежной лютости.

В день рожденья Брежнева, на зимнего Николу, во дворце бракосочетания «Аист» под шампанское и марш Мендельсона цвели букеты полуживых цветов. В этот вторник по сокращенному сценарию, без сантиментов расписывали новобрачных не первой свежести – разведенных или вдовцов.

Накануне приехала школьная подруга Таня, свидетельница ее завтрашнего официального счастья. Проболтали до двух ночи, но и потом сон не пришел. Утром из зеркала на Тасю выкатились больные глаза видавшего виды бассета. Таких глаз новобрачные обычно не носят. Кроме того, болела голова, и спазмы бомбили где-то в области солнечного сплетения.

Пять лет назад, когда она впервые была невестой, ее жених – кабинетный московский мальчик, поэт и студент химфака так и не появился в назначенный свадебный день по вполне уважительной причине. Зато нашел в себе силы позвонить: вирус, страшный насморк, температура, мама не советует...

Натянув золотистую шкурку свадебного платья, как в сказке о царевне-лягушке, она будто защищалась и пряталась в этом блестящем камуфляже, чтобы не страшно было быть невестой, хотя бы в окружающей ее коммуналке,. Посуетившись в парче на кухне, покрутившись на шпильках возле плиты, накормила горячим завтраком бабушку и Таню, сама – маковой росинки не взяла.

Время выезжать.

Жениха нет.

Телефон молчит.

Бабушка, больная раком, облысевшая от химии Феня, зная контекст предыдущего незамужества, не спускала с внучки мокрых глаз:

– Не психуй, Тасенька. Он, наверное, машину ловит.

– Что значит *ловит*? Это золотую рыбку старик для старухи ловит, да и то в сказке, а он должен был машину заранее заказать. Может, передумал? Или испугался? Третья жена все-таки, это вам не кухры-мухры... «морально неустойчив, неразборчив в связях», международный отдел ЦК явно не одобрит, загранкомандировки зависнут, вся жизнь может пойти наперекосяк.

– Сикось-накось,– согласно кивнула Феня, двойным узлом для уверенности завязывая под подбородком шелковую косынку.

Время подпирало: двадцать пять минут опоздания. Сердце – в горле, и даже молчать невыносимо.

Перебил телефон:

– Не сердись, не мог поймать машину, все, как на зло, мимо. Вот сейчас уговорил одного хорошего мужика, объяснил ситуацию, минут через двадцать будем, я только еще цветочки подкуплю. Успеем, не волнуйся, а вы там времени зря не теряйте, спускайтесь и ждите.

Ждать на двадцатиградусном морозе в туфельках, с больной бабушкой, державшейся исключительно на положительном стрессе, было немилосердно.

Когда спустились, у подъезда, распуская бензиновый хвост, их поджидал раздолбанный белый «москвич», на двери которого односложно синело: «СВЯЗЬ».

– Ой-ё...– И она поверила, что все всерьез.

Уже через час они – законные муж и жена при цветах и подарках. Он подарил нейлоновую японскую куртку цвета спелого апельсина, она – грузинскую чеканку с танцующими в хороводе узкобедрыми и широкоплечими мальчиками, почти как у Матисса.

Кто-то сострил:

– За здоровье дорогого Леонида Ильича! Зря, ребята, вы его не позвали на свадьбу, отбили бы правительственную телеграммку с приглашением, а он: благодарствую, дор-р-рогие товарищи, я бы с радостью, но государственные дела, сами понимаете, хотя вот вам подарочек... И чмок, чмок, чмок взасос!

Самым драгоценным подарком стал сын Георгий, Гошка, такой же красавец и трудоголик – весь в отца. Это было главным событием ее жизни: единственный шанс родить ребенка и *самой* – вместе с мужем – вырастить и воспитать его. Может, так она хотела изжить свои детские комплексы, изводившие до бессонницы, до седых волос? Или это инстинкт материнства, который сильнее комплексов?

Ведь Тася росла на бабушкиных руках, больших и заскорузлых от работы, и выросла под ее недреманным оком, пока родители ютились в московском общежитии, потом в коммуналке и уж только через пятнадцать лет получили двухкомнатную «хрущобу» на Таганке.

Она и сейчас носит фамилию первого мужа.

Иногда что-то просверкивает в небесах, подсказывая ориентир судьбы.

Однажды, прозревая будущее, нащупывая точку опоры или отсчета, она поняла, что неслучайно жила в Ногинске на улице Леснова, хотя и не знала, кто такой этот прославленный человек: революционер, писатель, передовик труда или народный артист? Так случилось, что она – пацанка, скрипачка, поэтка – жила на улице имени своего будущего мужа. Кто же знал, что она станет – Лесновой?

<В понедельник ноябрьского утра девочка села в электричку. Точно в четвертый вагон от хвоста – место назначенных свиданий или встреч невзначай с бывшими одноклассниками, теперь уже московскими студентами.

Вагон был холоден и пуст. Все уехали ранними поездами, а ей в этот раз подфартило: прослушивание у знаменитого скрипача, старого профессора, назначено на час дня.

Она облюбовала местечко у окна. Уложила на полку скрипичный футляр, нотную папку прислонила к стене и облокотилась на нее в сомнениях: что лучше – дремать, читать или играть?

Вчерашние бывшие лужи наглухо задраены ледком. Никто не бежал, не опаздывал, будто бы местные граждане вдруг стали не выездными,– да и какая нужда уезжать от этой крепко настоянной синевы небес, незатронутых ветрами, от несуетного, быстро сходящего на нет дня. Переминаясь с ноги на ногу, на платформе скучала пара сторожевых дворняг, поочередно крутя головами в сторону сигнального светофора: красный? зеленый? Может, кого-то проводили, а теперь ждут не дождутся – живой памятник верности. Неся наперевес деревянный ящик с мороженым, к головному вагону направилась матрешечного вида продавщица в белом халате, натянутом поверх пальто.

Поезд очень мягко покатил. Девочка разложила на коленях ноты и начала их читать, как читают книгу: подробно – впереди полтора часа пути – вникая в смысл мелодии, отслеживая нюансы, интонацию, перемены ритма. Возвращаясь к технически трудным местам, она повторяла глазами такт за тактом: сначала медленно, как бы страхуя себя от ошибок и срывов, а потом – во всем блеске, раскованно, артистично. В голове бушевала музыка на полном форте, в подробностях вспыхивающих и угасающих страстей. Ей нравилось это звучание. Вот бы так сыграть на прослушивании, а лучше на концерте, при полном зале, в лучах юпитеров... Но сразу же вспомнилось, как на прошлом выступлении в городском театре прыгали ее коленные чашечки, не прикрытые школьным платьем и накрахмаленным белым передником. Она боялась, что все видят это волнение, эту полуобморочную трясучку. За кулисами ее расцеловали и учитель, и аккомпаниатор, но их заслонило расстроенное лицо мамы:

– Тебе нельзя играть, детка! Тебе противопоказаны выступления, концерты, конкурсы. Я это как врач говорю. У тебя дергается щека, ты вся в поту, а коленки... Куда это годится в пятнадцать лет? А дальше будет хуже. Ранний инсульт или инфаркт, и вся жизнь коту под хвост... Посчитай пульс. Наверняка за сто да еще с перебоями. Смотреть невозможно. Не надо строить больших планов, не надо связывать своего будущего с музыкой. Постарайся, дочура, это понять сейчас, когда ты на пороге выбора. Кем ты будешь, когда окончишь музучилище? Жалким преподавателем, как твой Георгий Афанасьевич, в задрипанном городишке? Или в оркестре? И не в Большом театре, а четвертой или пятой скрипкой в оркестровой яме, до пенсии. А зарплата? На что жить будешь?

Девочка как-то отодвинулась внутрь себя и снова погрузилась в музыку, хотя ноты закрыла. Это была «Импровизация» – эффектная концертная пьеса Кабалевского. Она решила повторить ее наизусть, как повторяют стихи: сначала нащупывая и называя единственно верные слова, выходя в стиховое пространство и дыша им в полную силу. Ничто не сковывало изнутри. Пальцы левой руки привычно обхватили запястье правой, реально изображавшей скрипичный гриф. Вены напряглись и натянулись струнами. А пальцы? Пальцы побежали

сами: горячо, по памяти. Она играла, скользя из одной позиции в другую, мизинцем держала флажолетто, вытягивала трели, выверяла октавы.

Подошла продавщица мороженого. Прервавшись, как по звонку на перемену, девочка купила обсыпной сахарный рожок.

К поезду с обеих сторон выбегали вросшие в землю, облупившиеся деревянные домишки с кривыми серыми заборами и унылыми окнами. Иногда показывались люди, кошки, собаки. Как же им трудно,– подумалось ей,– вечно стучат поезда, один и тот же ритм, железнодорожный грохот. Громче жизни.

Вытерев рот и пальцы, она открыла ноты Концерта № 2 Шпора, совсем нелегкого, совсем не из школьной программы, как пояснил ей учитель. Именно Шпор заставил ее понять, что такое певучесть, длинный наполненный звук, из вибраций которого вырастает музыкальная мысль, фраза, монолог. Может, даже виртуозные технические пьесы в чем-то легче, а в адажио или в анданте столько созерцательной глубины, что надо дорасти до этого чистого звучания.

Проехали Храпуново. Смешное название: какие такие храпуны прославили эту станцию?

В вагон ввалилась компания парней. Их было трое,– одинаковые, как братья: все в куртках «болонья», все рослые, русые, еще не износившие летний загар, все навеселе. Они громко, но не зло переругивались, задирались, толкая друг друга, будто разминаясь на ринге. Оглядев вагон, где, кроме девочки, сидели поодиночке несколько пожилых женщин, влюбленная парочка и еще старушка со стариком-инвалидом, они без запинки двинулись к ней:

– Скучаем, чувиха? – спросил Первый.

– Да чё-то не похоже,– ответил Второй.– Она не одна, вон на полочке, смекай, скрипочка примостилась. Твоя скрипулька али чья?

– Ага, обнаженная со скрипкой,– догадался Первый.– Где же я это слышал, чувачок? Или где-то видел?

Они плюхнулись на сиденье напротив, вытянув огромные ножищи в кедах, и перегородили проход, заполнив воздух перегаром вина, сигарет и давно не стиранной, заношенной одежды.

Девочка вжалась в угол. Ей осталось повторить последнюю пьесу, «Пчелку» Шуберта, быструю, очень техничную вещицу для левой руки. Она хорошо помнила ее, и не было нужды заглядывать в ноты, но хотелось повторить не спеша.

– Ты че такая смурная? Кемаришь, что ли? Недоспала? – наконец, подал голос Третий.

– С кем недоспала, крошка? – ерничал Первый. Он выдвинулся почти вплотную к ней, широко раздвинул вытянутые ноги, как бы обхватив ее и отрезав от остальных.

– Тормози, Костян,– предупредил Третий,– нутром чую, чувиха серьезная.

– Ясен пень, но мы ее развеселим!

– Че, анекдоты начнешь травить? А, может, у нее с юмором не фонтан?

Девочка не отвечала.

– Во, гордая, да, Костян?

– Нет, она гордая и интеллигентная. И мы, рабочий класс, ей по фигу.

– Обхождение не то, чем-то мы ей, е мае, не близки,– напирал Второй...

– А ты бы ей сбацал, стишки почитал, цветочков с клумбы понадергал,– посоветовал Третий,– вот она с тобой, ремеслуха, и разговорилась бы по душам.

– И потискать бы себя дала... может, она еще целка? – решил Второй.

– Слышь, ты, чува, о тебе разговор, не дошло еще? Голос-то подай, если есть! – крикнул Костян.

– Есть у меня голос,– очень тихо отозвалась девочка,– чего расхулиганились. Я же вам не мешаю, и вы не приставайте.

– А если ты мне приглянулась, если пондравилась с ходу- с лету? – обрадовался Костян.– Может, у нас с тобой любовь прям тут, в вагоне начнется? Как в кино. Может, я тебе предложение еще до Москвы сделаю?

– Если говорить не хочет, пусть споет, пусть че-нито на скрипульке пиликнет,– предложил Второй.– Я, кажись, вспомнил, она в театре выступала перед Днем Победы... в белом фартуке. Нас тогда с занятий сняли, и вместе с солдатней пригнали, чтоб мест свободных не было.

– Сыграни что-нибудь зажигательное, этого, как его, самого знаменитого, про него по радио часто передают...

– Паганини? – подсказала девочка.

– А ты догадливая,– обрадовался Костян. Он легко приподнялся и достал с полки скрипку.

– Не трогай, отдай инструмент,– испугалась девочка и хотела отобрать футляр.

– Да я токо зыркну.– И он легко отодвинул девочку плечом.

Оба защелки замка мгновенно открылись. В глубине футляра на зеленом сукне покоилась янтарного цвета скрипка, а на крышке дважды закреплен смычок. Девочка привстала и вытянула шею, будто впервые увидела свою скрипку.

– Чуваки, живая скрипка! – заорал Костян.

– Как в гробу лежит, мертвая,– отрезал Третий.

– А мы ее сейчас воскресим, вдохнем в нее жи-з-нь! Она нам и споет, и спляшет. – забавлялся Костян. Он скинул куртку, вскочил на сиденье, как на сцену, и, размахивая скрипкой и смычком, объявил дикторским голосом:

– Концерт по заявкам!

– Ты что? – закричала девочка.– Тронулся что ли? Совсем ку-ку? Это же старинная немецкая скрипка... ей почти сто лет, отдай, урод!

И она бросилась на Костяна, пытаясь вырвать инструмент. Ребята тут же вскочили и посадили девочку.

– Сиди и не обзывайся, а то больно будет,– успокоил Второй.

– Пусть отдаст скрипку, пусть вернет, нельзя так с инструментом,– кричала девочка.

Немногочисленные пассажиры стали оглядываться.

– Чего к девчонке пристали?

– Совсем расхулиганились, молодежь?

– Да мы не обидим, просто поиграем,– обнадежил Костян. И, обратившись к ней, спросил:

– Конфетки уважаешь? Небось, шоколадные мамка покупала. Помнишь, «А ну-ка отними»? На фантике девочка с цуциком на задних лапах. Прикинь, ты очень похожа. Не на девочку – на цуцика... сейчас будешь прыгать... А ну-ка отними!

Он отбежал вместе со скрипкой к дверям вагона, где не было никого. Дружки не отстали, и девочка тоже бросилась за ними, стараясь дотянуться до скрипки.

– А ну-ка отними! Оп ля! – дразнил Костян, бросая скрипку Второму, а Второй поймал ее и без слов перебросил Третьему. Начался баскетбол.

– Пас, еще разок! – кричал Костян, перебегая и, вытянув руки, как для мяча.– Бросок! Сильней!! – И он выскочил со скрипкой в тамбур.

Девочка металась между ними на маленьком пятачке тамбура, подпрыгивала, пытаясь в воздухе перехватить инструмент. Она была неспортивной и совсем невысокого роста, хотя и на каблуках, но всем им до плеча. Ребята ее пихали, заталкивали обратно в вагон, захлопывая стеклянные двери тамбура, и уже оттуда корчили рожи, высовывали языки, дразнили скрипкой. Она теряла равновесие, несколько раз ушибалась, потом даже упала, но, поднявшись, снова бросалась в тамбур, где Костян пристроился играть, грубо пользуя скрипку как балалайку:

– Тренди-бренди, балалайка, балалаечка моя...

– Отдай, урод!!! – Она почти повисла на нем.

– За «урода», паскуда, ответишь по полной. Как совершеннолетняя!

Костян размахивал скрипкой над головой. Держа за гриф, он закручивал ее, как пропеллер, все быстрей и быстрей, и вдруг со всего размаху запустил скрипку в вагон. Деревянной птицей она шарахнулась вдоль прохода между рядами. Где-то в середине вагона ударилась о жесткую спинку сиденья и упала замертво. Тут же на цыпочках подбежал Третий и стал правой ногой – щечкой справа – футболить ее к дверям.

Костян рванул девочку за волосы, развернул к себе спиной, и потащил к двери, открывшей перед ней тесное, ежеминутно готовое уйти из-под ног межвагонное пространство, глухое ко всему, что не было скрежещущим шумом, железным грохотом или тормозным ударом. Он поддал ей ногой в зад, и она осела на дергающийся узкий мостик сцепления. Костян толкнул дверь в соседний вагон,– дверь была заперта. Обрадованный, он высунул голову в тамбур и, длинно сплевывая, процедил:

– У нас любовь... по согласию. А вы на атасе!

Одной рукой он схватил девочку в охапку, поднял с пола, сильно встряхнул и прижал к запертой двери, а сам тяжело налег сверху, всей мстительной массой распалившегося злого тела.

– Урод, говоришь, урод???

И крик электрички, так похожий на женский крик, располосовал ее горло.

Скрипка потеряла голос.

Насквозь треснула верхняя дека.

Боль была одна на двоих. Девочка знала это всем своим беззвучным, едва живым существом.

Футляр – на обратном пути – вдруг стал легче легкого. Наступила пустота, непрерывно диктовавшая черную паузу – фигуру умолчания.

Она не помнила, какие кругаля выписывал троллейбус по Садовому кольцу, не помнила, что профессор предложил ей заниматься с ним, хотя бы полгода. Надо бы исправить левую руку: играть только гаммы, упражнения, этюды и два раза в неделю ездить на занятия в Москву...

– У вас есть нерв, девочка! Ваша игровая манера захватывает меня, это немало.

Когда через несколько дней она открыла футляр,– скрипки там не было. Как и в ней самой не было музыки.>

***

От надрыва фольги – ветерок липкий,
живая музыка почти не подглядывала в ноты,
но жестосердые так и цепляли скрипки,

и смычками тянули: кто ты?

Горько твержу во рту вкус шоколада,
и пока надо мной горит самый верхний свет, вижу:
стреножив велосипед,
ты выходишь вживую из детского сада
без верхнего зуба, здорового полон азарта,
в атмосфере московского дворика – акварель.

Как еще далека безотцовщина черного марта,
пока исподлобья ребячится синий апрель,
и в нем не стихает музыка эта живая,
и едет цигейковым «зайцем»
на пятом маршруте трамвая,
как главная тема каждого дня.

Слушаю живую музыку, а она – живую – меня.

После смерти Юры, такой внезапной,– всего несколько задохнувшихся мгновений,– появился страх темных окон.

Подъезжая к дому, по многолетней привычке Тася поднимала глаза на уровень пятого этажа и безошибочно натыкалась на черные глазницы своей квартиры. В темень не хотелось. Там все было в беспросветно прошедшем времени. Она совсем разучилась засыпать. Закрывая глаза, как бы впускала в себя эту мертвецкую темень, агрессивно обживавшую ее жалкое полужизненное пространство. Схватка начиналась глубокой ночью, когда железно включался бесшумный мотор бессонницы, и оставалось только выть, вопить и пить.

Юры не было нигде.

Врач из клиники неврозов посоветовал адаптироваться к ситуации, выписал антидепрессанты и снотворные. И еще сказал:

– Когда начнете спать, попробуйте записывать сны. Не все, конечно. И безо всякой ерундистики... Когда проснетесь, постарайтесь, без жалости к себе – это важно – сфокусировать внимание и мысленно пройтись по ночному маршруту вашего подсознания: с начала и до конца. Заставьте себя вернуться в иную реальность: что видели, где и как это было, какие эмоции преобладали... не упускайте деталей, не сбивайтесь на действительность и ничего не додумывайте, не сочиняйте... И то, что будет поддаваться осознанию и вербальной фиксации, записывайте. Через какое-то время из этого разноцветного калейдоскопа сложится более или менее связный узор или сюжет, и вам, будем надеяться, полегчает.

Она купила в киоске на Шаболовке общую тетрадь и вывела красным фломастером:

Избранные сны

Уже несколько лет мы встречаемся.

Не часто. И только во сне.

Но это не менее захватывающе, чем предыдущая жизнь, просто она проросла в иной реальности. Например, как если бы почву заменить гидропоникой. Все продолжает расти, дает свои питательные урожаи.

Не разминувшись здесь и встретившись там, с лету узнаем друг друга. Легко!

Смерти нет.

Времени нет.

Нет социума.

Вот, например. Мы болтаем или вместе едем куда-то по делам, ссоримся, танцуем, и я его ревную.

Два года назад зимой он сильно отличился: громко топал ножищами, пробивая хлипкое дно предутреннего тонкого сна, грозил пальцем и даже чуть не смазал мне по физии, учуяв, что я навострилась выйти замуж за любителя полетать на параплане, бывшего полковника контрразведки, вылитого Никитона, то бишь Никиту Михалкова. Так и вижу этот угрожающий палец, это категорическое покачивание головой, вытаращенные, налившиеся кровью глаза: не смей! не позволю!

Зато сам не заставил долго ждать и вскоре заявился в новой голубой рубашке, молодой, загорелый, с неотразимой улыбкой.

– Какая у тебя красивая рубашка, Юрочка!

Он совершенно расплылся:

– А ты что думаешь, мне здесь некому рубашку купить что ли?

И я проснулась от света его счастья.

Любочка Лузина – последняя любовь Юры.

«О ты, последняя любовь!

Ты и блаженство и безнадежность».

Бессмертный тютчевский приговор!

Никто не обречен, никто не застрахован, но сколько жаждущих принять или хотя бы пригубить этот эликсир молодости!

Любочка Лузина – медовая каллорийка с изюмом, философиня в первом поколении, успешная бизнес-леди, общественница, мать двоих взрослеющих дочерей, замужем. Неоспоримое преимущество – моложе Юры почти на двадцать пять лет.

Что еще нужно для счастья?!

Квартиру беспардонно начали заселять всяческие безделушки, обезоруживая своей многочисленностью и безошибочной безвкусицей. Любочка чаще всего дарила разнообразные по размерам и материалам – серебряные, глиняные, фарфоровые, хрустальные – колокольчики: они обживали книжные полки, письменный стол, телевизор, сервант, а самые нежные – пробрались на кухню.

Но права голоса они не имели.

Но всех их перешиб и затмил курносый персидский котенок, очень похожий на рыженькую Любочку и цветом, и какой-то общей пушистостью облика. Наверняка Любочка ощущала эту визуальную и тактильную общность и хотела, чтобы Юра носил котенка на руках, играл с ним и тискал эту мурлыкавшую зверюшку, когда они по семейным или каким-то причинам не могли бывать вместе.

– Или я, или котенок?– не смирялась Тася.

– Конечно, котенок.

Юра волновался и порхал в поисках достойных ответных подарков, дотошно советуясь с женой. В удушающих сомнениях выбирал новый галстук, со вку-

сом поливался парфюмом перед встречами, следил за кожей рук и состоянием ногтей и довольно скоро обновил недельный комплект трусов, вполне еще приличных.

Ошибиться в диагнозе было невозможно даже народному целителю,– клиническая картина тянула на классику. Азартная игра в «третий лишний» затянулась на несколько лет: острый период болезненного отчуждения, потом изнурительной холодной войны с прицелом на капитуляцию, потом вялотекущего сожительства в одной квартире с общим холодильником, но в разных комнатах.

Организационные активы Юры, его связи и мозги деятельно сошлись с Любочкиными амбициями и деньгами.

Их совместная жизнь, очевидно, была на взлете: заграничные вояжи, экологические акции и симпозиумы, научные публикации. Тася парировала незамедлительно: вегетативно-сосудистая дистония с паническими атаками, книга стихов, две работы, имитирующие материальную состоятельность, самостоятельность и почву под ногами.

– Разводиться не буду,– бушевал Юра, впадая в гипертонию.– В четвертый раз жениться даже мне стыдоба… срамота в моем-то возрасте, когда я дважды дед, и уже прадед. Все едино, и вы все… одним миром мазаны. – Он безнадежно хватался за голову обеими руками, запускал пальцы в волосы и сильно растирал кожу, потом виски, потом приглаживал стоявшие дыбом вихры и успокаивался.

– Как я тебя брошу? Кто я без тебя? Ты тридцать лет меня терпела, тридцать лет, не фунт изюма, но если уж тебе совсем невмоготу, совсем уже во-о,– он полоснул по шее указательным пальцем,– уходи сама, иди куда хочешь.

Хотеть было страшно. Идти некуда.

И они не развелись.

Вскоре, как права на наследство, открылись подробности.

Очень озабоченный, и уже от одного этого постаревший и погрузневший, Юра по-родственному попросил:

– Слушай, у меня здесь теперь новая жена, очень хорошая интеллигентная женщина, я обязательно вас познакомлю. Я ей много о тебе рассказывал, и она даже заревновала к тебе. Она научный работник, докторскую пишет. Это нелегко, по себе знаю. Помнишь, как ты мне помогала, редактировала мой бред, даже печатную машинку пришлось купить из-под полы на Пушкинской, немецкую «Эрику». Теперь мой черед отдавать долги, и я чем-то должен помочь своей жене, ну хотя бы еду готовить. А я, кроме яичницы, не мастак в этом деле, и здесь пока не научился, здесь тоже — совсем нет времени. Помнишь, как однажды щи варил, когда ты лежала в больнице? Кочан капусты в кастрюлю не помещался, а другой кастрюли я не нашел. Гошка голодный, бульона не хватает, картошка непроваренная. Выручи, распиши на неделю меню с рецептами, попроще да поподробней.

На чистом листе А- 4 я старательно от руки вывожу: «Понедельник. Завтрак…» Прямо как в санатории, где восстанавливался даже почерк.

Никакая химчистка будней не брала этот сон. Он упрямо стоял в глазах. Вот дружок-то, вот помощничек примерный! Раньше не очень-то готовил, а с новой женой – и сам как новенький.

Оставалось лишь удивляться реальным завязкам будущих метасюжетов. Утешала или будоражила любая весточка.

Вдруг звонок:

– Любовь Игнатьевна умерла. Почти год назад.

Впервые Тася позвонила ей, чтобы сказать, где и когда будут похороны Юры. Потом уже звонила его предыдущим женам: первой – однокурснице Зое, с которой Юра прожил 14 лет и родил сына Мишу, и второй – Ане, бездетной художнице, старше его на 12 лет. Обе прийти отказались: Зоя была в санатории, Аня доживала свой век безвыходно. И только Любочка смущенно благодарила и верещала:

– Конечно, я не прийти не смогла бы, точно, не смогла бы, но и прийти без звонка не решалась. Я так благодарна, так благодарна, прямо камень с души сняли,– лепетала она.– Такой человек ушел! Человечище, личность, махина! Конечно, буду. И в церкви, и на кладбище. Может, помочь чем?

В самый разгар московского лета они приснились уже вдвоем – муж и жена, но уловимо запомнился только он.

Возбужденный, моложавый, почему-то в белой песцовой шубе, в темных пляжных очках и с чемоданом почти в человеческий рост, он весь сиял в наэлектризованном ореоле меха, суетился и жутко смущался.

– Чего ты хочешь? – не выдержала я.

И совсем неожиданно услышала сама от себя:

– Наверно, у тебя родился ребенок? Опять, мальчик? И ты хочешь, чтобы я его усыновила?

Он радостно закивал, расцвел своей самой неотразимой улыбкой, и абсолютно счастливый, каким можно быть только во сне, закружился со мной в обнимку.

– Хорошо, усыновлю,– не могла уже остановиться и я, опьяненная предстоящими материнскими хлопотами.

Блаженные и обнадеженные, они оба безоблачно растаяли.

Московская жара нестерпима.

Может, Любочка Лузина и вправду защитила докторскую на небесах, пока Юра жарил оладьи из кабачков?

А ведь совсем неплохо: доктор небесных наук.

В последний раз мы виделись с Любочкой, кажется, на вернисаже. Я ее не сразу узнала: она – не она? Похудела, постраннела, линялые волосы, тусклый голос. Я во всех ракурсах цепляла ее глазами, пока она не подошла сама:

– Да я это, я! Что, так уж изменилась? Нельзя узнать?

И сразу вопрос в лоб: – Стихи пишутся?

– Более чем раньше.

Когда я не была твоей женой,
твоей гражданской маленькой войной...

Или:
Я – юрская глина,
я – мужья жена,

огнеупорна, обожжена...

– Надо же, — подосадовала Любочка, — у вас вообще-то муж умер, визуально от вас уже не больше половины осталось, а вы рифмочками пробавляетесь, про себя пишете, какую-то юрскую глину выдумали. А если б вашего мужа звали не Юрием, например, тогда бы о чем писали?

— Афродита вышла из пены морской, Ева — из ребра Адама, а я, наверное, из юрской глины, которая почти везде: это и вязкая грязь под ногами, и полное жизни дно древнего моря, и подручный материал для ваятеля. Всё — книга жизни: о нас и обо мне времен моего юрского периода.

— Вы бы лучше про супруга конкретно — Царствие ему небесное! — написали что-нибудь обстоятельное, масштабное, если уж ваша натура так заточена на креатив. Я, например, сама частенько вспоминаю, как мы плодотворно работали, сколько актуального, сколько полезного сделали! Мне его не хватает, с ним было очень комфортно. Очень скучаю, моментами даже тоскую. Позитивная личность, одна биография чего стоит!

– Да, он любил повторять: одной моей жизни на семь других хватит. Я готов умереть в любую минуту, нечего мелочиться.

– Мемуары писать собирался.

– Да я как только услышала про эти мемуары, прямо вздрогнула: вот и старость, вот и смерть не за горами. Успеет ли? Ведь жил так, будто перед ним даже не Русская равнина, а сама вечность простиралась до непостижимого горизонта.

Любочка ревниво ловила слова, шумно сглатывала и моргала часто-часто, как будто ей колола глаза вытравленная бледная челка, длинно нависавшая сбоку.

Я чуть было не разревелась: ведь и она любила, и она тосковала, и ей также темно и пусто без него, как мне. Мы молчали в одной тональности, уже не соперницы, не врагини, а почти сестры– осиротевшие несчастные сестры.

Сколько раз Тасина рука тянулась к телефону, чтобы наговориться о муже или запросто – встретиться с Любочкой, распить бутылочку и – опять наговориться о нем. Любочка могла рассказать то, чего Тася не знала или не поняла в Юре, могла подтвердить тот до мелочей знакомый образ, ни днем, ни ночью не выпускавший Тасю из своего магнитного поля, утверждая по всем направлениям силовых линий – и даже вопреки им – крепость их связи... Не обмануло синее слово СВЯЗЬ на свадебном, якобы случайном «Москвиче».

На поминках Любочки не было.

А на кладбище она повела себя прямо-таки престранно. Когда церемония закончилась, и все, окоченевшие от мороза, поднялись в похоронный ПАЗик от фирмы «Титан–Ритуал», Любочка задержалась, что-то достала из сумки и вроде бы стала закапывать, разгребая голыми руками песчаный могильный холм. Может, заигралась в «секретики»? А может, горсть земли захотела взять?

– Нет, нет, – горячо твердила глазастая подруга Лида,– она что-то спрятала, что-то зарыла в снегу под венками, по весне всё откроется.

Когда растаял снег, издалека уже были видны обугленный деревянный крест, металлические скелеты спекшихся венков и дочерна обгоревшая, но живая, старая береза. Говорили, что на кладбище собираются сатанисты, жгут кресты, крушат памятники.

Кем надо быть, чтобы так ненавидеть не только людей, но даже память о них?

– Простите, сударыня,– прорезалась однажды Любочка,– вам не стишки, вам мемуары за мужа писать давно бы надо.

– Ну вы и хватили, мадам. Как это «за него»? Конечно, мы прожили вместе тридцать лет, но когда он умер, я вдруг ощутила, что знаю его лишь на уровне событий, хотя и он – душа нараспашку, и я – открытый человек. Был жив, казалось, все известно вдоль и поперек: чем дышит, что на уме, на сердце... Все чуяла. Срослись!

А потом – удивительная аберрация! Даже фотографии изменились, какой-то очевидный сдвиг, смещение, и он – уже другой: значительный, чистый, милостивый. Наверное, продолжение того – знакомого, родного – от шрама на плече до мохнатых мочек ушей.

Так и со стихами складывается, как с людьми. Например, с поэтом Николаем Панченко.

После похорон столько вдруг открылось: что было понятным – стало пророческим, обычное – чудесным, темное – мистическим. Или вот Таня Бек жила и писала о любви и смерти. А стоило ей умереть, и читаные-перечитаные ее стихи стали – совсем другими.

Или, может, это мы – другие?

И для себя, и для тех, кто ушел.

Вот Юра на очередном субботнике посадил клен перед нашим подъездом. Клен американский, рослый, неприхотливый. Юра умер, и клен не пережил зимы. Загнулся. Отчего? Ведь и морозы-то особенно не лютовали, и никто вреда не нанес. Просто дерево не выжило без любви, засохло от тоски.

Все какие-то знаки, намеки, необъяснимые сближения, совпадения. Правда, почему-то растительной природы. Например, лет двадцать красовалось у нас на подоконнике семейное, или денежкино, дерево. Я всегда забывала его поливать. И вдруг, когда я уже овдовела, оно впервые расцвело и подгадало точно к моему дню рождения. А в декабре просто так не расцветешь!.. Два белых цветочка, малюсенькие, сморщенные, жалкие. Вот тебе твои денежки и твоя семья.

Радуйся, жено!

После смерти близкого человека многое проявляется совсем в ином масштабе – в масштабе личности. И не каждый способен вместить и эту личность, и этот масштаб без искажений. А Любочка говорит: сядьте да напишите. Разве это легко? И возможно ли?

Тася приказала себе уснуть, чтобы непременно повидать Любочку и кое-что растолковать ей, ученой женщине, философу:

– Я что, в Анголе была, когда в джунглях то тлела, бушевала гражданская война? Или учила французский по прописям в марсельской тюрьме? А за тысячи километров, в Ташкенте, в те же революционные дни мая 1968-го Зою Терентьевну, его мать, разбил инсульт, от которого она не оправилась.

Марсельская тюрьма оказалась ошибкой, не был Леснов «агентом Москвы». Тогда во Франции от страха всех «советик» хватали и сажали, на всякий

случай. А он в Марселе случайно сфотографировал грабеж магазина... Его приняли за соучастника. Он – бежать, ну и так далее. Голодовка, консул. Французы извинились и в порядке компенсации за моральный ущерб подарили поездку – на полицейском катере – на остров Иф, в замок графа Монте Кристо.

А про то, что Леснов был очевидцем крушения Берлинской стены, вообще не написать. Все уже отснято и известно по документальным кадрам, по напечатанным воспоминаниям. Даже юбилейная художественная выставка в Берлине уже прошла. Помню что-то о бывшем секретаре ЦК Компартии ГДР, который уже тогда работал шофером. Вот он-то и привез Юру в нужное время к нужному месту. У нас дома хранится кусочек берлинского бетона. Насмотревшись всего этого, он понял: очень скоро и у нас рванет. И рванет пострашней Чернобыля! Налицо революционная ситуация: верхи не могут, низы не хотят. Во всех учебниках истории была эта фраза. Может, коммунистов на фонарях еще будут вешать.

Намного раньше были Конго и вся французская Африка, Йемен и даже Кампучия – сразу же после свержения режима Полпота.

– Он кое-что мне рассказывал о Кубе, о встречах с Фиделем. Мы, к счастью, успели слетать в Парижик, там, сами знаете, Тур Эффель, Мулен-Руж, и все такое прочее,– перебила Любочка,– хотя деловые поездки это совсем другое, и прошу вас не передергивать, дорогуша! Не разменивайтесь на разговоры. Все заболтаете. Вон какой запал пропадает! Вам лишь бы наговориться, хлебом не корми. Нет, здесь нужны конструктивный подход и креатив, да, да.

Нужны добротные мемуары с выверенной хронологией, архивными данными, фотоматериалами. Нужны позитивные мемуары, а то потомки, и, в первую очередь, сын, Георгий ваш дражайший, потомки не простят, со света сживут, загрызут при жизни. Но кроме вас, голуба моя, некому. Вы, душенька, крайняя. Вы – жена, пусть и третья, а теперь – законная вдова, и должны хотя бы для внуков постараться, а в широком смысле – для вечности...– пафосно завершила Любочка.– Начните без художеств, без литературщины, по-простому, как в анкете: где и когда родился, в какой семье...

Вспомнив, видимо, о чем-то неотложном, она исчезла в известном направлении.

Надвигалась пора защиты докторской.

А Тасе пора засесть за мемуары.

– Любочка говорит: без литературщины. С анкетой она, конечно, хватанула,– Тася скривилась, будто во рту стало кисло. Внезапная догадка изменила ее истощенное немолодое лицо.

– А если сочинить персоналию типа энциклопедической, например:

ЛЕСНОВ Юрий Михайлович (3.9.1929, Фрунзе – 19.3.2003, Москва), рос. историк, специалист по международным отношениям, политолог, общественный деятель, проф. (с 1982) ...

Тася откинулась в кресле, покрутила окаменевшей шеей:

– Нет, не то, голая схема.

Она притихла, затаилась, будто проникая в сердцевину неизвестного секрета.

Тасины родители познакомились в ночном московском трамвае, в грохочущей «Аннушке».

Сильно поддавший Даня с виртуозностью обезьяны удерживаясь за поручень и нависая обмякшим телом над зеленоглазой стрекозой в берете, вдруг запел: *я маленькая балеринка*...

Именно в тот вечер Аня возвращалась с концерта Вертинского, где сам артист обратил на нее внимание, разглядел среди многих кареглазых, сероглазых, голубоглазых, и даже пел будто для нее одной. Ее сердце, всегда такое здоровое и ритмичное, тут вдруг расходилось. Стало жарко и почему-то стыдно. Захотелось свежего воздуха, сквозняка. Пешком она прошла пару остановок, чтобы вернуть себе нормальное сердцебиение, при котором вроде ничего не происходит, кроме самой жизни.

Было сыро и темно. Ветер продувал насквозь ее видавшее виды пальтишко, будто пытался свить там гнездо. Она впрыгнула в трамвай. А там какой-то гражданин, сильно навеселе, и поет – Вертинского.

Даня беспардонно навязался в провожатые, хотя трудно было определить, кто кого вел.

Много позже отец внушал Тасе: никогда не знакомься в транспорте! Это легкомысленно, банально и, в конце концов, неприлично.

Тася с Юрой познакомились на танцах в пансионате Левково, под Пушкином, куда во время последних студенческих каникул она приехала на три дня, чтобы отдышаться и отоспаться перед назначенной операцией аппендицита.

Пансионат ходил ходуном: телецентр вывез на уик-энд активистов профкома, а заодно и лучших лабухов. Вторую ночь – ни сна, ни отдыха. Тася отплясывала вместе со всеми под маленький оркестрик, и какой-то очень симпатичный кент не отпускал ее, крепко держал в танго, кружил в вальсе, раскручивал в твисте и – нахал – переплясал-таки в чарльстоне. Они заплясались, заболтались, а потом уже и всерьез разговорились да так, что на следующий день его подружка, подловив Тасю в столовой, приказала:

– А ну, давай, мотай отсюдова! В Москву, nach Hause, немедленно, а то не поздоровится!

Красная, потная, она угрожающе надвигалась и сопела.

– И не подумаю,– огрызнулась Тася.

– Дуй по-быстрому, говорю, а то плохо будет! Через полчаса придет такси, уедем вместе.

– Катись колбаской, а я уж завтра, и на автобусе. Сильно-то не ревнуй,– постаралась ее утешить Тася,– тебе он, может, и дорог, а для меня – это даже не эпизод в жизни.

Не оглянувшись, Тася ушла в свой номер.

Вечером они с Юрой долго бродили по завороженным, заснеженным дорожкам Левкова, говорили о джазе, французских шансонье и почему-то о системе изучения иностранных языков по системе Лозанова. И она спрашивала себя: что это? что происходит? И сама себе отвечала: успокойся, это даже не эпизод в жизни...

Чистая правда, это была – сама жизнь, чей точильный камень будет много лет терпеливо и безошибочно стесывать неровности, не в меру раздражительные шероховатости, болезненно острые углы и сколы, подгоняя мужа под жену, а жену под мужа, чтобы там, где у одного выпуклость, у другого – ровно такая же впадинка, чтобы совпасть, хотя бы в конце жизни, слиться, срастись в один неразделимый профиль.

Как на знаменитой камее Гонзага.

Несколько лет назад я подарила на день рождения сыну книгу стихов «Мама – сыну», написанных ему за несколько лет. Книга иллюстрирована семейными фотографиями, его рисунками, школьными сочинениями, записочками и письмами типа:

Здрастуй, дарагой Ворабей! Как дела?

Это была первая попытка, первая свободная версия семейной хроники. Может, сохранится? Что вообще остается после нас?

Воспоминания, вещи? Семейные альбомы, письма, диссертации, книги? Сервизы, драгоценности, антиквариат? А может, все это затмит конкретное солнце недвижимости как самая значимая и реальная для прагматичных потомков вещь? Все вещественное хорошо знает себе цену, находясь в подвижной системе купи-продай. Это соблазнительно.

Все невещественное – бесценно. Не купить, не продать, не обложить налогами. В каких единицах – времени, любви, забот, вины или печали – можно выразить эту бесценность?

***

Я видела сны:
там – сын мой
весёлый, как мячик,
пинг-понговый дачный, взлетал в скорлупе яйца
с крученой подачи
в Париже ученого мачо,
веселого, шебутного, еще молодого отца;

там я на коленках
средь строфики сбивчивых грядок,
или на кухне, или в лесу на велосипеде,
супруга в упруге –
таков и почин, и порядок,
как дефиниция из советских энциклопедий;

там – папа
душит в объятьях трофейный аккордеон,
отборной цензурой настраивая баритон,
с прононсом одесским:
черти, рожна вам хаять режим!

А сам как рванет во всю мощь:
здесь под небом чужим...
И я на подхвате: *О караван!*
Кто из нас гость нежеланный в такой-то стране?

Я видела сны:
там – небо из рваных ран,
там – сын мой.
Я знаю,
когда он впервые
всплакнет обо мне.

В нашей семье, довольно благополучной по советским меркам, архивов не заводили, над рукописями не тряслись. Но кое-что уцелело: письма, документы, удостоверения и пропуска, по которым легко считывается профессиональная

карьера,– дипломы докторов наук, профессоров, бесчисленные грамоты и благодарности от профкома, парткома и проч. В ворохе старинных и просто старых фотографий видишь лица, которые не опознать, и некого уже расспросить: кто этот мужик в белых валенках с галошами, до полусмерти придавивший казенный стул, за спинкой которого стоит убитая жизнью женщина, видимо, жена... И выбросить фото рука не поднимается.

После книги «Мама – сыну» захотелось продолжения, захотелось семейного романа, хроники, альбома, ставших в последние годы востребованными жанрами. Это симптом. Дефицит семейных отношений требует срочной компенсации – еще со времен античных трагедий. Всем хочется семейного романа. Каков он сегодня? Роман для семейного чтения или роман о семье?

Уже более ста лет не читают вечерами вслух всей семьей и не садятся перед экраном телевизора, как это было в 50-е годы, посмотреть спектакль “Любовь Яровая” или американскую версию “Войны и мира”. На смену реальным семейным отношениям пришли латиноамериканские мыльные оперы и отечественные долгоиграющие телесериалы. Их многажды переживают и проживают, и обсуждают с большей страстью, чем собственные семейные драмы и трагедии.

При социализме семейный роман крутили с партией, с государством, и реализация женщин планировалась по мужскому типу: высшее образование, работа, карьера. Два-три поколения почти не задумывались: что такое хорошая жена и мать, которая воспитывает детей, занимающаяся (не по телефону) их воспитанием. Это было вроде бы неважно и не престижно. И обществом не поощрялось. Престижно и показательно было выполнить и перевыполнить производственный план, быть партийкой, активисткой, общественницей, а уж потом – семья...

Но когда сломленные и спившиеся сторублевые мужья, искатели счастья на стороне, из защитников и героев стали безликими персонажами второго плана, то в герои семейной эпопеи вышли женщины, взвалившие на себя тяжести работы и семьи.

И еще. Некоторые семьи сохраняли дети. Но как зачастую это было непосильно для детей.

Дом моего детства, место счастья – маленькая банька. С первого взгляда,– вылитая украинская хата: низенькая, беленая, об одном близоруком окошке, щурившемся в сад.

А в саду – зима. И никуда не уходит, не проходит, как затянувшаяся болезнь. Так и жили: я, лежа в постели, пялилась на зиму, а зима, стоя за окном, не видела меня в упор.

Пока я болела, научилась рисовать портреты (в три четверти) горбоносой Консуэло и балерин в шопеновских пачках, не подозревая о Дега и Зинаиде Серебряковой. Но, главное, я взрослела, впервые обнаружив личное пространство, где на свободе жил мой внутренний человек. С подружками стало скучновато. И неожиданно, прямо под боком, как это обычно бывает, я разглядела чудо. На стене, к которой была придвинута тахта – самодельный пружинный матрас на деревянных чурбачках,– висел ковер: лохматый, дремучий, с хороводом крупных алых роз, разметавшихся упитанными листьями по черноземному полю. На левом боку лежать было никак нельзя: сердце играло в табун взбесившихся лошадей.

Но эти розы были мне нужней и полезней лекарств. Я поворачивалась к

стене лицом, водила пальцами по лепесткам, расправляла листья, гладила – против шерсти – теплое поле, трогала стебли, и они кололись, как живые.

Вот с кем хотелось дружить.

Вот кого полюбила.

Нигде ничего похожего я потом не видела.

Почему тогда же не спросила, откуда он, этот ковер?

Почему я так нелюбопытна?

Может, это подарок? Или богатый трофей с Русско-турецкой войны?

После многочисленных переездов ковер пропал.

И вдруг в Софии, в доме-музее поэта Ивана Вазова, я увидела свой детский ковер.

И розы эти – снова мои подруги, сочинительницы стихов. Но теперь у них болгарские имена: Калина, Елка, Росица, Драга...

Встретились через сорок лет, чтоб узнать друг друга.

Это был *губер*.

***

О старом ковре
не вспоминала с тех пор ни разу,
он как бы умер.

Но через сто лет
в Софии, в доме, где жил Вазов,
меня пригвоздило буквально
то ли слово, то ли имя *г у б е р.*

Здесь на постели у Сыбы в спальне,
в ритме строго орнаментальном –
цветник доморощенный... Но откуда
средь жалости пчелиного сброда
и грубо разношерстного люда
рослые розы в траве,
как на старом ковре?

Ручная работа, 19-й век.
Это типичный болгарский губер.
В Родопах почти у всех.

Не одичал, не вымерз, не умер,
пока в Москве шел за снегом снег.

Будто в хитонах, все, как одна,
в бутонах кустарных гуляют по кругу
дикая роза – чья-то жена,
роза-сестрица и роза-подруга.

В воздухе носятся имена:
Калина, Калинка –
моя половинка,
Росица,
чьи мочки нежней лепестка,
дражайшая Драга –
взрывная, как брага,
и Елка – в белом стихе легка.

Мне тринадцать без малого лет.
Я в рифмы прятала первый букет,
как рукопись – под матрасом – тайную.
А мама молила из темноты:

упаси болезную от нищеты,
на черный день, на пропитание
научи ее, Боже, делать цветы...

Давно отболела эта пора,
другое детство озолотил
жалостный улей.

Здесь, в доме Вазова, на обеденном стуле
траурный бант, или роза скорби,
на весь белый свет: urbi et orbi.

А за окнами – будней высокая проза,
рослой Витоши снежная роза.

Каких только садов не бывает?

А о них всё пишут, всё вспоминают, как я сейчас о саде поэтов... которого нет, и безвозвратно время его,– благоуханный летний вечер, задетый шершавой нежностью поспевающих персиков.

На виду у южных звезд, впервые сойдясь, поэты звучали, как одно закольцованное стихотворение, хотя читали на общем языке каждый свое: по-болгарски и по-русски.

Такие непохожие стихи, такие разные поэты: щедрый и чувствительный Атанас, интеллектуалка Ирина, гордый Сашо, выверенная – как евангельская цитата – Юлия, философичный Владимир и твердо стоящий на земле Иван, мистическая цыганистая Мария, раненная любовью Елена и я – с краю...

И еще цикады.

Они настраивали с лету струны, подкручивали колки натянутых нервов и, жарко наяривая смычками, бросали во тьму чистые зерна звуков. Цикадам подыгрывала гитара, переходящая от Иры к Виктору и – обратно. Некогда было перевести дух.

Тайная вечеря. Вечное ученичество. Учитель известен.

И нет среди них предателя.

Они – одаренные радостью слышать и понимать друг друга – созвучны. Все банально и просто, но это – личный опыт, и он бесценен.

Подали белый хлеб, только что испеченный матерью Атанаса, сухое красное вино и жирную овечью брынзу.

Что-то вечное таилось в этом застолье,– может, библейский мотив самого сада, которого больше нет, как нет уже Атанаса, хозяина сада.

Но они *были* там, еще не входя.

И остались там, уже уйдя оттуда.

Середина 1990-х. Конец века. Время подведения часов и итогов.

Меня пригласили в одно столичное издательство.

– Надо составить солидный сборник стихов о Москве,– скоро юбилей города. Возьметесь?

Заманчиво и страшновато.

Голая ветвь замысла, быстро набирая в росте, зашумела зелеными – наперекор зиме – листьями: *женская поэзия!* Это будет поэтическая антология женской поэзии, куда войдут поэты, поэтки и поэтессы, даже если они дальше третьего ряда, откуда-то с литературной «камчатки».

Моя жизненная ось заметно качнулась в сторону женской поэзии. Дни наполнились стихами, как в литинститутские годы. Наступило веселое время открытий, восхищений и восторгов. Эти «литературные университеты» куда значительней и питательней литинститутских штудий.

Меня мало знали в литературных кругах. Как серая кошка в сумерках, я была неразличима. Жила вне литературной среды, изредка общаясь с бывшими однокашниками. Дружбы ни с кем не получилось, хотя со многими приятельствовала. Многим было удобно заскочить, мимо пролетая, ко мне на улицу Горького: погреться, поболтать, попить чайку-кофейку, настучать на машинке новые стихи. После первого семинарского побоища, когда на слуху были метаметафористы, когда с придыханием произносили имена Жданова, Еременко и Парщикова, меня уличили в прямом наследовании некрасовской традиции, что в литинституте было равносильно смертному приговору, Некрасов тогда был не в чести.

С такими разве дружат?

Да и маргинальности во мне не было: ни сторожем, ни дворником никогда не работала.

– Мы с тобой – «девочки из благополучной семьи»,– объяснила Таня Бек,– таких не любят.

Выйдя после семинарского обсуждения на Тверской бульвар, я не сразу сообразила, в какой стороне мой дом.

– Тебе не стихи писать, тебе бы... замуж да борщи варить,– бросил вслед признанный литинститутский лирик, писавший об облаке, и яблоке и Блоке.

И я – давно жена и мама восьмилетнего сына – почти год ничего не писала. Только через пять лет издала первую книгу стихов.

И вот теперь – составить антологию.

Вот он, случай!

С усердием рабочей пчелы я летала по Москве. Объясняла: кто я и что делаю, просила разрешения на безгонорарную публикацию, предлагала вариант подборки. Казалось очевидным, что подборки должны разниться по объему,– и ни к чему «всем сестрам по серьгам». Здесь другая справедливость. Но мои авторицы вдруг стали считать строки. Начались сцены и припадки. И в противоположность этому – как согревающее глубинное противотечение – появились литературные контакты, завязались приятельские отношения, заработали сарафанное радио и цыганская почта. Нашлись симпатизанты и волонтеры, подсказывавшие забытые, исчезнувшие, изъятые цензурой или не услышанные в свое время имена поэтесс, названия их сборников, номера телефонов публикаторов и правообладателей.

Так я подружилась с Ириной Волобуевой, Тамарой Жирмунской, Татьяной Бек и Ольгой Чугай. Они – дорогие мои соучастники и помощники.

Музы – они как люди: строптивые, добрые, корыстные, жертвенные.

Одна поэтесса потребовала снять ее стихи по идеологическим соображениям, не найдя принципа партийности в антологии. Она запротестовала,– ее имя не может находиться под одной обложкой с именами Натальи Горбаневской, Ирины Ратушинской, Алины Витухновской.

Другая номенклатурная поэтесса, стихи которой ежегодно «в красный день календаря» печатались в «Правде», наоборот – внезапно прозрев, настояла поместить в книге разоблачительное антипартийное стихотворение,– ей захотелось отстраниться и очиститься... так и умерла, не дождавшись публикации.

А знаменитая и не самая бедная в Москве поэтка – поставила вопрос ребром:

– Вы мне – гонорар, я вам – стихи... на улицу не в чем выйти, ношу ботинки сына, а у него сорок третий размер... сестре в Киев лекарства надо послать. Цена вопроса сто долларов! Другие пусть как хотят, а мне – сто долларов, и – баста!

Сто долларов по тем временам были внушительной суммой, но книга без ее стихов была бы с пробоиной. И я заплатила.

Предводительница «московитянок» – очень своенравная и вздорная, на первый взгляд, дама – шумно волновалась за неизвестную Аллу Рязанову, умершую несколько лет назад от туберкулеза.

– Если нет места, снимайте мою подборку, а ее стихи дайте... Я ее матери обещала. Бог с ними, с моими стихами!

Разве можно было отказать?!

Судьба посильней литературы.

Но ведь и поэзия – не литература.

Сразу же позвала к себе Инна Лиснянская. Они с Липкиным жили тогда на Аэропорте. Дверь открыла сама Инна Львовна, невероятно экзотично – неужели для меня? – одетая: неопределенного покроя хламида, длинная сигарета, зажатая, как пахитоска, между пальцев с очень яркими, длинными и хищными ногтями, но главное – такая же ярко-красная шляпка.

– «Хулиганка»,– мелькнуло в голове. – Какая Вы...– продолжила вслух.

– Люблю шляпки, хотите примерить? Из Парижа привезли. Вам пойдет, вы красивая,– куражилась Инна Львовна,– наверно, еще и стихи пишете?

В прихожую неслышно вошел Семен Израилевич...

– Сёма, познакомься, это составитель антологии женской поэзии.

– Антология, говорите? Это хорошо. Только почему женская? Что за разделение полов? Как в бане. А кто составит антологию мужской поэзии? Что-то я ничего не слышал о мужской поэзии...

Инна Львовна хрипло хохотнула и, твердо взяв меня за руку, подтолкнула:

– Ладно, сначала идемте ко мне, на мою половину. Потом с Сёмой поговорите.

Она прилегла на кровать, продолжала курить и для приличия оправдывалась в своей многолетней привычке.

– Вот стол Марии Сергеевны, вот зеркало,– подсказала Лиснянская.

– Неужели Петровых? Расскажите, какой она была?

– Какой-какой... сама собой была, это главное. Читайте стихи – и ее, и о ней Мандельштама, например, или Тарковского... А вот общая фотография участников «Метрополя», ведь мы с Семеном Израилевичем вышли тогда из Союза писателей в знак протеста. Нас здесь не печатали.

– Я знаю и пишу об этом в антологии.

Лиснянская одобрительно кивнув, прицельно всматривалась в меня, а я вдруг одеревенела от ее разноглазья. Куда смотреть, не знаю: в тот глаз, который смотрит прямо, или в тот, который – в сторону? Пауза густо расползалась между нами, и я забыла, зачем пришла.

– Ну, покажите, что вы там выудили?

Подборка ей понравилась, и в тональности разговора проступила доверительная интонация. Стали пить чай, она очаровывала меня импровизациями, зачитывала «километрами» стихов на заданную тему:

– У меня такая особенность: могу писать о чем угодно, в любом метре, с любой рифмовкой... на спор!

Потом, как по клавиатуре, пробежались по поэтическим именам, разделяя их – «мои – не мои», «любимые – нелюбимые». Она позвонила Белле Ахмадулиной, рассказала об антологии и обо мне. Потом опять закурила, держа сигарету в манере серебряного века. Я залюбовалась:

– Какие у вас красивые руки!

– Вознесенский сказал, очень сексуальные. Слава богу, Зои рядом не было,– рассматривая на просвет ладонь и пальцы, она рассмеялась мелким понятным лишь ей смехом.– В Баку со мной был такой случай: еще совсем молоденькая, почти девчонка, я залетела как-то к старому еврею ювелиру в подвальчик на рынке,– посмотреть кольца. Всегда любила крупные камни в серебре. Вот это,– она подняла вверх безымянный палец с большим малахитом,– это от Беллы. А я ей прямо с руки сняла – теплый коктебельский сердолик. У нее почти все пальцы в огромных кольцах. Это уж перебор, чересчур, по-моему. Я поскромней.

Так вот, разглядываю кольца, примеряю на разные пальцы, и так поверну, и этак поиграю... а уж хочется, сил нет, но и денег тоже нет. А ювелир все новые и новые из шкатулки достает, товар свой нахваливает, и заодно меня красавицей называет. Смеемся оба. И так ему понравились кольца на моих пальцах, так руки мои приглянулись, что он не выдержал:

– На, золотая моя, возьми от сердца, носи на счастье,– с азербайджанским акцентом произнесла она.– И Сёма очень любит мои руки. Я их берегу, а что еще у меня осталось?

Через несколько лет, еще при жизни Липкина, вышла в свет их общая книга стихов «Вместе», на обложке – две руки, в мужской – доверчиво расположенная женская, похожая на узкую с нервными длинными пальцами руку Лиснянской.

В последний раз я видела их обоих накануне отъезда в Переделкино, откуда Лиснянская вернулась уже одна.

Я забежала накоротке. У Инны Львовны кто-то был:

– Зайдите пока к Семену Израилевичу, поговорите минут десять-пятнадцать!

Вжавшись в низкое тесное кресло, поэт читал в полутемной комнате.

– Ага, московская муза! В форточку, что ли, залетела? Значит, правда, весна не за горами. Вот и мы завтра снимаемся с зимовья... в Переделкино,– подняв полные детской печали глаза, он вопросительно замолчал.

– Вам грустно, Семен Израилевич? Не хочется уезжать?

– Да нет, там хорошо... можно слушать птиц, можно гулять, можно встретить кого-нибудь, поговорить. Прогулка – теперь моя мера жизни. И это совсем не грустно, это – одиноко.

– Одиноко? Там?

– Везде одиноко.

– *Вам* одиноко? Да у вас всегда живая очередь, кого только нет: и поэты, и журналисты, и издатели... Столько людей! Не квартира, а дом открытых дверей.

– Да они все не ко мне. Они к Инночке, а она меня очень бережет и ограждает. – И он опять с вопросительной печалью распахнул глаза.

Шумно открылась дверь.

– Сумерничаете здесь, секретничаете? Интересно узнать, о чем?

– Да вот я новую книгу принесла. Хочу, чтоб Семен Израилевич и вы посмотрели.

Липкин взял книгу, разулыбался глазами.

– Хорошо издана.

– Ладно, Сёма, времени совсем нет, а дел полно. Ты тут пока почитай, а мы пойдем ко мне, хочу новые стихи показать.

И она вышла. Вслед за ней поднялась и я.

– Вот видите? И так всегда. Ну да ладно, идите, идите,– он безнадежно махнул рукой,– а то Инночка рассердится. В прошлый раз, когда телевизионщики снимали, она вдруг заревновала: меня на три минуты больше снимали, чем ее. Пришлось перезаписать.

Когда мы с Лиснянской уже прощались, в прихожую вышел Липкин. В руках моя книга.

– «Ни я, ни Адам не знали, что такое детство»,– процитировал он, широко улыбаясь.– Очень хорошо. Если в книге есть хоть одна такая строчка, книга состоялась. Поздравляю!

Мы обнялись. В последний раз.

Через три недели Липкин умер.

Мы обе жили в Москве, но виделись всего лишь однажды.

Но *до* и *после* – почти два года телефонных разговоров, стихов, монологов или почтительных пауз, что столь похоже на эпистолярное общение, на дружескую исповедь, затянувшуюся в повторах и умолчаниях по причине невозможности встреч, недомоганий, сплина и боязни плохих дорог.

Наш телефонный сериал возник как побочное дитя поэтической антологии «Московская муза».

Знаменитая Кашежева! Когда-то самая молодая звезда эстрадной поэзии, комсорг Союза писателей СССР. Песни на ее стихи с утра до ночи крутили по радиостанции «Юность». Ее пластинки и книги выходили немыслимыми, по сегодняшним меркам, тиражами.

Но она не была поэтом моей группы крови.

Ее звонок – первый сигнал «обратной связи». Вскоре появились литературные приятельства и привязанности, не раз принимаемые мной за дружбу. Собирались в ЦДЛ. И сам собой возник литературный салон «Московская муза», продержавшийся десять лет.

Но первой протянула руку Инна Кашежева. Полтора часа мы говорили только об антологии.

– Вы сами-то понимаете, что натворили? Собрать под одной обложкой сто тридцать стерв (это ведь не «тридцать витязей прекрасных»), сто тридцать боевых боевых орлиц, которые если что,– горло раздерут, глаза выклюют, сто тридцать прекрасных поэтесс – разноголосых, разнесчастных, трагических... Вспомнить, разыскать, примирить – уже подвижничество. А вы вроде бы и не заметили этого. Только наши женщины так себя ведут. Всё. Сажусь за рецензию. Мне есть что сказать. А как вам живется в женском Ноевом ковчеге?

Кашежева называла меня только по имени и отчеству. Это установилось с первого нашего разговора и до последнего. Много раз она демонстрировала заведенное ею джентльменство: взрывчатая смесь московской интеллигентности, необузданного кавказского благородства и покровительства.

– Да нет, никто не обрывает телефон. Отклики доносятся, но в тексты вникли только вы.

«Литературка» не заставила себя ждать и напечатала рецензию Инны Кашежевой «В окне «До востребования».

Не устаю повторять, как я благодарна Инне Кашежевой, как летела к телефону в 11 или в 12 ночи, зная, что только она может позвонить в это время: ведь она – знаменита, она – человек богемы, а я – трудящаяся жена, мать, научный редактор и шофер в одном лице, одним словом – трудилка. Она не понимала, как можно так рабски жить, ко времени ходить на службу, приковывать себя добровольно к рабочему столу, выполнять план, вовремя приходить домой, готовить ужин и при этом... писать стихи. Моя двойная двужильная жизнь была ей не близка, я ее раздражала тупым нежеланием что-то изменить. Она то подсмеивалась надо мной, то злилась и бросала трубку:

– Все, хватит. Вам уже спать пора, дорогая... Что там у вас назавтра: статьи по географии или пирожки с капустой?

Нас соединило одиночество.

Быстро поняв, что я из неприкаянных, Кашежева взяла меня под крыло и в первую очередь категорически потребовала вынуть стихи «из стола». Начались ежевечерние обсуждения, как в учительской. Она была именно училкой,– ни мамочкой, ни подругой, ни мэтром. Правда, она об этом не догадывалась. От меня требовалось немедленно исправить поведение, повысить успеваемость по главному предмету моей жизни – поэзии.

– Срочно, срочно издавать вторую книгу. Она у вас в столе залежалась, задыхается. Ей неба, воздуха не хватает, а вы – статьи по географии редактируете. Что за равнодушие? Грешно так жить. Бросайте все, садитесь за книгу, и энциклопедия без Вас не остановится, и дражайший муж с голоду не опухнет, хватит. Жду на следующей неделе первый вариант сборника. Почта в Москве уже начала работать.

– У меня даже приблизительного названия нет.

– А я вам подскажу. Вы ведь – *сирота на морозе*. Вся как есть. Так и вижу Вас в мелком от холода и от одиночества мандраже. Чего мудрить, так и назовите: *сирота на морозе*. Точно и не банально. И ни у кого не было.

Я рассмеялась. Как она угадала?

Ведь не по телефону же? Стихи, стихи.

Получив гонорар за «Московскую музу», я купила длинное демисезонное пальто и издала книгу стихов «Прямая речь».

Кашежева, уже тяжело больная, радовалась за меня.

Ее переломанные в аварии ноги не слушались: кости ломило, набрякшие тромбозные вены дергало. Она ходила на костылях. Раз в неделю заставляла себя приезжать в газету «Достоинство», где – золотое перо! – подрабатывала статьями на социальные темы. С деньгами и лекарствами было туго. А я с оказией получила посылку из Франции. Спросила разрешения привезти лекарства.

– Что вы, что вы, это очень дорого, я не смогу заплатить.

И только узнав, что это гуманитарная помощь и не надо платить ни копейки, разрешила:

– Опустите лекарства в почтовый ящик. Я не в силах открыть дверь. На пуфике доезжаю только до туалета и обратно... И к тому же я совсем без зубов. Не хочу, чтобы вы меня видели такой: в роскошной квартире с белыми стенами, белыми шелковыми шторами, в роскошной двуспальной белой кровати и с черной пропастью беззубого рта. Боюсь напугать, боюсь шокировать,– и она неожиданно и страшно хохотнула.

По моим представлениям, она была непомерно гордой и взрывной. Не уверена, умела ли она прощать? Даже Римму Казакову, с которой их связывала

многолетняя дружба, стихи и литературные поездки по всему Советскому Союзу, вряд ли простила.

Однажды Римма призналась:

– Это Инка научила меня читать с эстрады, держать аудиторию, разговаривать с публикой. У меня раньше и голос пропадал, и стихи забывала. А Инка – всегда выходила как на бой или как на праздник в своем ауле, знала, когда пошутить, когда похулиганить. Выглядела просто, строго, по-европейски: черные брюки, белый свитер, короткая стрижка. Ее обожали, не отпускали со сцены, забрасывали цветами, задаривали. А какие у нее были паузы! И меня, как зверька, буквально выдрессировала, научила слышать и чувствовать зал, не бояться. Инка умела дружить. А как поддержала меня, когда травили! Одна она поддержала. Никакого начальства не боялась, никаких сплетен.

Я знала, что Римма хранила письма Инны Кашежевой. Она не раз обещала дать их в будущую книгу, когда я заговаривала о желании издать избранные стихи Кашежевой, статьи и воспоминания о ней. После смерти Риммы Казаковой письма пропали.

Виделись мы с Инной Кашежевой всего однажды.

Праздничные майские дни.

В Центральном доме работников искусств на Пушечной – презентация антологии «Московская муза». Ведущая вечера – Тамара Жирмунская. Вокруг нее на сцене за колченогим журнальным столиком Римма Казакова, Татьяна Кузовлева, Татьяна Бек и другие московские музы. Небольшой зал напоминал глубокий сухой колодец, и если с верхних рядов амфитеатра смотреть на сцену, то кружилась голова.

Римма, раскрасневшаяся и возбужденная, то и дело открывала пудреницу и проходилась пуховкой по блестевшему носу, по раскрасневшимся щекам. Одна за другой читали Лариса Румарчук, Елена Николаевская, Елена Исаева, Нина Краснова и другие. Когда настала очередь Риммы, она, тяжело поднявшись, запинающимся голосом обратилась к залу:

– В эти святые дни... в светлые дни нашей Победы... поймите и простите, мы все люди...– и тут за кулисами мы позволили себе по бокалу шампанского, поэтому я буду читать...

С верхних рядов что-то зашумело, потом загрохотало, и с нарастающей громкостью своенравной волной катилось по деревянным ступенькам прямо к сцене.

Римма замолчала. Сощурившись и вытянув шею, она всматривалась сквозь свет софитов в сторону приближавшегося деревянного грохота:

– Что случилось? Кто там гремит? Господи,– казалось, она не верила своим глазам,– неужели Кашежева? Инка, это ты, что ли, гремишь костылями?

– Я, Риммочка, все еще я, дорогая моя... Решилась в свет выйти. Видишь, парадный фрак из сундука достала, галстук – на шею, костыли – под мышки и к вам, мои дорогие подруги, прямо в объятья к вам! Очень хотелось увидеть виновницу этого торжества. Кстати, где она? Что-то на сцене другие лица.

– Господи, как же ты добралась на костылях? Да ты еще и без зубов? – в микрофон удивлялась Римма.– Ну и вид,– сокрушалась она.– Сколько же мы не виделись, Инка? Сколько лет ты не появлялась?

– Инна, дорогая, иди на сцену,– перебила Жирмунская,– садись с нами. Вечер продолжается,– с улыбкой обратилась она к публике, которая уже почувствовала себя лишней на этом празднике женской поэзии.

– Ты, Инна, читать будешь?

– Ты же знаешь, Тамара, я уже больше десяти лет не читаю и не выхожу на сцену. Я сюда не за этим пришла. Я специально пришла, я специально вылезла из своей берлоги, чтобы при всех и от всех, дорогие коллеги, поклониться в пояс одной отчаянной женщине, московской музе, которая вспомнила о нас и собрала в одной книге, такой книги еще не было... Или вы все уже поклонились, и я – последняя? – с раздражением поинтересовалась Кашежева.– Почему ты здесь командуешь, Тамарка? – Она вдруг перешла на крик.

Жирмунская, припав к залу извинительным взглядом, ласково вызвала меня на сцену.

– А ты, Инна, не стой на ступеньках, тебе же тяжело. Давай садись рядом с нами, мы тебе поможем! Или вот в первом ряду есть свободное место. Помогите ей!

– Нет, в первом ряду мне не место. Я здесь не зритель и не слушатель. А на сцену мне не подняться, я не хочу сидеть вместе с вами, змеи вы этакие,– снова закричала Кашежева, потрясая костылем, как дирижерской палочкой. – Я от всех вас – отдельно. Вот тут с краешку примощусь, с вашего позволения.

И она – то ли подросток, то ли проворная старушонка – неожиданно ловко вспрыгнула и присела на самом краешке сцены, спустив ноги, бесполезно болтавшиеся, как у тряпичной куклы.

Но кукла была говорящей.

Сначала она чмокала и ворчала, что-то невнятно и негромко бубнила, потом в полный голос стала беспощадно комментировать каждое выступление, бросая ядовитые реплики и раззадоривая публику.

– Такие стихи писать нельзя,– припечатывала Кашежева,– ты семь лет не писала, так и не пиши больше!

– Ну и ритм... надо же: два притопа, три прихлопа... слушать тошно.

– Твои стихи лучше гвоздем на заборе писать, а не бумагу портить,– вынесла приговор Кашежева, услышав матерком разукрашенные строчки.

– Инна, не хулигань! Тебе не удастся сорвать вечер,– строго осадила Жирмунская.– Прекрати! Прошу тебя, Инна, не мешай! Или тебя выведут отсюда, или читай сама... если сможешь, конечно!

Зал затих.

Запахло литературным скандалом, возбуждавшим гораздо сильней, чем женская поэзия.

Выйдя на сцену, я чувствовала себя без вины виноватой. Надо мной – темным омутом – молчание зала, где-то на галерке – моя семья и друзья, сзади – президиум из маститых муз простреливал взглядами все мои жизненно важные органы, сбоку – на сцене, задрав стриженую мальчишескую голову и повернув ко мне лицо с пылающими черными глазами, сидела Инна Кашежева, очень немолодая в свои пятьдесят с небольшим. Сердце мое колотилось в горле, сбивая с дыхания, но память и голос не подвели. Я отчитала положенные по регламенту два стихотворения и хотела, было, уйти, но окрик Кашежевой остановил:

– Не спешите, дорогая моя, послушайте меня. Все послушайте! – обратилась она к публике.

Ее низкий вязкий голос вдруг окреп и профессионально оформился, и она произнесла короткий, но яркий спич о русской женской поэзии, о нашем нераздельном поэтическом сестринстве.

– Я пришла поклониться вам в пояс,– закончила Инна Иналовна.

Схватив костыли, она шумно сползла со сцены, распрямилась в свой небольшой рост и поклонилась.

Зал аплодировал стоя.

Эти аплодисменты предназначались ей, Инне Кашежевой, как когда-то в Политехническом, в Лужниках, в ЦДЛ и во многих залах, и стадионах огромной страны, где она читала, где ее знали и любили.

Многим запомнился «женский» вечер.

Мы продолжали дружить по телефону. Общее одиночество не отпускало нас. Мы тянулись друг к другу. Она мало с кем общалась, осознанно выйдя из литературного круга. Так уходят со сцены или в монастырь. Ей стали неприятны поклонники ее поэзии, очевидцы головокружительного взлета, парения, успеха, в одночасье ставшими – прошлым. Она искала забвения, но и спасительную соломинку тоже искала, одновременно подставляя дружеское плечо. Мы часами говорили о литературе, о поэзии, читали новые и старые стихи. Она меня часто ругала, но в этом были такая поддержка и такая вера.

Однажды узнаю от Тамары Жирмунской, что Кашежева чуть ли не голодает. Дочь ее очень близкой и уже умершей подруги Наташи, студентка юрфака Маша, у которой никого, кроме Инны, не осталось (они жили вместе в одной квартире, а другую сдавали), уходя на весь день, оставляет только порцию пельменей: шесть штук!

– Надо спасать Инну! Ей очень плохо, и телефон молчит!

Ночью до нее дозвонилась Римма Казакова:

– Инна, давай я к тебе приеду, с Машей поговорю. Что ты от всех отгородилась, в затворницы играешь? Ведь у тебя и друзья, и поклонники, и Союз писателей, наконец... Может, тебя в больницу или в санаторий направить? Так дальше нельзя,– ты погибнешь.

– Спасибо, подруга, за беспокойство, но я не нуждаюсь ни в какой помощи, тем более Союза писателей,– резко оборвала Кашежева.– У меня есть всё. Мне ни от кого ничего не надо. Зря вы себе страшилки рисуете, бабы! Всё хорошо, Риммочка. Все идет как надо. И куда надо. Ты о себе лучше побеспокойся,– она выдержала паузу,– есть о чем, есть о чем, дорогая! – закончила она.

На следующий день Инна Иналовна перезвонила мне и нарочито веселым голосом, будто анекдот рассказывала, убеждала, что всё у нее как надо, всё хорошо, а всякие бабские домыслы смешны и нелепы. И, сменив тему, прочитала свои стихи об Анне Ахматовой.

Это было в начале весны 2000 года.

А в середине мая позвонила Маша. Она и раньше звонила по просьбе Кашежевой и даже привозила мне ее книги.

– Несколько дней назад схоронили Инну Иналовну.

– Не может быть! Как же так, Маша? Когда? Почему ты мне не позвонила, почему не сказала?

– Инна Иналовна никого не хотела видеть. И не хотела, чтобы ее кто-то видел. Особенно те,– Маша запнулась,– кого она любила.

Без подробностей Маша положила трубку. Так же внезапно она сама вдруг исчезла в необъятной Москве, а в той квартире на улице 26 Бакинских Комиссаров поселились другие люди. Вместе с Машей исчез архив Инны Кашежевой.

Мы с Риммой не раз собирались приехать на могилу Инны Кашежевой на Хованском кладбище, хотели издать книгу ее избранного и даже предлагали московским издателям, но, увы...

Теперь уже нет и Риммы.

Может, она, наконец, встретилась с Кашежевой в иных пространствах, и они обе, заводные, раскованные, гастролируют, как в молодые звездные годы?

Ни Кашежевой, ни Казаковой я не видела мертвыми.

Они обе, так много значившие для меня, живы.

Кого только не привечала Риммина кухня!

Сколькие были здесь обогреты, накормлены, водкой-чаем-кофе напоены и утешены! Скольким подарены автографы, стихи, щедрые подарки, ходатайства на издание книг, получение квартир или путевок, и даже входные билеты – в литературу.

Я тоже попала на знаменитую кухню Риммы Казаковой.

Перед этим она коротко расспросила: кто да что, да откуда? Произнесла свое многозначительное: Ммм-да... И я приехала.

Кухня гудела уже остывающим застольем. На пятачке перед балконной дверью телевизионщики ставили свет, возились с микрофонами. Без продыху звонил телефон, но Римма все перекрыла:

– Щи с водкой будешь?

Это был пароль, и я знала отзыв.

Сошлись легко. И уже через полгода, когда вышла «Московская муза», я уговорила Римму лететь в Болгарию на презентацию книги.

– Читать стихи? Да кому я нужна?

Ей остро хотелось слышать, что нужна. И нужна как поэт.

– Я ведь уже не секретарь. И поэты меня не любят, даже «эстрадники» не признают за *свою*, наверно, гребуют, мать их...,– она тяжело рассмеялась,– хотя в Болгарии у меня много друзей. Я переводила болгар, и даже любовь была, большая любовь... Но зачем возвращаться в прошлое? – с надеждой спросила Римма.

Это была «эпоха перемен», когда Римма, бедовая девчонка по имени Рэмо (Революция, Энгельс, Молодежь) на какой-то миг растерялась от нахлынувшей стихии свободы вперемешку с трагическими обстоятельствами, связанными с болезнью сына, и с отчаяньем эпатировала:

– Хочется новых книг и... замуж!

Стоял май 1998-го года.

Наш поэтический женский десант – первая литературная ласточка после распада соцлагеря – был встречен в Софии с неожиданным интересом, не имеющим ничего общего с идеологией и официозом прошлого.

В Болгарии Римма Казакова звучала как крупный российский поэт из тех, кого любил народ. Разве забудешь, как из зала – не подсадные утки, не друзья или знакомые, нет,– влюбленные в поэзию наизусть по-русски читали ее стихи? Она удивлялась, боясь поверить в себя.

Какая-то болгарская девочка напомнила Римме ее раннее стихотворение:

– Моя мама читает его вслух, если плохое настроение.

Какой урок любви и верности преподала нам тогда Болгария!

В Москву мы вернулись боевыми подругами. Болгария очень сдружила с Риммой не только меня, но также Елену Исаеву и Галину Нерпину.

Римма воспрянула духом, снова стала писать, и вскоре ее избрали первым секретарем Союза писателей Москвы.

Жизнь налаживалась.

Мы не раз потом бывали в Болгарии, которая стала нашим поэтическим

убежищем. Вместе отдыхали на Золотых Песках, вместе выступали с рециталами и печатались в одних и тех же изданиях.

В начале весны 2008 года, как только самолет коснулся земли в Варне и кудрявые холмы в иллюминаторе еще застили небо, пришла sms-ка:

«Час назад мы потеряли Римму».

Мгновенно пробило живым током и в голове замкнулось: ровно десять лет назад, в таком же мае, цветущем маками и лавандой, была наша первая поездка, наши стихи и песни в Пловдиве, Варне, Софии, были Риммины стихи: *Аз те обичам, София, аз те обичам!*

Как же все закольцевалось! Не прервалось, не кончилось, нет, закольцевалось, и радугой над нами – Болгария.

Москва еще протирала спросонья глаза, когда крепкая деревенская молодка пересекла Каланчевку. Только что не в зубах тащила она с отвислыми боками корзину, деревянный чемодан и наперевес через плечо пару мешков с мукой. Вцепившись в подол цветастой юбки и спотыкаясь, за ней поспевали дочки: с узлом – старшая, лет четырех светлоглазая и светловолосая, и темненькая малбя лет двух – с медным чайником. Казалось, эти неказистые пожитки нисколько не обременяли, но свободно вмещали все их прошлое из далекой суровой Сибири, не без оснований обещая убедительное продолжение здесь, в России, где жил Роман Иванович Орешкин.

К нему и ехала Феня с детьми.

В Сибири, под Петропавловском, много раз переворачивалась власть: то красная, то белая, то снова – красная. Феня не могла забыть ужас, когда в 20-м году ее чуть не подняли на штыки красные. Взяли село, и давай по домам, по дворам бандитничать, насильничать, отнимать зерно, муку, скотину, запускать «красного петуха» по домам и амбарам, а самих крестьян, работящих, зажиточных, отстреливать как кулаков на радость местной голытьбе и пьяни. Хорошо, что Гаврила вовремя ушел к белым.

Феня в длинном темном чулане кормила годовалую Соню, когда внезапно распахнули дверь, чуть с петель не сорвав, но кроме пустых полок, затянутых паутиной, комиссары ничего с пьяных глаз не разглядели, хотя штыком все же пригрозили. Соня, умница, не выдала голосом, а Феня такого страху натерпелась, что перегорело грудное молоко, и у свекрови – старуху за волосы таскали по полу – язык отнялся.

Хорошо, что Гаврилы не было, а то бы всех порешили, как Пехтеревых, или вывезли бы в степь, как Колтышевых, на съедение волкам. Всех. Даже малолеток не пожалели. А они, Калгановы, выходит, счастливо отделались: зерном да скотиной. Ну, еще сожгли амбар с шерстью. Сколько лет эта волглая шерсть гнила и воняла, а чтоб крышу перекрыть – денег жалели, руки не доходили. Бог с ней, с шерстью. Да и зерно было прелым. Все скопидомничали, мышам на радость, впрок откладывали на черный день. Вот он и наступил.

Быстроглазую, статную и скорую на руку Феничку Сидорову, кацапку из семьи переселенцев, приехавших в Сибирь из-под Могилева за собственным куском земли, отдали замуж за Гаврилу Калганова в полные пятнадцать лет, а тому было четырнадцать. Быстро заслали сватов, быстро столковались, и без лишних сомнений обвенчали молодых на Покров.

Калгановы жили в достатке. Их просторный сосновый пятистенок и прибыльное хозяйство давно нуждались в молодой женской отваге и хватке: приго-

товить, прибрать, скотину обиходить, огород содержать, работников трезвых вовремя нанять. Феничка, ловкая, сильная, на спор с молодыми мужиками – не охнув – мешки с мукой в амбар носила. Однако неопытная по молодости – поставит в печку готовить барашка, пока туда-сюда, а барашек уже сгорел. Не беда, другого заколют, или драчливому петуху шею свернут и ощиплют его тепленького, лишь бы свекрови никто ни-ни... Огонь девка, на месте без дела не усидит, домашние звали ее *Ходя*... И пела, и плясала, а как насмешничала! Вот и с Гаврилой позволяла, не боялась мужа. Лягут бывало в постель, он, как телок, к ней тихонечко, ласково так подползет, хоть и страшно, и невозможно ему до жаркости. А Феня затаится, как охотник – не дышит, хитро выжидает. Только он руку ей на грудь положит, Феня – цап-царап! – цыганской иглой – она ее на всякий случай при себе носила – в эту самую руку и кольнет. Иногда до крови.

Играли, баловались как дети, хохотали, порскали каждый в свою подушку, кувыркались, толкались, спихивали друг дружку на пол, нежились на пуховых перинах, слюбились. Через три года Феничка – зря наговаривали, что бесплодная,– родила Софию, которая и лицом, и фигурой вышла в свекровь: скуластая, приземистая, кургузая, с тяжелой длинной спиной: *«У-у-у, вылитая мордва».*

При чем здесь мордва?

Но когда София Гавриловна, тетя Соня, в свои неполные семьдесят начала не по-хорошему колобродить, заговариваться и вилкой тыкать в суп, когда альцгеймер разыгрался всеми красками слабоумия, в памяти всплыли рассказы про поволжскую (якобы мордовку, похоже, что мокша) бабушку Гаврилы Калганова, неповоротливую, неподъемную, как куль с мукой: *уж такая чудненькая да странненькая...*

Соня до того обеспамятовала, что сына не узнавала, забывала внуков накормить, и часто была похожа на сумасшедшую, но могла поговорить о погоде или о своем артериальном давлении, цифры которого с профессиональной педантичностью через каждые четыре часа днем и ночью записывала столбиком в дневник.

В целом Сонина жизнь выдалась благополучной.

Ее единственного сына Олега до 10-летнего возраста растила в Ногинской баньке все та же баба Феня, а Соня тем временем налаживала новую семейную и профессиональную жизнь. Она дважды была замужем: первый муж – хирург Иван Ильич Балашов (вдвое старше Сони) спился на дармовом казенном спирте и умер почти под забором, второй муж – Николай Николаевич Мартемьянов, директор ипподрома во Львове, эксперт международного класса по скаковым лошадям, тоже не дурак выпить, но алкашом все-таки не стал.

Их отдельная квартира в бельэтаже, не советских габаритов и планировки, в самом центре Львова — с запирающимся на ключ парадным, разноцветными кафельными печами в каждой комнате, антикварными шкафами, с трельяжем и бронзовыми статуэтками именитых скакунов работы Лансере, с телефоном и ванной на ножках, с балконом, выходящим во внутренний полутемный двор-колодец, пропахший кошками, — все казалось верхом роскоши. Это подтверждали железные решетки на огромных окнах в стиле модерн.

К Соне обращались «пани доктор», к Николай Николаевичу — «пан директор».

Феня с внучкой, по бедности, наезжали летом подкормиться во Львов, где Тасины волосы Соня намывала яичными желтками. По выходным – выезжали на ипподром. Нарядные, надушенные, сидели в директорской ложе, а потом шофер привозил их обратно в «москвиче», забитом букетами длинных гладиолу-

сов, георгинов, разноцветных люпинов и астр, пахнувших успехом и благополучием. Вместе выходили в концерты в Стрыйский парк, где крупнозвездное летнее небо сливалось с звездным сопрано Виктории Ивановой.

Две неразлучные дворничихи – мужиковатая басовитая Марыся и пухленькая Ганя – водили Таську, москальку и паненку, гулять в парк Костюшко и глядели, чтобы бандеровцы – Матка Боска Ченстоховска! – вдруг не украли.

Соня накупала всякие девчачьи брошки, пластиковые сумочки, разноцветные гольфы с помпонами, каких в Ногинске сроду не видели. Она катала Тасю на детской железной дороге, где школьного возраста проводники и кондукторы при встрече отдавали пионерский салют. Ей хотелось устроить племянницу в цирковую школу, когда та влюбилась в цирк. Соне очень не хватало девочки, дочки, живой хорошенькой и послушной куколки. С сыном ей было неуютно. И Олегу с ней было по-сиротски холодно. Они не научились даже слышать друг друга, а уж говорить... Он дважды убегал из дома, его искали с милицией и через несколько дней привозили обратно, виноватого, озлобленного, похожего на волчонка.

Ох, как тяжела была Соня на руку, как жестока сердцем!

А Николай Николаевич пропадал или на ипподроме, или в командировках по аукционам и конезаводам,– не до пасынка. Все были далеки и особенно не вникали друг в друга, не образовали семейного треугольника.

После института Олег (для домашних – Алесик) – ветеринарный врач, которого любили городские собаки и кошки, морские свинки, хомячки и, конечно, лошади. Красивый жокей, он много лет занимался конным спортом, пока однажды на соревнованиях не упал с лошади: разрыв легкого, а сердце сместилось в правую сторону грудной клетки. Выздоравливал долго.

Много позже, перебравшись в Москву, Олег – неординарно мыслящий медико-биолог, изучавший влияние солнечных циклов на исторические события, эпидемии и отдельные заболевания, последователь идей Чижевского, экспериментатор, испытатель. Но – сломанный человек с подорванной волей. Как рахитичному ребенку недоставало солнца, так ему с раннего детства – ни отцовской, ни материнской любви и ласки. Может, оттого так страшно пил?

Он любил свою дочь Надю, и еще больше – внука Ванечку. Очень любил и бабушку Феню.

Что мы знаем о своих предках?

По женской линии, прабабушка Акулина, мать шестерых детей, из которых Феня,– самая младшая. Ее отец, прадед Захар Сидоров – скрипичных дел мастер, деревенский музыкант, счищая мартовский снег, упал с крыши своего высокого дома, ушиб легкие и вскоре умер.

Больше ничего не знаю. Даже отчеств.

***

... кружева вырезала бумажные,
по праздникам – из фольги,
наряжая, как елку, посудную полку,
не жалела на блюдо побольше оборку,
рядками рассаживала пироги.
... выпив стопку, вытирала глаза:
хватит баклуши бить, егоза,
заводи «Перепелку»!

Я нехотя поднимала скрипку
из сна глухого, как из оврага,

с детства поросшего дешевым сукном,
и, угнездившись перед окном,
где по нотам щебетала бумага,
почти без вранья начинала:
наша перепелка старенькою стала...

Поймавши слезу налету, как ошибку,
когда встрепенулся смычок,
рванулась она, и рот – в кулачок,
узнала и звук, и отцовскую скрипку:

Захар из кацапов – забытый мой прадед,
рукастый в окрестностях мужичок,
скрипичного дела и музыки ради
веселый в лесу приглядел чурбачок
на новую скрипку, себе на свадьбу
(вот бы где петь мне и танцевать бы),
хотя и без скрипки хорош с бородой,
подмышкой с прабабкой моей молодой.

Плясали, пахали... Посыпались дети:
Марфа, Улита, Хрисанфий и Петя,
и Феня – губы сковородой.
В них с пылу, с жару гуляла улыбка,
и распаляясь, отцовская скрипка
в жизнь провожала по свежей стерне,
вдруг надорвавшись на бычьей струне:
ты ж моя, ты ж моя, перепелочка...

Песенка спета.
Захарий в раю.
Феня моя у него на подхвате
в певческом тонком размашистом платье,–
и я такое себе скрою.

Долго без музыки не видно утра.
Видно, совсем заигралось во сне.
Продана скрипка.
И куплена люстра.
Страшно сказать, по какой цене.

По мужской линии, прадед Мойша Златкин - из деревни Прянички, что неподалеку от Климовичей, тоже из Белоруссии, из черты оседлости,– сапожничал, чтобы прокормить свою «чертову дюжину» – тринадцать детей. Он дожил до ста одиннадцати лет.

Сколько сапожников и крестьян!

Наверное, не случайно Тася так любила обувь и садово-огородные работы на своих шести сотках в деревне Полушкино.

И звук скрипки – чистая нутряная нота ее судьбы.

Но дальше четвертого колена уже не заглянуть, не помянуть.

Сколько людей выросло без корней и без гумусового горизонта! Как пустынная трава перекати-поле, катимся себе по земле, легко переносимся ветром на безумные расстояния, рассеивая по пути семена, наперегонки друг с другом и своим неведением.

Но придут непроглядные ноябри и диктаторские декабри, когда заноют, заболят родовые корни. Захочется взлететь веткой или любопытным сучком прозреть небо.

На дереве какой породы? Из какого леса? С какой стороны солнца?

Кое-что рассказывала бабушка Феня.

В их селе Пески на Ишиме появился неприкаянный и немолодой мужик из-под Венёва, из казацкой слободы,– Роман Иванович Орешкин. Он сразу положил глаз на Феничку.

А Гаврила, считалось, пропал без вести. По всей Сибири красные крепко и страшно держали власть. Феничка, молодая соломенная вдова, без мужниной опоры устала: она рвалась жить в полную силу, не откладывая на завтра.

Роман взял ее в «жёнки» по новому советскому обычаю: без священника, без родительского благословения и даже без штампа в паспорте. Увез в дом своих дальних родственников. Жили уважительно, надежно, да и нельзя было иначе с этой домовитой и горячей Феничкой. Вскоре родилась Анна, Анёк-огонек. Роман старался для семьи, много работал: по плотницкому делу, по столярному, по сапожному, и жили они не хуже других. Он любил на словах рисовать картинки городской жизни, рассказывал о фабрике,– очень тосковал, наверно.

Еще до революции семья Орешкиных перебралась из Тульской губернии в соседнюю Московскую, где размещались знаменитые на всю Россию мануфактуры текстильной империи фабрикантов Морозовых, производившие все: от бархата и шелка до муслина, ситца, сатина, бязи и прочих ходовых тканей. Уже в те годы красным вагоном громыхал по одноколейке трамвай, возивший фабричных рабочих через весь город, протянувшийся в длину по левому берегу Клязьмы от села Глухова до села Истомкина. Орешкины поселились в одной из многоэтажных краснокирпичных рабочих казарм в Глухове, которые и сейчас вместе со старинными фабричными цехами – исторический памятник промышленной архитектуры – стоят на улице имени давно почившей Советской Конституции, которую пересекает со странно уцелевшим названием улица Совнархозов. А рядом – 1-я, 2-я и 3-я улицы Текстилей.

До отъезда в Сибирь Роман Иваныч работал на крупной Богородице-Глуховской текстильной мануфактуре, в горячем красильном цеху, а для души – пел тенором в церковном хоре при старообрядческой общине. Сразу после революции старообрядцев жестоко преследовали, церкви рушили или употребляли под склады и овощехранилища, пользовали как клубы или кинотеатры.

В одном из таких кинотеатров Тася в детстве смотрела советские и зарубежные, большей частью польские, фильмы времен короткой хрущевской оттепели, а сейчас там вновь – дивной красоты церковь Божьей Матери Тихвинской с мозаичными иконами на фасаде. С трудом угадываются: правый неф – бывший Красный зал, левый неф – Синий, а в центре – просторное фойе с буфетом, где на сцене (в алтаре!) под маленький оркестрик пела, пританцовывая, в вечернем платье с переливчатыми бусами из чешского стекла местная певица, мама Тасиной одноклассницы. Тут же продавали лимонад и мороженое Ногинского хладокомбината.

Орешкины – как семья победившего гегемона – переселились из казармы в центр города, в мазаную избушку, точнее – в баньку, стоявшую на отшибе в бывшей купеческой усадьбе.

Когда Феня с детьми приехали сюда, на Советскую улицу, перед ней разверзлась бездна: у Романа Иваныча на тринадцати метрах жилплощади, кроме матери,– и венчанная жена Евдокия, и двое детей, а сам он – в запое.

Такого обмана Феня ему не простила по гроб жизни.

Какими словами они объяснялись, не угадать.

Но семейное предание таково: как только Роман перешагнул порог, пригнувшись, чтоб не удариться о низкую притолоку, Феничка налетела на него и влепила с размаху такую затрещину, что он – с ног долой, и разбил о дверной косяк затылок, глубоко рассек кожу, пришлось в больницу везти зашивать.

На обратном пути сказал:

– Не серчай, жёнка. Потерпи маненько, я их в Ямкино к тетке свезу. Чужие мы друг дружке, не живем – маемся. Разве бы от хорошей жизни я в Сибирь сбег натурально, как каторжник? Но вот тебя, слава богу, встретил, и дочкой Анной мы связаны. Обе они мне – и Сонька, и Анька – дочки. Тебя люблю, а от тебя – и их, потому что – твои. Не ерепенься, Феня, прости. Жить буду только с тобой.

И слово свое сдержал.

Но той надежной жизни, ради которой она с девчонками махнула, рванулась через всю страну, не вышло. Что-то разладилось в их семейном механизме. Радость, что ли, ушла?

Феничка уже не пела, когда раскатывала тесто, а подшучивать или подначивать они с Романом как бы враз разучились. Оба посуровели, похолодели, затаились друг против друга. Она по-прежнему старалась экономно вести хозяйство,– стирала, кипятила, мыла, стряпала, содержала скотину и кур, следила за детьми, корзинами собирала лесные ягоды и грибы на продажу, и работала везде, где брали: санитаркой в больнице, подсобной рабочей на мебельной фабрике, научилась перетягивать пружинные матрасы и обивать мягкую мебель, а потом перешла на завод грампластинок, и тогда в избушке заиграл новенький патефон. Чувство долга перед семьей – мать и жена – было больше и сильней, чем женские обиды и семейные неурядицы.

А Роман пил все злее. В его просторных зеленых глазах заметно поубавилось света, на лбу шебутной сбивчивой гармошкой заиграли морщины. Жизнь утекала унылая и бедная, одно утешение – поллитровку беленькой с дружками оприходовать, папиросок накупить. Частенько рукам волю давал, дебоширил. Ему нравилось зимними ночами гонять строптивую жёнку. И она, подвывая на холоде, будто чечетку отбивала босыми ногами, бегая между единственным окошком и запертой дверью. Куражился, потешался. Мог среди ночи и с кровати спихнуть: *спи на половике, сучка стриженая, узнаешь, как мужа уважать...*

Особенно его бесили занятия в кружке ликбеза: Феня была самой смышленой, и учитель, молодой партиец, хвалил ее при всех. У нее вспыхивали щеки, голос высоко звенел, и Феня соображала еще быстрей. Как это задевало Романа Иваныча, ведь он без подсказки не мог решить задачки из трех действий. Вот по ночам и сводил счеты с жёнкой, а вскоре и вовсе запретил строго-настрого:

– Нечего жопой вертеть да скалиться перед всякими недомерками! Ученой, вишь, себя возомнила. Может, и черта ученого тебе подыскать? Так я спроворю... я тебя, где надо, сам научу, а где не надо, проучу. Дома сиди, мужа бойся! Вот премудрость, вот вся твоя грамота бабья.

Единственная, кроме Библии, книга, прочитанная Феней от корки до корки,– роман Войнич «Овод». Сколько слез пролилось за Артура и Джемму! Позже они с Тасей уже вдвоем рыдали над бедной Неточкой Незвановой, над бедной Козеттой и над судьбами диких животных, очеловеченных Сетон-Томпсоном. А потом в их избушку вошла поэзия в виде неподъемной антологии Ежова и Шамурина, ее дала Тасе – на год – школьная математичка. Эта книга открыла запрещённую поэзию Серебряного века. Тася просыпалась и засыпала под блоковскую Незнакомку, под Сакья-Муни Бальмонта или Смехачей Хлебникова. И Феня с удивлением участвовала в ее открытиях, всецело доверяя внучке.

Едва научившись держать деревянную ручку с перышком «звездочка, Феня пристрастилась к письмам, и даже выкраивала из скудной пенсии деньги на поздравительные открытки родным и знакомым, которые писала уже «самописской», заправленной синими чернилами.

Сохранились ее письма Тасе «до востребования» в Тарусу, на знаменитый сто первый километр, где шелестели «Тарусские страницы», где жили Паустовский, Штейнберг, Ватагин, и стоял дом деда Марины Цветаевой. Там, в пойменных заокских лугах Тася ловила бабочек для зачета по энтомологии, собирала гербарий водных растений в реке Таруске, рыла шурфы согласно курсу почвоведения, составляла ландшафтные профили или чертила в камералке топографические планы мест гнездования городских ласточек,– так проходила ее полевая практика на первых курсах географического факультета.

В приложение к письму с обычным зачином: *Моя единственная и неповторимая внучка*... Феня вкладывала бумажный рубль, который Тася с аппетитом тратила на пару банок кабачковой икры и буханку черного хлеба к общему студенческому костру, сэкономив еще мелочишку на кино.

В следующем письме: *Получила ли ты мой маленький рублик?*

Внутри вчетверо сложенного тетрадного листа богато зеленела трешка.

Роман Иваныч не прощал дочкам, что отличницы.

– Все, хватит, девки, пора к станку, умней отца вам не быть, это неправильно и даже вредно. Пора в шпульницы, дорожка проторена!

Феня, бросаясь на него, как на врага, страшно кричала:

– Последнюю рубашку сниму и продам. На черном хлебе с водой жить буду, но дети мои и в Москву поедут, и станут учеными. Еще попомнишь мои слова, самодур запьянцовский! Изверг нечеловечий!

Оказывается, у Фени была мечта.

Однажды в Пески приехали две молодые женщины. Издалека было видно, городские: обе стриженые, в туфлях и с маленькими, почти игрушечными, кожаными чемоданчиками.

День, два, три ходили из дома в дом. Это были врач и медсестра из райцентра,– они делали прививки против оспы. Феню сильно впечатлили белые халаты:

– Что это за жизнь, что за работа такая, чтобы каженный день в белых халатах, да в чистых. И сами как богыни.

Тогда же она поклялась перед иконой Николая Чудотворца: и Соня, и Аня будут *так* жить и *так* работать, чтобы обе – в белых халатах.

Когда Роман позвал за собой, Феня ехала не только к нему. Она поехала за новой жизнью. Ей, может, больше бабьего счастья хотелось выучить дочерей. А в Сибири, по ее представлению, учиться было вроде бы негде... Степь, пустая голая степь – до неба, глазом не окинуть.

Всю жизнь она благодарила Романа Иваныча, и Тася много раз слышала:

– Спасибо, что вывез из Сибири... а то бы и по сей день в колхозе коровам хвосты крутили, хотя, конечно, и там не пропали бы. Я всякую скотинку очень люблю, и она меня понимает. Мы уважаем друг друга лучше, чем некоторые люди,– рассуждала Феня.– Вон как выдрессировала кур, вроде совсем безмозглые, а в саду не гадят, знают уже, где погулять, а где поклевать. И корова, и козы у меня всегда, как детки малые, все сыты и подмыты, и молоко наше навозом не пахнет. Потому от покупателей отбоя нет. Может, я даже и в председатели бы

вышла колхоза или совхоза, что там у них... Только я не партийка, а без этого – какой председатель? Только что в работе – азартная. Может, и девки мои тоже бы выучились на агронома или на зоотехника.

Осознавая себя сибирячкой по природной сути, она как бы прикидывала на себя скроенную по стандартному советскому лекалу, но несостоявшуюся сибирскую жизнь:

– Нет, хорошо, что все-таки вывез нас из Сибири.

Это была главная заслуга Романа Ивановича перед семьей.

Но он об этом так и не узнал, потому что внезапно умер от перепоя на поминках своего трехлетнего крестника.

Роман Иванович так и не узнал, что его падчерица Соня, врач-эпидемиолог, работала и на Северном Кавказе, и на Дальнем Востоке, а потом на Украине, во Львове, в должности начальника городской санэпидстанции. А родная Анёк-огонёк окончила не только Первый мединститут, но и ординатуру у академика Мясникова, защитилась под руководством знаменитого профессора Тареева и стала доктором наук, а потом профессором крупного научно-исследовательского клинического института, сумела создать гастроэнтерологическую клинику, первую в Московской области, и получила звание заслуженного деятеля науки. Она объездила весь мир с докладами, писала учебники и читала лекции для врачей до полных восьмидесяти четырех лет, разруливая по Москве в белой шестерке «жигулей» и поражая окружающих неизбывной витальностью. Наверное, сибирской.

Все случилось, как мечтала Феничка.

***

Только мама
приучала любить оливки,
по-русски – маслины.
В упрямстве ослином
я бежала этой культурной прививки
за тридевять жарких земель,
в рощи оливковых олеографий,
выстроенных в каре,
где любое древо – библейских плодов колыбель,
на аттестат зрелости сдавшихся в ноябре.

Только мама
почти до зимы
Серой Шейкой плескалась в пруду
и, лыжню проложив ни свет, ни заря
вкруг Новоспасского монастыря,
себя не тратила на ерунду.
По цвету лица узнавала гастрит,
язвы, колиты, особенно в марте:
покажите язык, – говорит –
рельеф как на географической карте...

И все кого-то спасала,
ученые книги писала.
Так впряглась, так работала на *ура*,
что рабочая лошадь вышла в профессора.

Но теперь –
ореховой легче скорлупки –
крутит на чистом пуху головой
наподобие ветхозаветной голубки –
ее из ковчега выпустил Ной,

чтоб гулить дочкой моей родной.

А я мычу,
неисправно молчу
до самых азов любви:
мама, мама, горячая моя точка,
мама, последняя моя отсрочка,
поживи еще, поживи!

Однажды зимой, поздним вечером вернувшись из Москвы, куда Тася с бабушкой часто ездили за хлебом и за колбасой, они узнали от соседки, что днем приходил мужчина: бородатый, белолицый, в овчинном полушубке, приземистый, с немосковским выговором, но и, по поведению видно, не чужой. Он стучал в калитку, заглядывал в щели, топтался вдоль забора, курил и не торопился уходить, а когда соседка вышла покормить собаку, поинтересовался гражданкой Калгановой: что да как? с кем живет? где дочь Соня?

По словам соседки, Феня узнала Гаврилу Калганова.

Это было уже после смерти Сталина.

Тот промозглый мартовский день Тася запомнила. Очень испугавшись, что Сталин умер – об этом говорили даже по радио – Тася рыдала в голос, и бабушка вытолкала ее на улицу:

– Не дури, девка, иди гуляй! Чего воешь, отца что ли хоронишь? Ну издох изверг, и слава Богу! Не пропадем, коли при нем не пропали!

Будто сорвавшись с резьбы, в голове прокручивался тяжелый шуруп, железно ввинчивая свое: во Фрязево, к Петру и Павлу, где кривились над черными болотами реденькие березовые леса, где крестили под звон колоколов, под бой часов с выбеленной колокольни под синим луковичным куполом.

***

До станции Фрязево ну никак не доеду
ни на «гецике» борзом, ни на электричке,
хотя надо бы успеть – не для переклички –
к золотым Петру и Павлу
в среду на беседу.
На пороге для подмоги свой настроить глас,
непредвзятого трепеща ответа:
вы за что убавили светлый час
скоромимошедшего лета?

Петр и Павел –
ни попрека, ни тебе нотации,–
вмиг признали пионерку, что рыдала
и, о маминой молясь диссертации,
Богоматерь в уста целовала.

И на Пасху, не забуду,–
поп, взмахнув кадилом,
попалил мои ресницы-брови-волоса,
точно причастил огнем,
а спасали – миром
да ведром воды святой,– чем не чудеса!

И жива ль еще могилка в этой местности
Пославской Елизаветы?
У кого б узнать,
не подлеском ли шумит моя крестная мать,
учительница русской словесности?

Откуда этот самостийный сквозняк, гудящим волчком затягивавший во Фрязево? Может, по молитвам незабвенной Фенички, управившейся с земными делами в безжалостно жаркий день Петра и Павла?

Ведь именно Феня, берегиня и воспитательница, ввела Тасю в церковь. После менингита, коклюша и ревмокардита стала часто водить к причастию, после чего надев пионерский галстук, Тася опрометью неслась в школу, хотя бы к четвертому уроку. Всевидящие соседи занудно стыдили: нельзя пионерке, ведь клятву давала, а ты, старая дура, знаешь, что за это… погубишь девчонку, не жалко, что ль?

Бабушка и ухом не вела.

Куда она только не водила внучку за восемнадцать лет общей – не разлей вода – жизни: «на скрипку», в больницу, в лес за земляникой и за грибами, на каток, в театр и в баню. Но зато в школу Тася с первого класса ходила одна и уже с шести лет одна пригоняла из стада задиристую серую козу Розку – через железнодорожные пути, через тощенький лесок. На подходе к дому, разбежавшись, Таська крепко хваталась за рога и быстро вспрыгивала на Розку, отчего козья спина прогибалась, задние ноги подкашивались, Розка резко приседала, а Тасе надо было удержаться, чтобы с шиком прокатиться по Советской и на виду соседей и подруг, задрав нос, въехать во двор на козе.

До сих пор, крестясь на икону «Вход Господень в Иерусалим», где Христос на белой ослице, Тася так и видит себя на Розке… Кощунница окаянная.

Разве выберешься во Фрязево?!

Когда пришел срок операции, уже в Кардиоцентре непростительной дерзостью показалось Тасе непослушание внутреннему голосу. Со всей хваткой инстинкта самосохранения она перебирала в уме земные долги, невыполненные обязательства: *вот выживу, тогда уж*… Главной зацепкой в жизни оставалась мама, рухнувшая во всей своей немощи на ее нетренированные руки.

Оперировали Тасю в день Преподобного Сергия Радонежского. Уже накануне утешительно изнутри прояснилось:

она – прихожанка храма Сергия Радонежского,

и врачи ее – два Сергия: Дземешкевич и Королев,

и муж ее нынче – тоже Сергий.

Что может случиться в такой день?

Только – жизнь.

И Бог близок, как никогда.

В шесть часов утра, когда медсестра, сняв с нее обручальное кольцо и нательный крестик, пошла класть их в сейф, Тася выпила три глотка воды из Иордана – маленькая бутылочка святой воды два года хранилась в серванте, на всякий случай. И этот случай настал.

Внезапно из-под наркоза в Тасино сознание ворвались какие-то расплывчатые звуки, смазанные разговоры. Все слова всмятку. Твердо прокатился лишь голос Дземешкевича:

– Всем отойти от стола.

– Господи, я их слышу, слышу… Вот интересно! Наркоз не действует? Разнаркотизация? А операция еще не закончена. И будет больно, очень больно… Но как об этом сообщить? Как просигналить?

Кроме мыслей, ничто – ни один нерв, ни одна мышца – не шевельнулось и даже не дрогнуло. Тася попробовала открыть глаза,– они не слушались. Тяжелые, как у Вия, веки обездвижены. Работало только сознание, но почему-то само по себе, независимо от тела. Наверное, вне тела. Что это? Душа или дух? Или то и другое вместе, живя своей вполне осознанной, отдельной, но совершенно нечувствительной жизнью. Значит, наркоз действовал только в пространстве тела? А душа и дух вышли в какое-то иное пространство, в иную реальность? И оттуда никакого знака или намека подать невозможно. Обратной связи не было.

– Разряд,– оглушила команда.

Тело мгновенно изогнулось, послушно подпрыгнуло и легко шлепнулось об стол: ага, дефибрилляция. Как у Джессики Ланж в фильме «Фрэнсис». И никакой боли. Никакого страха.

– Не хочет,– будто бы запнулся хирург.

– Сердце... сердце не заводится,– поняла про себя Тася.– Это бывает. Сколько пугали, сколько предупреждали: пока на своих ногах, беги отсюда, а то вынесут вперед ногами.

– Еще раз. Всем отойти от стола,– диктовал Дземешкевич,– разряд.

И было уже совсем легко еще раз подпрыгнуть – оп ля – и шлепнуться.

– Пошло, заработало!

Сразу же началось многорукое и неприятно давящее копошение в груди, будто чем-то ее начиняли, наполняли содержанием, втискивали что-то объемное, большее, чем грудная клетка, старательно утрамбовывали... Зашивают? Заканчивают?

И загруженная памятью только что пережитого, Тася куда-то ухнула.

Оперировали три дня подряд: не могли остановить кровотечение из легкого. Уже в реанимации, когда она узнала о легочном кровотечении, трех предыдущих днях, ей вспомнился Моуди с вертикальными лабиринтами и туннелями, как в дорогом аквапарке, с захватывающими полетами в трубах к свету или провалами в бездну, вид на себя сверху, выход в астрал. Ничего похожего: никуда она не летала, не выходила. Значит, и клинической смерти не было?

А ведь она не из литературы и не понаслышке знала об этом: однажды во время обследования под анестезией сама пережила этот неправдоподобный восхитительный полет через взвихренный воздушный океан с нестерпимо яркими на черном фоне многоцветными вспышками звезд – не то морских, не то небесных. Была передозировка наркоза. Но Тася вернулась.

И теперь послеоперационная эйфория брала свое, и, выкладывая в ажиотаже подробности, Тася рассказала Дземешкевичу, что помнила из своего зазеркалья. Он зорко вглядывался в нее, вникая в то, что было *за* словами: то ли проверял на адекватность после длительного наркоза, то ли по-житейски удивлялся. Не столько подробности занимали его, сколько непостижимый подтекст самой жизни, которая недавно так неровно и горячо пульсировала в его руках. Иногда он работал Богом, но – внештатно. И знал об этом.

– А ты – живчик, ты – молодчинка, ведь ни капли крови в тебе не было! Сколько всего вкачали, не экономили, а ты лежишь себе – розовая даже, и улыбаешься во сне. Силен твой ангел-хранитель...

Ей вспомнился жаркий от средиземноморского солнца день, когда в жажде впечатлений они вчетвером раскатывали на машине вдоль и поперек небольшого острова Родос. Сверяя карту с дорожными указателями (здесь это не

всегда совпадало), останавливались то в одной, то в другой деревне, бродили с толпой туристов или терялись в глухих улочках и закоулках, где совсем не было людей, но повсеместно и огромными семьями жили кошки – самых немыслимых окрасов, возрастов и нравов. Все устали от жары, хотелось искупаться и пообедать где-нибудь в таверне, но и в церковь Святого Пантелеймона, где хранились его мощи, тоже хотелось. Судя по карте, это было на западном побережье острова, возле населенного пункта Монолит. Дорога резко пошла в гору. Дохлый старый фиат из проката еле тянул и задыхался, как астматик. На каждом новом витке серпантина мотор захлебывался и замолкал. За рулем сидел Николай – водитель со стажем и бывалый путешественник, но и он нервничал, вновь и вновь заводя мотор и вжимая в пол педаль газа. Тася была штурманом и сидела рядом с ним. Ужасное место. Ее ноги работали и на газ, и на тормоз. С каждым разом, когда замолкал мотор, все напрягались. Сережа и Лида затихли. Сзади подпирал поток машин, им сигналили, их обгоняли, строили рожи и крутили пальцем у виска. Николай вновь и вновь запускал стартер. За окном мощной стеной картинно тянулись пышные пинии – граница леса. Еще несколько витков, и неожиданно открывшийся вид на море, застывшее ослепительно синей гладью, очень порадовал. Есть! Высшая точка. Выдохнув, все вышли из машины. Мимо пролетали облака. Они быстро густели, закручивались вихрями и также быстро редели, рассеивались, таяли на глазах. Из долины снизу поднимался туман, клочьями забивая ложбины и ложбинки, оседая на плоских вершинах, скрывая на несколько минут и море, и даже ближние деревья. Потоки воздуха разной плотности и скорости неслись в своем природном хаосе, показывая живой видовой сюжет. Рядом торговали домашним вином, медом и оливковым маслом.

Лида спросила у продавца про церковь Святого Пантелеймона. Он развернулся в сторону моря и показал на огромный, торчащий, как зуб великана, горный массив – классический останец, обозначенный на карте названием Монолит. Там, на самой вершине белела церковь, к которой вели вырубленные в склоне ступени… их было немало. Каждый, наверное, прикинул про себя и путь до Монолита, и подъем по этим ступеням, и набирающую градус жару…

– Нет, это не для нас, не потянем!

– Я не рискну, боюсь за сердце.

– Да, не наша мера подвига…

Вглядываясь в недосягаемый храм, порассуждали, что по грехам и по маловерию не дойти до церкви. Огорченные, но смирившиеся, они сели в машину и двинулись дальше по такому же узкому и крутому серпантину, но уже вниз, что тоже было довольно страшновато, но фиат тормозил лучше, чем заводился.

– А если эта дорога ведет в никуда,– неожиданно предположил Сережа.

– Как это «ведет в никуда», не каркай…

Когда спустились, то оказались на замкнутом крохотном пляже, и единственной дорогой было – море.

Теперь неприятно напрягала мысль о том, что надо возвращаться, опять ехать по этому кошмарному серпантину, опять вверх, машина, наверняка, заглохнет – и не раз, и неизвестно, чем все кончится.

– Это бесы нас водят,– вынесла приговор Лида,– мало того, что к Пантелеймону не допустили, так еще и куражатся.

Николай завел мотор с первого раза. Подъем начался в тяжелом молчании. Их никто не обгонял, не подпирал сзади. Ехали в полном одиночестве,

вслушиваясь в ритм работающего мотора. И фиат не подвел – все-таки мировая марка, и Николай показал класс.

Спустившись с перевала, въехали в очередную деревушку, и сразу захотелось выйти, расслабиться, кофейку попить. Остановились перед церковью.

– Что это? Где мы?

– Церковь Святого Пантелеймона, пошли!

И они нырнули в прохладный полумрак, пропахший ладаном.

– Как греки почитают целителя Пантелеймона! И тут, и там ему молятся.

– Спроси еще раз, где его мощи?

Лида подошла к свечному ящику, где женщина раскладывала сувениры. И та в ответ что-то залопотала по-гречески и, сильно жестикулируя, стала тыкать пальцем в самый центр храма. Значит, мощи – здесь?! Вот это да!

В этот момент в храм ввалилась группа паломников. Ба, русские! Они тихо переговаривались, крестились, покупали свечи. Вдруг женщина прекратила торговлю, замахала на всех руками и указала на алтарь. Оттуда вышел маленький священник, заросший большой черной бородой до самых глаз. В одной руке он держал корзину с ломтями белого хлеба, в другой – плоскую серебряную шкатулку. На круглом столике перед алтарем разместил корзину, рядом – шкатулку, которую сразу же открыл.

– Мощи,– ахнула Лида,– ковчежец с мощами!

Священник прочитал молебен, хлебы окропил вином, а потом разрешил приложиться к мощам целителя Пантелеймона, благословил каждого и дал с собой святые хлебы, кому два, кому три кусочка. Из храма вышли с дарами. Вышли в полном потрясении.

– Господи,– почти прошептала Лида,– ведь надо же было приехать в эту тьмутаракань, о которой мы знать не знали, и именно тогда, когда приехали наши паломники. Ведь это для них – не для нас – открыли храм и вынесли мощи. И никакие бесы нас не водили,– ее глаза засветились – это ангелы и святой Пантелеймон привели нас – в это место и в это время!

– Чудо, с нами случилось чудо!

– Невероятное совпадение,– согласился Николай.

– Силен твой ангел-хранитель,– донеслось до нее снова,– радуйся, можешь теперь дважды в год отмечать день рождения.

Детский день рождения запьянел уже от первой чашки чая с кагором. Дарили шоколадки, шкатулки, копилки, фарфоровые статуэтки, авторучки, капроновые ленты и, конечно, книги. На столе – плюшки с изюмом и клюквой, рогалики с маком, пироги и глазастые ватрушки. А в главном пироге таилась копеечка,– если найдешь, то этого копеечного счастья на весь год хватит.

Феня (на Тасином языке – Нимфа, из-за ее крепдешинового зеленого выходного платья) пекла легко, с веселым азартом.

В голодные военные годы она работала на хлебозаводе. Всего несколько месяцев,– потом посадили в тюрьму: пыталась вынести в бюстгальтере две сайки для трехлетнего внука Сашки. Дали два года – по году за каждую сайку.

По природе Нимфа – классическая некрасовская женщина, ходячая хрестоматийная цитата про *коня на скаку* и про *горящую избу*...

При советской власти – беспартийная стахановка, правильная, совестливая. Такой оставалась и в тюрьме. Через девять месяцев отсидки с наградным

мешком муки за примерное поведение и высокие показатели в социалистическом труде осужденная Федосья Захаровна Калганова вышла на волю.

Когда Юра Леснов пришел знакомиться к ним в коммуналку на Ново-Басманной, Феня сразу его полюбила, потянулась к нему, доверилась:

– Туз как есть, козырный туз пришел! Если ты выйдешь за него замуж, Таська, я могу спокойно умереть.

Через полгода после свадьбы Феня умерла.

Это был день Петра и Павла.

***

На выход, не на торжество
на премиальные
мы с Петровской под Рождество
в перспективе на вырост
отхватили на ярмарке платьица погребальные,–
Бог не выдаст.
Заботы о ближних премного ради
рассуждали, ничуть не угрюмы:
Где ж похоронные для мужиков костюмы?
А то ведь уйдут,
кто – в цивильном,
а кто – при параде...

Бежим со свертками,
как со свитками жития,
до самой маковки последней точки.
У Лиды – на убранном поле цветочки,
у меня – бирюзовое из шитья.
И белые тапочки,– чем не балетки?
Батистовый белый платок.
Мы обе – сиротской зимы однолетки –
в безвыходный метим поток.

А там поминальным блинком
горел – в убывающей фазе –
луны несъедобный ком,
там бабушка Феня моя с узелком
суровой, на смерть припасенной бязи
в сердцах пеняла мне всякий грех:
Горе мое, я нарядней всех,
да только не к месту здесь крепдешины,
нашла в чем старуху спровадить в гроб...

И налету сгоняя слезу,
я разборчиво написала сыну:
Все причиндалы –
открой гардероб –
и смертное платье мое – внизу.

Вот и первое Тасино путешествие в сибирский город Петропавловск не случилось бы без Фени. И без Петра и Павла.

Тасе пять лет.

Феня с утра ворчит:

– Бросили девчонку, как мячик. Родители называются. Ни продуктов, ни денег, когда еще сандалики обещали купить, лето проходит, а ты в резине, в ботиках шлендраешь. Нельзя тебе, ты – ревматик, сердечница. А они даже глаз не кажут, черти полосатые. Душа у них в пятках, и не болит.

Это она про Тасиных родителей.

А потом про Тасю:

– Вот отвезу тебя в Москву, в Зацепский тупик, и поставлю около двери, как бутылку с молоком. Пусть хоть недельку поваландаются, порастят свою дочу, дочечку единственную. Пусть хоть разок отпуск возьмут твои бесстыжие мамка-папка, Москву покажут, в мавзолей сводят или в цирк. А кстати узнают что почем. А я зачуток отдохну. В Сибирь, например, скатаю. К Марфе, к сестре. Может, тогда хватятся, дойдут своим высокоученым умом, если сердце напрочь окаменело.

Но никто не хватился.

И через несколько дней они обе, разобиженные и зареванные, самовольно уехали в Сибирь: трое суток в плацкартном вагоне до Петропавловска, а потом еще на попутке по степи четыреста километров до села Пески. Там жили Ивановы и Балабановы: Марфа с мужем Федором и их многодетная дочь Маруся со своим не просыхающим от пьянки мужем-трактористом, тоже Федором.

Феня приготовила подарки: платки, ситцевые и бумазейные отрезы, одеколон, а Марфе – пуховую козью шаль. Уговорила Тасю расстаться с целлулоидным пупсом и заводным поросенком, играющим на скрипке и посему одетым в черный концертный фрак. Накупила мешок печатных пряников:

– Для детей, для кыргызов, увидишь, как они будут липнуть, за машиной побегут, а мы им – гостинцы московские.

В Петропавловск приехали ночью и до утра куковали на вокзале. Кассирша в окошке, милиционер, дежурный по станции,– все были в курсе: женщине с девочкой нужна машина. Ввечеру подкатил грузовик, попутчиков собралось немало. Люди покидали вещи и ловко перекинулись в открытый кузов, а женщина с девочкой сели в кабину. Пока мужики курили, женщины перешептывались: шофер-то – немец, видать, из заключенных, левая рука без двух пальцев. Когда сели в кабину, Тася вся вывернулась, чтобы разглядеть беспалую руку:

– Дядя, новые пальцы у вас никогда не вырастут, вы взрослый. У вас и новые зубы не вырастут, а мои – уже лезут,– и она улыбнулась во весь рот.

Тут же получила от бабушки хороший тумак:

– Спи, болтовило, всю ночь ехать.

Спать категорически не хотелось. В грузовике Тася никогда не ездила, а это интересно: на свет выводить тьму, перенаселенную, живую, где летало и билось о стекло что-то невесомое, волшебное.

– Снег, что ли?

– Да откуда же снег летом? Мотыльки это, ночные бабочки.

– А это кто? – Дорогу перебежал маленький длинный зверек.

– Горностай,– подсказал шофер,– слыхала по такого? Из него цари себе шубы и воротники шили.

– Шубы из такого маленького? Из горностайки?

В боковом стекле, подпирая небо, неожиданно мягко выкатывались горы. Точнее – горная вереница, стайка, этакая – горностайка, готовая сняться с места, сбежать от зимы, от самого царя, чтобы вдруг не стать шубой или воротником.

– Урожай-то какой! – ахала Феня. – Горы зерна... прямо как в песне: *когда б имел я златые горы...* Вот вам и целина. Успели бы убрать до дождей.

– Однако что-то уберут, что-то – скоту, а что-то – в землю уйдет и станет дорогой, новый Сибирский золотой тракт, однако,– рассуждал шофер.– Где машины-то уборочные взять? А крытые зернохранилища? А технику? Голыми

руками да лозунгами, известное дело... Никаких соцобязательств или как там, трудовых рекордов, похоже, не взять... не светят, однако.

Прямо из-под колес порскали ослепленные зайцы: голенастые, прыткие. Тася покатывалась со смеху: машина-то их не догонит, ни за что не догонит... Одного все же догнала.

Долго горели на щеках слезы, и глаза уже ни на что не смотрели.

От радости до печали так близко.

И не только в детстве.

К рассвету приехали в Пески, где их не ждали: телеграмма не дошла.

В просторном, но низком и темном доме земляной пол был застлан связанными из разноцветного тряпья половиками. И со светом – не разгуляешься: то есть, то нет. Но зато скотина своя – две коровы, пара лошадей, небольшой гурт овец, свинья с поросятами, куры и собаки. И еще – огромный огород, а за ним – бахча, а за ней – в спокойной раздумчивости протекал неширокий Ишим, где ловил любимую красноперку дед Федор.

В первую же ночь они почти не спали: кто-то кричал, плакал, а Феня с Марфой долго возились, переговаривались, шептались, носили, гремя ведрами, воду. Тася села в кровати, вникая в происходящее, бабушка приложила палец к губам:

– Тихо! Все только заснули, у нас в доме маленькая девочка, назвали – Галочка. Утром увидишь.

– Так это она всем мешала?

Тася не понимала: ложились спать без Галочки, проснулись – с Галочкой да еще в марусиной постели, а ведь ни Зина, ни Петя, ни Катя, ни Коля не спали с мамой в одной постели.

Утром Марфа накормила всех горячим хлебом и только что сбитым маслом. Маруся дремала, сбросив тяжелое ватное одеяло. На ее груди лежал завернутый кулек, из которого чуть высовывалась черноволосая голова.

– Это Галочка! Подойдите, дети, не бойтесь, вот ваша младшая сестричка, смотрите, как птичка чернявенькая, а глазки светлые... Прямо галка.

– Откуда она взялась, теть Марусь? – не выдержала Тася.– Вчера ее не было.

– Как откуда? Из капусты она. Вон, пойди на огород, там в самом огроменном лохматом кочане нашли ее в листьях.

Схватив Феню за юбку, Тася потащила ее в огород. Твердые кочаны играли на солнце тугими бесшабашными головами.

– Да вот, глянь, какой лохматей, рвань, развалюха,– остановилась Феня,– здесь и нашли малютку, прямо в этих листьях... она, беднюсенькая, так плакала и от холода, и от страха, а мы с Марфой, как услышали, сразу ее в дом,– вымыли, укутали в пеленочки, в одеяльце, а потом ее Маруся накормила, приласкала, и она успокоилась.

Но Тася успокоиться не могла и не поверила, родившись в послевоенной голодной Москве, где огорода с капустой днем с огнем не сыскать, тем более в середине декабря.

Тасины родители, Аня и Даня, купив на последние деньги первый в жизни утюг, в упоении шли по Коровьему Валу к своему общежитию. Промерзшие, с запорошенными крупитчатым снегом бровями и ресницами, они раскошелились на пару горячих бубликов и кофе с молоком, от чего, может, у Ани и начались родовые схватки. Они с трудом дотащились до ближайшего роддома,

но там их не приняли по классической причине: вы из другого района. Схватив такси, они помчались в «свой» роддом у Крестьянской Заставы, где чуть ли не в приемном покое Тася до срока поспешила явиться на свет. Виной тому – новенький утюг.

Через полтора месяца материнства Аня серьезно заболела. Молоко пропало, а ее положили в больницу на операцию. Тасю, совсем еще кроху, в самые крещенские морозы Феня на автобусе привезла к себе в Ногинск. Ей пришлось не только бросить работу в литейном цехе Электростальского металлургического завода, где она прилично зарабатывала, почти наравне с мужиками, но и срочно подыскать внучке кормящую мать, здоровую и чистоплотную. Далеко ходить не пришлось, соседка Катя Назарова, лупоглазая и скуластая татарка с шестимесячным перманентом рано поседевших волос, недавно родила третью дочку Наташку, и молока у нее было хоть залейся.

Тася и Наташка, когда им было лет двенадцать-тринадцать, любили летними вечерами играть в «чур, это я!»

Неподалеку от их дома за глухим каменным забором располагалась трехэтажная картчасть – военное режимное предприятие, где работали девушки и молодые женщины. Ровно в шесть вечера, когда заканчивался рабочий день, они пестрой щебечущей стаей выпархивали на улицу, оставляя за собой шлейф из запахов пудры, разных одеколонов и духов, на какие была способна отечественная парфюмерия. Парами, компаниями, по одиночке они заполняли улицу смехом, разговорами, стуком каблуков. Спешили кто куда: домой, в кино, на свидание или, наоборот, не торопясь разговаривали у автобусной остановки. Каких только девушек среди них не было! Блондинки, брюнетки и даже натурально рыжие, толстые, тощие, со стрижками, пучками и даже с косами. Много крепдешиновых и креп-жоржетовых платьев, белых шелковых кофточек с атласными отложными воротниками, плиссированные юбки... Но главное, главное – это шляпки... И даже не шляпки в обычном понимании – от дождя или для тепла,– а узкие «корочки», плетеные или лаковые – бессмысленные и бесполезные – разноцветные, но чаще всего черные «корочки» от уха до уха, украшенные сбоку букетиком искусственных цветов или лакированным бантом.

Тася и Наташка выбирали глазами – кто скорей? – самую красивую девушку, понимающе переглядывались, и со всех ног бросались за ней, как за жертвой, наперегонки, а догнав, заглядывали в ее расширенные от неожиданности глаза, крича при этом – кто громче:

– Чур, это я! Это я, я!

Так хотелось быть красивой...

Тася оказалась в той самой избушке, куда в 1924-м году из Сибири приехали Феня с Соней и Аней. С весны и до осени Тася жила в саду: делала уроки, читала стихи, полола морковь и редиску, назначала свидания, целовалась, играла на скрипке, спала в гамаке или на раскладушке, завтракала и обедала вместе с Феней за большим самодельным столом, попеременно игравшим роль письменного, обеденного и кухонного стола. Он стоял – как солнце – в центре сада под раскидистой сенью трех мощных, хорошо удобренных навозом антоновок, за которыми теснились живой изгородью малина, зеленый крыжовник и черная смородина. Позади избушки, с фасада увитой синими и розовыми вьюнками-граммофончиками, прилепились курятник и латаный-перелатаный сарай с коровой, козами или поросятами – в зависимости от положения в

стране с фуражными кормами. За этими кормами по зиме, притопывая негнущимися валенками, с четырех часов утра Феня с Тасей выстаивали хвостатые черные очереди, и в детскую ладошку химическим карандашом вписывали равноправный со всеми номер.

За восемнадцать лет Тася приросла к Ногинску вместе со скрипкой и с праздничными концертами в городском театре. И на вопрос сердобольной соседки:

– Феня, бедная, куда ж тебе деваться, когда твоя Таська часами на скрипке скрипит?

Феня невозмутимо отвечала:

– Не перживай, у меня кажный день – концерт на дому. И радио без надобности. У меня все свое: молоко, яйца, яблоки и – музыка тоже своя. Ты, например, про Вивальдия-то хоть слыхала?

Феня гордилась Тасиными стихами, напечатанными в районной газете «Знамя коммунизма». Внучка принесла тогда, считай, первую получку, или, как она выражалась, «аккордный гонорар».– Трешник!

– Ну, и девка,– дивилась Феня.

С тех пор она носила в хозяйственной сумке эту самую газету, показывая ее, уже обтрепанную и замурзанную, всем встречным-поперечным. Одно коротенькое стихотворение – про снежинку – Феня даже знала наизусть. Знала, что Таську напечатали как самого молодого – ей было четырнадцать лет – члена городского литобъединения.

Местные прозаики и поэты – взрослые, семейные, в основном работяги, но были среди них врачи, учителя и военные. Собирались в краснокирпичном, эпохи модерн, здании горкома партии на Советской улице, где размещалась редакция газеты. На обсуждения заглядывали городские сумасшедшие, чудики и библиофилы. Но куда им было до руководителя лито, неподражаемого Фавста Иннокентьевича Тимирязева!

Фавст Иннокентьевич – «маленький» гоголевский человек совершенно замечательной невзрачности: тщедушный старенький мальчик с черепашьими глазками за толстенными стеклами круглых роговых очков. И летом, и зимой в мешковатом костюме цвета пыли с черными парусами сатиновых нарукавников.

Казалось, он заживо похоронил в себе человека, закопал глубоко и надежно. Наверное, от страха. Наверное, его предки были из дворян или священнослужителей, а он – среднестатистический советский гражданин, производственная единица. Определяющий признак – портфель, придававший ему вид колхозного счетовода, бюрократа и неудачника.

– Опять приходил твой старичок,– так ласково называла его Феня, не в силах выговорить столь непривычное имя, и за одно это безмерно его уважая.– Не забудь, сходи на заседание, очень просил. Я ему чайку поднесла, а он сахарку – всего-то один кусочек посуслил, уж такой,– она безнадежно махнула рукой, будто кому-то вслед,– сел вот тут на лавочку, привалился вот так спиной к забору,– Феня не поленилась все это показать Тасе, как артистка зрителю.

– А уж встать сил нет, в чем только душонка держится. Никем не обихоженный, сразу видать.

В этом почти блаженном чудике жил – в строгой аскезе – лирический поэт, бескорыстный, жертвенный. Он писал стихи квадратиками, ромбиками, треугольниками и какими-то другими фигурами, похожими на чертежи, змеистые серпантины, развернутые поливальные шланги. Непризнанный поэт Тимирязев

пережил гонимую визуальную поэзию, продолжая дело футуристов, что при его внешности и образе жизни воспринималось как оксюморон. У него был дар любить чужие стихи, узнавать вещество поэзии и в косноязычии начинающих, и в штампах отпетых графоманов, от которых зубы сводило оскомой. Он был лишен зависти и тщеславия, с детской радостью отмечая у других находки и удачи. Любил всех – и прозаиков, и поэтов. Сам печатался редко, не издал ни одной книги своих стихов.

Кому достался – если и был – его литературный архив?

Тася с бабушкой жили почти натуральным хозяйством. Денег было маловато, но зато много молока,– на завтрак, на обед и часто вместо ужина. По утрам в банках и бутылках Тася разносила молоко постоянным покупателям – местной партийной номенклатуре из многоэтажного, со всеми удобствами Дома Советов.

Этот дом стоял, как и положено по статусу, на улице III Интернационала, в самом центре города. Центр при этом выглядел довольно странно: с одной стороны, стратегически важные банк и почта, с другой стороны, для отдыха и свиданий – полный сирени, жасмина и полыхающего боярышника сквер, при входе в который на должной идеологической высоте, на пьедестале, выкрашенном белой краской, в полный рост стоял Ленин, покрытый свежей серебрянкой. Он куда-то вглядывался поверх людей и даже поверх крыш, устремившись – и телом, и мыслью – за своей непропорционально длинной и тяжелой правой рукой, которая, казалось, должна вот-вот перевесить его, и он повалится на газон.

– Зачем дедушка Ленин поднял руку? – спросила у отца маленькая Тася.– Куда он показывает?

Отец поправил и без того хорошо лежащие, будто набриолиненные, волосы, затянул потуже галстук, зачем-то поддернул по-стиляжьи узкие светлые брюки и без запинки объяснил:

– Он зовет. Он всех взрослых зовет «Вперед!» А детям, таким неразумным и непослушным как ты, доча, показывает, где дом, чтобы вдруг не заблудилась в городе.

Тасе ответ не понравился. Она даже решила, что не будет больше гулять по городу с отцом, хотя ей так нравилось брать его под руку, совсем как взрослой, нравилось нюхать запах его горохового твидового пиджака. Во время этих прогулок, пока мама писала диссертацию или научную статью, отец водил ее в кино, покупал запрещенные мамой газировку и мороженое. Это был их общий секрет. А секреты сближают.

– Ты не понимаешь,– громко возразила она, и повиснув на отцовской шее, вдруг жарко выдохнула в мохнатое ухо,– Ленин на тюрьму показывает…

Почти напротив главного в городе памятника за высоким глухим забором с колючкой, за железными воротами со снующими туда-сюда «воронками», виднелось сильно обшарпанное здание тюрьмы, в котором с трудом угадывалось сходство со старинным, еще царских времен, тюремным замком. На окнах решетки. За решетками иногда мелькали тени. А на боковой улице – заплаканные женщины, приехавшие на свидание. Они ловили долетавшие из окон спичечные коробки или шарики хлебного мякиша с записочками, крепко примотанными нитками.

– Ведь сначала – тюрьма, а уж за ней – дом,– с бабушкиной интонацией рассуждала Тася, разводя руками.

Первые детские воспоминания: много солнца, не находящего себе места в комнате. Жизнь – солнечна, и она в ней – очень мелкая прибрежная галька, омытая околоплодными водами материнского моря.

Детская кроватка с зелеными металлическими прутьями, похожими на гибкие водоросли, стояла у теплой стены, за печкой. Бабушка долго не верила, но Тася убедительно описала кровать и показала место, где она стояла.

Едва научившись ходить и говорить, к месту и не к месту, Тася часто упиралась и упрямилась: *сама... я сама*. Падала, разбивалась, но при попытке помочь заходилась – до синевы – криком, сдобренным – ливень с градом – слезами: *сама*.

Живой пример врожденной *самости*, с годами развившейся до мазохизма. Самость разве скроешь? Говорят, ген самости передается по наследству.

– Доча, кем ты будешь, когда вырастешь?

К ужасу домашних, без стеснения и без логопедических дефектов Тася, победно оглядывая окружающих, выпаливала мгновенно: *миллионером!*

Это в эпоху развернутого строительства социализма, в стране победителей, где дедушка Сталин видел каждого насквозь, потому что не спал ночами в своем краснозвездном Кремле...

Вместо того чтобы, стоя на табуретке, громко и с выражением читать:

Я – маленькая девочка, играю и пою,
Я Сталина не видела, но я его люблю...

В этой стране мечтателей и чудиков Тася хотела стать миллионером.

Вряд ли слово «миллионер» было из семейного лексикона.

Маршаком что ли объелась, стихами про мистера Твистера? И ведь мало было стать любимой женой или единственной дочкой этого мистера Твистера, как в книжке, так нет, мечталось, чтобы миллионером стала *сама*.

Не получилось порадовать родителей.

***

В переводе с болгарского галя – не имя,
но глагол, и пишется со строчной,
а Вера, Надежда, Любовь – с прописной
разгуливают нагими.

Имя *Галя* изгваздало мое детство,
грезились Злата, Земфира, Кармен, Евридика.

Парнишку, на даче скучавшего по соседству,
ввела в обман изощренно и дико,
представившись: Иоланта,
короче – Ио,
иностранная, мифическая, золотая...

– «Иоланта» ведь опера?!
А ты не слепая.

Родители чуть не назвали Руфина,
за то что девочка (ждали сына).
И денежная загуляла в стране реформа.

В созвучии с ней и росла бы *Ру-фи-на,*
если б не телеграмма от тети,
цветные два бланка:
«за синие очи и черные волосы
назовите Галка».

Теперь на 8-е марта все, кому не жалко,
жалуют кубики от «Gallina blanca»,
хотя во мне ничего однокоренного с курицей,
галатами, галлами и гало,
но кое-что от тишины (повезло),
от милости ее и смелости –
ядро молочно-восковой спелости
на вкус и на слух, и во взгляде.

Галя – болгарский глагол *ласкать,*
нежить, по головке гладить.

Кто же не помнит своих первых рифмованных строк?

Даже еще не стихов, но их зародышей.

Мы жили на даче в подмосковном селе Петрово-Дальнее.

Там началось строительство городской онкологической больницы, и папе как инженеру выделили дачу, чтобы не мотался в Москву. Дача высокая, с мезонином, со всеми городскими удобствами и с верандой, подсвеченной окошками из разноцветных стеклянных треугольничков. Эти дачи до сих пор там сохранились как образец послевоенной роскоши для народа. Отец, очень гордый, тут же выписал своих родителей с Украины, из жаркого и пыльного Николаева. Они приехали с младшей внучкой Зиной, моей ровесницей. Для объединения семьи вскоре и меня – в слезах – привезли.

Началась подневольная дачная жизнь. Я всего однажды гостила в Николаеве у бабушки и дедушки, очень стеснялась, дичилась и вдобавок ревновала к ним кузину-Зину. Чуяла печенкой, что она – родная внучка, а я – как бы двоюродная. Нехотя подчинилась другому распорядку. От прежней жизни при мне осталась только скрипка, но играла я помалу и вполсилы. Было сиротливо, и по ночам – от жалости к себе – я под одеялом размазывала по щекам слезы. Днем все както сглаживалось походами в лес за грибами и за малиной, купаньем в еще не заросшем голицынском пруду, но больше – игрой в пинг-понг с соседской ребятней, среди которых не играл только мальчик с редким именем Юлик. Бледный и молчаливый, обычно с книгой, он сидел в самой густой тени, и однажды, оторвавшись от книги, объявил нараспев:

– Завтр-ра мой день р-рожденья, но я не смогу пригласить вас всех, пар-рдон…

Играть в теннис сразу стало не интересно. Мы с Зиной пошли к себе, и она объяснила:

– Слышала, как картавит? Думаешь, не выговаривает букву «р»? Он специально так говорит, называется «грассирует». Его за это даже во французскую спецшколу приняли.

Эти слова прозвучали как приговор: Юлик, который учится в Москве во французской спецшколе и красиво распевает букву «р», никогда не пригласит меня, такую толстощекую, с веснушками, такую деревенщину… никогда не пригласит.

А Зина готовилась к празднику.

– Напишу стихотворение и подарю с автографом. А ты сыграй что-нибудь на скрипке, например «Веселый крестьянин». У тебя без нот здорово получается!

После обеда нас, как маленьких, укладывали в постель, хотя спать было не обязательно. Зина пыхтела и что-то бубнила, накрывшись простыней, а потом сбрасывала ее и быстро писала, но еще быстрее стирала написанное, и тут же опять писала столбиком. Лицо ее раскраснелось и стало красивым. Она точно знала, что делает:

– Готово! Вот! Про партизан, про пионеров, как они погибли, но фашистский поезд взорвали.

Скрипка не шла в руки. Я не стала ужинать, не стала гладить платье-матроску, только помогла Зине накрутить на бумажки ее короткие волосы. Все улеглись спать, как обычно, будто ничего не происходило и заранее было известно, что завтра Зина со своим героическим стихотворением пойдет к Юлику, а я с «Веселым крестьянином» останусь дома. Не спалось и даже плакать не хотелось. Хотелось умереть. И я видела, как в день рождения Юлика меня будут хоронить в гробу, похожем на мой деревянный скрипичный футляр, в не глаженом платье, с косичками-бараночками, как будут плакать бабушка и дедушка, зарыдают мои родители, особенно мама... Но где же Зина?

Сюжет увлекал. Образы уносили в какое-то другое пространство, где невидимый метроном диктовал ритм, а на него, как бабочки на свет, летели настоящие, самые нужные слова, близким или дальним эхом тянувшие за собой рифмы. Это были стихи. Только бы не забыть до утра!

Летнее утро – скорое, и я босиком вбежала в кухню, где уже завтракал отец. Вот кому я могла доверить ночную тайну, вот кому...

– Что ты такая встрепанная? Всю ночь что-то бубнила, вскрикивала, наверно, тоже стихи сочиняла? – ласково спросил отец.

Я впала в ступор.

Леденящий ужас. Несмываемый позор.

Не помнила ни полсловечка. Ни-че-го.

И вдруг шепотом:

Как живется тебе,
моя бедная дочь,
на том свете?

– Что? Какая дочь? Какой «тот свет»? – Отец почти задохнулся.– И это твои стихи? Откуда эта мистика в двенадцать лет? Ты же не чахоточная поэтесса, ты здоровая девочка, ты пионерка, а тут прямо декаданс в чистом виде. Одна строка, разве это стихотворение? – он перестал жевать и задумался.– Правда, у Брюсова есть «О, прикрой свои бледные ноги»,– кстати продекламировал он,– но все уже было, тысячу раз было, дорогая моя девочка! Ты далеко не первая. Все уже хожено-перехожено, все уже написано в русской литературе. Я и сам когда-то... Но тебе еще рано! С чего это ты вообразила себя матерью, а? И почему умерла дочь? Нет, тебе *так* нельзя, запомни! И бери пример с Зины, ее стихи в «Пионерской правде» напечатаны.

Он вдруг зашептал:

– Никому не читай! Не смей, слышишь, забудь!

Я была потрясена собственным провалом, но более того – чувством отчаянного одиночества в своей семье.

Юлика с его днем рождения больше не существовало.

Папа перестал быть моим доверенным лицом.

Зина после замужества работала воспитательницей в детском саду.

Я долго не писала стихов, пытаясь вернуться к самой себе, найти вход в потаённое пространство, которое мне открылось той ночью на даче в селе Петрово-Дальнее, где мне леталось и пелось, а губы сами шевелили чистый воздух рифмующихся слов непонятно как случившегося стихотворения....

Отец любил играть в буриме, писал лирику – и пейзажную, и любовную в духе символистов,– был неплохим версификатором. Он писал и дневниковую прозу, а в последние годы жизни, будучи секретарем Совета ветеранов Карельского фронта, увлекся военными мемуарами.

Совсем недавно нашелся его голос в интернете. Это было невероятное потрясение: услышать голос отца почти через десять лет после смерти. Из космоса? Из вечности? Родные интонации, узнаваемый – без искажений возрастом и временем – теплый тембр. И там же нашлись воспоминания из его фронтовой жизни. Вот они.

3-го июля1941 года после выступления по радио тов. Сталина я вместе со всеми пошел в народное ополчение. Там узнали, что я сапер-подрывник, младший командир - три треугольничка, и назначили старшиной отдельной саперной роты. Дали мне человек триста. Почти все инженеры, были и кандидаты наук и даже поэты, писатели и композиторы, кто угодно, но только не рабочие,- редкий случай в саперной роте. Я всех построил и как рявкну «становись!» Повел в парикмахерскую, и несмотря на злобные выпады их постригли-побрили, потом - баня. Через день мы вышли из Москвы и прошли по Можайскому шоссе около тридцати километров, до деревни Толстопальцево, где началась армейская жизнь: овладение оружием, боеприпасами, подрывными средствами.

Однажды меня вызывает дивизионный инженер:

- Надо поехать в Ивановскую область и получить шесть тонн взрывчатки. Возьми 150-200 противопехотных и противотанковых мин и пять-шесть кухонь. Даю тебе взвод солдат и Газ АА».

- А на чем же я все это богатство повезу обратно?

- Ты сапер или самозванец?! Каждый сапер должен соображать, где что взять.

Проезжая Подольск (с какой стати мы там оказались?), я увидел автобазу, и у меня мелькнуло...

Подхожу к директору автобазы, наган на стол:

- Ты здесь в тылу жрешь, а мы воюем (хотя мы еще пороху не нюхали) ...

- Что надо?

- Минимум двенадцать автомашин, чтобы привезти взрывчатку.

- Где я их возьму? У меня разнарядка...

Тогда я своим ребятам отдаю команду:

- Ни одной машины не выпускать, но впускать любую!

Директора запер в кабинете и поставил часового. Собрал шоферов:

- Ребята, у меня с собой два мешка сухой колбасы, два мешка хлеба и полмешка сахара. Водки и консервов нет. Нам надо поехать в Ивановскую

область, получить там взрывчатку и другие нужные для войны материалы. Кто поедет?

Согласились все. Я собрал пятнадцать машин и выезжаю с этой кавалькадой. Еду через всю Москву до места, потом - обратно. Глубокая ночь. Останавливаемся на Метростроевской улице, где мы формировались, в институте Иностранных языков.

- Ребята, до 4-х утра всех отпускаю, остаются трое. Ровно в 4 уезжаем, понятно?

Сам я спланировал заглянуть к знакомой девушке, и все знали, куда. Мы с ней только поужинали, как вдруг стук в дверь. Входят два милиционера:

- Это вы взрывчатку привезли в Москву? Вы старший?

- Я старший.

- Вы что опупели что ли?! Москву с минуты на минуту начнут бомбить! А Вы возле самого Кремля остановились! Вас арестуют и расстреляют!

Я трухнул и решил сблефовать:

- Какая взрывчатка?! Вы что?!

- А что в машинах, что в ящиках?

- Там инструмент, фонарики электрические от машин.

- Пошли разберемся.

Подходим. Спрашиваю у своих:

- Кто сказал, что здесь взрывчатка?

Все молчат. Я говорю:

- Это не взрывчатка - это инструмент.

Милиционеры постояли, смотреть не стали:

- Мотайте отсюдова поскорей!

Приезжаю в свою роту, где должен сдать инструмент, взрывчатку и мины на склад. Но тут мой комбат Майский:

- Привезли?

Я ему все рассказал.

А он:

- Знаешь, что? Вы этот ящик с фонариками не сдавайте на склад, оставьте нам.

- Товарищ командир роты, не имею права.

- Я вам приказываю!

- А я не выполню...

Он как закричит:

- Повторите приказание оставить ящик с фонариками!

- Не повторю приказания...

- Я вас сейчас расстреляю!

- Расстреливайте!

Он вынимает парабеллум. У него, вижу, пена на губах, ногами топает и кричит изо всех сил:

- Повторите приказание!

Я расстегиваю гимнастерку:

- Стреляй! Повторять приказания не буду!

Майский кидает пистолет на пол, пилотку на пол, топчет ногами... Больной, видно, человек, психически расстроенный. Так меня чуть не расстреляли в первый раз.

Я перестал быть старшиной этой роты и попал во взвод к моему приятелю Васе Карпенко. Через день к нам приехал какой-то вояка с тремя шпалами и собрал всю роту:

- Кто с высшим и средним образованием два шага вперед!

Я вышел.

- Товарищи, вы поедете в училище, где получите звание соответственно вашей специальности. Вот вы кто?

- Я инженер-строитель.

- Вот и получите звание военный инженер-строитель 3-го ранга.

И нас везли почти до Вязьмы, где всех рассчитали и назвали Первый пулеметный Взвод Первой Роты первого батальона.

Я спрашиваю:

- Какой из меня пулеметчик? Я приехал получать звание военного инженера?

- Молчать! Не разговаривать!

Вечером сажусь писать рапорт, что меня ввели в заблуждение, обманули. Назавтра получил ответ: «Тов. Златкин. Стране нужны пулеметчики».

С 6 утра и до 8 вечера с винтовкой на плече. Мы ходили строевым шагом, горланили песни, клацали пустыми затворами,- так нас обучали быть пулеметчиками. А кормили - утром чай с сахаром и кусок хлеба, в обед какая-то баланда, даже картошечки ни одной не плавало, на ужин каша, сахар и кусок хлеба. За десять дней все так отощали, что еле ноги таскали, но с 6 утра до 8 вечера надо ходить, тянуть песни и клацать пустыми затворами.

- Когда же нас будут обучать пулеметному делу? И где они, эти пулеметы?

- Молчать! Не твое дело! Не рассуждать! Как начальство прикажет, так и будем делать.

Однажды вечером вышел из землянки, слышу запах - жареная картошка! Боже мой, картошка!

- Где взяли?

- Где, где? У повара.

Я бегом к повару:

- Как картошку получить?

Он говорит:

- Картошки захотел? Ее надо заработать.

- Я хочу заработать! Я голодный!

- Тогда,- говорит мне почти на ухо повар,- приходи завтра, как стемнеет, будешь пилить и колоть дрова и, чтоб к пяти утра, когда я приду, вода уже кипела во всех котлах, понял?

- Понял.

Всю ночь я носил с речки сухостой и мокрый валежник, пилил их ручной пилой, колол топором, который все время соскакивал, и, наконец-то, развел огонь. Вода кипела во всех котлах. Повар увидел:

- Молодца! Один, а смотри, как работаешь! У меня два-три человека так не сделают. Ты - хороший парень, бери картошку, заработал.

- Сколько можно взять?

- Да бери, сколько унесешь.

На мне была короткая кавалерийская бекеша. Я в один карман, в другой,- а мне все мало. Вынул финку, прорезал карман и обложил себя вокруг картошкой. Иду, не нарадуюсь:

- Щас пожарю или в золе испеку.

Навстречу какой-то чин с тремя шпалами:

- Товарищ курсант, ко мне!

Я подошел. Он уставился на мою бекешу и говорит:

- Что здесь такое?

- Картошка.

- Украл?

- Нет, не украл, заработал.

- Врешь, мерзавец, украл! Заработать здесь негде, мы не на заработках! Украл!!! Иди-ка сюда.

Было время завтрака. Все пили горячую воду, якобы чай, с сахаром и куском хлеба. Чин обращается:

- Товарищи красноармейцы, немцы получают 200 г хлеба в день и воюют. И как воюют! А вы получаете 500 г, но среди вас есть бандиты и воры, которые вас грабят и жрут вашу еду. Гляньте!

Он начинает вынимать из моих карманов картошку и стучать по столу. Вынимает и стучит, вынимает и стучит, и приговаривает:

- Видали бандита? Это ваша картошка! Она у вас на столе должна быть!

Ну, солдаты, ясное дело, загудели, когда целая гора картошки появилась на столе, килограмма три-четыре, если не больше. Он как гаркнет:

- Встать на стол! - Я встал.

- Снять звездочку с пилотки! - Я снимаю.

- Снять пояс! - Я снимаю.

- Снять обмотки! Я снимаю.

Он объявляет:

Именем Российской Федеративной Советской Республики приговариваю бандита и мародера к расстрелу!

Вынимает пистолет, и я отчетливо вижу - наводит на меня. Но тут вдруг я слепну - ничего не вижу, ничего не слышу, только твердо стою на ногах и только одна мысль:

- Сейчас выстрелит...

Проходит мучительное время, сколько - не знаю. Я не слышу этого выстрела и упорно стою на ногах, когда меня кто-то дергает за руку. Открываю глаза,- комбриг, которому я писал рапорт, и он тихо так говорит мне:

- Давай, слезай!

Я падаю и теряю сознание. Комбриг приводит мен я в чувство, сам надевает мне звездочку, потом пояс...

- Обмотки наденешь сам... Забирай картошку.

Я слушаюсь, забираю картошку. И мы вместе уходим. Полная тишина, хотя вокруг солдаты... завтрак не окончен. Но тишина...

Вышли на улицу, он обнял меня и спрашивает:

- Где картошку-то взял, говори?

Я разревелся и все ему рассказал.

Так меня чуть не расстреляли во второй раз.

Через три дня сажают в теплушку, в ней человек 60-80 - повернуться нельзя. Неизвестно куда везут. Наконец, выходим. Слышны пушечные разрывы, стрельба. Совсем близко. Здесь же раненые. Спрашиваю:

- Ребята, как там?

- Немец десант выбросил.

- А где мы находимся?

- Здесь река Плотва недалеко, и где-то тут Бородино. А это деревня Мышкино.

И я запомнил - Мышкино.

Вечером нас согнали в баню. Какой-то старший сержант начал учить:

- Вот, товарищи, перед вами новейший пулемет Дегтярева, танковый пулемет. Минимум три человека должны его обслуживать: один носит ствол, другой - колеса, а еще подносчики носят патроны. Понятно? Ты,- кинулся он ко мне,- ты будешь первым номером, понял? На тебе ствол!

Я взял ствол.

- А ты второй,- бросил он кому-то не из моего взвода,- даешь колеса. Еще двоих назначил подносчиками.

- Для того чтобы стрелять, надо это отжать, это прижать, это натянуть, это вставить и стрелять, поняли?

Все закричали: поняли! Но никто ничего не понял. С таким вот знанием пулемета мы вышли, и сразу были обстреляны...

Я впервые услышал свист пуль и тут же почувствовал смерть, хотя потом уже узнал: пуля, которая свистит - не твоя, свою - не услышишь. Хоть я и не трус, но пригнулся, присел на корточки, руки и ноги задрожали. Казалось, что все стреляет, все стреляет именно в меня, но почему-то не попадает. Оглядываюсь - нет моего второго номера, нет моих подносчиков, я один со стволом, а у меня еще винтовка СВТ десятизарядная, вещмешок, противогаз... Черт знает, чего только на мне не висело! Топор еще - я сапер, и топор при мне всегда! В общем, вся амуниция весила предельные 32 кг.

И вдруг:

- Мерзавец, вперед, за Родину, за Сталина! - и мне в затылок наганом. Я понял, что закричал: вперед!

Но кто сзади?! Никого... Я да он. Бежим вдвоем. Где же все наши? Смотрю: валяются, лежат.

Короче, нас вывели в голое поле, а немец укрылся за деревней. Самолеты расстреливали на ходу, мимо меня прошла самолетная очередь, я лежу, потом поднимаю руку и кричу кому-то: вперед! За Родину, за Сталина!

И вдруг удар в правую руку. Не понимаю, что за удар, но теряю сознание. Очнулся от холода. Ночь. Крупные звезды. Очень холодно. Было 15 октября 1941-го года. Я очень замерз, потому что был без ботинок. Кто-то снял с меня ботинки, и я в одних портянках. Пробиты два пальца и кровоточат. Я разорвал на себе нижнюю рубаху, кое-как перевязал рану,- первичных средств не было. У нас была в противогазе противоипритная жидкость на спирте, которую мы всю выпили еще до того, как прибыли на линию фронта. Мы пропускали эту жидкость через цемент или через уголь, и получался прекрасный спирт... Хотелось есть, но при себе ничего... Перед боем дали два сухаря и две воблы, а мы два дня в этом самом бою.

Разве это бой? Это - бойня: мы на земле и не видим противника, а противник нас видит и никому не дает подняться, никому.

Вот таким был мой первый бой.

Я все-таки поднялся и пошел искать. Кого? Только трупы, только убитые... Нашел флягу, а во фляге вода замерзшая, взял... Потом сухарь взял у убитого, потом сапоги... Захотел снять с кого-то шинель, смотрю, зашевелился человек:

- Браток, помоги...

Я ему:

- Кто ты?

- Петька Пилякин.

- Что с тобой?

- В коленку ранен, помоги мне, не бросай здесь!

Он был старше меня и, очевидно, имел больший опыт.

- Знаешь, ведь немцы уже прошли, а нас с тобой за убитых приняли, с тебя ботинки сняли, сам видел.

- Мы что же, значит, в окружении?!

- Хуже, браток, не только в окружении, мы на немецкой территории.

- Петя, дорогой, надо ж как-то идти!

- Доведи меня хотя бы до того стога сена,- он был очень грузный, бывший главный пивовар Бадаевского завода Москвы.

Этого Петьку я на себе волок метров сто пятьдесят до ближайшей скирды. Там вырыли что-то вроде норы и залезли туда, согрелись. Когда вода оттаяла, попили воды, съели сухарь на двоих, и Петя сказал:

- Напротив через речку деревня. Надо перейти речку, и там до крайней хаты дойти, попросить чего-нибудь пожрать.

Я плавать не умею, хоть и родился на Южном Буге, и три раза тонул. Я нашел два бревна, связал их прутьями, переплыл речку и постучался в крайнюю избу. Там дед как увидел меня:

- Ой, сынок, беги, у нас полно немцев.

- Дедушка, я не один, у меня еще товарищ раненый, а есть нечего...

- Сами живем, чем Бог послал...

Вынес пару морковин и дал совет, как перейти речку и найти наши части. Ночью мы с Петей пошли: он опирается на меня, я его волоку на себе.

- Петь, не обижайся, не могу больше, сил нет. Ты бы хоть прыгал на одной ноге.

Он стал прыгать на здоровой ноге, опираясь на меня, но легче мне от этого не стало. Тогда мы нашли три доски (Петя умел плавать), речка была не очень глубокой... я лег на одну доску, а Петя рядом - на две, и начали грести. На самой середине случилось то, что я и предвидел: доски разошлись, я пошел ко дну, и все, что было при мне, тоже пошло ко дну: диплом об окончании высших инженерно-строительных курсов, диплом инженера-строителя... Хорошо что Петя был рядом, он подхватил, дал отдышаться и говорит:

- Ты скачками, давай, прыжками.

Я на дно, глотаю воду, выпрыгиваю, глотаю воздух, а Петя меня тянет и тянет, и сам плывет. Наконец мы выбрались - зуб на зуб не попадает, одежда леденеет на глазах. Не прошли и двухсот метров вдруг:

- Стой, кто идет?

И нас взяли. И сразу разобщили. Я - в обледеневшей шинели - захожу в дом. Там капитан, он вынимает наган и кладет на стол:

- Садись! Рассказывай!

- Что рассказывать?

- Кто такой?

Рассказываю по порядку, кто такой.

- Врешь! Не верю. Расскажи лучше, как завербовался.

И тут я все понял. И говорю:

- Скажите, я что, попал в НКВД?

- В какое НКВД?! Какое тебе дело, куда ты попал?! Ты попал в советскую армию, понял? Давай рассказывай, кто завербовал? С каким заданием пришел к нам? Кто тебе делал мягкое ранение? Только не бреши, пристрелю сразу! - капитан подошел ко мне с наганом вплотную, и стволом - в зубы. Губу порвал - раз, второй...

- *Почему вы меня бьете?! Я буду говорить.*

- Ого, молодец! - а сам опять в губы, опять разбил, опять пошла кровь.

- Что рассказать? Скажите, что надо рассказать?!

- Кто тебя завербовал? Где твои сообщники? Твой приятель рассказал, что вы во Франкфурте-на-Одере завербованы, чтобы уничтожать комиссаров! Какое задание ты получил?

Я растерялся:

- Какой товарищ рассказал?

- Да вот, твой Петька рассказал.

- Сволочь,- пронеслось в голове,- я его от смерти спас, на себе вытащил.

В это время зашел полковник, я к нему:

- Товарищ полковник, спасите, что это за дело мне шьют!?

- А вас в Москве кто-нибудь знает? Кто-нибудь может за вас поручиться?

И меня осенило: мой двоюродный брат - начальник первого отдела главной военной прокуратуры РКК СССР.

- Брайнер Лев Маркович.

Полковник вышел, а минут через сорок зашел снова:

- Я его на себя беру.

Выводит меня в сени, а там стоит мой Петька. Обнялись мы, расцеловались:

- Данька, стервец, как же ты на меня наклепал?

- Да что ты, Петя?

- Зачем ты сказал, что во Франкфурте-на- Одере нас завербовали?

- Петя, мне сказали, что это ты сознался...

Короче, нас довезли до Москвы. На Белорусском вокзале меня и Петю милиция подняла на руки и понесла в общий зал. Было так приятно, что «моя милиция» меня несет. Нас определили в госпиталь, и через два дня поезд примчался на Урал, в Верхнечусовские Городки, где я лечился полтора месяца и вышел раньше Пети.

Как-то среди ночи меня разбудили:

- Вас вызывает главный врач.

Прихожу, в кабинете сидит Александра Александровна Макарова.

- Знаете, наблюдаю за вами и вижу, вы - интеллигентный человек, может, самый интеллигентный из тех, кто у нас лечится. Вы мне нравитесь и как личность, и как мужчина. Давайте поговорим откровенно и серьезно: у меня есть муж, но мы давно уже не ладим, хотя у нас общая дочь. Я его от армии освободила, он - начальник отдела снабжения нашего госпиталя. Не мой он человек, чужой! Хотелось бы рядом теплого и чуткого ко мне и моей жизни человека.

Сначала я не понимал, к чему этот разговор, слушал дифирамбы и не понимал. Тогда она присела рядом со мной и, навалившись на меня своей немалой грудью, оказала лично, так сказать, знаки внимания и любви... Не я ей, а она мне. Мы сблизились. Она меня долго держала при себе:

- Шура, выписывай, я должен быть на фронте, все мужики воюют, а я здесь, под твоей юбкой...

- Не торопись, у тебя отчетливо прослушиваются хрипы в легких!

Наконец, я собрался. Шура дала на дорогу наволочку с десятью пачками махорки, и я поехал в Пермь, чтобы найти там эвакуированный из Москвы свой строительный трест. Но нашел я его в Башкирии, в деревне Аргаяш.

Была уже ночь, когда я пришел в барак. Все вскочили, как же, Данька приехал с фронта раненый, инженер Данька...

И вот тут возникает много раз повторяющаяся в моей жизни - мистика встреч...

Наш управляющий Семен Иваныч говорит:

- Данька, знаешь, у нас твоя сестра работает.

- *Какая сестра?*

Он называет фамилию.

- У меня такой сестры нет.

- Как же нет, когда она здесь живет.

Открывается дверь, входит женщина и с криком «Данька!» бросается мне на шею.

- Простите,- я отбрасываю ее руки, отстраняюсь и вежливо спрашиваю,- может, я вас где-то видел, но не помню... Кто вы?

- Да я Галька!

- Боже мой! - глазам своим не верю. Галька, ты?! Мы ведь не встречались лет десять, наверное... И она мне рассказала, что мои родители живы, хотя квартиру разбомбило, но сами они успели эвакуироваться на Урал, и она дала мне их адрес. Боже, вот так встреча! Вот так счастье!

Дальше я поехал в Ялуторовск, где сформировали дорожно-строительный батальон. Я стал исполняющим обязанности начальника штаба батальона. Через три недели нас повезли на Север, куда-то в направлении Архангельска. Когда проехали город Беломорск, все поняли, что едем на Мурманск... Между Кемью и Кандалакшей нас пробомбили, но без потерь. В Мурманске нас бросили сразу поближе к передовой, и мы, не успев обжиться и вырыть себе землянки, начали строить и ремонтировать мосты и дороги.

В дальнейшем мы переехали в Кандалакшу, там меня назначили начальником квартирно-эксплуатационной части госпиталя. Пробыл там полгода и к празднику подготовил концерт. После концерта подходит ко мне генерал:

- Вы артист?

- Нет, никогда не был артистом.

- Не может быть, вы скрываете. Вы актер! Вы природный конферансье! Эти чеховские диалоги, а рассказ «Хирургия», а разговор с собакой,- это незабываемо. Вы - мастер пантомимы! Хотите служить в штабе армии?

- Какой же офицер не желает служить в штабе армии?!

Генерал тут же распорядился:

- Командируйте лейтенанта ко мне.

Мне выписывают командировочные, я приезжаю в штаб армии, иду в отдел кадров, а мне говорят:

- В военную разведку!

- Как? В какую разведку?

Я хорошо понимал, что такое разведка.

- Генерал приказал в разведку.

- Но мне генерал сказал, что в штаб армии.

- Молчать! Не разговаривать!

Так я стал офицером секретной службы разведотдела штаба 19-й Армии. Мы были в 30 км от линии фронта. Слышали взрывы, но участия в войне не принимали, кроме того, что готовили разведывательные группы и собирали самую разнообразную информацию. Мы все знали о противнике, как и противник о нас.

На одном из участков фронта против нас стояли две дивизии. Одной из них командовал генерал фон Дитмар, а другой - генерал Рюбель. Фон Дитмара отозвали в Берлин, там он женился на родной сестре Магды Геббельс. Вместо него прислали генерала Ратши. Так вот, генерал Рюбель - это был важный генерал, который признавал только офицеров, а солдат за людей не считал. А генерал Ратши (его прозвали «Ратши-бум» - шаровая молния) внезапно приезжал с инспекцией частей и, прежде всего, посещал туалет, потом столовую и разносил всех, если находил недостатки. Солдаты его на руках носили, офицеры - ненавидели.

Итак, на каком направлении фронта надо было наступать? Конечно, там, где солдаты не любят командира и не отдадут за него свои жизни.

А с генералом фон Дитмаром мы имели интереснейшую встречу! Генштаб запросил его характеристику, но, главное, нужна была фотография. Наши поиски результатов не дали. Пленные солдаты о нем говорили охотно: «Да, был такой генерал. Он богатый помещик». Но не более. Взводом разведки 152-й Стрелковой дивизии командовал лейтенант Кобец Иван Лукич, теперь - полковник, мой дорогой друг. Кобецу дали задание взять языка. Разведчики зашли в глубокий тыл, оседлали дорогу, идущую к фронту из города Алакурти, и там взяли повозку с семью немецкими солдатами, которые, возвращаясь из отпуска, спьяну играли на губных гармошках немецкие песенки. Их связали и благополучно доставили в штаб.

Когда обыскивают группу пленных, страшную ошибку делают те, кто забирает документы и сваливает все в общую кучу. Тогда не понятно, кому что принадлежит: фотографии, письма. В разведке нет ничего неважного, ничего нельзя пропустить.

В тот раз в штаб армии привезли пленных с большим пакетом документов.

Я перебирал документы, смотрел фотографии, и вдруг вижу невзрачную фотографию 3х4 см, а на обороте: «Моему ординарцу от фон Дитмара».

Боже мой! Я кричу нашему переводчику и начальнику отдела:

- Сеня, Сень! Глянь!

Это же генерал фон Дитмар!

- Где ты ее нашел?!

- Вот в этой самой куче.

- Но кому это принадлежит?!

- Вот теперь задача: выяснить, кому принадлежит фотография, потому что он теперь точно не сознается,- уверен я.

После оперативного совещания собрали пленных:

- Вас не расстреляют. Советские войска пленных не расстреливают. Это пропаганда вашего Геббельса, что мы якобы расстреливаем пленных. Вы поедете в тыл, в лагерь для военнопленных.

Они обрадовались. Я говорю:

- Все, что лежит на столе, ваше. Каждый забирает свое.

Мы вышли. Когда вернулись обратно, то не только фотографии, но и клочка бумажки не было на столе. Значит, тот, кому принадлежала фотография фон Дитмара, забрал ее. Мы каждого обыскали и нашли фото у 18-летнего парня. Он заплакал, но сознался, что был не ординарцем, а денщиком у фон Дитмара, который взял его к себе по просьбе отца, служившего в его имении садовником. Отцу хотелось, чтобы мальчик был возле генерала, сапоги чис-

тил, ботинки и так далее... Генерал не взял его с собой в Берлин. Солдат дал подробнейшую характеристику своему генералу, которого знал с детства. Это было мое первое боевое крещение в разведке. За эту операцию я получил «Медаль за боевые заслуги».

Наш полковник, командир разведотдела, давно затаил на меня злобу, я это чувствовал. И однажды вызвал:

- Лейтенант, надо выйти на спецзадание в тыл противнику, встретиться с нашим агентом. У него сели батареи к радиостанции, связь с нами потеряна. Только ты можешь его найти.

Я говорю:

- Товарищ полковник, я владею шифром Главного Разведывательного Управления Генерального штаба. Я давал подписку, что не имею права подойти на 30 км к линии фронта; если же я это сделаю, то подлежу расстрелу тройки без суда.

Он:

- Да что ж, ты все так и расскажешь? Я тебе приказываю! Повтори приказание!

Я повторил. Потом пошел к его заместителю, подполковнику Ярунину:

- Слушай...

Ярунин взбеленился:

- Идиот! Он тебя на смерть посылает! Чем ты ему насолил? Ему ведь ничего не надо, и наши люди для него ничего не стоят. Он мстит тебе. Советую одно: все армейское оставь здесь. Придумай какую-нибудь легенду.

Какая легенда? Какой я военный? Какой разведчик? Я - инженер-строитель, гражданский человек. Но задание надо было выполнять.

Ночью какие-то саами на нартах вывезли меня за линию фронта. Вывезли идеально, так вывезти могли только саами. Между немецкими опорными пунктами, которые располагались в 20-30 км друг от друга, проходила лыжня. Если патрули обнаруживали пересечение лыжни с нашей стороны, они немедленно посылали вдогонку отряды. Так вот, дважды мы приходили на то место, откуда тронулись, пересекали эту лыжню и петляли. Более того, саами останавливались, брали в руки нарты и переносили их метров на 50, потом руками на снегу маскировали эти следы. Так меня доставили до места встречи. Последние три километра я должен был идти один, и на прощанье своим проводникам сказал:

- Ждите здесь, обратно вернусь по своей лыжне.

При мне было четыре батареи БАС-80 весом по 12 (если не по 15) килограммов каждая. Я сделал себе что-то вроде волокуш, встал на лыжи, поставил эти четыре батареи, впрягся и двинулся. Когда пришел в условленный квадрат в жиденьком лесочке из неприглядных карликовых деревьев, весь взмыленный и мокрый несмотря на холод, и такой усталый... В ожидании встречи присел на пень, потом, наломав лапника, постелил себе прямо на снегу, прилег и мгновенно уснул. Проснулся оттого, что кто-то стучал по ногам. Смотрю, надо мной стоит финн с наведенным пистолетом. Почему финн? Потому что одет он был в финскую одежду. Все это молча. Я сел. Мы смотрим друг на друга. Спрашиваю:

- *Финн?*

Он молчит. Спрашиваю:

- Дойч? Шпрехен зи дойч?

Молчит.

И вдруг меня осенило, а не тот ли это человек? Называю пароль, он - отзыв, и сразу же:

- Какой же мудак тебя послал сюда? Да и ты хорош... По какому праву уснул? Спать в тылу врага? Здесь кто угодно проезжает, проходит. Смотри, какие лыжни и сколько! Как ты мог?

Я говорю:

- Жутко устал, во-первых, а во-вторых, дико голоден.

Он вынул две плитки шоколада, фляжку со спиртом. Мы выпили. Он передал данные об аэродромах Варде и Тронхейме, о численности, прибытии-убытии немецких войск. Заставил меня раз пятнадцать все повторить, а потом проводил обратно.

Когда я прибыл в штаб,- у полковника челюсть отвалилась, когда он меня увидел живым:

- Ну, как ты?

Я говорю:

- Живой, несмотря на то, что вы послали меня умирать.

- Кто тебе сказал, что я тебя на смерть послал?

- Я сам понял, товарищ полковник.

Через два года все повторилось, когда к нам пришел мой дорогой, ныне покойный, друг, начальник разведки, полковник Антонов Николай Дмитриевич.

- Надо повторить то, что ты сделал, но перед этим хочу тебе создать настоящую легенду.

Меня отправили в Беломорск якобы на учебу шифровальному делу. В одном доме под Беломорском меня одели в одежду каторжанина: деревянные ботинки, какая-то рванина, ушанка без одного уха. Я получил на руки копию приговора Фрунзенского районного суда Москвы, в которой значилось, что меня приговорили к десяти годам заключения без права переписки за антисоветскую деятельность, пересказ антисоветских анекдотов, пропаганду против войны и так далее. Мне сказали:

- Едешь на Соловки. Там все приготовлено. Там пробудешь десять дней, после чего ты должен знать не только тех, с кем будешь и за что они сидят, но и как зовут собаку повара, понял?

Я говорю:

- Понял.

По прибытии начальник лагеря, единственный, кто знал обо мне, отвел меня в сторону:

- Я в курсе. Когда надо, позову.

Меня бросили в барак к уголовникам. Кто только там не сидел! Не было только политических, они - в отдельном бараке. Я травил анекдоты и обозначился как моряк из Одессы, с торгового флота,- у меня там были знакомые, например, Валька Косой...

- Как? Ты Вальку Косого знаешь? Хлопцы! А на какой же посудине ты ходил? А «Червону Украину» знаешь? Тю-ю... Была ж «Червона Украина»...

- Да-да была.

В общем, я стал своим парнем в доску и вкалывал наравне со всеми в каменоломне. Это адский труд: долбить породу молотом, зубилом или кайлом. Поскольку я знал подрывное дело, мне доверили подрывать. Задача была

- добывать щебенку для дороги; а щебенку можно было рвать открытым способом, а потом собирать камни, которые уже намного легче дробить. Это облегчило труд, и урки меня зауважали. На девятый день вызвал начальник лагеря:

- Все готово.

Вышли к берегу. Он показал место:

- Вот здесь, внизу, лодка, в ней бочка с пресной водой и мешок с сухарями. Ты уже договорился?

У меня был приказ договориться с кем-то и завербовать его для побега. Я должен был иметь приличную легенду, в случае, если попаду к немцам в плен, скажу, что такой-то... А если на Соловках сидит их резидент, он подтвердит, что я там был в соответствии с приговором суда. Не заезжая в часть, в рванине страшенной, еще хуже, чем в первый раз, но с приговором в потайном кармане, я пересек линию фронта. И встретился (уже не спал на лапнике) с человеком, которого знал: Борис Борисович его звали.

Больше я о нем ничего не знал и никогда не слышал.

Я вернулся.

- Весной 45-го, когда мы стояли уже в Германии, в городе Кольберг, меня вызвал полковник:

- Люди привозят барахло, фотоаппараты, бинокли... Ты бы привез мне чего-нибудь...

- Ну что, например?

- Машину мерседес-бенц, трехствольное ружье Зауэр и немецкую овчарку. Что для этого тебе надо?

- Дайте машину и двух автоматчиков.

Мне дают додж с открытым верхом и двух автоматчиков, и едем... неизвестно куда. Первый город - Штольк, но тут бои... Я, стрелянный воробей, поворачиваю машину обратно:

- Подождем, мало ли что может быть... Потом можем не развернуться, если наши будут отступать. Дорога узкая.

Вскоре все затихло. Мы вошли в город вместе с победителями. Солдатам было хорошо известно - в открытую квартиру лучше не соваться, там уже наши побывали и все ценное прибрали к рукам. В лучшем случае ты найдешь, например, на столе или на выстеганном квадратами атласном одеяле на гагачьем пуху кучу говна - назло чистоплюям немцам! Это была солдатская месть. После всех ужасов войны, после ее ада войти в дом и увидеть - какая чистота, какой порядок, какие ковры и кровати!?

Я поднялся на пятый этаж жилого дома и рванул дверь. Открыла женщина и прямо с порога набросилась:

- Чего тебе, мудаку, здесь надо?

- Ах ты курва...

Она как закричит:

- Мишка, Васька!

Вылетели два здоровенных сержанта.

- Ну-ка, сбросьте этого мудака с лестницы!

При мне автомат, пистолет, сзади вещмешок. Они легко, как пушинку, схватили меня за руки за ноги и сбросили на лестничную площадку. Крича от боли, я катился по ступенькам. Мои автоматчики, услышав крик, прибежали:

- Что там за люди? Может, пристрелим их, а?

Я говорю:

- Лучше уйдем отсюда.

Мы шли переулками, дворами, и меня заинтересовала какая-то явно старинная постройка. Найдя калитку, я вошел во двор и увидел то, что меня поразило больше, чем архитектура: абсолютно седая фрау доила корову не в кружку, а прямо себе в рот. Ей было лет восемьдесят. Вылитая моя мать!

Она была так похожа на мою мать, что я задрожал. Она поняла, что я не причиню ей зла. Старая фрау едва держалась на ногах. Я сварил ей кофе и вынес во двор. Дал хлеба и масла. Она меня очень благодарила. До сих вижу ее благодарные глаза - забыть невозможно.

Я привез-таки своему полковнику опель-капитан вместо мерседеса, овчарку и трехствольное ружье Зауер.

Были случаи, когда наживались на войне. Я, кроме аккордеона, ничего себе не нажил, и то мне его пленный немец подарил. Когда недели за две до Победы немцы стали сдаваться, их расселили в лагере. Однажды проходя мимо, я услышал аккордеон. Зашел, а там сидит немец дежурный на нарах и наигрывает. Подхожу:

- Ну-ка, Фриц, дай аккордеон поиграть!

Он спокойно взглянул и так же спокойно положил инструмент в футляр. Я взял и пожал ему руку. Немец очень удивился, что я пожал ему руку. И вдруг закричал:

- Хер официр, зюда, зюда!

- Вас ист лос?

- Два аккордеон...

- Где? Во?

Он ткнул пальцем куда-то под нары.

- Давай, давай!

Немец достал два аккордеона. Я снял пояс, перевязал их и ушел, а в голове крутилось: если бы немец вошел в наш барак и увидел бы аккордеон у русского пленного, он бы его, конечно, отобрал. Но наш солдат не выдал бы своих товарищей, не сказал бы, что под нарами спрятаны еще два аккордеона...

В ночь с 8-го на 9-е мая 1945 года меня с двадцатью солдатами-подрывниками посадили на торпедный катер.

- Капитан,- спрашиваю,- куда?

- Не знаю. Сказали идти на север и пристать к земле.

- К Швеции что ли, если на север!

- Ничего не могу сказать, ничего.

Часов в пять утра из густого тумана проглянула полоска земли. Внезапно команда:

- В воду!

Солдаты все попрыгали, а я боюсь - плавать не умею. Капитан легко поднял меня и бросил за борт. Я в воде, и мне там - с головой. Начинаю применять старый метод выпрыгивания из воды и такими «прыжками» добираюсь до берега, а катер уходит дальше.

Мы оказались на датском острове Борнхольм, где я прожил почти год в должности военного интенданта. В первую очередь, надо было проверить, заминировано побережье или не заминировано. Это была десантная операция и в то же время - отвлекающий маневр. Наши корабли в 10 утра уже пока-

зались на рейде. На пристани собралось больше 12 тысяч немецких войск и 17 тысяч немецкого населения, большей частью беженцев из Кенигсберга.

9 мая кончилась война. Немцы выбросили белые флаги. В течение трех дней мы всех эвакуировали, очистили остров от немцев. Бывший шталмейстер вручил мне фотоаппарат, а потом отдал ключи от склада и сказал, чтобы я все забрал себе... Пять мешков знаменитого датского масляного печенья и пряников! Боже мой, до сих пор ощущаю этот вкус! Мне достались и масло, и сахар, и мука, и крупа... Все, чем он кормил свою дивизию четыре или пять месяцев. Три дня я перевозил на телеге это богатство.

Через пятьдесят лет после окончания войны я вернулся на Борнхольм по приглашению датской королевы Маргарет, будучи уже стариком. Нас, победителей, оставалось пятеро.

***

При понятых:
аккомпаниатор, уборщица и канарейка,–
в актовом зале музыкальной школы
мне объяснили, что я – еврейка.

И всё захолонуло от стыда и срама
во мне, нечистой и будто голой,
и зажмурилась рампа,
и захлопнулась рама.

За скрипку не бралась долго,
потому что – еврейка.

Всё. Шабаш!

Вот и бабушка,
положив зубы на полку,
бухтела:
все евреи как евреи, а наш?

По всему выходило, виноват отец,
его непроходимо черные союзные брови
и чужестранное – *Даниель?*
И я от горя слегла в постель
с подозрением
на наследственную болезнь крови.

Но это была любовь
без межнационального раскола.

Кружила голову
биографии отцовская школа:
театр «Синяя блуза» и бледный ребе,
худо выросший на маце (если б на хлебе!),
чьи галоши папа прибил к полу...

Где дядя Мориц, певший в Ла Скала?
Где кантор – тезка царя Соломона,
и прадед Мойша 111 лет,
и 13 его детей
из местечка Прянички?
Я на карте искала,
в черте оседлости во время оно,
но даже косточек не собрать, хоть убей!

Предпочитая трудящийся дух,
отец из-под палки учился на тройки,
на ветер пустил свой абсолютный слух,
оттрубил лет двадцать прорабом на стройке.
А раньше старлеем штабной разведки
(южанин, всю войну – в Заполярье),
рисковый Даня по партзаданию
королевским жестом освободил Данию,
чуть не женившись на местной шведке,
на Лизе-Лотте с острова Борнхольм.
Ее фото – в день конфирмации –
на попа ставит весь наш семейный альбом.

Отец не знал языка предков,
законопослушный советский еврей,
он не терпел плохо закрытых дверей,
запаха газа и на тарелке объедков.
Зато знал Гамсуна и даже Блейка,
«Двенадцать» Блока – коронный номер!
К чарльстону, извольте, свежая байка,
а как голосил *тум-балалайка*
его трофейный немецкий «хоннер»!

В переходном возрасте после 85 годов,
налегке залетев ко мне,– ранняя птица,–
в воздух выпалил:
ну, я готов!
Доча, я готов креститься.

И в последнюю пускаясь дорогу,
не дотянул, как пращур до 111 лет,
уйдя от товарища Сталина,
приблизясь к Богу,
как будто впервые родился на свет.

Русское кладбище лежало в окрестностях Харбина на высоком открытом холме. У нас на таких холмах ставили храмы, чтоб издалека видать было, чтоб возвышался над каждой низкой жизнью, а здесь холм не пожалели под кладбище, да еще под такое небольшое и совсем небогатое, ничего общего с Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, хотя Харбин и называли – Париж Востока.

Опрятная бедность могил, памятников и православных крестов примиряли всех, уравнивая со временем и землей. Русские имена и фамилии – Устинов, Зайцев, Кузнецова – мешались с китайскими – Иван Иванович Чжу, Цзяньпин Фомина. Над их общим покоем носились сырые ветра сиротства. И подвывали. Никого, кроме нас, на кладбище не было. Давно уже кончилась русская эмиграция. Некому больше навещать и обихаживать могилы.

Мы с Риммой Казаковой были здесь почти одни, не считая журналистов и переводчика, говоривших о чем-то своем. Римма набрала горсть земли в целлофановый пакет, и мы молча направились к машине, поджидавшей неподалеку.

Солнце заливало окрестность, и узнаваемые черты равнинного ландшафта открывались в пронзительной простоте простора. Все – как дома, и дышится так же. Такая же золотая осень, и золотые листья – тоже самой высокой пробы.

И вдруг всего в нескольких шагах, чуть в стороне от машины я увидела широкую белую арку входных ворот с сиявшим на солнце могендовидом.

– Сколько у меня теток да дядьев! – как из включенной черной тарелки в

коммуналке на Зацепе транслировался из детства почти дикторский баритон отца.

– Мой дед народил тринадцать детей, но где они? Знаю, что один в Харбине, кантором служит... кажется, Соломон. Только ты, доча, прикуси язык, и никому ни полсловца не смей, а то мы все...– и он полоснул по шее большим пальцем, как бритвой.

Так я впервые узнала о канторе.

И вот через десятилетия эти слова на полную мощность включились в памяти, и крепко держали с того момента, когда Римма Казакова предложила мне с группой писателей лететь в Китай. И сразу же что-то затеплилось, забродило, замаячило внутри,– а вдруг?

– Смотри, еврейское кладбище... и если он умер в Харбине, то, может, лежит здесь?!

Толстые плакучие березы отбрасывалиознобную сень, в которой в образцовом порядке расположились памятники и плиты. Чисто и тихо. И так же – безлюдно. Никто никого не ждет. На иврите и по-русски выбиты другие, но тоже привычные имена: Рабинович, Гейман, Катц, Смелянский...

– Как его фамилия? – переспросила Римма.

Разойдясь по тропинкам, мы вчитывались то в старые полуслепые, то в позолоченные подновленные надписи надгробий.

Второй раз я услышала о канторе в конце 1980-х, когда мама вернулась из Австралии с медицинского конгресса. Она жила в Сиднее, в семье университетского профессора-гастроэнтеролога.

– Златкина? – переспросил профессор, внимательно приглядываясь и протягивая длинный узкий фужер с шампанским.– Тысяча извинений, сударыня, не могу удержаться, чтобы не задать вам вопрос несколько интимного содержания, и надеюсь, это не покажется вам бестактным: возможно ли, что у вас есть или были родственники в Харбин**й**?

Ударение точно упало на последний слог.

– Родной дядя моего мужа...

– ... кантор главной синагоги,– продолжил профессор.– Я так и думал,– обрадовался он,– я сразу же заподозрил вас в родстве, когда узнал, что у меня будет гостить профессор Анна Златкина. Фамилия не очень распространенная, хотя вы, похоже, русская: нос курносый, скулы татарские, глаза серые...

– Нет, зеленые.

– Возможно. Не разглядел. А мы с моей супругой Идой Иосифовной,– профессор сел в плетеное, выкрашенное белой краской кресло напротив такого же кресла жены, все глубже погружаясь в воспоминания,– мы много лет его знали, почти соседствовали, и до сих пор вспоминаем,– чудный Соломон Моисеевич... А голос какой!? Голос, достойный столичной оперной сцены. Здесь, в Сиднее таких голосов нет, хотя наша опера весьма знаменита.

Он ведь с самим Федором Ивановичем Шаляпиным встречался, даже пел для него, когда тот в Харбине концертировал, помнишь, Ида? – Профессор выставил вперед ноги в светлых мокасинах и наклонился к жене, будто боясь, что она не расслышит его.

– Шаляпин в гостинице «Модерн» жил, в самом дорогом, в самом шикарном номере. Гостиница сохранилась, она до сих пор стоит на Большом проспекте. А ведь Федор Иванович был большой ценитель, бо-ольшой знаток ис-

кусства канторального пения. А вы, дорогая Анна, уважаемый профессор, где и когда в последний раз слышали кантора?

– Да что вы, профессор, какого кантора? Откуда? Да я – русская, я – крещеная. Моя девичья фамилия Орешкина. Я – член партии. В синагоге даже на экскурсии не была, даже не заглядывала, хотя она недалеко от нашего дома, на улице Архипова. У меня муж еврей. Это он – Златкин. Но он – советский еврей. Он никогда не ходил в синагогу, и языка своего не знает, кроме «лехайм». Он тоже – коммунист, на войну пошел московским ополченцем, добровольцем, и воевал до последнего дня. А сейчас работает в министерстве начальником отдела капитального строительства. Очень любит петь (у него прекрасный баритон) и поет замечательно, я бы даже сказала – артистично, особенно романсы, это у него фамильное. Я многих певцов слышала, оперу люблю, особенно русскую, но кантора слушать – не пришлось.

– Ах, какая жалость, какая досада... Кантор – это больше, чем певец, это,– профессор на секунду задумался, обводя глазами солнечное пространство и подыскивая ускользнувшее слово,– камертон,– нашелся он.– Камертон, настраивающий на молитву и заставляющий забыть, хотя бы на время службы, заботы, скорби, суету. Заставляет скинуть этот чудовищный панцирь нашего вни-матель-но-го равнодушия, разъедающей нас всех черствости, окаменелости внутренней, почти палеонтологической. Нужен невероятно подвижный и гибкий голос, иначе как передать тончайшие нюансы, акценты, духовные переживания, оттенки мысли? Это очень древний вид пения. Какие голоса! А пластика!? И вы, милая дама, досточтимый профессор, коллега, и ваш драгоценный супруг – близкие родственники такого великого человека, такого таланта,– весь город замирал, когда он пел псалмы,– вы никогда не слышали кантора и даже не представляете, что это такое... Боже ты мой, какая жалость! Какой парадокс! Ужасающая несправедливость!

Ведь кантор, он и в театрах, и в концертах выступает. Он в некотором смысле – артист, он – свободный художник, хотя в синагоге у него специальное место. Разве в Москве не так?

Подливая ледяное шампанское, профессор не прерывал рассказа:

– Соломон Моисеевич был высокой пробы человек, Божий избранник. И потому совсем не богатый, с трагической судьбой. Настоящий еврей – это всегда трагедия. Еще с библейских времен – ветхозаветная трагедия.

Точно знаю,– один из его сыновей погиб, младший, самый любимый, погиб. Когда в 45-м после разгрома японцев советские войска вошли в Манчжурию, сразу начались аресты. По ночам. Немилосердно хватали всех, кто попадал на глаза или под руку: и русских, и евреев, и богатых, и бедных. Их всех в одночасье объявили «японскими шпионами».

А ведь Харбин многих приютил, дал хлеб и кров.

Там жили около двадцати тысяч евреев, а русских и китайцев было раз в десять больше. Сколько людей пропало без вести?! Скольких расстреляли в овраге за городом, забросали землей и камнями!? Чудовищно! Не сосчитать никогда.

Тем, к кому от властей не было претензий, предложили выехать в СССР. И больше пятидесяти тысяч добровольно уехали.

А младший сын кантора был юноша романтичный «со взором горящим», видимо, талантливый и с убеждениями. Он не скрывал своего благорасположения и идейного сочувствия к Марксу и Ленину. Он прямо-таки рвался из-под родительского крова в Советский Союз.

И еще. Он любил русских и всё русское – музыку, литературу, особенно поэзию. Еврейский мальчик, тонко чувствующий русскую поэзию... И не он один. Почему так? Сколько евреев стали великими русскими поэтами! Ой, от шампанского повело, голова закружилась. Я давно не говорил столько по-русски, теряю нить, сбился с рассказа,– спохватился профессор.

Он промокнул салфеткой вспотевший лоб, расстегнул воротник голубой просторной рубашки. И, прикрыв глаза, продолжил упавшим от напряжения голосом:

– Он прямо-таки рвался в Советский Союз, изводил родителей. А тут такой случай. Вернее, судьба-злодейка. И он, приличный мальчик из еврейской семьи, поехал в первых эшелонах на запад, в коммунистическую Россию, к Советам. Энтузиасты – так ведь их у вас называли?

– Да, точно,– отозвалась Анна,– у нас в Москве есть шоссе Энтузиастов, еще не переименовали,– бывшая Владимирка, Владимирский тракт, по которому каторжников в кандалах вели в Сибирь. Я из Подмосковья, из Ногинска, а там в центре города – тюрьма, красивая тюрьма еще с царских времен, прямо архитектурное произведение, с церковкой. И ее не разрушили, а наоборот – надстроили еще этаж. И Ногинск, и эта тюрьма были первой остановкой, первой передышкой на пути в Сибирь.

– Какой парадокс, какое кощунство назвать дорогу страданий и смерти «Шоссе Энтузиастов»? Ведь с греческого enthusiasmos – профессор выдержал паузу,– это сильное воодушевление, душевный подъем, страсть, если угодно.

И вот эти несчастные,– он беспомощно развел руками – эти обреченные на погибель эн-ту-зи-ас-ты целыми семьями снимались: бросали дома, магазины, рестораны, бросали даже заводы,– так им не терпелось уехать в Россию, так хотелось дышать воздухом родины, отдать ей свое любящее сердце, молодые горячие силы. Они уезжали на строительство новой жизни.

И только много позже до нас дошли страшные слухи: на границе их всех обыскивали, отбирали паспорта, деньги, вещи, в том числе и одежду... чтоб никакой собственности, чтоб все равны... Якобы там, в Советском Союзе, ничего не понадобится. Все бесплатно, все принадлежит всем, никакой частной собственности, ничего личного. Такой modus vivendi. Такой социализм.

Скорей всего, его расстреляли. А может, в сталинских лагерях сгнил. В общем, мальчик пропал, канул в никуда. Со многими такая беда случилась. А вот про старшего сына ничего не знаю, хотя он остался с родителями.

Мы и сами из Харбина в 56–м без оглядки бежали. За два часа собрались. Всё бросили, лишь бы ноги унести, в живых остаться. Китайцы предоставили евреям корабли, дали возможность уехать всем, кто хотел. Все это было довольно быстро и хорошо организовано, надо отдать должное. И кто куда: кто в Израиль, кто в Южную Америку, а мы – в Австралию. Вот с тех пор и живем здесь. В Сиднее большая колония харбинцев.

В Москве этот рассказ нас потряс.

Мы поверили, что перестройка докатилась и до нашей семьи, и уже не скрывали, не отрицали, что *есть* за границей родственники.

Больше о канторе я ничего не знала.

Переходя от могилы к могиле, вдруг поймала себя на том, что изнутри что-то дрожит, вибрирует, поднимается... мешает и дышать, и двигаться, но явно не температурный озноб, а какой-то неизвестный, приятно согревающий трепет. Чистая метафизика.

Душа? Дух?

Похожее ощущение я пережила однажды в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, когда, казалось, что физическое тело мое испарилось, а вместо него что-то невесомое, неощутимое, чем я без страха себя осознала. Несколько глубоких вдохов-выдохов,– и можно идти дальше. Но далеко я не ушла. Метров через пятьдесят на коротко стриженном газоне лежала старая, посеревшая от времени, замшелая, разбитая с края плита:

Соломон, я нашла Вас!

Это дух Ваш звал меня, Вы долго ждали, чтобы воскресла и продолжилась на земле память о Вас, и пролились слезы над Вашей могилой.

Это Вы, Соломон, разбудили мою тоску по родовому древу, и неисповедимыми путями Господь привел меня к Вам! Не чудо ли, прилетев в Китай, приехав на скоростном поезде в Харбин, уже через пару часов найти могилу? Как песчинку в море житейском.

Божьи дела.

И в этом – всё неправдоподобие жизни, которое посильней реалий литературы.

У меня, видимо, наследственная черта – мистические совпадения и встречи.

Во время войны мой отец попал в Пермь. Совсем оголодав, наутро пошел на рынок, чтобы продать или обменять на продукты несколько пачек махорки. На рынке торговали махоркой по 800 рублей за пачку. Он стал продавать по 700. Тут же выстроилась очередь, а в очереди – пожилая, небольшого роста грузная женщина в черном берете, и все смотрит, сверлит насквозь остренькими карими глазками. Он не выдержал:

– Гражданочка, что вы все стоите, ничего не покупаете, а только смотрите и смотрите на меня?

– Уж очень вы напоминаете моего сына Эдичку, он так похож на вас, один к одному,– и расплакалась.– Наверно, кушать хотите, солдат? Пойдемте, накормлю... с дочкой познакомлю!

Ну прямо сваха, и к дочери ведет. Неспроста все это. А что мне терять-то, солдату?

Дом был бедным, но порядок чувствовался с порога. Их встретила девушка, перезрелая, с виноватыми еврейскими глазами. Сели за стол, пообедали. Ни как зовут, ни фамилии не спросили, ничего их не интересовало. Говорили только женщины и все об одном: как страшно погиб Эдичка, а гость поразительно похож на него. Хозяйка, вся зареванная, ушла в соседнюю комнату:

– Вы тут посидите, познакомьтесь получше. Люся, покажи солдату альбом.

Люся листала страницы: это папа, это мама, это тот самый Эдичка, а это моя тетя из Ленинграда, а это...

У Дани перехватило дыхание, хлынули слезы, и он без стеснения зарыдал в голос и тыкал, тыкал пальцем в фотокарточку, с которой смотрели мужчина, женщина и двое детей – мальчик и девочка.

– Мама, мама скорей, ему плохо,– закричала Люся.

Мать выскочила в одной ночнушке:

– Что такое?

– Откуда это у вас? Кто это?

– Да это Файбус, мой брат Файбус,– успокаивала хозяйка.

– Значит, вы – моя тетя! Ведь это же мой отец, моя мать, сестра Аня и я!

– Даня, так это ты? Ты? Племянничек, мальчинька дорогой мой! Вот почему я глаз от тебя не отрывала, очень уж похож на сына моего, на брата твоего

бедного Эдичку... материнское сердце – вещун! – и она разрыдалась с новой силой.

Так ровно на сутки отец обрел родную тетку Геню (наверное, Генриетту) и сестру Люсю, и с удивлением узнал заодно, что настоящее имя отца не Федя, а Файбус.

Когда моя двоюродная сестра Элла уезжала с семьей на ПМЖ в Израиль (для чего понадобилась куча документов, подтверждающих их еврейство), мы с огромным удивлением узнали, что нашу бабушку Клару звали – Хая...

Стоя у могилы кантора, я вспомнила, как летом 54-го папа впервые привез меня в Николаев погостить к бабушке и дедушке.

Ехали на поезде. В Харькове стояли больше двух часов, и папа повел меня обедать в вокзальный ресторан. Тяжелая роскошь кожаных темно-красных диванов и кресел, стульев с гнутыми ножками и овальными спинками, топорщившаяся свежесть крахмальных скатертей и салфеток, предназначенных для жирных ртов или мокрых пальцев, официантки с ярко накрашенными губами, порхавшие вокруг папы птицами в кружевных наколках, которые я приняла за сказочные кокошники...

Вокзальный ресторан сразил меня до немоты, до потери аппетита. Я полюбила его на всю жизнь, как тот гороховый суп с копченостями и гренками, который так и не доела.

Николаевская жара особенно безжалостна к приезжим. Бабушка Клара уже ждала в дверях длинного каменного особняка на Фалеевской,– строго стриженная под каре, в синем шелковом платье с белым кружевным воротничком. Она тронула мой лоб холодными сухими губами, как будто сыграла строгое стаккато:

– Добро пожаловать!

Я вздрогнула и, съежившись от этого внезапного холода, громко спросила:

– Па, ты где?

– Как ты разговариваешь, девочка? Разве тебя не учили обращаться к родителям на Вы? – откровенно возмутилась Клара.

Я поняла, что не понравилась с первого взгляда, и зря папа вступился, объясняя что-то про времена и нравы.

На следующие утро Клара поинтересовалась:

– Когда у тебя в последний раз был желудок?

Я запнулась, не поняв: о чем речь? Почему *был*?

Бабушка повторила:

– Когда ты ходила желудком, признавайся!

Это меня совсем сбило с толку: как это *ходить желудком*?

Тут взорвался папа:

– Ребенок не понимает, разве не видно? Разве нельзя, мама, без ваших николаевских выкрутасов? Нельзя ли попроще спросить, например: когда у тебя был стул? И она вам ответит.

Клара была совсем не такой, как Феня.

Никто из бабушек моих подруг не ходил дома в туфлях на каблуках и нарядной блузке, заколотой камеей, или в шелковом платье с медальоном. В руках почти всегда книга. Кажется, Ольга Форш... Когда Клара успевала готовить, стирать, убираться? Казалось, она не знала будней, истощенных нуждой и заботами, хотя папа рассказывал, что Клара сирота с малых лет в большой бедности жила в Галиции у родственников. По-детски жалея бабушку Клару, я силилась понять, как это быть взрослой, но в тоже время оставаться сиротой... Неужели

взрослым тоже нужны родители? Чтобы продолжать любить их – старых, больных, некрасивых? Или чтобы их воспитывать?

Клара не гоняла в стадо коз, не доила коров, не кормила свиней и кур, как бабушка Феня. Она не рубила по двести килограммов капусты, чтобы с морковью и с яблоками заквасить в бочке, не солила огурцов и грибов в душистых от можжевельника кадках, рассчитывая на долгую полуголодную зиму, на большую семью и гостей. Но зато пекла яблочный штрудель и готовила гефилте фиш – фаршированную рыбу, зато играла на рояле и пела не русские и не украинские песни, как Феня, а *исполняла* оперным сопрано то, что называлось ария, кавантина, вокализ. В девичестве по окончании Одесской консерватории Клара Леонтьевна Теплицкая – одна из хористок оперного театра – вскоре выскочила замуж за очень положительного на вид господина, мелкого банковского служащего Федора Моисеевича Златкина, моложе ее на шесть лет. Они перебрались в соседний Николаев, где не было самого синего в мире Черного моря, но зато протекал Южный Буг – тоже ласковый, почти безбрежный, и на горизонте вполне отчетливо читались яхты, паруса и чайки.

Клара довольно скоро открыла в Николаеве свой театр – детскую оперу. Музыкальные постановки с костюмами и декорациями были заведомо обречены на успех, умиляя чадолюбивых родителей и сентиментальную публику и вызывая зависть у дворовых друзей юных артистов. Главные роли часто доставались Ане и Дане, детям-погодкам Клары и Феди. Сохранились фотографии спектакля на тему из древнегреческой мифологии.

Все это было до революции. А после – Клара стала неприметной учительницей музыки.

Гораздо позже, в попытке объяснить что-то коренное, я ощутила себя во многом Клариной внучкой,– когда всерьез влюбилась в скрипку и чуть не стала профессиональным музыкантом, когда распевала в саду романсы и вокализы, а в четырнадцать лет стала сочинять драматические пьесы и успевала за короткое подмосковное лето поставить их в своем дворовом театре в Ногинске, подбирая костюмы и аксессуары из трофейного гардероба офицерских жен, когда впервые прикоснулась к стихам...

– Златкинская порода. Вся в них,– уличала Феня, сердясь на мои художества или гордясь успехами.

Летом, душно висящими вечерами, город Николаев плавился. Его густой воздух переливался волнистым маревом, вздрагивал рыбными, мясными, фруктовыми и ванильно-коричными запахами. Поверх всего – запах залежавшегося сыра. От города пахло перезрелым сыром. Чтобы как-то освежиться, семья собиралась в большой комнате за круглым столом, над которым нависал шелковый абажур – апельсин с обтрепанной бахромой. Окна были распахнуты, и с улицы издалека был виден этот спелый сочный свет семейного благополучия.

Все наслаждались холодным арбузом, запивая его ледяной газировкой. Для этого нам с Зиной надо было купить трехлитровый бидон газировки с клюквенным сиропом, долететь до дома и успеть наполнить стаканы, пока газ не улетучился, и вода еще шипела ядреными пузырьками,– семья ждала за столом. На ужин часто подавали холодный фруктовый суп с рисом (почти компот), разлитый по глубоким тарелкам. Очень смешно.

Но под утро, к своему ужасу, я понимала, что теплые ласковые реки, по которым я вольно плавала во сне,– это несмываемый позор...

Опять опрудонилась!

И толстый Рыжик, спавший под мышкой, покидал меня без оглядки.

Я полюбила утренние походы с дедом Федей на рынок, как на главный праздник южного города. Там вполне живые в ведрах копошились зеленые раки, на прилавках таращились головастые бычки, позолоченные «скумбриевичи» и плоские «камбаловичи», вяленая ставридка, свежая килька. Там красовались разноцветные горы шелковицы, янтарных кукурузных початков и «синеньких». В мясном ряду дед выбирал неощипанную парную «куру», равнодушно проходил мимо разложенных во всем диапазоне своей красы и стоимости шматков украинского деревенского сала, похожего в разрезе на едва брезживший розовый рассвет.

Я не видела таких роскошных базаров. Дед торговался без явного интереса, вяло и застенчиво. Продавцы, хорошо его знавшие, снисходительно соглашались. До последнего дня Федя был незаметным и незаменимым семейным ангелом.

Файбус и Хая.

Нет, наши Федя и Клара.

Что же сделала с ними жизнь, вернее, страх перед жизнью, если родители не открыли своих имен даже родным детям? Ведь имя свято, оно в некотором роде – судьба. Выйдя за пределы черты оседлости, приспосабливаясь к новой жизни по новым правилам, они выбирали новые имена. Под этими чужими именами, вписанными в паспорта, они проживали, наверное, чужую жизнь. И хоронили их под чужими именами. Но кто тогда проживал *их* жизнь?

Даня, залюбленное еврейское дитя, редко виделся с родителями и почти не писал им. Сын – отрезанный ломоть... Его это мучило, он казнился и каялся даже мне, особенно когда получал письмо, обычно от отца, умолявшего черкнуть несколько слов больной матери. Но чаще писать родителям и видеться с ними так и не стал. Может, еще потому, что не приняли, не признали родители его русскую жену, московскую сноху, несмотря на ее ученую степень и на успехи в медицине.

Бабушка Клара умирала от рака легких. Она уже однажды пережила рак, и ей удалили правую грудь. Меня, маленькую, это так пугало, что я не отводила глаз от того места, где твердо возвышался протез.

Клара умирала в своей постели. Любимая внучка Элла собралась выходить замуж, но все тянула, все откладывала свадьбу из-за болезни бабушки. И тут Клара категорически потребовала, чтоб свадьбу не переносили и не отменяли, ей хотелось услышать через стенку крики «горько», хотелось последнего праздника в родном доме, хотя за рояль она уже сесть не могла, да и самого рояля в доме давно не было,– все разворовали еще в войну, соседи разграбили, как только они эвакуировались на Урал.

Слышала, что Клара помогала и ближним, и совсем незнакомым, кого-то пристраивая, давая какие-то адреса, вещи и деньги вечно гонимым евреям. Шло ли это от сочувствия, от сердца? Или разговоры и дружба с Любавическим ребе дали такие плоды? Клара сочувствовала идеям Теодора Герцля о еврейском государстве, мечтала о Палестине.

Там теперь ветвится и разрастается молодая поросль – правнуки и праправнуки.

Сразу же после Клариной смерти Рыжик исчез. Он не хотел жить без Клары. Это было более полувека назад.

И вот недавно моя кузина-Зина приехала в Николаев и глазам не поверила: на Клариной могиле, чудом уцелевшей от оргий местных вандалов, в тени персидской сирени лежал живой, весь в колтунах, рыжий кот…

Почему все это так сильно полыхнуло во мне?

Почему именно в Харбине непостижимым образом высветилась и зашумела еврейская ветвь моей судьбы?

Папы уже нет в живых. И совсем не случайно, оказывается, шептал он:

«В Харбине мой дядька Соломон… кантор в синагоге».

Это правда, папа.

Я нашла его!

Сопровождавшие нас китайцы – переводчик и миловидная Сунь Ли, главный редактор местного литературного журнала,– потрясенные находкой не меньше, чем я и Римма, времени зря не теряли: деловито щелкали фотоаппараты, записывали в блокнотик имя и дату смерти, расспрашивали. И тут, как в плохом фильме, когда на несколько ходов вперед угадываешь сюжет, ниоткуда вырос энергичный пожилой мужчина в белой кипе.

– Шалом!

Мы выбрали язык общения – французский, и обменялись визитками. Менеджер всемирно известной компании «Локхид Мартин» приехал из Америки на могилы предков.

– Хотите, я прочту кадиш?

– Хочу,– согласилась я.

Он вынул карманный молитвенник и, раскачиваясь, начал читать на иврите. Мы с Риммой замерли слева и справа от него.

Я, православная христианка из Москвы, стою у могилы моего незнакомого двоюродного деда, кантора главной синагоги Харбина, и первый встречный иудей из Америки читает над ним – через столько безмолитвенных лет! – кадиш.

Я плачу.

Вот она – воля Божия. И милость Божия.

Потом была главная синагога.

Она не действует со времен культурной революции, как и три десятка русских православных храмов, молчаливо подпирающих китайское небо. В Харбине не осталось ни одного еврея, но в синагоге – потрясающий музей истории и культуры евреев Харбина. В крупном научно–исследовательском центре изучают наследие не столь далекого прошлого. Сменилось всего пять поколений.

С азартом искателя вглядываюсь в мужские еврейские лица на фотографиях конца 19–го века и первой половины 20–го. Породистые бородатые «отцы» города и просто отцы семейств. Банкеты, приемы, презентации. Местные знаменитости: банкиры, фабриканты, идеологи сионизма, инженеры, врачи, музыканты, спортсмены. Их красивые жены, счастливые дети. Вместе со строителями КВЖД, вместе с белыми офицерами и эмигрантами они придали небывалую значительность провинциальному Харбину, самому русскому из китайских городов. Они построили благополучный Харбин, широко насаждая стиль модерн, до боли напоминавший Одессу, Ростов, Николаев, наполнили здешнюю атмосферу своими талантами и ностальгией.

Кто из этих людей мог быть моим двоюродным дедом?

Стоп! Остановила фотография, вернее, подпись: *кантор*.

И всё. Без имени и даты.

Как не корректно,– сработал во мне внутренний редактор.

На фото аскетичный молодой мужчина с узким лицом и близоруким взглядом некрупных глаз. Все кажется узнаваемы и родным. Смущает, правда, канторское облачение и головной убор, хотя разрез глаз точно как у папы и его племянниц – Эллы и Зины.

Мне хочется, чтобы на этом фото был Соломон!

Он пел в этих стенах. Его слушали единоверцы, жена, сыновья, друзья, соседи, поклонники. Где они все? Наверняка кто-то еще жив.

Должно же остаться что-то, кроме могилы?

Может, сохранилось в харбинских архивах и ждет если не меня, то моих внуков? – Ведь не последним человеком был в Харбинй

Кантор главной синагоги
свободный художник
Соломон Мойсеевич
Златкин

Жизнь закручивала свою раскаленную временем спираль, с жаром набирала обороты.

Однажды промозглой весенней полночью она, влюбленная, как мартовская кошка, почти бегом возвращалась со свидания. В квадратной арке их хрущобы в Гончарном проезде, прислонившись к стене, экономно освещенной фонарем, стоял отец. По поднятому воротнику пальто, по лицу, погруженному в мохеровый шарф, было видно: он здесь давно. Что-то случилось, и отец дожидался ее вовсе не для того чтобы отругать за позднее возвращение или укорить: порядочный молодой человек всегда проводит свою девушку до дома, а лучше – до квартиры. С кем связалась, эх ты...

– Что за ночное дежурство?

Отец вплотную подошел, сильно прижал к себе и уткнулся носом в ее стриженую макушку. Он дрожал и говорить не мог.

– Кто-нибудь умер, па?

Он отрицательно мотнул головой.

– С мамой, что ли, решили развестись?

Вытаращив глаза, сдвинул брови, низкие, густо залегавшие почти на верхних веках, он замотал головой еще энергичней.

– Доча, я должен признаться... хотя мне очень трудно, поверь. – Его голос надломился, и она испугалась, что он расплачется, но отец вдруг собрался и выдохнул:

– Я хочу, чтобы ты меня правильно поняла. Сегодня... – Он снова замолк, а ей стало слышно, как стучали – то ли от холода, то ли от страха – его зубы. – Сегодня я обрел дочь,– наконец выговорил он сквозь дрожь и сквозь мохеровый шарф.

– Как это *обрел*? А до сегодняшнего дня ты не считал меня за дочь? Я не существовала, что ли?

– Да не тараторь! Ты ничего не поняла. Наверно, плохо объяснил.

Он опять замолк.

– Я обрел сегодня дочь,– высокопарно повторил отец, уже четко и твердо артикулируя, и голос его выпрямился,– не тебя обрел, а другую дочь, о которой до сегодняшнего дня знать не знал, слышать не слышал...

И тут он заплакал. Не зарыдал, а именно заплакал длинными слезами, заливавшими его темные щетинистые щеки.

– Сегодня в министерстве вызвали в первый отдел,– внезапно встрепенулся он.– Прихожу, там человек, совсем незнакомый, но меня не проведешь, я сразу понял, откуда... Обращается ко мне, мол, так и так, пришел поговорить по поводу вашей дочери. У меня ноги подкосились, язык к нёбу прилип: всё, думаю, пропала, доигралась моя шалава... наверное, за связь с диссидентами или с правозащитниками... а может, просто использовали, подставили, а теперь шьют какую-нибудь антисоветчину. И я залепетал: «Простите, тут какое-то недоразумение. Дочка – студентка, комсомолка, и политикой она...»

Он перебил:

– Политика здесь не причем. Я сейчас вызову вашу дочь, и она все объяснит.

Он выглянул в коридор:

– Заходите!

Входит невысокая, наверное, как ты, хрупкая молодая женщина с черными маслиновыми глазами и убранными в пучок черными волосами. У меня даже нигде не ёкнуло.

– Знакомьтесь, товарищи: вот Даниель Федорович Златкин, начальник отдела капитального строительства. Тот самый человек, не сомневайтесь, уважаемая, тот самый, которого вы столько лет искали. А это,– он выдержал паузу,– это ваша дочь, уважаемый!

– Как моя дочь?

Я совершенно опешил, решил, что недоразумение, и тревога за тебя отпустила. Но тут эта женщина обращается ко мне:

– Да, папа, я твоя дочь – Виктория. Я тебя искала, хотела увидеть, познакомиться. Ты не волнуйся, мне ничего от тебя не надо, но очень обидно за маму. Мы долго жили в бараке, очень бедно жили, ничего лишнего, знаешь, у меня, стыдно сказать, даже горшка ночного не было, а вместо него – немецкая каска с войны... я ее боялась, может, поэтому писалась по ночам. Знаешь, очень обидно было за маму, особенно когда сосед наш, инвалид психический Жариков, обзывал ее *фронтовая подстилка*, а меня *безотцовщина* и еще так, что и не выговорить... Однажды я нашла в комоде, в старой наволочке твои фронтовые письма и фотокарточку. Ужасно обрадовалась, даже расплакалась. Оказывается, у меня, как у всех, есть отец, хотя в метрике в графе «отец» прочерк, но отчество было – Даниелевна, с первого раза не выговоришь. Я сразу показала твои письма и фото соседу, чтобы заткнулся, но он, когда впадал в запой, все равно обзывался. Мне было восемь, когда я узнала, что ты есть, узнала и запомнила твою фамилию и стала ждать – вот вырасту, и мы встретимся.

В восемнадцать лет вышла замуж, в двадцать родила Павлика. Муж, ударник в ресторанном оркестре, выпивоха и, как оказалось, дебошир. Недавно набросился на маму: такая-сякая б..., фронтовая подстилка, неизвестно от кого родила. Я не могла больше жить в этом кошмаре, решила искать тебя, чтобы увидеться и предъявить всем,– вот мой настоящий отец, вот от кого я родилась.

– Она обратилась за помощью к людям из комитета,– продолжил отец,– меня без труда нашли. Так и встретились. И еще она спросила: «Маму помнишь? Почему ты ее не искал?»

И знаешь, я растерялся. Сам не знаю, почему не искал.

Потом мы с Викой пошли в кафе. Знаешь, доча, Марина, ее мать, была переводчицей, очень хорошо знала немецкий, даже диалекты. Маринка нежная,

миловидная, коса до попы. Замечательно пела, меццо-сопрано, а я – на аккордеоне. Не осуждай меня, доча, пойми, война – это тоже жизнь, но жизнь в некой энной степени: и концентрация посильней, погуще, и температурный градус выше. Не всякий выживет. Там каждый день и даже шаг, каждая папироска, встреча, взгляд, письмо, слово,– всё как в последний раз. И каждый поцелуй тоже. В общем, влюбился по уши. И Маринка тоже... Мы были такие молодые и счастливые! Ты не подумай, что она была, ну, мягко говоря, доступной, таких тоже на фронте хватало, хотя я их не осуждаю… все мы были очень молоды, всем хотелось жить и любить. Нет, Марина была девушкой с понятием. Мы любили друг друга. Невозможно было скрыть свою близость, всё и все на виду. Кто-то радуется, кто-то завидует, а наш полковник, сволочь редкая, решил нас наказать, направил ее, девчонку, на передовую, представляешь? Еще раз говорю, сволочь полковник! Расставались мы со слезами, обещали писать, а после войны встретиться в Москве, на Красной площади и пожениться. Я писал, она отвечала. А потом вдруг всё оборвалось. Искал ее, но никаких концов: жива, нет? Ни следа от человека. А она, оказывается, дочку родила, мою дочку, и назвала, видишь, со смыслом: Виктория – победа. Мои последние письма до нее не дошли, и гордая советская девушка не стала меня разыскивать, решила, раз не нужна мне, то и дочку для одной себя родит и вырастит.

Они уже почти дошли до Котельников. Холодный сырой ветер с реки задирался и зло трепал волосы, морозил щеки и губы. Захотелось вернуться.

– Вика сейчас у нас дома, ей негде ночевать. Очень хочет с тобой познакомиться. Разница между вами всего два года. Правда, она уже обожглась и успела хлебнуть: собирается разводиться, маленький сын на руках. Вот жизнь! В один день я еще раз стал отцом – у меня две взрослых дочери, мало того, я еще и дед. Ты уж будь с ней поласковей, пожалуйста! Она – сестра твоя, общая кровь, привыкай.

– А мама знает?

– Такое не скроешь.

– Расстроилась?

– Лучше не спрашивай.

Вика ждала на кухне, разглядывала семейный альбом. Глазами и скульптурой лица она была похожа на отца, но еще больше на его сестру Аню, на свою тетку, и это было так очевидно, что экспертизы не надо. Оказалось, она окончила дирижерско-хоровое отделение музыкального училища, мы с отцом отпали: точно наша. Внезапно отец спросил:

– А ты в детстве по ночам кричала?

Она вскинула влажные глаза:

– Кричала, да еще как!

– А причина?

– Снился страшный сон, один и тот же. Он повторялся несколько лет, и я его очень боялась.

Отец вытянул худую шею, прикрыл мелко моргавшие веки и почти не дышал.

– Какая-то безлюдная каменистая местность, похожая на пустыню, не знаю где, огромная каменистая пустыня – ни деревца, ни травинки, библейский пейзаж, и всё полыхает – горят камни, воздух дрожит от огня, дышать нечем, а я...

– Стоп,– прервал отец,– стоп кадр... ты,– они глядели глаза в глаза,– ты от страха, от этого чудовищного огня хочешь убежать и спрятаться, а поблизости

какая-то будка, как деревенская уборная, ты влетаешь туда, захлопываешь дверь и смотришь через щелку на огонь, он все сильней, все ближе, и будка, кажется, вот-вот вспыхнет, и ты погибнешь…

– Да, я ужасно боялась сгореть в этой будке. Орала, как безумная, и просыпалась от крика. А ты-то откуда знаешь?

– Дорогая моя девочка, ты – моя дочь, никаких сомнений,– дрожащим голосом торжественно объявил отец,– и я, ребенком, точно так же орал по ночам и видел этот же сон. Доченька моя,– он обнял Вику и целовал, целовал ее волосы.

– Однажды я рассказала этот сон на исповеди, и батюшка ответил: спасительный это сон, спасешься ты.

– Значит, и я спасусь? – осторожно спросил отец.

– Значит, и ты.

Наутро поехали в Детский мир покупать машинки, колготки и байковые рубашки для Павлика. Через день Вика уехала к себе в Иваново. Ее дальнейшие отношения сложились только с отцом. Он, как мог, помогал: прописка и жилье в Подмосковье, работа концертмейстера в детском ансамбле, руководитель хора.

И только через десять лет после смерти папы сын Вики, Павлик, выросший до полковника Павла Александровича Ильина, разыскал Тасю через Интернет. Павлик писал о своей матушке Виктории Даниелевне, которая очень больна, инвалид второй группы по астме (фамильный генетический код), живет в городе Видное, где она – регент церковного хора.

Как тут не вспомнить о канторе из Харбина?

Никогда не снилось и не мерещилось Тасе, что она снова выйдет замуж, тем более за лирика с лицом поэта 19-го века, которого знала издали по строчкам из «Нового мира»:

Легко ли быть непризнанным поэтом,
не узнанным, обидчивым, как дым,
охаянным и походя задетым
упоминанием пустым?

Когда-то на картах Ленорман ей нагадали двоих мужей, болезнь почек и смерть за границей…

А ведь Юра и Сережа успели однажды встретиться и однажды – не встретиться. Тоже, наверное, намек из будущего, но его – при нашей близорукости и суете – никто не разглядел.

Сергей – издатель третьей книги Тасиных стихов. Познакомил их Игорь Тер-Аракелян.

– Пойдем к Сергею, он – доброкачественный человек с совестью и со вкусом, фуфло не напечатает и не «обдерет». Видела книги Калугина и Тани Врубель?

И правда, условия оказались вполне божескими, книга нужна была к сроку, и вышла вовремя. Когда издатель позвонил домой, Юра объяснил, что жена в Болгарии, тираж вывозить некому, сам он – после операции, и никакие тяжести…

– Да нет проблем,– не дал договорить Сергей.– Вы вечером будете дома? Я, с вашего позволения, часов в шесть приеду с тиражом. Дверь открыть сможете? Диктуйте адрес…

Когда Тася вернулась из Болгарии, пачки книг, сложенные аккуратными столбиками, уже обжили балкон их квартиры.

– Ты что сам все привез и перетаскал?

– Да разве б я смог? Это все издатель, очень интеллигентный и любезный. Я ему кофе предлагал – он отказался, я ему деньги – не взял, хотя на такси приехал.

Тасю очень тронул этот жест. Времена стояли такие, что образцы человеческого участия и порядочности удивляли гораздо больше, чем повсеместная агрессия, пофигизм и рвачество.

На презентацию новой книги пришли друзья, литераторы и поэты: Таня Бек, Володя Салимон и ведущий вечера Александр Ревич. И, конечно же, издатель, хотя и не к началу.

Первый авторский вечер – большая радость.

Так совпало, что тогда же к Лесновым должен был приехать ночевать знакомый француз. Побыв немного на вечере, Юра поспешил домой.

Когда в полночь, заваленная цветами, счастливая и пьяная, Тася ввалилась в прихожую, ее встретил сильно раздосадованный и разобиженный муж:

– Зачем ушел, идиот? Затмение какое-то нашло. Тебя бросил. И француз, паразит, не приехал. Почему я не вернулся? Какой вечер пропустил! А Бек-то как про тебя сказала? И с издателем не увиделся, коньяку с ним не выпили. Все сорвалось, сам себя наказал. Прости дурака!

Почти через три года после смерти Юры на посольском приеме Тася встретила своего издателя. Элегантный, обращенный внутрь себя, он демонстрировал завидный аппетит, торопливо заглатывая обжигавший гуляш. Так мог есть только оголодавший в своем одиночестве человек. Дождавшись, пока он дочерпает соус, Тася окликнула:

– Сережа, помнишь меня? Я – Леснова.

Он приветливо закивал.

И они, будто вчера расстались, завели ни к чему не обязывающий окололитературный разговор, фланируя между столиками на открытой террасе, что-то подрифмовывая друг другу и решились на общий проект – некий эпистолярный роман в стихах: он пишет от имени учительницы из Торжка, она – за старшеклассника из Москвы, бывшего ее ученика, и между ними – как бы любовь на расстоянии, но в реальных письмах.

Литературный проект состоялся лишь отчасти, односторонне.

Учительница из Торжка выпустила несколько книг стихов.

Одиночество стушевалось перед их отвагой.

И однажды – вне всякой связи с литературой – Сережа сделал Тасе предложение. Она растерялась. Боялась, не сумеет садаптироваться к новому человеку с его непривычными для нее привычками, вкусами и манерами, с его образом мыслей и образом жизни, и – главное – с его прошлым, которое часто бывает непостижно и тяжело для самого себя, а уж для других… Понимала она, что и ее залежь, и ее скарб прошлого могут оказаться ему не по силам.

Но одиночество беспощадно, там нет воздуха даже для неодушевленного предмета среднего рода, каким она себя внутренне определяла, стараясь держаться подальше от магазинов мужской одежды и обуви, до слез понимая, что даже пары носков купить *не-ко-му.*

Примерно через полгода, на Троицу, Сергей повторил предложение.

На исповеди Тася рассказала о своем воздыхателе, и батюшка напрямую спросил:

– А замуж-то он тебя зовет?

– Зовет, только я боюсь.

– Беги, Таська! Завтра же беги в загс! Не мучайся, живи настоящей жизнью, живи *своей* жизнью и – чтобы без оглядки. Прошлое оставь прошлому! Потом придешь причащаться. А сам-то он крещеный или атеист? Без креста ему тебя не удержать.

Свадьбу гуляли не в ресторане и даже не в Доме литераторов, но, по воле случая, в старинном особняке Рябушинского. Каких только чудес не случается в Москве? Расчувствовалась Римма Казакова:

– Очень, очень рада за вас, ребята! Может, и я еще замуж выйду? Так хочется любви!

Посаженными родителями на свадьбе были Александр Михайлович Ревич и его верная Мура.

Со вступлением в Союз писателей я не спешила, хотя и Римма Казакова тормошила со свойственным ей напором, и настаивала Ирина Волобуева, когда-то сногсшибательная красавица, гранд дама, очень крупная, породистая, с огромными карими глазами и взлетающими ресницами, а теперь почти слепая и беспомощная, она давно уже не выходила из дому и только в солнечный день ей смутно брезжили очертания предметов, она угадывала цвета, и все еще «гуляла головой в окне» на балконе восьмого этажа на 2-й Песчаной. Часто по-соседски я забегала к ней на чай с пахлавой и на новые стихи.

Теплый приветливый дом с традициями бакинского армянского гостеприимства, с экзотической коллекцией многочисленных и самых немыслимых жирафов, которых ей привозили со всего мира – деревянных, глиняных, стеклянных, пластмассовых, мягких, поющих, двигающихся,– разной величины, утилитарного смысла и эстетической ценности...

– Когда-то, наверное, я была жирафом, точнее – жирафой,– объясняла Ирина Георгиевна,– помнишь, у Хлебникова: завысокая жирафа стоит и смотрит.... У нас одинаковые глаза и ресницы, да и рост. Какая-то трогательная есть в нас нелепость, общая несуразица, правда?

Она всегда читала наизусть.

Ей было почти девяносто.

Поэтесса одной темы, Ирина Волобуева всю жизнь писала о любви.

В советские годы, когда развод сопровождался принудительной публикацией в газете (последняя полоса обычно состояла из таких коротких объявлений) для общественной огласки, осуждения и клеймящего позора, когда развод перечеркивал жизни и ломал карьеры миллионов, отмеченных «строгачами» по партийной линии и ярлыком «морально неустойчив», в то самое время красавица и коммунистка Ирина Волобуева написала полное нежности и беззащитности стихотворение «Вторая жена» и, как говорится,– проснулась знаменитой. Теперь она складывала стихи по ночам, удерживая их в памяти до утра, чтобы ее сын Игорь, художник, которого она, к ужасу своему, пережила, смог записать.

– Что-то смерть меня не берет, не жалует. Странный он человек, этот ваш Бог, я уж так его прошу, так прошу. Но стихи не отпускают. Это они не отдают меня, мучают и не дают умереть... Не зря рифмуют *стихи – грехи*. А смерть, я чую, где-то совсем рядом: то вьется вихрем, то юлой жужжит, то осой... вдохнуть страшно... или наподобие сосульки – прозрачной ледяной палочкой ввин-

чивается в грудь. И больно, и хорошо до слез. Я ей подсказываю: давай, давай, поглубже, до самого сердца, чтоб душа вылетела. Но тут внезапно всплывает строчка, и смерть исчезает! Снова – утро и снова – я живая. *И жизнь прошла, и смерть не удаётся,*– как сказал поэт.

Литературные «генералы» моей жизни: мягкий Роберт Рождественский, написавший рекомендацию в Литинститут, которая сыграла как раз *против*, а не *за*...

Евгений Винокуров, советский поэт и мэтр, руководитель знаменитого литинститутского семинара, мнительный, погруженный в свое самочувствие, равнодушно скрипевший башмаками во время кровопролитных обсуждений, но деликатно и доброжелательно всех, в конце концов, примирявший, сводя счет в дружескую ничью. Винокуров не боялся в подцензурные годы разбирать на семинаре стихи Ходасевича, Гумилева, Георгия Иванова. Прививая нам вкус к эмигрантской литературе, он не уставал причитать:

– Биографии у вас нет, а без биографии какой поэт? Нет поэта без биографии. Нет в ваших стихах ни крови, ни мяса. Мышц нет.

Инна Кашежева – любимица Политехнического, сирота на морозе.

Римма Казакова, бесстрашная Рэмо!

Волобуева часто произносила: *Ревич*.

– Не знаю, понравятся ли Ревичу твои стихи? – волновалась она.– Через Ревича не переступить. Старик с норовом, вздорный, как стукнет палкой, прямо Иван Грозный с картины Репина.

Однажды Волобуева сказала:

– Говорила с Ревичем, читала ему твои стихи. Ноги в руки,– завтра он ждет тебя.

Я ехала, как на экзамен по математике на аттестат зрелости, годная лишь на то, чтобы окончательно завалить.

Ревич сразу же предложил кофе, а у меня от кофе жуткая тахикардия, однако отказаться даже не промелькнуло. И стало еще страшней.

Мне знаком этот тип людей – поэтов и переводчиков, перешагнувших свое 90-летие. Когда впервые увидела Валерия Петрова, болгарского поэта и переводчика Шекспира, вспомнился Александр Ревич, который «смыслы образов и звуков множил, так семь десятков лет на свете прожил и только на восьмом заговорил». Один и тот же образ,– мальчишеский и вольтеровский одновременно.

Ревич – из неприкаянных, из одиночек. После войны не сразу нашел себя и не сразу решился на Москву: плен, штрафбат, беспартийность и пятый пункт. Меченый! Он был меченым, и его долго не печатали, не признавали как поэта и не допускали к переводам. Десятилетиями поденного труда стирал Ревич грань между понятиями *поэт* и *переводчик.*

– Только великих и стоит переводить,– повторял Ревич, глядя голубыми когда-то глазами в упор, с прицелом.

«Стрелок, точно, командир стрелкового батальона» – вспомнилось мне.

– Нельзя размениваться на середняков, нечего себя опускать. Себя надо только поднимать, только тянуть и тянуться до великих, до гениев,– уже пафосно припечатал он.

И сам он – глыба, боговдохновенная глыба. Меня поражал его каждодневный интерес к жизни людей, не обязательно литераторов и не обязательно

ровесников. Этот интерес не затмевали ни собственные стихи, ни чужие, ни оскароносные фильмы, ни музыка, ни боксерские заполночные бои, которые Ревич смотрел по телевизору, будучи тяжело больным. Казалось бы, азарт и жадность к жизни – все должно бы скукожиться от немощей и нездоровья, от пережитых потерь и угасающей инерции будней, когда многим его сверстникам уже и позвонить некому, а говорить интересно лишь о болезнях, лекарствах и метеозависимости. Интерес к *другим* у Ревича деятельный, участливый: всегда кому-то помогал, поддерживал, устраивал чьи-то дела, часто далекие от литературы. Однажды позвонил из реанимации Склифа:

– Киска, девочка, это я,– с тяжелой одышкой прошелестел он,– я здесь стихи написал, приснились,– в трубку ворвался кашель,– мне один замечательный врач, совсем мальчик, армянин, дал свой мобильник,– вот я и звоню, ты только Мурке не говори.

– Тебе же нельзя, нельзя говорить! Ты хочешь стихи прочитать?

– Да нет, это потом,– с раздражением прервал он,– я хотел узнать вот что: тебе болгары пишут? Давно о них не слышно,– почти без голоса выдохнул он, заходясь в новом приступе кашля.

Ревич – моя поэтическая родня, моя человеческая семья.

Мы очень разные, но одной группы крови, и сразу учуяли друг друга.

– Ты моя,– часто повторял Ревич.

– Ты – наша дочка,– подтверждала Мура.

Что-то необъяснимое, далеко не литературное, не художественное, что понимаешь не кожей, а глубже – печенкой, породнило нас. Вот и пошел по Москве гулять миф, что я – побочная дочь Ревича.

Мое «удочерение» началось много раньше, а потом и Александр Михайлович и Мария Исаковна настояли, чтобы я обращалась к ним обоим по именам и на «ты»: Алик и Мура.

– Вот и с Антокольским у меня так же было,– завелся Ревич,– требовал, чтобы я перешел с ним на «ты» и называл Павликом, а у меня язык не поворачивается. Мы по этому случаю, конечно, выпили на брудершафт, облобызались, сидим, разговоры разговариваем, я забылся и говорю: Павел Григрьевич... И больше уже ничего не успел сказать,– схлопотал оплеуху, да какую! И он мне:

– Никакой я тебе не Павел Григорьевич, я для тебя – Павлик.

Я уже слышала, что в литературе нет ни отцов, ни детей, ни учителей ни учеников. Но здесь вдруг догадалась: Алику и Муре не хватает дочки,– об этой их потере горькое обоюдное молчание, стихи Ревича и слезы Муры, о маленькой ясноглазой Леночке, которая с акварельных портретов, развешенных на стенах их малогабаритной хрущевки, все не наглядится на них, ни на день не оставляя.

Александр Михайлович очень похож на моего отца: весь габитус, динамика жестов и гримас, тембр голоса, артистическая манера «вкусно» произносить слова и сам лексикон, ведь оба – южане, знатоки суржика: Ревич – из Ростова, папа – из Николаева.

Ревич также легонечко насвистывал (сколько же птиц в его поэзии!), когда, облачившись в фартук, мыл посуду или готовил фирменный омлет с сыром, по виду напоминающий торт,– знак особого расположения к гостю. Он напевал те же отрывки из опер, какие пел папа.

Как жаль, не успела их познакомить.

Когда по телефону Ревичу читали стихи (а вокруг него образовался огромный круг – круг Ревича – из московских студентов, поэтов и переводчиков из Израиля, Польши, Америки, Франции, Болгарии, Армении, Германии, считаю-

щих себя его учениками и продолжателями, друзьями, приятелями и поклонниками), были возможны три оценочных категории.

Первая. Когда полная безнадега, он – невзирая на лица, возраст, степень близости и известности – кричал так, что телефонная трубка почти рассыпалась:

– Салон! Это не стихи. Это – салон!!!

Вторая. Когда что-то не получилось или сложилось не очень складно, не вырулило на должную высоту, но в стихе есть живой нерв, Ревич очень вкрадчиво елейным голоском блаженного:

– Трогательно, очень трогательно, девочка!

И третья. Когда получилось:

– Кажется, хорошие стихи, а? Кажется, настоящие, а? Нерукотворные, а?!

Русские поэтессы, непохожие на европейских суфражисток и феминисток, редкое зрелище в Варне. В то лето жара стоять не могла, она тяжело падала уже с утра, раздавая направо-налево тепловые удары. Аппетита быть не могло. Но, подчиняясь расписанию, мы вяло завтракали под ореховыми деревьями. Кислое молоко, мед, травяной чай.

– Тебя к телефону!

Кто бы это? Только вчера прилетели...

С нами в пансионате тоже литературная компания и тоже гендерная, только сплошь мужская: софийские издатели, варненские поэты и писатели вокруг знаменитого Генчо Стоева. Часам к десяти, когда стемнело, стихийно сдвинули столы, и началось братанье водки с ракией, до трех ночи песни под гитару и стихи, стихи по кругу, и разговоры под ледяное шампанское, под мастику – о литературе, о политике.

Кто звонит в этакую рань?

– Скажите, что завтракаем. Пусть перезвонят.

– Подойди, очень просит.

– А кто просит?

– Ангел.

Все онемели от игры слов и смыслов: ангел – младший небесный чин, хранитель и покровитель наших душ и тел, хотя сам существо бесплотное.

А здесь болгарский Ангел – депрессивного вида мужчина в очках, немного философ, больше прозаик, сохранивший мальчишеские интонации и манеры. Он сидел вчера напротив меня, и мы говорили о трагедии соответствий и несоответствий. А когда я дочитала стихотворение о синей розе, он удивился:

– Вот, оказывается, какая ты...

Я до сих пор не знаю, какая я? Но он, видимо, знал. И я ему поверила, потому что имя его – Ангел.

– Хороший будет день, если с утра ангелы звонят,– отшутилась я и взяла трубку.

Разговор был коротким: вечером в галерее «Кавалет» у поэтессы Елки Няголовой проводы Генчо Стоева, и меня пригласили.

Не в силах выползти из-под сени развесистых орешин, мы по третьему разу заказывали травяной (по-болгарски, билков) чай. Болтали, расслаблялись, правили переводы, строили планы, считали деньги...

– Тебя к телефону!

– Дубль второй! На тебя, девушка, сегодня спрос.

Стало любопытно и чуть-чуть смешно.

– А кто просит?

– Апостол!

Все так грохнули, так расхохотались, что привели в замешательство и официантов, и всю обслугу. Чего смеются? Даже слезы вытирают. Может, они так плачут, эти русские?

Я моментально вспомнила Апостола, похожего на итальянца в амплуа первого любовника. Он дивно пел русские и советские песни, ему подпевали жена и дочь, красавицы обе. Эта семья любила Россию и Москву.

– Ничего себе жизнь, между ангелом и апостолом...

И пошли стихи о Болгарии – родине Ангелов и Апостолов.

Он с первого дня знал, что она писала стихи.

Гордился этим, раздражался, ругал и поддерживал, но не уступал и не упускал случая сам удивить ее стихами или даже поэмой. Он хорошо помнил ее общие тетради в клетку со стихами. Они называлась «Стихи в клетке». Как-то разбирая после ремонта архив, он наткнулся на коробку из-под конфет, дырявую, со сломанными бортиками. В ней перевязанные тесьмой хранились письма бабушки Фени, тут же лежали пустые конверты, открытки, а снизу высовывалась скрепленная машинопись, тронутая желтизной, но с явными признаками жизни:

<Юрий Михайлович Леснов родился в «год великого перелома», если в терминах истории КПСС, в семье революционеров. Родился не в городе Фрунзе, как по паспорту, а в боевом средне Тянь-Шаня, неподалеку от города Ош, в отряде «красных», сражавшихся с басмачами за укрепление советской власти в бывшем Туркестане.

Его отец – командир отряда Михаил Степанович Леснов – из многодетной русской семьи. Глава семейства Степан Васильевич Леснов, уроженец Сызранского уезда, сирота, в двенадцать лет ушел в батраки. По достижении возраста был призван на военную службу. После увольнения он сразу подался к теплу, в солнечный Туркестан, в город Каган. Работал на железной дороге ремонтным и путевым сторожем, стрелочником и дослужился, наконец, до уважаемой и стратегически важной должности кубогрея, а попросту – заведовал кипятком на железнодорожной станции. Его жена Екатерина Ивановна, начинавшая с работ в барской усадьбе, не забывшая, как жила на милостыню, рожала сколько бог пошлет. Щедрый Боженька послал семерых сыновей и дочку Клаву. Через несколько лет на весь Каган гремела футбольная команда братьев Лесновых: Петр, Степан, Александр, Михаил, Григорий, Иван, Николай. Почти все они работали в железнодорожном депо, да так влюбились в паровозы, что на могиле трагически погибшего Петра вместо креста поставили памятник пролетарского значения: передок чумазого паровоза с красной звездой и надписью белыми прописями «Наш паровоз, вперед лети!»

Кудрявый, улыбчивый Миша Леснов – рабочая косточка, физкультурник, комсомолец, партиец. Его история жизни как история страны: помощник машиниста, комсомолец «ленинского призыва», с 1924 года, потом – комсомольская работа в депо, потом – в Ташкенте, потом – поднимай выше – один из секретарей ЦК комсомола Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, председатель Центральной избирательной комиссии Таджикистана. А при нем секретарь-машинистка, она же соратница и жена – Зоя, дочь сельского учителя Те-

рентия Прокофьевича Слепкова, офицера первой Мировой, перешедшего после революции на сторону Красной гвардии. В 1922 году Слепков вместе с женой Анной Николаевной и тремя детьми был направлен из Поволжья, из Самарской губернии на борьбу с басмачеством в Новую Бухару, то есть в Каган, где через несколько месяцев внезапно умер.

Сероглазая, фигуристая, будто отформованная, Зоя в пылу революционной борьбы родила сына Юрика и была рядом с мужем и в боях, и в партийных и советских кабинетах, мелькавших с неукротимой скоростью развивавшегося революционного процесса. Мужа то и дело переводили с одной работы на другую, бросая на очередной прорыв или на укрепление руководящих кадров. Вот и в Энгельс с Михаил Степанычем она поехала в 1936-м, когда его назначили заведовать отделом обкома комсомола Республики немцев Поволжья.

Это был звездный час их семейного благополучия. Процветающий, по-немецки чистенький и тихий Энгельс на берегу Волги. Рядом, чуть выше по течению,– идеологически близкий и тоже вылизанный Маркс. Через мост – Саратов с бдительным обкомом партии, которому Республика немцев Поволжья фактически подчинялась.

Как все мальчишки, летом Юрик пропадал на Волге допоздна. Научился с открытыми глазами нырять «солдатиком», подолгу и далеко заплывать, рыбачить на островах, вялить на солнышке или запекать на углях рыбу, чтобы потом пировать со всеми за компанию. При Юрике состояла немецкая бонна Гертруда, или коротко – Труда, которая, и вправду, трудилась в поте лица над белоснежными шляпками безе или заварным кремом начиняла эклеры. Накормив, она вела Юрика – в белой накрахмаленной рубашке, в темно-синем бархатном костюмчике – в танцевальный кружок для начинающих.

Любовь к пирожным и танцам прошла будоражащим курсивом через всю жизнь Юры Леснова.

В республике уже было тревожно. На каждом шагу слышалось: вредители, шпионы, диверсанты, террористы, враги народа. Разрастающиеся массовые репрессии объяснялись то «борьбой с национализмом», то выкорчевыванием корней «троцкистско-бухаринского блока». В школах запретили обучение на немецком языке, про «Лорелею» надо было срочно забыть. Прошли времена, когда немцы были во главе обкома и на командных постах в правительстве, теперь их задвинули на вторые и третьи роли. Сталин уже не доверял кадровым немецким руководителям, партийным функционерам и хозяйственникам. Всех их давно сменили, поставили новых людей, главным образом, русских – молодых, напористых, малограмотных, без опыта партийной и хозяйственной работы.

Михаила Степаныча арестовали в 1937-м, в самом начале сентября. Он уже знал, что тех, с кем он начинал, почти всю их номенклатурную обойму, взяли по 58-й статье. Он ждал. И не стал исключением.

Юрка навсегда запомнил, каким в тот день вернулся отец.

Он долго и молча сидел за столом и глядел без отрыва на белый гипсовый бюстик Сталина, потом стал передвигать его, будто на шахматной доске, то ближе, то дальше,– выжидая, нападая и защищаясь. Он не понимал. И потому не соглашался. Он только упрямо доказывал что-то свое, не произнося вслух ни слова, только потрясая темной шапкой некрупных кудрей. Потом замер, будто вслушиваясь во что-то внутреннее, тайное, и вдруг – резкое движение – выпад конем. Играть стало не с кем, спорить не о чем. Железная логика борьбы не подвела. Непоправимое случилось и с ним, и с тем, кто высоко,– в Кремле. Отец

повертел чистым белым бюстиком так и сяк, подержал его вниз головой, подбросил. Юрка притаился на полу, почти в ногах: не уронил бы!

Обведя комнату невидящим взглядом, отец прохрипел:

– Юрка, сын!

Отцовский голос напугал. От страха он обхватил отца за коленку и, оттягивая брючину, пряча в ней лицо, будто что-то почуяв, громко заревел.

Отец поднял его, сильно-сильно прижал к себе и тоже заплакал.

В тот день Юрке исполнилось восемь лет.

Арест отца от него скрыли.

– Папка в командировке на строительстве важного народнохозяйственного объекта. С семьей туда нельзя, потому что «Костьстрой» – завод секретный, и любая работа там – тоже секретная и очень ответственная,– вот что было сказано Юре. Укладывая его спать, мама добавила:

– Папка уехал надолго. Лишний раз не спрашивай, не любопытничай, а язык свой попридержи и на улице, и в школе. Учиться – только на пятерки!

Юрку насторожило – если не напугало – название завода: «Костьстрой». Он, сколько ни силился, все не мог представить, что это за завод такой, где из костей – человеческих? коровьих? собачьих? – что-то строят, и что отец, его любимый, веселый, ласковый папка, там работает... Однажды он увидел лежавший на столе машинописный лист, который мать собиралась нести в обком.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Тов. Леснов?М.?С. поступил на строительство Костьзавода 15.11.1937 года в качестве подручного электромонтера и благодаря добросовестного отношения к работе и техучебе достиг в короткий срок квалификации электромонтера 4-го разряда.

Тов. Леснов?М.?С. является застрельщиком социалистического соревнования в электромонтажной группе, аккуратно выполняет и перевыполняет обязательства по соцсоревнованию от 120 до 197%.

Тов. Леснов?М.?С. закрепился на строительстве до окончания монтажа, работая по организации техучебы, избран старостой кружка по техминимуму.

Прораб электромонтажа Костьстроя

А.?Морозов

Уже через год отца перевели в Башкирию на строительство не менее секретного завода сухого молока под Мелеузом для дальнейшего трудового перевоспитания, предусмотренного для всех осужденных, контрреволюционеров и вредителей.

Молчаливую, угрюмую мать однажды все-таки прорвало, и – как по писанному,– она выпалила на одном дыхании:

– Гордись, Юрик, отец твой – стахановец «Консервстроя». Он со своим напарником, товарищем Шлычковым, работал по установке и подводке электрооборудования и выполнил предпраздничные ноябрьские обязательства на 214%. Запомни, сын!

Несмотря на эти завидные достижения, надо было срочно перебираться в Ташкент, на Пушкинскую, к бабушке Ане.

Собрались быстро. Уезжали налегке и без провожатых.

В Ташкенте никто из друзей или товарищей отца по партии их не встретил. Никто не пришел домой. Никто не помог. Жили замкнуто и скудно. Только через полгода Зоя Терентьевна нашла через родственников место машинистки. Юрка приносил домой пятерки и похвальные грамоты – одну за другой – за успехи в общественной и спортивной жизни: будет что показать отцу, когда тот вернется из командировки.

Отец появился внезапно.

Шел 1939-й год. С приходом Берии на пост главы НКВД масштабы репрессий в стране уменьшились. Сотни тысяч осужденных вышли на свободу, кого-то реабилитировали, кого-то амнистировали. Михаил Степанович оказался среди тех, кто вернулся и не потерял веры в коммунистические идеалы, но за веру в идеалы в партии не восстанавливали никого. И его тоже.

Леснов, партиец первых поколений, по ночам писал Сталину подробные отчаянные письма о положении осужденных, обстановке на местах, доказывая, что вождь коммунистов жестоко обманут, что именно в Кремле засели враги революции и народа, это они клевещут на убежденных и преданных партийцев, прицельно их истребляя.

И в страшном сне товарищу Леснову не могло присниться, что основоположник социалистического террора – не мудрый Сталин, а сам большевистский бог – Ленин, узаконивший под диктовку революционной совести и революционного сознания – необходимость «красного» террора.

Во времена хрущевской «оттепели» Юра получил доступ к партийным архивам, где сохранилось дело М.?С.?Леснова и его письма Сталину и другим партийным деятелям, к знакомым по комсомольской работе. Тогда же Юра узнал, что отца арестовали и исключили из партии с формулировкой «за не разоблачение врагов народа». То есть не проявил бдительности М.?С.?Леснов, не донес на своего товарища, который, к примеру, коренной немец в пятом поколении, из колонистов, приехавших по екатерининскому призыву служить России.

Немало, чтобы получить свои «десять лет без права переписки».

В первые дни Великой Отечественной войны Михаил Степаныч записался добровольцем. Как репрессированного его определили в штрафбат, состоявший из таких же, как он, сидельцев: бывших партийных и советских работников, кадровых военных, председателей колхозов, инженеров, агрономов, учителей. Все они – рядовые штрафбата, рядовые смертники. Для поднятия боевого духа им было позволено пройти в ноябрьском параде 1941-го года по морозной Красной площади.

Как большинство штрафбатовцев, обреченных на смерть или тяжелое ранение в первых же сражениях, рядовой Леснов погиб в январе 1942-го года в «неравном бою за безымянную высоту на станции Гончаровка Калужской области». Там он и похоронен в братской могиле.

Для Юры отец на всю жизнь – герой советского времени, с ним он сверял внутренние координаты. Как влюблено Юра рассказывал об отце, хранил письма, фотографии, открытки, будто запечатлевал его образ в памяти тех, кто его не знал. Все собирался разыскать братскую могилу на станции Гончаровка, чтобы поехать с сыновьями и положить цветы.

Многое он делал во имя отца: закончил школу с золотой медалью, играл в футбол и волейбол, плавал, мечтал выучиться на артиста.

После войны в Ташкенте крутили трофейные фильмы с Марикой Рок, Гретой Гарбо, Марлен Дитрих,– сколько музыки, стэпа, веселых и красивых женщин! На экране шла благополучная и сытая жизнь, которой у Юрки не было. Годы войны – голодные годы даже в Ташкенте. Этот «город хлебный» кормил и спасал тысячи эвакуированных из России, но чтобы получить хоть немного риса, Юрка вместе с матерью пропадали на рисовых чеках, отчего к осени у обоих опухали и болели суставы ног. Чтобы немного заработать, он выбегал к поездам продавать бабушкины жареные пирожки с требухой. Иногда в горах удавалось наловить черепах, труднее всего было разбивать панцирь. Но больше всего хотелось сладкого. Они с мальчишками любили околачиваться на задних дворах магазинов, куда выкидывали бочки из-под яблочного повидла. Ныряя головой на самое дно, они изо всех щелей выковыривали ветками, пальцами и даже вылизывали сладкие остатки.

Самой несбыточной мечтой была банка сгущенки.

Потерю отца Юра переживал как сиротство, считая себя ущербным, с невосполнимым внутренним изъяном. Он не мог избавиться от этого всю жизнь, сам будучи уже отцом двоих сыновей и вполне состоявшимся и успешным человеком.

Зоя Терентьевна после смерти мужа очень подурнела, замкнулась и ожесточилась. С годами это усиливалось. В участившихся приступах злобы – часто по пустякам, например, ключ не оставил под ковриком или в футбол заигрался,– била сына чем ни попади, гонялась за ним по дому, по двору с половником, со скалкой, с утюгом, а он убегал и прятался то у соседей, то у бабушки, то залезал на высокую чинару и отсиживался в густых ветвях вместе с птицами до утра.

Боялся, что мать убьет.

По окончании школы он так скоро уехал из Ташкента, что это было похоже на бегство.

Легкий, в чесучовом светлом костюме и футбольных бутсах, с золотой школьной медалью, весомей которой была лишь буханка черного хлеба, прикупленного на вокзале, Юрий Леснов приехал в Москву в день празднования ее 800-летия. Стояло лето 1947-го года.

Через полгода в той же Москве родилась Тася.

По неизбежной траектории судьбы Юра и Тася приближались друг к другу.

На первых порах Юру приютила дальняя родственница, и он ночевал на деревянном сундуке в углу большой коммунальной кухни. Но зато в центре Москвы, на Спиридоновке, по соседству с самим Лаврентием Берия. О прописке не могло быть и речи.

Идя и приплясывая в коридоре ВГИКа, Юра приглянулся режиссеру Сергею Герасимову.

– Что, молодой человек, в артисты метите? Ну что ж, фактура у вас подходящая, и пластика врожденная. Расскажите-ка, кто вы, откуда?

Юра смутился, но что-то стал говорить. Герасимов вдруг резко перебил:

– Ответьте честно: без кино жить можете?

– Могу,– признался Юра и покраснел до ушей.

– Тогда, мой совет,– Герасимов внезапно по-отечески приобнял его за плечи,– выбирайте-ка другую профессию, дорогой товарищ, а на вашем месте будет учиться тот, кто дышать без кино не может, понимаете? Дышать не может.

Юра, поверив режиссеру Герасимову, на следующий же день сдал документы в юридический институт на Моховой, ставший позднее юрфаком МГУ. Леснов окончил юрфак с красным дипломом. Одновременно с учебой он проработал года три в Краснопресненском райкоме ВЛКСМ, где вступил в партию в один день со студентом Михаилом Горбачевым, учившимся на два курса ниже. Но юристом Юра не работал никогда. Ни дня. Зато его сын Георгий – юрист, адвокат, да и профессия признала в нем *своего*.

В двадцать три года Юрий Леснов защитил кандидатскую, что по тем временам было событием, и его сразу пригласили в лекторскую группу международного отдела ЦК КПСС.

Как просила и плакала мать, как валялась в ногах Зоя Терентьевна, чтоб ни за какие коврижки не лез в политику, не вздумал идти по стопам отца!

Юра выбрал другой путь.

И сам он был другим: вечный комсомолец, романтик, целинник, просвещенный «шестидесятник», всем сердцем веривший, что большими усилиями и честной работой можно реанимировать марксистские идеалы, которым противостоял практический марксизм-ленинизм отечественного розлива, урожденный с «нечеловеческим лицом».

После Франции Леснов защитил докторскую, получил звание профессора. Напитавшись идей еврокоммунизма – французского, итальянского, испанского,– стал довольно известным международником, политологом, общественным деятелем. Много печатался и выступал. В конце жизни открыл новую грань того же кристалла, и, торопясь наверстать, не упустить и что-то еще успеть в новой исторической реальности, ушел в глобальные проблемы политической экологии....>

Он отложил рукопись.

Что это? Ни названия, ни даты.

Вряд ли это ранняя проза,– тональность другая, интонация не та.

Вспомнились ее очерки про Рязань, рассказы про старуху Глафиру, потерявшую на войне пятерых сыновей, вспомнился в стенном шкафу – будто наказанный – запыленный скрипичный футляр, а в нем – скрипка... но, пожалуй, без трещины в деке, иначе бы они не продали ее за очень приличные деньги преподавателю из гнесинки.

Какие-то бабские бредни! Женская проза в мягкой обложке. Или что-то для семейного архива – для сына и внуков?

Он аккуратно сложил страницы и вдруг заметил подколовшийся лист из тетрадки в клеточку, а на нем карандашом:

***

На босу ногу, натощак, в сорочке,
как только пришлый день раскинет сеть,
читаю с пальцем, силюсь петь
псалмы и тропари...
Я к Божьей Матери напрашиваюсь в дочки
с домашней живностью, со всей своей семьей,
с потомками борцов за справедливость,
юристами, врачами...
Сделай милость,

прими ты, гордых нас, как травостой,
как тот полынный жухлый из пустыни
и тот – стеной степной – из ковыля.
О, Мати Дево,
всех, кто без руля
и без царя, пригрей отныне.
Такие завернули холода,
что воробьи скукожились на ветке.
На подоконнике крещенская вода,
«Бон Аква», если верить этикетке.

Москва, 2010–2012

Наум Басовский

Дальний свет

Поэма

Пролог

Жил писатель, сочинял
повести с романами,
сочиненья начинял
странными обманами.

Прочитаешь — прост сюжет,
проще не придумаешь,
а потом покоя нет:
всё об этом думаешь.

Прочитаешь — прост язык,
нечего разгадывать,
лишь за каждым словом лик
вечности угадывать.

Прочитаешь — прост мотив:
как живётся-можется;
но заставит, не спросив,
о душе тревожиться.

День проходит, месяц, год —
неуютно совести,
из души мотив нейдёт
той печальной повести.

Год проходит, три и пять,
главное — упрочится:
перечитывать опять
эти книги хочется.

Тридцать лет и сорок лет —
как финал экзамена:
словно дальний-дальний свет
к нам приходит заново.

1950. «Студенты»

Первая книга — и вот те на,
приметил батька усатый:
упала премия на пацана,
взлетай теперь в небеса ты!

Теперь печатай за томом том,
полный парадной фальши,
но никогда не сможешь о том,
что спрятал от всех подальше.

Басовский Наум — поэт. Родился в 1937 г. в Киеве. Окончил Киевский педагогический институт и Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. С 1962 г. жил в Москве, работал в области технической акустики. С 1992 г. живет в Израиле. Автор девяти сборников стихов, в т.ч. последние — «Возвращается эхо» (Иерусалим, 2009), «Контрапункт. Двадцать три поэмы» (Иерусалим, 2010). Дважды лауреат поэтического фестиваля памяти Ури-Цви Гринберга (2004, 2006).

Сгинул отец в тридцать седьмом,
много других — тогда же...
Съёжился весь тёмно-серый дом,
никто и не пикнул даже.

Добраться до сути, найти бы след —
стало душевной жаждой.
Но как на это посмотрит портрет,
висящий в комнате каждой?

Сколько же надо прочесть бумаг,
сколько выслушать мнений,
чтоб разобраться, что враг — не враг
и что гений — не гений?!

Сколько вдов и сколько сирот,
сколько сломанных судеб!
И что за власть? И что за народ,
который терпит, не судит?

Коп*и*, хоть это всё нелегко,
обдумай не раз, не дважды,
ибо пока ещё далеко
до утоления жажды.

1963. «Утоление жажды»

Канала только не хватало,
Чтоб с Марса был бы виден он!..

А. Твардовский. «За далью даль»

Вот марсианин увидел Туркменский канал,
и марсианина этот канал доконал,
ибо считал марсианский седой астроном,
что на Земле невозможен подобный объём.

Если на Марсе есть жизнь и учёные есть,
верный расчёт им заведомо не произвесть,
ибо на Марсе не слышали наверняка
краткое слово и страшное слово «зэка».

Только к чему бы нам груз марсианских забот?
Нам и своих-то расхлёбывать невпроворот.
Умер тиран, чуть уменьшился уровень зол;
вот и канал по иному маршруту пошёл.

Строить канал — это собственный выбор судьбы?
Люди свободны, а трудятся, словно рабы.
Вот экскаватор — ступенька к такому труду:
сидя в кабине, себя ощущаешь в аду.

В этой жарище слились и закат, и восход,
без рукавиц за рычаг не берись — обожжёт!
И пред тобой не прекрасный и яростный мир,
а равнодушный и скучный солёный такыр.

Вот и трудись, выбирай кубометры песка
и на застрявших в песке не смотри свысока
даже с ковшом, что, твоей повинуясь руке,
роет канал марсианский в горячем песке.

В горестных душах, зарывшихся в толщу песка,
жажда свободы ещё не возникла пока.
Тем же, кого угнетает обыденный плен,
воздух пустыни сулит полноценный обмен.

1969. «Обмен»

Давно ли ушли от бараков и полуподвалов?
Давно ли ушли от заевших житьё коммуналок?
А нынче уже на троих и двухкомнатной мало —
в глазах сослуживцев неловок ты, если не жалок.

А кто-то из близких, похоже, что сходит со сцены,
и площадь уйдёт, если тут же не подсуетиться,
и хочешь не хочешь, а в дело вступают обмены,
и сложные связи, и разные ушлые лица.

Конечно, доплаты, и веянья модного быта,
и кто-то сегодня придёт на продуманный ужин...
Оставлен Рахманинов, Рильке и Гессе забыты,
Феллини не нужен и Кант совершенно не нужен.

А нужно сродниться с трехкомнатной областью рая
и к ней прикипеть, обменяться сосудами с нею
и выставить локти, ничуть от стыда не сгорая,
и зубы оскалить, ничуть за оскал не краснея.

Здесь только начать, оказаться в запасливом круге,
а дальше круги побегут на союзном просторе:
избу на Валдае сменять на жилище в Калуге,
Калугу с доплатой потом — на Балтийское море.

Когда в обороте лесничества, горы и степи,
нетрудно менять, не впадая в семейную склоку:
Балтийское море потом — на учёную степень
и скромный гараж от трехкомнатной неподалёку.

И ты возникаешь в семье и в глазах сослуживцев
не в паре пиджачной, а в венчике римском и в тоге,
и жизнь пред тобою ковровой дорожкой ложится,
и всё бы отлично... но что остаётся в итоге?

1970. «Предварительные итоги»

Странная хворь иногда посещает меня,
реже в ночи, а обычно средь белого дня —
словно бы обморок, но без потери сознанья:
люди, машины, животные и облака
вдруг застывают, хоть движутся наверняка, —
ни шевеленья не вижу я, ни содроганья.

Десять секунд, и не более, длится напасть,
но и довольно — её непомерная власть
очень страшит, не шутя, как предчувствие смерти,
как посылаемый с неба умышленный знак,
что остановится всё неожиданно так —
выпадет жизнь из обычной её круговерти.

Это в году происходит раз пять или шесть,
нерегулярно, поэтому трудно учесть
обморок новый, особенно если в дороге.
Я принимал его как неизбежное зло,
но в эпизоде недавнем меня обожгло:
а не пора ли подбить и обдумать итоги?

Ежели завтрашний день не зажжётся во мгле,
что по себе я оставлю на этой земле?
Что, если нынче — последнее предупрежденье?
Ты полагал, что полжизни ещё впереди, —
что, если нет? Не проси и уступок не жди,
ибо зачем же стоп-кадры — твоё наваждение?

И прихожу я поэтому к мысли простой:
школа серьёзности — каждый мой день прожитой;
вот и учусь, не давая пустых обещаний.
Что-то получится, что-то, конечно, и нет,
но на пути, где останется всё-таки след,
много случится тяжёлых и долгих прощаний.

1971. «Долгое прощание»

Мы прощаемся после шестнадцати лет.
Мы прощаемся сухо и в лица не смотрим.
Мы исчезнем из глаз и для слуха мы смолкнем.
Вот смотри — я купил в Каракумы билет.

Мы прощаемся после шестнадцати зим.
С каждым годом они были всё холоднее.
Эту зиму прожить — а какая за нею?
Этот год пережить — и какой же за ним?

Мы прощаемся после раздельных дорог,
и раздельных столов, и раздельных ночлегов.
Было много сначала совместных забегов,
но на финише каждый из нас одинок.

Мы прощаемся после шестнадцати книг,
что тобою написаны в заданной теме.
Я их не прочитал в отведённое время —
я ведь так и не выучил этот язык!

Мы прощаемся после шестнадцати строк,
напечатанных мною в случайной газете.
Не пытался пробраться в сообщества эти —
как всегда, я надеюсь на случай и срок.

Мы прощаемся после шестнадцати драм,
хладнокровных измен и отчаянья тоже.
Обретается опыт, и, годы итожа,
за него я действительно много отдам.

Сам себе говорю: устои, продержись —
не впервой каракумское лето выносим...
И начнётся московская тихая осень.
И начнётся другая — и верная — жизнь.

1975. «Другая жизнь»

В пальцах полупустая сума,
но душа моя полнится тайною:
всё же кончилась эта зима,
вот и я потихоньку оттаиваю.

Из пустыни, где долго я жил,
возвратившись в места горемычные,
я участок земли застолбил,
чтобы выстроить лежбище личное.

И оттаял участок земной —
и душа моя полнится силою,
потому что в соседстве со мной
будет строиться женщина милая.

Как-то вдруг я подумал о том,
что, возможно, здесь Божье наитие,
чтобы общий мы строили дом —
нашим душам от мира укрытие.

Дом стоит — невелик, но пригож,
пониманьем заполнен и нежностью,
на другие дома не похож
ни убранством жилища, ни внешностью.

Сорок лет проведя на свету
под чужими дотошными взглядами,
я впервые ступил за черту,
где друг другу всегда были рады мы.

А что быт небогат — благодать,
ибо веруем, хоть и не набожны.
В самом деле, ну что нам терять?
Ведь живём-то не в Доме на набережной!

1976. «Дом на набережной»

Дом как дом — не велик, не мал,
а жильцов-то каких поймал,
знаменитых и премиальных!
Вырос меньше века назад,
а сегодня его фасад
плотно в досках мемориальных.

Дом как дом — не мал, не велик —
был построен как дом владык,
что живут, ничем не владея.
Но в итоге своей судьбы
оказались они рабы —
не вождя, так высшей идеи.

Дом стоял и менял жильцов,
превратившись в конце концов
в мрачноватый символ системы.
Мы не жили в символе том —
но страна как единый дом! —
уж в стране проживали все мы.

Оставался выбор один:
в тишине дожить до седин,
согласившись на роль статиста,
или... Поиздевавшись всласть,
это поле умела власть,
это «или» выкосить чисто.

Вот и рухнул огромный дом;
никого не осталось в нём,
хоть иные были неплохи.
И стоит над рекой старик —
серый дом, не мал, не велик, —
символ сгинувшей той эпохи.

1978. «Старик»

Читаю дивные строки древнего мудреца;
любя их, перелагаю от своего лица.
Лучше сказать не сумею, хуже — зачем оно,
если не прорастает мудрых мыслей зерно?

«…ещё довелось мне увидеть — я повторю для всех, —
что не быстрым удача в беге и не храбрым в битве успех,
и не мудрым хлеб и богатство — не запасающим впрок,
но каждому срок и случай, только случай и срок».

Заповедь эту оставил, нам в назидание дал
тот, кто прожил немало и многое повидал, —
древний мудрец еврейский — Коэлет-Экклезиаст,
острый, парадоксальный, уж точно, что не схоласт.

Вот привилегия возраста, памяти и ума —
знать о связи явлений, что она не пряма,
не подчиняется логике и нашим о ней мечтам:
она управляется с неба, а как — неизвестно нам.

Что же нам остаётся — покорно плыть по реке,
события не направляя ни близко, ни вдалеке?
А что характер и воля, а что желанья мои,
и не только собственные, а, скажем, моей семьи?

Нет причин без последствий и следствий нет без причин,
но только надобно помнить: на свете ты не один,
и то, что сейчас ты делаешь, откликнется на веку —
аукнется молодому, откликнется старику.

Пока твои уши слышат и глаза не закрыла мгла,
в небо смотри и вслушивайся, верша земные дела,
а для твоих успехов, хоть приговор и жесток,
только время и место, только случай и срок.

1981. «Время и место»

На этой главе поэма свой усмиряет бег,
ввиду неподъёмности темы белые флаги выкинув:
место — Советский Союз, время — двадцатый век,
единственный персонаж — известный писатель Трифонов.

Многими очень любим. Многим только знаком.
Какой-то уж очень простой рядом с мэтрами нашими.
Место — шестая суши. Время — век целиком.
И миллионы могли быть его персонажами.

Как говорил поэт, ищем речи нагой;
но если нагая речь, как избежать монотонности?
Он болевые точки знал, как никто другой, —
слегка на них нажимал, и это держало в тонусе.

Довольно простой язык. Довольно простой сюжет.
Но *за* душу чем-то берёт даже страница журнальная.
Посмотришь ночью в окно — дальний неяркий свет,
словно отблеск костра или свеча поминальная.

Но главный посыл не в том: с какой стороны ни смотри,
лишнего жеста нет, как нет и нажима лишнего.
Небо над головой и главный закон внутри —
не называя вслух, он призывал Всевышнего.

Стоял слегка в стороне. В открытую драку не лез.
Рад был нашим удачам. Горевал, когда было горестно.
Умел подобрать слова на вкус, на запах, на вес
и правду сказать в глаза, не повышая голоса.

Как-то легко входил в самый закрытый дом
и выходил затем, жильцов из рутины вытряхнув.
Место — в наших сердцах. Время — пока живём.
Тревожная совесть людей — негромкий писатель Трифонов.

Октябрь 2012

Евгения Доброва, Зураб Ртвелиашвили

Распутья

Диптих

I

Евгения Доброва

Абхазские мандарины

Когда я переживала разлуку с Зурабом, я могла есть только абхазские мандарины.

Это очень странно было: ведь я ничего-не-могла-есть-вообще, а мандарины мне даже нравились.

Только мандарины.

Килограммами.

Видела бы мама.

Она бы закричала: диатез!

Как в детстве.

А может, и не закричала бы.

Она знает, как я их люблю.

А Зураб не знает.

Когда мы были вместе, я ела их тайно. Пойду, говорю, посмотрю, не идет ли автобус, — а сама — хоп за остановку, и пихаю в рот мандарин. Скорей, скорей, пока не видит...

А то получишь этим мандарином прямо в лоб.

Потому что он абхазский. А Зураб — из Грузии. А я из России. А свидание у нас в Финляндии. На нейтральной полосе.

Нет, ну нормально это — летать на свидания в Хельсинки?

Евгения Доброва — писатель, литературный критик, поэт. Окончила Литературный институт им. Горького. Участник Форумов молодых писателей России. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Нева», «Урал», газетах «Книжное обозрение», «НГ-Exlibris», «Литературная газета». Финалист Бунинской и Астафьевской премий (2008). Автор книг «Персоны нон грата и грата» (издана в рамках Федеральной целевой программы «Культура России», 2008), «Угодья Мальдорора», «Чай» и других. Стипендиат Министерства культуры России (2009). Член Союза писателей Москвы, Союза журналистов России. Живет в Москве.

Зураб Ртвелиашвили — поэт, мультимедиаартист, правозащитник. Родился в 1967 г. в Караганде. С 1974 по 2009 г. жил в Тбилиси. Получил юридическое образование в Тбилисском государственном университете. С конца 80-х поэзия и публицистика Зураба Ртвелиашвили выходит в грузинских и зарубежных изданиях; его стихи переведены с грузинского на русский, английский, французский, немецкий, шведский, голландский, персидский, азербайджанский и армянский языки. В 2005 г. вместе с поэтом Ираклием Какабадзе создал неправительственную правозащитную организацию «Институт равенства». В мае 2009 г. был вынужден эмигрировать в Швецию, где ему предоставили политическое убежище. Живет в Стокгольме.

Про мандарин я все-таки признаюсь. Вроде как шутка: стоим на транспортном пятачке возле аэропорта, ждем сити-бас, вечер, мороз ледяной — а у меня в кармане витамины с юга. Зураб говорит: абхазы, они знаешь, что сейчас сделали? Там церковь была с грузинскими фресками, так они их погубили. Стена, мол, обрушилась при реставрации. Уникальная роспись, древняя. Царь Баграт. Как можно...

Поэтому, когда подруга предлагала — хотите мандаринов, я уточняла:

— А у тебя какие? Он абхазские не будет есть.

— Марокканские.

На диван приземляется крупный оранжевый плод. Рыхлый, как сиська у толстяка. Перемороженный.

Ловлю, чтобы не скатился, раздираю на дольки. На двоих.

У Олеши — разрывают ягодицы абрикоса.

А я — мандарин.

Рывком.

Со страстью.

А он, сволочь, невкусный.

* * *

Вечером мы идем гулять по Фредрикинкату. Магазины позакрывались в семь, но витрины притягивают, горят зазывно — где ярко, где приглушенно-таинственно: электричество в Финляндии дорогое.

В витринах — сокровища. Шеренги модных ботинок, барханы шляпок, сумочек... Возле них я замедляю шаг.

— Я тебе потом все куплю, — говорит Зураб на всякий случай.

— Мне ничего не надо! Я их как игрушки в «Детском мире» разглядываю. Просто так. Хочешь, справа от тебя пойду, подальше от витрин?

— Что ты, смотри, пожалуйста!

На перекрестке решаем поменять маршрут, сделать круг и вернуться другой дорогой. Сворачиваем — но там тоже витрины.

Я смеюсь — и стараюсь на них не смотреть. Но они такие праздничные, нарядные: январь, Новый год!

— Ой! Вот это да...

Под вывеской маникюрного кабинета коллекция накладных ногтей — мерцают, переливаются в луче подсветки. Ноготки всех цветов, от жемчужного до базальтового, изукрашены стразами, золотой и серебряной росписью — типсы с позументами, с галунами и кантами.

По моде этого сезона они острые и длинные, как птичьи когти.

— Пойдем. — Зураб оттаскивает от витрины.

— Подожди! Секундочку... Тебе не нравятся искусственные ногти?

— Бабушка рассказывала историю. Это случилось в горах, где живут мохевы, от слова «ущелье», оно называется «хеви». Доезжаешь до Владикавказа, потом через Дарьяльское ущелье, и попадаешь к мохевам. Горский народ, чем-то похожи на казаков — кто князя убил, или еще кого, или нарушил закон... Что-то за ними было криминальное... Они скрывались, а заодно границу охраняли.

Во времена моей прапрабабушки был один родственник, сильный и храбрый воин. Однажды он отправился косить и увидел на склоне странную фигуру: какая-то женщина взяла в руки палку и дразнила его, повторяя движения.

Воину стало интересно, он подошел — и решил пленить ее. Схватил, бросил на коня и забрал домой, в прислуги. Но все, что бы ей ни говорили, она

делала наоборот. Надо воду набрать — а она выливает ее из кувшинов. Женщины на панихиду плакать — а она смеется.

Когда хозяин ее привез, у пленницы были очень длинные острые ногти — как когти. Он отрезал их и положил в ножны от кинжала.

Как-то семья уехала на праздник в соседнее село. Дома остались трое: маленькая девочка, горе-служанка, и младенец в люльке. Женщина разговорилась с девочкой, попросила показать отцовские ножны. Та принесла, но служанка отправила ее во двор. А сама достала когти, надела их и задушила младенца. Когда девочка вернулась, он лежал бездыханный, а женщина исчезла, и больше никто никогда не видел ее...

— Почему хозяин сразу ее не прогнал? Зачем нужна служанка, которая делает все наоборот?

— Он думал, что может поработить демона, — ответил Зураб.

Иногда мы осмеливаемся посягнуть на стихию, но она сметает нас, как волосок с макушки одуванчика.

Я достаю мандарин. Это последний. Холодно чистить его на морозе, без перчаток... Южный привет северным грезам.

* * *

Опять, сволочь, невкусный.

Два года назад я работала в журнале «Абхазия».

Зураб не знает.

Мы не были знакомы тогда.

Потом он закрылся.

Потом умер Багапш.

Говорят, отравили, ну или еще что-то в этом роде.

Так же, как про Качиньского.

Почему-то поляки не верят в просто-авиакатастрофу.

Полтора года назад я стояла в кафедральном соборе на Вавельском холме у саркофага Качиньских.

Тяжелый темный гранитный короб.

Хризантемы.

Выбитые надписи.

Низкие своды, это в подвале было, в склепе.

Мрачно вокруг, и мысли мрачные.

А потом бежала по краковским улицам в Марьяцкий собор, но припозднилась, и билетер не продал билета. Дядьке впереди меня продал, а мне нет, я с ним даже поругалась: еще только без пятнадцати шесть! Тогда дядька обернулся и отдал свой. Я, говорит, туда еще попаду, — а вы берите. Я говорю — спасибо. Дядька спрашивает — а вы откуда? Говорю — из Москвы. — Тем более берите.

Я взяла. Хорошая вроде бы история, но только дядька разговаривал с презрением. Русская. А я все равно взяла. И пошла смотреть алтарь Ствоша. А он грандиозный. Космический. Одиннадцать метров в размахе и три этажа в высоту. Успение Богородицы. Рождество Иисуса. Поклонение волхвов. Трехметровые статуи из цельных стволов. Когда резали, дереву было лет пятьсот. Значит, сейчас — тысяча. Какое счастье, что любопытства во мне оказалось больше, чем гордости. Алтарь не виноват, что мы такие глупцы. Поляки, русские — все перед ним букашки.

А с Зурабом мы написали стихотворение «XL-любовь». Начинается оно так:

я хочу быть в тебе... А заканчивается: *Москва — Тифлис, Тифлис — Москва, XL-любовь!*

Оно не о сексе. Оно — политическое.

Здорово было бы не таясь есть абхазские мандарины.

Потому что бывают в жизни моменты, когда больше ничего не можешь есть вообще.

II

Зураб Ртвелиашвили

Бутылка в саду

Мама приехала ко мне прямо перед войной две тысячи восьмого. Оглядываясь назад, я вспоминаю, как искал к ее приезду бутылку вина, закопанную в саду. Это было красное вино, кажется, саперави, выпущенное в 1945 году в честь Дня Победы — директор винохранилища подарил моему дяде три коллекционные бутылки, запечатанные сургучом. Дядя предложил зарыть их в саду, чтобы сохранить для знаменательных событий.

Я закопал бутылки в разных местах: одну возле сарая, вторую — у абрикосовых деревьев, а третью — под ткемали.

Две потом откопали и выпили, а последнюю не трогали. Про нее все забыли, а я помнил. И я подумал — будет здорово открыть для мамы эту сокровенную бутылку.

Но вино пропало. Я перерыл весь сад. Я искал его — и не смог найти. Как сквозь землю провалилось. Только сейчас я связал, что вино в честь Дня Победы пропало накануне новой войны.

Я не видел маму много лет. Мы потерялись, когда я был подростком. Мои родители познакомились в советском Казахстане. Мама, донская казачка, жила там с бабушкой, а отец приехал из Тбилиси, попал по распределению, он работал инженером-строителем.

Их любовь вспыхнула внезапно. Отец вспоминал, как они ходили на танцы. Тогда в моде был твист, но за него штрафовали — пятьдесят копеек. Отец постоянно платил эти пятьдесят копеек, и они продолжали танцевать.

Когда мне было шесть, родители расстались. Я так до конца и не понял, почему.

Помню, однажды отец повел меня в парк, — и мы неожиданно оказались в аэропорту. Я чувствовал себя спокойно, я же был с отцом, но спросил — а мама? И услышал то, что хотел, — она приедет. Вечером мы уже были в Тбилиси. Но мама так и не приехала. Бабушка и отец говорили, надо подождать.

Прошло несколько месяцев. Я был у деда в Загесе и думал о маме: где она сейчас, можно ли ее увидеть... а что будет, если она появится? Мне очень захотелось ее обнять, что-то сказать ей... Я сел на скамейку во дворе — и вдруг увидел ее! Она шла по дорожке к нашему дому. Я бросился к ней. Она закричала:

— Сынулечка! Зурико!

Я почувствовал такую радость, что у меня чуть не выскочило сердце.

Отца не было. Она поздоровалась с родственниками, ее хорошо приняли, а потом мы вышли погулять. И я снова очутился в Казахстане.

Но на этом родители не успокоились, они вырывали меня друг у друга, и, в конце концов, я снова оказался в Тбилиси, у бабушки и отца. Началась школа. Сначала мама навещала меня, потом мы переписывались, а потом мои письма стали возвращаться обратно: адресат выбыл.

У мамы тогда уже была другая семья. Отец сказал, что они переехали, а куда, он не знает. Разыскивать ее он не хотел. Мы тоже поменяли адрес и жили уже в другом доме. Короче, мы потерялись. Она должна меня найти, думал я. Она всегда меня любила, это я знал точно, чувствовал. Но почему же столько лет она не могла меня найти?!

И все-таки мы нашлись. Я был уже взрослым. Отец к тому времени умер, погиб в автокатастрофе, а у меня уже было все, что положено иметь уважающему себя человеку: хорошая работа, семья, ребенок.

Однажды поздно вечером раздался звонок. Звонил дядя, мы поговорили о делах, и он мимоходом сказал: «Знаешь, какое-то письмо принесли с России, ты когда к нам заедешь, возьми».

У меня сжалось сердце. Я решил ехать к нему в Загес прямо сейчас — это всего в двадцати километрах от города. Я побежал, поймал какую-то маршрутку — первое, что шло в этом направлении. Когда я приехал, все спали. Я перелез через ограду, зашел в дом, сел в кресло и начал думать. Я уже почти понимал, откуда могло быть это письмо.

Я сидел всю ночь. Потом проснулись родственники:

— Ты как сюда попал, что стряслось?

Они дали письмо, я открыл… Это было письмо от мамы. И номер телефона. «Надеюсь, что письмо тебя найдет, через столько лет…» — писала она. Конверт прошел через несколько добрых рук, как эстафетная палочка.

На следующий день я ей перезвонил. Она плакала, а я не знал, что сказать. Мы назначили встречу. Я ждал ее в июле 2008 года.

Мама не хотела лететь самолетом и отправилась из Сочи на турецком пароме — другого не было. Я приехал в Сарпи, на границу Грузии и Турции и ждал ее за кордонами пограничного пункта. Я увидел, как она отделились от толпы и смотрела по сторонам. Я заплакал. Она снова была со мной.

Я хотел, чтобы мама отдохнула на море. Мой друг Ираклий Какабадзе дал ключи от своего гостеприимного дома в Батуми. Мы устроились там на все лето.

Помню, однажды мне позвонили с телевидения и пригласили выступить на ток-шоу. Я оставил маму на попечение родственников и поехал в Тбилиси. Сказал: смотрите завтра передачу — и прочитал в эфире известный детский стишок: «Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я!» Она была тронута.

А через две недели началась война. Все были в шоке, никто не понимал, что происходит. Шли перестрелки, на Грузию сбросили несколько бомб… Я сажал маму на корабль «Михаил Светлов», последний теплоход, уходящий из Батуми в Россию.

Самое ужасное, что мы так до конца и не объяснились: что же произошло, почему она тогда сделала такой выбор? Почему она меня не нашла? Боль была настолько велика, что мы оба не решились об этом говорить.

Она уехала, а я помчался в Тбилиси… Добрался до вокзала, но поезда не ходили — на железнодорожный мост сбросили бомбу. Я взял маршрутку. На пути попадались машины, они возвращались обратно, говорили — дорога пе-

рекрыта, стреляют. Но шофер сказал — посмотрим, вернемся, если что. И мы проехали, повезло: на несколько часов объявили мораторий, чтобы вывезти раненых, и мы проскочили.

В Тбилиси была паника. Люди высыпали на улицы, беспорядочно бродили, стояли кучками... Никто не предупредил их, что делать, — оставить дома, на какое-то время укрыться в метро... Выступали первые лица государства, говорили — защищайтесь, кто как может.

Все смотрели на небо. Над городом летали российские военные самолеты. Это был кошмар, такое я видел только в кино. Слава богу, что не бомбили сам город, только стратегические объекты. Но ты же не знаешь, что у летчика в голове. Звук взрывающейся бомбы совсем не такой, как через усилитель телевизора. Он намного мощнее.

Когда я услышал рев самолетов, меня словно током ударило: я же об этом писал! Незадолго до этого, может быть, год назад... Странное вдохновенное стихотворение. Я помню, как оно пришло. Был светлый день, такой солнечный, я ходил-бродил по квартире, но что-то меня мучило. Появлялись слова — этот летчик... бомбы... Не видения, а какие-то мысли, которые требовали, чтобы я перенес их на бумагу. И я перенес:

У самолета, висящего в небе, словно
крест,
норов — по-мужски — крут;
у него есть пули в запасе вместо
слов, —
и пилот, улыбаясь гордо,
на бреющем — ранним утром —
проносится над блестящей лысиной города.

У самолета, висящего в небе, точно
крест,
по-мужски — горяча страсть;
петлей ли страшит он всю сволочь и бестолочь,
прочесывает цирюльником на вираже ли
завшивевшую голову власти,
скурвившейся и предчувствующей свое поражение.

У самолета, висящего в небе, словно
крест,
воля тверда — по-мужски;
у него есть бомбы в запасе вместо
слов, —
в нечестивых прицельными отстрелявшись,
на неправедных должное скинув,
вольной птицей ввысь — налегке — устремляется[1].

Война всегда ломает планы. Повидать маму мне больше не довелось. Но война ли нас развела? Я не знаю.

[1] Перевод с грузинского Максима Амелина.

Владимир Торчилин

Друзья

Рассказ

Прямого рейса Бостон—Москва нет. Так что сначала я летел до Вашингтона, а уж там пересаживался на рейс до Москвы. Было приятно в кои-то веки путешествовать бизнес-классом — компания, которую я время от времени консультировал, хотела, чтобы я ознакомился с работой потенциального партнера из России и высказал свои соображения, почему и уговорила меня слетать в Москву, подсластив пилюлю трехдневной отлучки и без малого суток в воздухе билетом в бизнес-класс. Хотя я, скорее всего, и так бы согласился — давно в Москве не был. Ну уж а бизнес-то классом тем более. Когда в Вашингтоне дежурная у ворот объявила посадку и пригласила пассажиров бизнес-класса проходить, я оказался одним из первых, выложил бумаги (поработать) и книгу (почитать) на свое место, забросил сумку наверх, уселся, принял заботливо поднесенный стюардессой бокал положенного шампанского, и стал ждать взлета. Салон быстро наполнялся, стюардесса сноровисто распределяла людей по местам, собирала пиджаки и куртки, раздавала шампанское и соки, пассажиры щелкали ремнями безопасности, тыкали в кнопки управления положением кресла, чтобы разобраться что там к чему — в общем, все как всегда. Постепенно расселись и угомонились. Вот-вот взлет. И тут я услышал, как пассажир с кресла точно позади моего, обратился к стюардессе. По его быстрой, четкой и очень хорошо понятной для меня английской речи я решил, что человек этот наверняка из Нью-Йорка, хотя и удивился, почему он в этом случае прямо из Нью-Йорка в Москву и не полетел — оттуда прямых рейсов тоже хватает. Но мало ли какие дела...

— Послушайте, — говорил он — ведь бизнес-класс на треть пуст. Вот как раз рядом со мной никто не сидит. Почему же мой товарищ из экономкласса не может ко мне пересесть? Не надо ему ваших напитков и еды. Пусть просто тут сядет. Понимаете, мы добрых пятнадцать лет не виделись, а вот тут в зале ожидания встретились. Нам поговорить хочется.

Торчилин Владимир Петрович родился в 1946 году в Москве, окончил химический факультет МГУ. Доктор химических наук, профессор, лауреат Ленинской премии в области науки и техники, работает директором центра наномедицины в Северовосточном университете в Бостоне, США. Прозаик, автор книг: «Странные рассказы» (М., 1995), «Повезло» (США, 1997), «Время между» (М., 2000), «Кружок друзей Автандила» (М., 2006). Последняя публикация в «ДН» — повесть «Лабух» (№ 5, 2009).

— К сожалению, не могу, — отвечала стюардесса. — У нас на этот счет очень строгие правила. Дело не в еде и напитках, а просто инструкция этого не разрешает, даже если свободные места есть.

— Ну а если не по инструкции, а по человечески, — настаивал голос сзади. — Ведь вам же все равно должно быть.

— Мне безусловно все равно, — соглашалась стюардесса. — Но есть правила, которые я обязана соблюдать, если не хочу неприятностей.

Голос настаивал. Стюардесса сопротивлялась. Попутчик из ряда позади продолжал уговаривать, явно при этом раздражаясь и переходя на повышенные тона. Стюардесса попыталась разрядить ситуацию самым простым образом — переложив проблему на кого-то другого.

— Извините, — сказала она, — вы явно не хотите понимать то, что я вам уже несколько раз объясняла. Давайте я вызову старшего стюарда. Может быть, он сумееет решить вашу проблему.

Она нажала кнопку вызова на верхней панели, и в ответ на мелодичный звонок почти мгновенно позади меня зазвучал новый голос — сильный и глубокий бас.

— Какая-то проблема?

— Видишь ли, Бен, — разъяснила стюардесса, — вот этот джентльмен хотел бы, чтобы на свободное место рядом с ним пересел его товарищ из экономкласса, а я пытаюсь объяснить, что по инструкции это не положено, а нарушать инструкцию мы не имеем права.

— Мелоди совершенно права, — согласился бас. — Мы действительно этого разрешить не можем. В этом случае любой из пассажиров экономкласса вправе предъявить такое же требование, а с пятью-шестью свободными местами в бизнес-классе мы для всех его выполнить не сможем. Поэтому инструкция этого и не разрешает во избежание общего неудовольствия.

— Но я же обратился с этой просьбой первым! — настаивал пассажир. — Почему же нельзя заполнить эти кресла по принципу кто раньше попросил, тот и получил. Что вы меня за дурака держите и какими-то неведомыми инструкциями кормите.

Манера спора со стороны соседа сзади становилась какой-то совершенно не американской, и я все-таки обернулся посмотреть на участвующих в конфликте лиц, хотя это и было несколько невежливо. Сюардессу я уже видел при посадке и ничего, кроме того, что ее, оказывается, звали Мелоди, добавить к своим впечатлениям не мог. Старший стюард по имени Бен оказался массивным афроамериканцем с копной волос, как было модно во времена Анжелы Дэвис. Споривший с ними пассажир был крепким светловолосым скуластым мужчиной лет сорока (похоже все-таки из России, подумал я) в свободной черной футболке с белой надписью «Калвин Клайн» на груди, светлых брюках и несомненным золотым «Ролексом» на руке.

— Я попросил бы вас не повышать на нас голос, — решительно сказал Бен, — и придерживаться правильного тона.

— Какого еще тона я могу с вами придерживаться, — возмутился сосед, — если вы не в состоянии решить простейшего вопроса! Неужели никто не может взять на себя минимальную ответственность. В конце концов, у меня золотая карточка много летающего на самолетах вашей компании. Дает она мне какие-то привилегии или это все очередное надувательство?!

— Привилегии вам эта карточка несомненно дает, — согласился Бен, — но вы-то их просите не для себя, а для другого пассажира. На это мы согласиться имеем право, только если этот другой пассажир ваша супруга или ребенок. Но ведь это не так.

— Возмутительно! — не согласился светловолосый. — Так вы будете терять клиентов и это справедливо.

— Хорошо, — Бен явно не хотел серьезного конфликта с обладателем золотой карточки, — я попробую поговорить с командиром корабля. Как он решит, так и будет. А то нам уже пора на вылет выруливать.

Бен подошел к двери пилотской кабины, нажал на кнопку справа, что-то произнес, отвернув лицо от салона, и был впущен внутрь. Обратно он вышел буквально через пару минут и направился к моему соседу сзади.

— Вот решение командира, — сказал он. — Просто так мы пересадить вашего товарища не можем. Однако он или вы можете заплатить прямо здесь разницу между эконом и бизнес-классом и тогда занять это место. Учитывая, что мы уже почти в воздухе, и место свободно, от вас потребуется оплата не полной разницы, а только пятидесяти процентов. Это шестьсот долларов. Если согласны, мне нужна кредитная карточка. Наличных мы не берем, а машинка для чтения кредитных карточек у нас на борту есть. Решайте немедленно. Времени у нас уже не остается.

— Черт с вами! — раздраженно бросил попутчик. — Заплачу, раз уж вы по-человечески решить такую простую проблему не можете. Вот вам карточка. Проводите платеж, а я пока своего товарища позову.

Бен решил на раздражение пассажира внимания больше не обращать и занялся карточкой.

Сосед вернулся почти мгновенно, но уже не один, а с тем самым товарищем, о котором шла речь, и стал его усаживать, адресуясь к нему чисто московским говорком (стало быть, угадал я правильно, хотя его английский был на диво хорош).

— Давай, Вовчик, садись вот тут. Никак я этих козлов нормально уговорить не мог. Задолбали своими инструкциями пиндосы поганые. Пришлось часть разницы оплатить. Ты только в голову не бери — это на мне. Так рад тебя встретить, что за это нескольких баксов не жалко. Садись, садись. Сейчас взлетим — оттянемся по полной и поговорим.

«Вот что значит дружба, — подумал я про себя. — Мало того, что все-таки перетащил дружка в бизнес-класс, так ему даже шестьсот долларов всего несколькими кажутся. Молодец парень».

— Спасибо, Серый, — отозвался невидимый мне Вовчик. — Кореш всегда кореш. И я рад тебя видеть. Сейчас за все годы наговоримся.

Бен и Мелоди ушли, а пассажиры затихли в креслах перед взлетом. Он не заставил себя ждать, и уже минут через пятнадцать мы были на нужной высоте, и Мелоди, которая, очевидно, была закреплена за бизнес-классом, вновь появилась перед нами и начала разносить первые порции напитков. Я взял апельсиновый сок — для вина время еще будет.

— Так, — раздался знакомый голос сзади. — Чего будем, Вовчик? Пожалуй, начнем со скотча, а потом пивком лакирнем. У вас какой скотч есть (это уже стюардессе)? Ну вот нам по две порции и водички со льдом.

— Ну, за встречу! — продолжил мой сосед сзади. — Надо же как получилось славно! Чтобы все у нас в порядке было!

По-видимому, выпили по первой дозе.

— А теперь, Вовчик, давай рассказывай, где ты, что ты, как ты, и все такое прочее. А потом я отчет дам. Ну, хоть частичный.

— Да особенно и рассказывать нечего, — заскромничал Вовчик. — Мы как тогда с той торговлей развязались, ну, ты помнишь, которую в Южном Порту утеряли, так я почти сразу сюда и подался. Чин-чином — бабки перевел, потом в местную экономику вложился, потом грин-карты мы всей семьей получили, потом…

— Подожди, — вклинился Серый, — ты ведь тогда на Милке был женат и у тебя уже короед был.

— Точно. Я и сейчас на ней женат. А короед уже в колледже. Восемнадцать уже. Осели мы под Остином в Техасе. Там у меня знакомый еще по Москве был. Он и помог на первых порах. Сначала-то деньги в банк, а сам попробовал недвижимостью заняться. И вроде неплохо пошло, но потом то тайфун, то смерч, то кризис — в общем, деньги вынул, добавил из своих запасов и вложился в турфирму неплохую с американским напарником. Так и идет. С золота не ем, но жаловаться грех. Сейчас вот кое-какие контакты с одной московской фирмой наметились. Хотим вместе центральноамериканский рынок осваивать. Вот и лечу поговорить, как и что. А по жизни — дом мы неплохой построили, по Европам всю дорогу мотаемся, летом в Ницце, зимой в Альпах. Весной-осенью и в Техасе неплохо. Свободные деньги в один хедж-фонд вложил, там знакомая баба из России заправляет. Даже в эти говенные времена процентов по пятнадцать годовых делает. Куда лучше-то? Вот так и живем, если в двух словах. А сам-то?

— Да все похоже. Я, правда, подольше тебя в Москве задержался. Конечно, риску побольше было, но и наварить успел неслабо. А потом кожей чую — валить надо, а то самого завалят. Я, правда, не сразу сюда. Сначала все на Кайманы перевел. Виллу там купили, все дела. Потом все-таки понял — Кайманы они и есть Кайманы, деньги там держать можно, а развернуться нельзя. Съездил туда-сюда на разведку — по всему, лучше чем в Штатах, нигде не осесть. Нашел под Вашингтоном одну строительную фирму — у них идеи хорошие были, а бабла не хватало. Так что я под свой пай нехилый кусок получил. А идеи ихние действительно отработали неплохо. Приподнялись мы круто. Контакты по всему миру завели. В России тоже. Сейчас вот торговый центр под Курском строим. Точнее, планировку делаем. Миллионов на сорок проект. И таких проектов у нас — от Канады до ЮАР. Под это дело только что туда на футбольный чемпионат смотался. И дело сделал, и футбол от души посмотрел. Давай-ка, кстати, еще по одной. Потом еще попросим.

Было слышно, как они чокнулись.

— А женился я уже здесь, в Штатах. Она местная, хотя родители из Италии после войны приехали. Хорошая девка. И водку жрать научилась — я те дам! Двое детей у нас — парень и девка. Погодки. Четырнадцать и тринадцать. В школе еще. В частной, естественно… Нормалек! А у тебя, кстати, в Москве все нужные связи есть? Знаешь ведь, как там… Если надо, могу с такими людьми сконтачить, что любую дверь будешь ногой открывать. Так, погоди минутку, давай эту девку с каталкой высвистим.

Раздался звук вызова стюардессы. Та тотчас появилась.

— Так, нам еще по два скотча и водички. А еду-то когда будут разносить.

— Еду принесем примерно через час. Вы можете пока меню посмотреть и выбрать, что хотите. А скотч сейчас принесу.

Принесла.

— Ну, еще по одной, — на этот раз говорил Вовчик. — Эх, хорошо пошла! Не, ну что про контакты, так в Москве вроде все схвачено. Сам могу с тобой поделиться. У нас в турбизнесе, конечно, проекты ценой поменьше, чем твои новостройки, но тоже бабки неплохие крутятся, а значит, и люди задействованы серьезные. Если что, то и тебе с удовльствием помогу. Баш, так сказать, на баш. Да и вообще...

— Хорошие ребята, — подумал я про себя, — а мы еще про этих новых денежных без уважения отзываемся. Смотри, как друг другу помочь готовы.

Беседа позади меня тем временем продолжалась. Друзья добавли еще по одной и перешли к обсуждению летнего отдыха.

— Слушай, — горячо убеждал Серый, — плюнь ты на свои семейные выезды. Бери бабу какую-нибудь клевую и давай на моей яхте пару недель по Карибам покантуемся. Я там места знаю — улет. А если никакой шалавы нет на примете, так я из Москвы высвищу. Там этого добра.

— Звучит! — соглашался Вовчик. — Давай, как вернемся — созвонимся. Мне надо свой календарь на лето посмотреть. Там и время скоординируем. Годится?

— Годится, — подтвердил Серый. — За такое дело надо еще пропустить.

И он снова вызвал стюардессу. Та принесла очередной заказ, который ребята позади меня утилизовали немедленно.

— Сам Бог велел продолжить! — убежденно сказал кто-то из них через минуту, и снова мелодично тренькнул сигнал вызова стюардессы.

Мелоди подошла быстро, но с очередным заказом возникли сложности.

— К сожалению, я не могу принять ваш заказ, — мягко произнесла девушка. — Наша инструкция не разрешает чрезмерного употребления алкоголя на борту, а вы уже разрешенную норму заказали. Извините.

— Ты что, выхухоль, с глузду съехала? — Вовчик заговорил почему-то по-русски. — Сказали — неси, значит, неси!

— Спокойнее, Вовчик! — притормозил друга Серый. — Они тут на этих инструкциях зациклены. Не понимают, с кем дело имеют. А связываться с ними себе дороже. Хрен с ней, пускай катится. У меня в сумке бутылка вискаря есть — я в дьюти-фри одну купил для подарка.

И на своем безукоризненном английском отпустил стюардессу:

— Ну если больше нельзя, то конечно. Спасибо. Мы обеда подождем.

Мелоди, явно довольная, что конфликта не возникло, удалилась. Сергей, тяжело ухватившись за спинку моего кресла, поднялся, покопошился в багажном отсеке над нашими головами и, достав, что хотел, победительно сказал:

— Ну как, Вовчик? Не их дерьмовому Джонни Уокеру пара, а?

Вовчик, по-видимому, достанное разглядел и оценил.

— Да, это вещь! Разливай!

Сзади забулькало. Оба выпили и сладостно задышали.

— Ну, еще по чуток и будем обед ждать.

Сзади опять забулькало и булькало долго — похоже, ребята не скупились и

наполняли скотчем уже не выданные им под первые порции стеклянные рюмочки, а пластиковые стаканчики из-под воды, и лили по самый край. Мимо прошел Бен и через минуту заговорило бортовое радио.

— Уважаемые пассажиры! Говорит старший стюард этого рейса Бен Кокли. Хочу довести до вашего сведения, что употребление на борту спиртных напитков из ваших собственных запасов категорически не разрешается. Вы можете пользоваться только тем, что предлагают вам бортпроводники.

Очевидно, что откупоренная Вовчиком и Серым бутылка от бдительного внимания команды не ускользнула.

— Ну, бля! — похоже, говорил Серый. — Ни хрена у этих пиндосов по нормальному нельзя. Свое пьем — опять плохо. Козлы поганые. Не то, что дома. Помнишь, как мы, когда в Ташкент с ребятами летели, нажрались? Игорехе по трапу на руках спускали и об ступеньку долбанули. А он потом даже вспомнить не мог, где так расхерачился!

— Это когда с нами еще девки летели? Ну, эти из планового отдела, как их там... Светка вроде... А как вторую звали — забыл...

— Во-во. А вторая Ирка была. Она потом еще к Сидору на фирму перешла.

— Теперь вспомнил. Ох и отвязались мы тогда с ними в Ташкенте. Ты же вроде на Светку тогда глаз положил.

— Вроде! — возмутился Серый. — Не вроде, а я ее именно для себя и вез. А вот ты к ней клеиться начал еще в самолете.

— Да на ней же на написано было, что она для тебя!

— А чего писать, если я тебе русским языком сказал.

— Не помню уже...

— Не по-о-омнишь! — Серый явно заводился. — Как не помнишь, когда я тебя потом в гостинице чуть с балкона не выкинул, когда ты ее тискать полез.

— Тоже мне — тискать! Ну прижал разочек для общего кайфа. А ты завелся.

— А хрен ли ты, козел, слов не понимаешь! Конечно, надо было тебя тогда не с балкона кидать, а отмудохать по полной программе, чтобы знал, куда клешни совать можно!

— Ага, отмудохал один такой. Пока шутки были, я особо и не возникал, а если бы ты всерьез из-за этой шалавы полез, я б тебе такое «отмудохать» показал, что всю командировку в номере бы отлеживался.

— Показал бы, как же! Забыл, что ли, как я тебя с одного удара тогда на пикнике завалил. Ты еще возникал из-за контракта с Тулой.

— Хрен бы ты меня завалил, если бы сзади по-бздливому не ударил! А контракт тот мудацким был с самого начала! Сколько мы на нем потеряли? Тото! А если бы вместо того, чтобы кулаками махать, ты хоть немного свою извилину напряг, которая не в заднице, заработали бы!

Разговор уже шел на повышенных и чувствовалось, что показавшаяся по началу такой трогательной дружба начинает трещать прямо на глазах. Или на ушах. Я бы, конечно, с удовольствием это прослушивание прекратил, но деваться было некуда.

— Как же, «заработали бы»! На твоих советах мы от мертвого осла уши бы заработали!

— Раззвезделся! Именно на моих советах и зарабатывали. А ты только пикники устраивал — водку жрать да с бабами кувыркаться. Бизнесмен хренов!

— Это тебе просто завидно, что Светка тебе не дала! А вот мне точно надо было тебе по полной дать, чтобы к чужим бабам не лез.

— Попробовал бы! Я б тебя хоть в номере, хоть в лесу так бы оприходовал, что Светка и не узнала бы!

— Узнала бы, не беспокойся. Просто кончать тебя мудака надо было, да не стал руки марать.

— Меня, бля? Да я...

Появилась Мелоди. Поскольку я звонка вызова стюардесса не слышал, то похоже было, что кто-то из пассажиров просто сходил к ней и пожаловался на явно конфликтный шум, достававший всех с двух кресел позади меня.

— Господа! — по возможности мягко обратилась Мелоди к разбушевавшимся друзьям. — Вы не могли бы беседовать немного потише, а то другим пассажирам хотелось бы отдохнуть.

— Да иди ты, курва! — Похоже, это был Вовчик.

— Затихни, козел! — сохранил остатки рассудительности Серый, который тут же ответил стюардессе хоть и заметно пьяным голосом, но на по-прежнему безукоризненном английском, правда, очень медленно подбирая и выговаривая слова: — Извините... нас... Вот... видите... старого... друга... встретил... и... под... это... дело... немного... отметили... Но... все... будет... в... порядке...

— Конечно, конечно. Вы просто потише беседуйте, и никаких проблем.

— Все — затихаем.

Интересно, что за время этой короткой беседы Вовчик, похоже, и правда затих, и сзади до меня даже донеслось отчетливое всхрапывание.

— Нажрался, мудильник, — неодобрительно произнес Серый.

Но, по-видимому, и его стало разбирать, поскольку больше никаких слов или комментариев не последовало, и через пару минут друзья сзади храпели уже на два голоса. Я повернулся посмотреть — черноголовый Вовчик свисал налево, светловолосый Серый — направо, и их склоненные одна к другой головы мирно покачивались в так движению самолета.

К обеду друзья не проснулись, а Мелоди благоразумно будить их не стала. После еды я и сам задремал, так что обратно к полноценной жизни мы все вернулись, когда командир корабля по громкой связи объявил, что мы входим в последнюю фазу полета и меньше чем через час должны приземлиться в Домодедово.

— Ой, бля, как же самогон этот херово на высоте действует! — прохрипел проснувшийся Вовчик.

— И не говори! — согласился Серый. — Ну ты как, похмеляться будешь? Позвать эту дуру с бутылками?

— Да ну его на хрен. Давай лучше по стаканчику тоника — горло смочить.

— Пожалуй.

Получили затребованный тоник и мгновенно высосали его громкими жадными глотками.

— Фу... Вроде полегче.

— Это точно...

Дальше заговорили уже почти нормальными голосами.

— Сушай, Вовчик, а ты где в Москве останавливаться-то будешь? Могу тебя в один очень приличный шалман пристроить. Про него мало кто знает, но место отличное. И в центре.

— Спасибо, Серый, но меня партнеры в «Балчуг» уже заселили. Там тоже неплохо, тем более что мы там и конференц-зал засняли потолковать, чтобы по офисам не мотаться.

— А, ну тогда другое дело. Только все равно надо бы пересечься на земле и по нормальному оттянуться. А то когда в Штатах еще столкнемся. Ты долго здесь кантоваться будешь?

— Да дней десять, думаю. А ты?

— И я примерно столько же. Да и стариков надо повидать. Так что я тебе в «Балчуг» звоночек-то сброшу. Раз уж так здорово встретились, надо продолжить.

— Заметано! Да, и на мою визитку возьми. Там мобила тоже есть. Можешь и на трубку звонить. Да — встреча так встреча.

— И мою визитку возьми. Я у ребят поспрошаю, где тут сейчас лучшие места. Из них и выберем. Дня через три-четыре. О'кей?

— О'кей!

Ребята затихли, собираясь перед посадкой. А я думал, как оно повернется в том ресторане, куда они соберутся. Какие еще всплывут у них воспоминания, и чем обсуждение этих воспоминаний закончится, и станут ли их останавливать официанты так же заботливо, как Мелоди в самолете.

Впрочем, настоящей дружбе никакие воспоминания не страшны...

Александр Образцов

Рассказы

Крылья

Он никогда не успевал завтракать. Его соседи по комнате вставали по будильнику, и он слышал сквозь сон, как они пьют прямо из горлышка купленный с вечера кефир, включают радио с идиотской песенкой «на зарядку, на зарядку, на зарядку станови-и-ись!», от которой вполне можно было сойти с ума, если бы по воскресеньям утренний сон не был всеобщим, затем громко кричат на прощанье: «Вставай, живой труп, мы уходим!» Даже это, последнее, было донельзя затасканным и, может быть, возмущение, которое оно в нем вызывало, и выдавливало сон окончательно. Но он выдерживал еще минут пять.

Затем вскакивал, лихорадочно одевался, бежал с полотенцем в туалет, на ходу зашнуровывал туфли, бросал в портфель тетради без разбору, толстенный «Англо-русский словарь» и хлопал дверью.

Щелкал замок.

Он бежал через две, три, даже четыре степуньки со своего шестого этажа, затем чертыхался, бежал обратно, нервно шарил плоским ключом в замке, врывался в комнату, распахивал шкаф и из кармана пиджака выгребал мелочь, а из внутреннего кармана — студенческий билет, где он хранил купюры достоинством не выше 10 рублей, потому что выше у него никогда не бывало.

На тротуар он выскакивал с сумасшедшими глазами и искал вдали по проспекту автобус «ЛАЗ», который должен был назло ему отойти с остановки за полквартала сзади.

И он отходил.

В таком случае он не спеша шел и закрывал глаза от бешенства, потому что следующий автобус, опять же назло ему, не появлялся еще десять минут.

Затем он ехал, уже безразлично держась за поручень, потому что сделал все, что мог, и движение автобуса абсолютно не зависело от его эмоций.

На факультет он мчался, на ходу расстегивая пальто, пряча шарф в карман, в гардеробе парализовывал старушек взглядом и рвал из рук номерок.

Затем подбегал к доске расписаний занятий и никак не мог найти номер аудитории, потому что за два года обучения ни разу не удосужился переписать расписание в записную книжку, которой, кстати, у него не имелось.

Александр Образцов — петербургский писатель и драматург. Спектакли по пьесам А.Образцова поставлены в Петербурге, Москве, Риге, Тбилиси, Цюрихе, Кельне, Гранд-Рапидсе (США) и других городах и странах. Выпустил несколько книг рассказов. Публиковался в журналах «Новый мир», «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Грани», «Нева», «Звезда» и других периодических изданиях. Премия Сергея Довлатова в 2003 году за лучший рассказ. Первая премия за пьесу «Пятеро» на конкурсе к 60-летию Победы. В «ДН» печатается впервые.

Последний бешеный галоп по лестнице, коридор или два коридора бегом на цыпочках, от чего, как он ни удивлялся этому каждый раз, топот слышался не меньше и — белая дверь с аккуратным до издевки, медным, в форме эллипса, номером на притолоке.

Здесь он задерживал дыхание, неестественно складывал губы в виновато-простоватую полуулыбку, нагонял дымку на глаза и тихонько скрипел дверью.

И все это переменилось.

Стоило ему один раз встать вместе с соседями по комнате, выпить припасенную бутылку кефира с двумя булочками выборгской сдобы, стоило выйти из общежития и, вспоминая вчерашний фильм — «А помнишь, какая у него рожа была, когда тот ему говорит...» — хохотать во всю мощь девятнадцатилетней глотки, стоило ему прорваться в автобус и оглянуться за заднее сиденье, как он понял, что будет вставать рано и пить припасенную бутылку кефира и в это самое время, в 8 часов 15 минут по-московскому, будет садиться в автобус и оглядываться на заднее сиденье.

Она была в коричневой меховой шапочке и в коричневом пальто с коричневым меховым круглым воротничком из шкуры однородного морского ли, речного или сухопутного животного. На коленях у нее лежал черный блестящий портфель. Глаза ее смеялись, а губы были такие алые, что в салоне пахло яблоками. Его толкнули в спину, но он вцепился в поручень и встал боком к пассажиропотоку. Все стихло.

Пропел мотор автобуса, и люди стали петь. Они пели мучительно-сладко и разнообразно. Две пожилые красивые женщины пели о муже-болельщике одной из них, кондукторша пела о прекрасных билетах, соседи по комнате пели о вчерашнем фильме и зачетах, мотор пел басовито и ликующе, забираясь все выше и выше.

И только она молчала. Потому что все пели для нее.

Мотор сделал паузу, завизжали двери и вокруг стали толкаться. Ее заслонила чья-то синяя спина, и он возненавидел синий цвет. Возненавидел синюю ткань и людей в пыжиковых шапках. Полюбил коричневый цвет и черные блестящие портфели. В муках ненависти и любви сменились четыре действия, четыре раза визжала дверь. На пятый коричневая шапочка мелькнула на выходе, и стало пусто.

Двадцать три дня, включая воскресенья, он садился в автобус в восемь часов с копейками. Он, как бурав, прошивал автобус по проходу до кабины водителя. Ее не было.

На двадцать четвертый день, в пятницу, в снежное утро, он ослеп.

Оглянувшись на заднее сиденье, на предпоследнее сиденье и на сиденье напротив предпоследнего, он ввинтился плечом по ходу движения и слышал: «Послушайте!..»

Глаза их встретились.

Он сказал: «Извините...»

И ослеп.

Поэтому весь день он двигался ощупью в темном, как чулан, мире. Вместо людей были медузоподобные тени, дома странно рушились в небо, в ушах не смолкала какофония слов и скрежета земной оси.

Мир рушился на него до понедельника.

Она снова сидела на заднем сиденье, видимо, ездила от кольца. Он не знал,

где, как и когда извиниться за пятницу и ненавидел свое лицо. Ему казалось, что он урод, и с ним не то, что разговаривать, а и смотреть на него противно. Так он возбуждал себя и смотрел на нее вскользь, чтобы она не заметила его уродливого лица и нахального взгляда. Короче, чтобы ей не было противно посмотреть на него даже мельком.

Но ее лицо тянуло его, как магнит, и он молил Бога, чтобы она не заметила его взгляда.

На четвертой остановке она его заметила и улыбнулась. В ее взгляде было удивление, она была даже польщена тем, что на нее так робко смотрят.

Но он увидел вместо этого то, что думал увидеть. Он увидел, что она все помнит и не простит ему никогда.

На пятой остановке он немного тронулся рассудком и соскочил за ней следом.

«Что я делаю?» — с ужасом подумал он, но его тело двинулось за нею, а его отвратительный дрожащий голос произнес:

— Вы очень сердитесь на меня за ***то***?

Она оглянулась и остановилась от удивления:

— За что — за ***то***?

— В пятницу я нечаянно толкнул вас, — сказал он, отводя глаза, и еще раз подумал: «Что я говорю?!»

— В пя-ятницу? — переспросила она и засмеялась.

Она смеялась, как смеются ангелы, нет, ангелицы, высокопарно подумал он и продолжал:

— Мне казалось, что вы до сих пор меня... ненавидите...

— Ва-ас? — снова протянула она.

Лицо у нее было такое слепящее, что у него начали слезиться глаза.

Он не мог долго смотреть на нее, а только взглядывал.

— Почему это я должна вас ненавидеть? Я, может быть, даже люблю вас за это сумасшествие, если только оно не подстроено.

И она нахмурилась.

Он посмотрел в эти нахмуренные глаза и, когда смысл ее слов проник туда, где только что звучало «что я говорю?!», то он заглушил вопрос, как крик глушит шепот, и под лопатками начало биться что-то горячее. И он понял, что это крылья.

Способы обольщения женщин

1. Седая девушка

Когда мне было восемь лет, я влюбился в китаянку.

Это случилось в кино. Я, как всякий второклассник, взял билет за пять копеек и улегся на пол перед первым рядом. Надо мною на уходящем ввысь экране начала разыгрываться потрясшая меня история девушки. Она столько всего испытала, бедняжка, от японцев и своих предателей, что к концу фильма стала совершенно седой.

Мой друг, первоклассник Саловаткин Витя, лежал с ангиной. Я пришел в гости и в лицах, завывая и дрожа голосом, начал рассказывать китайский фильм.

Мама Саловаткина была председателем родительского комитета. Она выслушала мой монолог, накинула шаль и бросилась в школу.

Вскоре я рассказывал историю седой девушки на совете дружины.

Учебный год заканчивался. 1952 год проходил под флагом борьбы корейского народа и китайских добровольцев против американского агрессора. Газета «Амурская правда» опубликовала заметку «**Взволнованное слово пионера**». Там я был назван Славой, но события были изложены верно. За исключением того, что районо попало в идеологическую ловушку: в пионеры мне было рано, но газета обкома партии уже произвела меня в таковые.

Делать нечего. Собрали школьную линейку и повязали мне пионерский галстук.

Этим дело не закончилось. Газета «Пионерская правда» напечатала маленькую статью под названием **«Самый юный пионер Страны Советов и «Седая девушка**». Заведующий Джелтулакским районо осетин Майрам Николаевич Джиоев слег с инфарктом.

Газета ЦК КПК «Жэньминь жибао» в ответ напечатала статью **«Советский пионер смотрит фильм китайских кинематографистов о подпольщице Народно-освободительной армии Китая»**.

В конце марта в наш поселок примчалась «Победа» райкома партии и меня повезли на станцию Большой Невер (сорок километров по сопкам с ветерком!) и там я вместе с выздоровевшим Майрамом Николаевичем сел в поезд «Москва—Владивосток» (стоянка поезда две минуты) и поехал в Хабаровск.

В Хабаровске к нам присоединился первый секретарь крайкома ВЛКСМ Олег Белоглазов и мы на самолете «ИЛ-14» начали разбег.

Самолет оторвался на полтора метра и упал на выпущенные шасси в капустное поле.

Нам срочно подали другой. Мы взлетели на Мукден.

В Мукдене (нынешний Шэньян) мы сделали посадку.

Олег Валерьянович сказал, что нас должен был принять премьер Чжоу Энь-лай, но так как наш самолет упал в капустное поле, прием отменяется, и мы должны ехать в город Чанчунь, на центральную китайскую кинофабрику.

Когда мы на поезде приехали в город Чанчунь, нас встречали на улицах толпы китайцев в синей форме. Я здорово испугался.

Нас привезли на черной машине к какому-то дворцу. Там в зале было еще больше китайцев, чем на улицах. Меня повели на сцену. Все аплодировали.

Потом все повернулись и стали аплодировать какой-то женщине-китаянке, которая шла по проходу к сцене.

Когда она подошла ко мне и протянула руку, я понял, что это «седая» девушка.

Только какая же она седая? Она черная! И стриженая!

И здесь я вдруг зарыдал от обиды. Значит, она не поседела от страданий! Значит, все было понарошку!

Китайцы не поняли моей обиды и принялись аплодировать еще сильнее. Многие плакали, как и я.

А у «седой» девушки были злые глаза: она поняла, что я ее уже больше не люблю.

2. Возвращение

Меня встречал весь поселок. Я даже испугался и забился в угол «Победы». Но Майрам Николаевич взял меня за ухо и предъявил проносящейся по сторонам шоссе толпе посельщиков.

В дальнейшем Майрам Николаевич довольно долго сопровождал меня в различные поездки, поэтому я расскажу о нем подробнее.

Говорили, что по национальности он осетин. Национальность я понимал тогда как способ расцветки. Евреи, азербайджанцы, корейцы возбуждали во мне зависть. Как же! Я ведь всего только русский. А они еще и евреи, азербайджанцы, корейцы...

Майрам Николаевич был осетин, и это другое дело. Майрам Николаевич в прошлом году был в нашей школе учителем истории. О нем рассказывали ужасные вещи. После уроков он дрался с девятиклассником Сергеевым, который играл в поселковой футбольной команде в защите. Когда Сергееву мяч попадал на ногу, он бил его так высоко, что все задирали головы и он долго еще падал за центром поля. Он так скакал после этого, что никто из противников не мог его остановить.

Сергеев жил в бараке под клубом со своими братьями и матерью-уборщицей.

Говорят, что Майрам Николаевич загнал Сергеева в директорский кабинет и закрыл его на ключ. Утром Саловаткин Витя пришел в школу раньше всех и видел оскаленное лицо Сергеева, который тряс решетку в окошке над директорской дверью.

Еще Майрам Николаевич очень любил бросаться мелом. Однажды он попал в лоб красавице Потокиной из шестого класса.

3. Слава

Потокина подошла ко мне в школе и внимательно рассмотрела.

Я также снизу рассмотрел ее. Никакого шрама на лбу не было. Лоб был белый-белый. А глаза серые. Я перевел взгляд вниз — у нее и валенки были серые. В серых валенках ноги не мерзнут, не то что в черных.

— Совсем маленький, — обидно сказала Потокина подруге. — Везет малышам.

Тогда я рассказал им о том, как самолет падал в капустное поле.

Они слушали, раскрыв рты.

На следующей перемене Потокина с подругой ждали меня под дверью класса. Я рассказал им о толпах китайцев на улицах Чанчуня и о «седой» девушке со злыми глазами.

После уроков они снова ждали меня и чуть не подрались из-за моего портфеля — каждая тянула его к себе.

Мне не хотелось, чтобы мама видела меня с большими девочками. Сам не знаю почему. Поэтому я отправил Потокину и ее подругу Светку учить уроки, а сам забросил портфель на кровать и пошел в клуб.

Меня просто распирало от желания кому-то что-то рассказать.

Пацаны собирались у клуба на саблях. Клуб был на склоне сопки и к нему

вела громадная лестница из досок. Внутри лестницы оборонялась рота пехоты. А снаружи лестницу штурмовал десант. Сабли мы резали из маленьких лиственниц на Школьной горе. Перед каждым сражением мы тщательно проверяли длину сабель, подставляя их одна к другой. Любое прикосновение саблей к телогрейке или шапке считалось смертельным. Споров не возникало — сейчас мне кажется это самым странным.

Но пацаны восприняли мои попытки рассказать о поездке в Китай совершенно равнодушно — им не терпелось начать сражение.

Именно тогда я понял навсегда, что единственными слушателями являются женщины.

Мужчины — враги культуры.

Однако нельзя было пользоваться своим преимуществом в этом направлении, это я тоже понял. Иначе можно напороться на презрение. Лучше оставаться рядовым бойцом в команде победителей.

А свои успехи у противоположного пола надо не замечать и не ценить. Это как хорошая погода.

4. Потокина

Пока происходили эти события, мне внезапно, к моему большому счастью, исполнилось девять лет. Не нужно объяснять, что я немедленно и безумно влюбился в двенадцатилетнюю Потокину.

После стриженой китайской подпольщицы, которую я любил в восемь лет, это было сдачей позиций. Но я уже знал из рассказов пацанов, что женщины живут совсем не так, как их показывают в кино. Например, биологичка Новикова часто приходит на уроки с фингалом: так ее любит муж-бульдозерист.

Мне показалось странным, что от любви получаются фингалы, но я не стал расспрашивать старших пацанов, а нашел на папиной этажерке книгу Декамерон и углубился в чтение.

Многие места были непонятны. В частности, о поцелуях. Там говорилось, что от них кружится голова и дамы падают в обморок. Меня по нескольку раз в день целовала бабушка в Иркутске на каникулах, и мама не пропускала, чтобы не чмокнуть, но я не то что обморока — кроме щекотки ничего не чувствовал.

Потом то, что они друг с другом делали. Я долго размышлял, представлял, анализировал. Но ничего не выходило. Не хватало какого-то важного человеческого органа. Во всяком случае у меня не было такого, чтобы женщины от этого рыдали и стонали.

Можно, конечно, заломить руку, но вряд ли им это понравится.

Я мог поспрашивать у одноклассника Белоусова, который часто рассказывал истории о соседках по бараку. Но, повторяю, мне не о чем было говорить с мужской половиной. И нельзя было никого расспрашивать. Я сам должен был знать все.

А Потокина, пришло мне в голову, она знает о женщинах? Надо будет рассказать ей Декамерон. И косвенным способом прояснить неизвестные мне детали.

5. Свидание

После первого урока я подошел к шестому классу. На меня уставились все девчонки без исключения.

— Лера, можно тебя на минутку? — сказал я, поприветствовав шестиклассниц жестом китайских добровольцев.

Потокина вспыхнула от радости и отошла со мной к окну, за фикус.

— Я тут прочел интересную книжку, — начал я, — называется Декамерон. Не читала?

— Нет, — испуганно сказала она.

— Ничего, я тебе ее расскажу.

— Ой, а когда?

— У тебя мама когда с работы приходит?

(Мама Потокиной работала в продснабе, а папы не было.)

— В шесть.

— Значит, я после школы зайду домой, а потом приду к тебе.

— Ладно! — сказала она радостно.

— Только ты никуда не уходи.

— Ждать буду! — сообщила Потокина громко, высунувшись из-за фикуса к своим.

У них было все на гвоздях. Висели плечики с платьями на газетах, чтобы не пачкались об известку, висел круглый картонный репродуктор на белом от извести гвозде, висели фотографии под стеклом, где Потокина была еще не красавица, удивленная и голопупая.

— Так, — сказал я. — Чаишко у тебя не найдется? Поставь, а я пока начну тебе рассказывать о Рустико и Алибек. Если что-то непонятное встретится, ты не стесняйся, спрашивай...

Что-то в моем рассказе показалось Потокиной удивительным. Она покраснела.

— И так понравилось Алибек загонять дьявола в ад, что Рустико похудел и от усталости не мог больше этого делать. И очень обрадовался, когда за Алибек приехали родственники... Все понятно? — спросил я.

— Да... — ответила она сдавленным голосом.

— Интересно, — сказал я без всякого любопытства, — и ты знаешь, где этот ад?

— Ну... — сказала Потокина и отвернулась. — Здесь...

— Где? — продолжал настаивать я.

— Ой, да это еще в садике... — раздраженно начала Потокина и ткнула рукой вниз: — Здесь.

Мне стоило усилий не показать свое удивление и спросить, как о чем-то несущественном:

— А дьявол, выходит..?

— Там! — развеселилась Потокина, покончив со своей половиной задачи и направила палец мне в штаны. Я поежился.

— Здорово вас учат в садике, — сказал я как ни в чем не бывало. — Теперь я расскажу о дочери султана, тебе интересно?

— Еще бы! — воскликнула Потокина. — Ты меня просто удивляешь!

— Чем?

— Тем, что ты такой маленький, а ужасно умный!

— А ты уже целовалась по-настоящему? — задал я самый главный вопрос, потому что ее ответы про дьявола и ад посчитал шуткой.

— Нет, я только слышала.

— Я тоже.

Мы замолчали.

— Хочешь попробовать? — не вытерпела она.

— Давай, — сказал я, но не пошевелился.

Она приблизила ко мне свои серые испуганные глаза и коснулась своими губами моего рта. Ничего особенного, одна щекотка.

— Странно, — сказал я. — Почему они от этого теряют сознание?

— Не знаю, — честно ответила Потокина.

Мы еще посидели.

— Там пишут, что они языки высовывают, — сказал я.

— Это же смешно! — возразила Потокина. — Я слышала, что рот надо открыть.

— А что же ты не открыла?

— Но ты же все знаешь! Такие мне истории рассказал, что я чуть не описалась!

— Знаю, — согласился я. — Но мне интересно, насколько ты это знаешь.

— А ты по-настоящему целовался?

— С кем? — горько спросил я. — Может, с биологичкой Новиковой?

Потокина заржала.

Потом, все еще хохоча, она обняла меня за шею и прижалась открытым ртом и стала сосать мои губы! Я чуть сам не описался!.. А потом мне стало действительно как в Декамероне. У меня голова закружилась! Сердце застучало! Глаза закрылись!

— Вот это да... — сказал я. — Хорошо, что ты первая.

— Ой, да хоть сколько, если тебе так хочется!..

Домой я вернулся такой... Уроки учить не стал. Да меня и не вызывала учительница Мария Михайловна. Только пятерки ставила за ответы с места.

6. Светка

Подруга Потокиной Леры, Светка жила на Стадионном краю поселка, ниже нашего дома.

Ее мать приносила нам молоко в трехлитровой банке.

После моего возвращения из Китая Светка стала приходить вместе с матерью и рассматривать нашу кухню.

Если Потокина была худенькая, тонкая, то Светка Сахно в шестом классе уже была круглей всех. Может, молоко пила и теплым хлебом заедала.

Моя мама никак не могла понять, почему она ходит к нам. Но иногда соглашалась послать ее за хлебом или покараулить кашу.

Я знал, что Светка ходит из-за меня, но сравнить ее с Потокиной?.. Даже мысли такой у меня не возникало. Но наши встречи с Лерой у нее дома как-то

сами собой прекратились. Целоваться с ней мне было разрешено, однако разговаривала она уже без прежней преданности.

Зато Светка стерегла каждый мой взгляд. У нее были такие ответные взгляды, что сбивали меня с мысли.

И еще она была горячая, как печка. На улице мороз сорок, а она бегает в не застегнутом пальто. Но цвет лица у нее был не свекольный, как сказала мама, а румяный.

Вот только ее толстота... Мне казалось, что все девочки должны быть такие, как Потокина.

Когда я сидел на коленях у Леры и мы целовались, то я не думал о том, на чем я сижу и что обнимаю: вся жизнь в эти моменты была в ее рту и глазах, которые иногда открывались и вопросительно смотрели на меня.

Поэтому к толстоте Светки я относился с каким-то презрением. До одного вечера, о котором сейчас расскажу...

7. Вечер

У нас на золотом руднике работали бамовцы. Еще до войны они строили железную дорогу к Якутску, и было много лагерей на Крестовке, на Янкане. А потом работали в шахте.

Иногда они бежали из лагеря домой.

Я видел, как их везли на Алдан в машинах с автоматчиками и колючей проволокой на бортах и не мог представить их жизнь в лагере. Мне казалось, что там примерно так, как в бараке.

Когда они бежали из лагеря домой, в поселке вечером детей на улицу не пускали.

Так и в тот вечер. Родители пошли на день рождения в субботу и попросили маму Сахно, чтобы Светка переночевала у нас.

Я, конечно, уважаю своих родителей, но допустить такое — это значит пустить лису в курятник.

Печка еще не догорела, там гуляли синие огоньки, а она торопила меня закрыть заслонку. Как будто собиралась красиво погибнуть вместе, чтобы вся школа только об этом и говорила.

Она не настаивала. Ее лицо у раскрытой дверцы было просто малиновым. И глаза неподвижно смотрели на истекающие светло-алым соком огня формы поленьев.

Глаза у Светки были зеленые. Мне пришлось не согласиться с прежним своим отрицанием: она была по-другому, чем Потокина, женская.

Но я ждал, что она придумает.

Потокина была готова к выполнению заданий, а эта что-то готовила сама. Она как будто была, как на уроке химии — постоянно перемешивала одно с другим. Я был для нее самым необычным материалом.

Если бы я разбирался, то Светка с большим наслаждением раскрутила бы меня гаечным ключом, как велосипед. А так — печка догорела окончательно, мы поднялись на затекшие ноги и Светка сказала:

— Я закрываю, — и она задвинула заслонку (или заслонила задвижку — так я тут же сказал ей, от чего она чуть не потеряла сознание). — Пошли.

— Куда?

— Ложиться спать.

— Еще рано. Я хочу порисовать.

— Там порисуешь.

— Где?

— В постели.

— Там неудобно.

— Я помогу.

Я с удивлением посмотрел на нее. Даже Потокина не смогла бы сказать так красиво.

— Ты в моей кровати не поместишься, — сказал я.

— Мы ляжем на родительской (ей постелили на полу).

— Они заметят.

— Я снова все расправлю. Скажем — баловались.

Я был просто в восхищении! Она была значительно интереснее Потокиной!

— А для чего нам ложиться вместе? — спросил я.

— Чтобы ты не боялся.

— Тебя?

— Нас.

Мое детское сердце было покорено. В дальнейшей жизни я уже не встречал такой собеседницы. Я потянулся снизу поцеловать ее. Она села на стул, по-хозяйски поставила меня между ног и по-настоящему поцеловала меня.

— Тебя уже, оказывается, попробовали, — сказала Светлана ревниво. — Неужели Лерка?

— Я ей рассказал Декамерон.

— Это что?

— Книга. Давай я тебе прочту.

— Не надо. Лучше расскажи.

— У одного сеньора была распутная жена...

— Давай лучше лежа.

Дальше было так: я рассказывал, а она показывала.

До сих пор я помню наши трудные и мучительно-сладкие уроки. Ее светло-алые глубины тела сочились огнем. Я наконец понял, что все, связанное со стонами и рыданиями женщин у меня есть — это писька, которую я использую пока только в одном предназначении. Всему свое время.

8. На слете

Одной из первых поездок с Майрамом Николаевичем была поездка на Всесоюзный пионерский слет в Москву на зимние каникулы. Я был избран на долгие годы вперед сначала от Амурской области, а потом от всех последующих.

Иногда я пугался по ночам, что лишусь своего дара, не смогу говорить интересно. Но наступало утро и я был неисчерпаем, как родник у Кислицыных. У них прямо у крыльца била жилка ледяной воды.

Мне только мешало, когда среди слушателей не было ни одного умного человека.

И дома я не мог говорить интересно, потому что мама с папой посмеива-

лись над моими успехами. Они любовно считали меня маленьким обманщиком. Ничем я не смог в дальнейшем их переубедить. Они так и скончались в полной уверенности, что родили жулика.

На слете в Доме советов у Театральной площади мне дали текст речи.

Я прочитал и сказал, что это скучно, я лучше сам. Майрам Николаевич приготовился взять меня за ухо (делал это до седьмого класса, пока не сбила машина), но московский смешливый дяденька с пионерским галстуком вдруг заинтересовался и сказал, чтобы я попробовал сам.

Я тут же сказал речь. Он удивился и пригласил тетеньку в красном галстуке и старого большевика с палкой.

Они выслушали меня (это была уже другая речь, о чем возбужденно сказал смешливый дяденька), и все посмотрели на старого большевика. «Троцкизм» — сказал он с раздражением. Но потом погладил меня по голове и сказал, чтобы я учил текст.

В дальнейшем выучивание текстов стало для меня причиной склонности к алкоголю.

Но на слете я чуть не опозорился. Выученная речь куда-то провалилась в меня и осталась одна черная яма вместо нее, как в уборной.

Я стоял молча, в зале начался шумок, я решил, что больше мне никуда не ездить и вдруг отчеканил такое, что президиум встал и аплодировал стоя.

9. Поселок

Никто не знал, как мне удалось стать таким ловким рассказчиком. А сейчас скажу, ладно. В семь лет я внезапно поумнел. Думаю, что это было связано с пейзажем.

Школьная гора рассекает поселок на две части. Она как трамплин. Я забрался туда в сентябре, после первого дня в первом классе, было тепло, желтые от осенних лиственниц сопки были ниже и окружали меня со всех сторон, змеясь уже синеющими хребтами к Якутии и Тихому океану (еще одной моей страстью была география).

Школьная гора была невысока для меня потому что она вытекала из самого высокого янканского хребта и на его подножии стояли дома начальства прииска и на самом верху — школа. А я стоял на тропе среди кустов багульника, как будто завис на парашюте и мог любоваться каждым домом, улицей, речкой, человечками внизу.

Я так сильно любовался пейзажем, что вдруг заговорил.

Я не успевал удивляться словам, которые лились.

Меня никто не слышал: дымилась сорокаметровая труба электростанции под Станционной горой, за Второй Станционной горой (вместе их называли Грудь Марии, я думал, что в честь Марии Михайловны, нашей учительницы), как в пейзаже за Моной Лизой клубились неизвестные лесные, речные и дорожные дали, и солнце заглядывало к нам между сопок, как в свой дом, где у него нет времени отдохнуть — дела.

Юрий Каграманов

Крик Майастры

Перспектива консервативной революции в Европе

Европа, стань собою!
Иоанн-Павел II

В истории Европы идеологи, именуемые радикальными правыми, всегда — будем считать от Жозефа де Местра и Луи де Бональда — оставались маргинальной величиной. По серьезному счету было лишь одно исключение: консервативные революционеры веймарской Германии в определенной мере поспособствовали, хотя бы и невольно, становлению нацистского режима.

По моему впечатлению, во второй раз в Европе складывается ситуация, когда радикальные правые, в последние десятилетия именующие себя новыми правыми, получают некоторые шансы на успех. Конечно, не в следующем году, но уже в обозримом будущем.

Откуда пришли новые правые и куда зовут?

Еще о «вечном возвращении»

Начало ворвалось в наше будущее. Оно гонит вдаль свое величие, которое нам необходимо нагнать.
М. Хайдеггер

Как и новые левые, они же неомарксисты, новые правые — «дети 68 года»; и возникли они в эпицентре культурной революции — бунтующем Париже. Новыми они себя назвали потому, что решительно отмежевались от парламентских правых, типа английских тори или германских демохристиан. В отличие от тех и других и им подобных они не торопились выступить в политическом поле, но поставили первоочередной целью завоевание «культурной власти» (в этом они, как и неомарксисты, явились учениками коммуниста Антонио Грамши). И не в

Каграманов Юрий Михайлович — культуролог, публицист, постоянный автор «Дружбы народов». Последние публикации в «ДН»: «Понять Украину» (№ 1, 2006), «Еврабия: призрак или реальность?» (№ 5, 2006), «Был ли Гете мусульманином?» (№ 8, 2006), «Зеленый бык на зеленом поле» (№ 4, 2007), «Как уберечь луну от волков» (№ 11, 2007), «Мазепа и другие. Украина в поисках отцов-основателей» (№ 2, 2009), «Вокруг “иранской идиомы”» (№12, 2009), «Что нам готовит год 2083?» (№12, 2011).

партию организовались они, но в сообщество интеллектуалов, занятых неторопливым созданием академически фундированной идеологии; притом сообщество не формализованное, состоящее из взаимодействующих кружков и групп.

В то же время они заявили себя продолжателями консервативных революционеров веймарской Германии. В самой Германии консервативные революционеры считались «скомпрометированными» связями с гитлеризмом, хотя на самом деле гитлеризм, по справедливому замечанию В.А. Сендерова, явился всего лишь пародией (злой, злейшей пародией) на идеалы консервативных революционеров. За исключением итальянца Юлиуса Эволы, все ведущие консервативные революционеры или сразу после прихода Гитлера к власти, или очень скоро после этого отвернулись от него и ушли во «внутреннюю эмиграцию». Кое-кто был даже репрессирован: Эдгар Юнг, например, был убит в тюрьме после жестоких пыток; даже Освальд Шпенглер и Эрнст Юнгер одно время подвергались угрозе ареста, и только мировая слава их уберегла.

Конечно, бдительность в отношении всего, что напоминает фашизм, необходима. Того, что б ы л о при Гитлере, забыть невозможно. Хотя очень хотелось бы — не только ради провинившихся немцев, но ради всего человечества. Увы, должна пройти тысяча лет, чтобы люди, ужаснувшись тому, например, что происходило в лагерях смерти, могли все-таки вздохнуть с облегчением: это ведь такая д р е в н о с т ь (конечно, при условии, что в следующую тысячу лет ничего подобного уже не повторится, что, к сожалению, не гарантировано). Но надо различать сигнальные огни, предупреждающие о реальной опасности. Те, кто был причастен к преступлениям, отмечены знаком нравственной деградации, ниже уровня которой невозможно было опуститься. А если кто-то из них продолжал считать себя носителем немецких культурных традиций (Гитлер с упоением слушал «Лоэнгрина», Геббельс декламировал Шиллера), то это загадка медицинского свойства.

А консервативных революционеров, чьи личности сложились в густом воздухе культуры эпохи до Первой мировой войны, отличал духовный аристократизм, который они, к сожалению, не могли передать всем тем, кто прикасался к их сочинениям. Это значит не то, что идеи их были хороши, а то лишь, что они или, точнее, некоторые из них заслуживали и сейчас еще заслуживают стать предметом для размышлений.

Добавлю, что есть книги, которые, вероятно, не следует давать читать тем, кто способен судить «не свыше сапога».

Французы как нация не несут ответственности за преступления фашизма, поэтому французские последователи консервативных революционеров не испытали особых стеснений в своей деятельности. Респектабельности им добавил тот факт, что к ним присоединились известные персоны — старейшина французских историков Пьер Шоню, писатели Морис Бардеш, Морис Дрюон, Эжен Ионеско и другие. Ядро новых правых составили молодые люди, исполненные корпоративного духа и выступившие под коллективным псевдонимом «Майастра». Это образ, взятый из румынской мифологии, — «легендарная птица, в сгустившихся сумерках испускающая боевой крик, чтобы внушить человеку веру в его судьбу». В Париж эта птица залетела в виде изваяния, созданного известным румынским скульптором Константином Бранкузи.

С течением времени к французским новым правым подтянулись их немец-

кие единомышленники, видимо, решившие, что «из вины шубу не сошьешь» (возможно, у немцев есть свой аналог этой русской пословицы). Появились свои новые правые в Англии и других европейских странах. Но французы в этом движении пока продолжают лидировать, при этом отдавая предпочтение «германскому гению» перед «французским гением», чрезмерно, на их взгляд, рационалистическим. В особенности, как уже было сказано, они считают себя обязанными немецким консервативным революционерам.

Сильное место равно консервативных революционеров и новых правых — критика того, что можно назвать издержками либерализма, а именно материализма (как в бытовом, так и в философском смысле этого понятия) и экономизма. Сюда относится и наступление «плебейской» культуры, резко усилившееся после 1968 года, когда неомарксисты, они же культурмарксисты, главные идейные противники новых правых, осуществили революцию, действительно ставшую перманентной (мечта Троцкого реализовалась в несколько ином плане, именно — плане культуры).

Что касается, условно говоря, позитивной части программы консервативных революционеров, то в этом они существенно расходились друг с другом. Одни, например, выступили за монархию, другие за демократическую республику. Общим для них было видение общества как «органического целого», предполагающего высокую степень единодушия его граждан. Из того, что последующие годы явили миру «яркие» примеры дурного единодушия, не вытекает, что идея эта сама по себе дурна. Определенная степень единодушия обществу так же необходима, как и либеральная свобода личности. Это вопрос «не веры, а меры».

Можно сказать так, что консервативные революционеры явились продолжателями романтической реакции на Просвещение с его рационализмом и технократическим оптимизмом.

Разошлись консервативные революционеры и в важнейшем вопросе — отношения к христианству. Эдгар Юнг и Отмар Шпанн, а также менее известный Фридрих Хильшер оставались христианами (протестантами или католиками); Юнг даже считал, что Германия призвана инициировать повторную христианизацию Европы и что в этом состоит главная задача нового рейха. Но большинство консервативных революционеров отошло от христианства. Вынесенную здесь в эпиграф витиеватую фразу Хайдеггера они понимали так, что пришло время вернуться в дохристианское прошлое и, как писал Артур Меллер ван дер Брук, «начать все сначала».

Хотя Меллер «уважительно» относился к христианству, он считал, что Германии нужна «религия действительности». Христос, писал он, велик как человек-мечтатель (заметим, что Христос для него — только человек!), а сейчас нужны герои, а не мечтатели. В поисках образцов одни консервативные революционеры обратились к древнегерманским сагам. Подлинные герои, с их точки зрения, — те, которых рождал «немецкий лес»: это крепковыйные дружинники, окружавшие варварских конунгов (в этом месте, действительно, показались из тумана предупреждающие об опасности сигнальные огни, но тогда мало кто обратил на них внимание). Другие консервативные революционеры (Юнгер, в частности) образцы усматривали в средневековом рыцарстве.

Французские новые правые подхватили эту веру в «немецкий лес», разве что «уравняв в правах» кельтов с германцами (новые правые — европеисты, в

отличие от консервативных революционеров, которые были умеренными националистами), и вообще веру в доисторические реальности. Ален де Бенуа, с самого начала и на долгое время ставший главным теоретиком новых правых, писал: мы не верим в смысл истории, а верим только в вечное возвращение. Язычество, согласно де Бенуа, не было искоренено христианством, оно оставалось в сознании человека «спящим», и легко может пробудиться; на деле оно уже давно пробудилось.

Точнее, речь идет не о язычестве как определенном культе, но о «духе язычества». Что утверждает самодостаточность мира и самотождественность человека: каждое «я» равно самому себе, и нет никакого «сверх-я», с которым оно могло бы себя соотносить. И нет и не должно быть никакого ощущения собственного несовершенства, а следовательно, и стыда за свои поступки, который христианство внушает человеку. От материалистического взгляда на мир и на человека такой взгляд отличается тем, что в нем нет и следа того, что называется научной объективностью. Напротив, здесь человек погружен в миф (употребляю это понятие не в отрицательном, но в нейтральном смысле): его сознание ограничено непосредственно чувственным восприятием, непосредственно видимыми и осязаемыми вещами и явлениями.

Гийом Фэй, другой новый правый, считает, что язычество — это «зеркало живого мира»; оно открывает человеку, что жизнь есть трагедия, но такова уж его судьба. И так как в жизни, по видимости, торжествует сильный, то Фэй испытывает, по его признанию, «обаяние силы»; молитву он оставляет слабым.

Пробуждение интереса к языческому прошлому имело место, как известно, уже в эпоху Ренессанса, но тогда внимание было направлено на классическую Грецию — царство Разума и Красоты; хотя это тоже был по-своему ущербный век (я говорю о классической Греции): он привел к чисто эстетическому упорядочению хаоса, не способному вобрать всю полноту смыслов бытия; отчего и оказался относительно коротким. А новых правых манит — наряду с германскими и кельтскими древностями — архаическая Греция. Де Бенуа берет на себя смелость утверждать, что царство хаоса было по-настоящему «продуктивным». Андре Конт-Спонвиль, новый правый, призывает «стать греками» досократических времен — героями Гомера. Ему вторит немецкий новый правый Петер Кребс: мы (современные европейцы) происходим от народов «Илиады» и «Эдды», а не от народов Библии. Немецкий философ Петер Слотердайк, в последнее время тяготеющий к новым правым, заглядывает еще глубже — во времена жестокого Кроноса (напомню, что, согласно мифологии, он оскопил отца и съедал собственных детей), по его словам, «достойного пастуха человеческого стада».

Архаические общества для новых правых хороши тем, что в них на виду были только боги и «богоравные» герои (в «Одиссее» даже свинопас назван «богоравным»). Некоторая, по меркам позднейших времен, «носорожистость» (салют Эжену Ионеско!) этих обществ их не смущает. Зато там не было или не видно было, скажем, менял или торговцев. Даже жрецов почти не видно было.

«В то время как Библия, — пишет де Бенуа, — проявляет стремление ограничить самовластие человека посредством ряда запретов... религии древней Европы героизируют человека, который преодолевает себя и таким образом приобщается к божеству»[1]. Приобщение, увы, оказывается неполным, потому

что бессмертие обитателей Олимпа (если имеются в виду они) такому герою недоступно. В перспективе его ждет завораживающе мрачная обитель, изображенная на знаменитой картине «Остров мертвых» Альфреда Беклина, самого яркого (если уместно употребить здесь это слово) выразителя немецкого Kulturpessimismus конца XIX — первой трети XX века. Другое дело, если имеются в виду божества «немецкого леса», более всего известные нам по тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунгов», — они, как известно, и сами плохо кончают.

«Дубовый герой» — сказанное Андреем Белым о вагнеровском Зигфриде может быть отнесено и к тому представлению о герое, которое вынашивают новые правые.

Христианство отвращает новых правых не в последнюю очередь потому, что все дефекты современного общества, реальные или мнимые, они относят на его счет. Оттого, как пишет Кребс, «любой дискурс, призывающий к возрождению Европы, не отделяя себя от иудеохристианской цивилизации, наперед обречен на неудачу, так как он заключает себя в самую матрицу упадка»[2]. Главное зло современного общества, с точки зрения новых правых, — эгалитарная демократия, которую вызвало к жизни, желая того или нет, христианство.

Действительно, демократия, которая веками строилась в Европе

Под клики свободных народов,
Под шум благородных дубов,

имеет преимущественно христианское происхождение. Но в христианстве правда равенства, влекущая к «вышним», отягощена, так сказать, противовесом в виде правды неравенства, имеющей природные корни. Обе правды надо держать в уме — и в сердце. Порицая эгалитаризм, надо понимать, что это извращение христианства, а отнюдь не его естественное следствие.

Еще один упрек, который новые правые адресуют христианству — оно-де породило неограниченную эксплуатацию природы и привело таким образом к нынешнему экологическому кризису. На самом деле неограниченную эксплуатацию природы инициировала идеология Просвещения. Последняя, действительно, возникла в лоне христианства, хотя одновременно и в противоборстве с ним и, во всяком случае, христианство не несет ответственности за все то, что было спроектировано просветителями.

Но вообще замечу, что сильное место новых правых, как и прежде консервативных революционеров, — критика современного общества. Принадлежащий к этой духовной «семье» писатель Рено Камю совершенно справедливо, на мой взгляд, указывает на то, что главное зло сегодня — «гипердемократия», которая «стремится распространиться с политического поля не другие поля, где ей нечего делать». И она «оказывает разрушительное действие в таких доменах (между прочим, взаимосвязанных), как семья, воспитание, культура»; эти три домена «всеми силами отталкивают демократию как решительно с ними несовместимую и если не преуспевают в этом, то гибнут»[3]. Добавлю, что если гибнут они, то гибнет и сама демократия.

Еще одно сильное место новых правых — они ставят антропологию в центр истории. На Западе все внимание обращено на институты, которые, как предполагается, «сами собою» должны формировать личности. А для новых правых институты — на втором месте. В аспекте экономики и политики разные новые правые находят приемлемыми для себя те или иные структуры, взятые из либе-

рального капитализма, социализма и даже фашизма в его итальянской версии. Главное же для них — качество личности, что, на мой взгляд, правильно. Беда лишь в том, что «качественная» личность слишком часто являет у них черты «дубового героя», противопоставленного человеку, воспитанному в христианских правилах (по крайней мере, так было до последнего времени).

Справедливо порицая в современном обществе «момент» Содома и Гоморры, новые правые бросаются в иную крайность, принимая за образец «противоестественную твердость духа», как ее определил Шиллер, имея в виду спартанцев древности.

Что касается «гипердемократии» — у которой есть другое имя: культурмарксизм, — то она замешена на философии кинизма, а отнюдь не на христианстве. И чтобы противостоять ей, совсем не обязательно откатываться во времена, определяемые как плюсквамперфектум, что делают новых правых или, во всяком случае, то их крыло, которое направляет де Бенуа.

Сам ценимый новыми правыми Хайдеггер определяет такой путь, как Holzwege, что означает «путь в лес за дровами», то есть в такое место, откуда можно вернуться назад, но пути дальше вперед нет.

Академические по видимости штудии, которым предались новые правые, не дали, однако, большого эффекта — внушительный объем текстов, вышедших из-под их перьев за последние несколько десятилетий (и о чем только они в эти годы не писали: о вопросах женского равноправия, фольклоре, музыке Вагнера и теории эволюции, о квантовой механике и демографии и о многом, многом другом), до сих пор не привел к радикальным переменам и общественном сознании. Отчего к началу нового века в рядах движения возник кризис, выдвинувший на первые роли уже упоминавшегося Гийома Фэя. Он пришел к выводу, что «язычество, как метаполитическое знамя, не имеет шансов на успех, в отличие от христианства, иудаизма и ислама»[4]. Таков парадокс: люди далеко отошли от христианства, но совершенно порывать с ним не хотят.

Фэй теперь заявляет, что он всегда испытывал «глубокую симпатию» к христианству в обеих его основных версиях — католической и православной. При этом он не думает отрекаться от язычества, как он его понимает. «Языческая душа, — пишет он, — есть внутренняя сила и должна пронизывать все идеологические и культурные выражения… Говорить «я — язычник» не имеет смысла. Каждый человек есть язычник»[5]. Что ж, это верно в том смысле, что некое стихийное язычество есть начальная ступень религиозности, но если не пытаться подняться выше, то содержащаяся в нем малая истина превращается в ложь.

Фэй находит решение религиозного вопроса в ключе социологии. Для масс, считает он, следует оставить католицизм; более того, следует укрепить его до его средневековых кондиций. А вот творческие элиты, которые призваны сменить правящие ныне плутократии, должны быть воспитаны в духе «здорового» язычества (для чего им следует брать уроки, например, у Ликурга и Катона Старшего), несовместимого со всеобщей распущенностью и разрушением жизненных энергий, которые мы видим на современном Западе. Эти элиты должны исполниться «фаустовского духа» и бесстрашно двигать вперед науку и технику, в какие бы умопомрачительные дали они ни заводили. (В этом Фэй резко разошелся с консервативными революционерами, в особенности с Хайдеггером и Юнгером, много писавшими на данную тему: у тех отношение к миру техники

было преимущественно враждебным.) Только не ради большего комфорта для человека, а того ради, чтобы укреплять в себе сознание собственного могущества. И коль скоро этому способствуют, например, генная инженерия и биотехнологии (против чего резко выступает христианство, бдящее на службе человечности), то да здравствуют и они!

Между прочим, «фаустовский дух» исходит не от Ликурга и Катона Старшего и даже не от Цицерона и Марка Аврелия (при всем к ним уважении). Откуда он исходит, можно прочесть у Шпенглера, которого новые правые считают одним из своих предшественников и который ввел в оборот само это выражение (напомню, что для него истоком «фаустовского духа» являлось определенным образом понятное христианство).

И еще возникает вопрос: как может осуществиться чаемая новыми правыми однородная органичность» общества, если оно будет связываться из столь различных в религиозном отношении слоев?

В минувшие годы де Бенуа и Фэй были едины в определении стратегии новых правых: сначала надо утвердить порядок ценностей (дело религии и философии), затем его должны воплотить произведения искусства и только потом его можно реализовать в политической жизни. Смею думать, что это методологически правильный подход к делу — безотносительно к тому, какой порядок ценностей утверждается и в каком направлении совершается движение. Не зря говорят: живая кость мясом обрастает. Хотя нельзя совершенно игнорировать мнение на сей счет Хайдеггера: «новое общемыслие» (которое философ считал необходимым для общества) должно стать результатом естественного, неотрефлектированного развития — явиться «через почву». С «почвой» надо считаться, чтобы не провалиться сквозь землю. И все же исторический опыт говорит о том, что идея при определении какого-то нового пути имеет решающее значение[6].

«Новый» Фэй решил, что нельзя откладывать достижение поставленных новыми правыми целей «до греческих календ», что пришла пора действовать. По его словам, «общество, каким мы его знаем, не может быть спасено... Единственное решение в настоящий момент состоит в том, чтобы ввергнуть его в состояние хаоса — путем гражданской войны, экономической депрессии и т.д. Только так можно покончить с господствующим образом мыслей и сделать приемлемым и неизбежным то, что вчера еще только казалось невероятным»[7].

К подобной точке зрения склонился и лидер немецких новых правых Кребс, ради создания хаоса готовый даже заключить союз с крайне левыми, анархистами, единственной целью которых является разрушение.

У «нового» Фэя нашлись многочисленные последователи, среди них — норвежский востоковед Педер Йенсен, ставший широко известным своими блогами, которые он публикует под ником «Фьордман» (человек фьордов). Этот «сумасшедший, полный ненависти викинг», как назвала его одна левая газета, излагает в блогах позицию Фэя, полностью ей сочувствуя[8].

В свою очередь, у «сумасшедшего викинга» есть свой особо рьяный последователь — его соотечественник Андерс Брейвик. Подсчитано, что в полуторатысячестраничном Манифесте Брейвика Фьордман цитируется сто одиннадцать раз!

Ганнибал у ворот!

Еще несколько лет назад разговоры о собственном упадке в Европе «плохо продавались». Но чем дальше, тем труднее становится скрывать его от самих себя. Все чаще можно услышать, что Европа становится объектом «колонизации» со стороны южных народов, в первую очередь мусульманских, — еще дедам и прадедам нынешних европейцев мысль об этом показалась бы совершеннейшей дичью.

Ветер резко подул в паруса новых правых. Так вышло, что это, главным образом, они отстаивают сегодня ценности нации и — страшно сказать — расы. Фэй пишет, что о расе можно и должно говорить, коль скоро она переходит от наступления к обороне, и я не знаю, что тут ему возразить. Люди ведь заботятся об исчезающих видах животных и почему бы не позаботиться о сохранении человеческого вида — пусть еще пока не исчезающего, но вполне могущего исчезнуть в не столь отдаленном будущем. Такой «расизм» имеет мало общего с расизмом европейцев былых времен, затянутых в черные рединготы и жесткие белые воротнички.

Да и у тех, в черных рединготах, представление о превосходстве белой расы связывалось, как правило, не с биологическими ее особенностями (на чем настаивали лишь отдельные теоретики), а с превосходством ее культуры. Которою они, кстати, щедро делились с иными расами. А превосходство европейской культуры — факт, против которого опять-таки трудно что-либо возразить[9].

Между прочим, Меллер ван дер Брук, которого нацисты поторопились залучить себе в союзники (благо он умер задолго до того, как они пришли к власти), писал, что европейцы — «раса в духовном смысле», а это не совсем то же, что биологическая раса.

Но сегодня, если верить Кребсу, Европа в культурном отношении — «труп, разлагающийся на солнце». Сказано, наверное, слишком сильно и все же не так далеко от истины.

Ощущение собственной слабости имеет следствием податливость перед лицом наступающих мусульман. Особенно это сказывается на школе, выпускники которой в Германии, например, чем дальше, тем больше оказываются «разнемеченными». Пишет публицист Тило Саррацин: «Немецкое в Германии все больше иссякает, а интеллектуальный потенциал исчезает быстрее всего. Кто через 100 лет еще будет знать «Ночную песнь странника» (стихотворение Гете, известное у нас в переводе Лермонтова. — *Ю.К.*)? Школьники, изучающие Коран в медресе при мечети, уж точно этого знать не будут»[10]. Журнал «Der Spiegel» (в номере от 9.1.2007) нарисовал картину того, чем станет немецкая школа в не столь отдаленном будущем — много раньше, чем через сто лет. Здесь основным языком служит арабский, а наивысшие баллы получают ученики, умеющие выпевать суры Корана в строгом соответствии с мелодикой далеких знойных широт.

Возможно, в этих картинах будущего краски наложены излишне густо, но тенденция отображена верно.

Нечто подобное наблюдается и во Франции, а также в некоторых других европейских странах. Если верно говорят, что historia est magistra vitae (история — наставник жизни), то у нынешних школьников жизненные ориентиры

будут существенно иными, чем у отцов и особенно дедов. Им, например, ничего не сообщается о том, кто такой был Хлодвиг (король, окрестивший французов), а о Карле Мартелле, разбившем арабов в исторической битве при Пуатье в 731 году и прогнавшем их обратно в Испанию, говорится, что он был «расистом» (это все равно как если бы у нас назвали расистом Дмитрия Донского за то, что он бросил вызов татаро-монголам на поле Куликовом). Очень немногое рассказано о Наполеоне, еще недавно бывшем для французов предметом культа, зато довольно подробно — о средневековой империи Мали и о Китае времен династий Хань и Мин. Я уже не говорю о Крестовых походах: авторы учебников представляют их, как несмываемое пятно позора на лице средневековой Европы. Да иной трактовки и не приняли бы становящиеся все более многочисленными учащиеся-мусульмане.

Не удивительно, что неуважение к европейцам у пришлых народов доходит до того, что их за глаза все чаще называют «белой швалью»[11].

Поистине, для тех, кого выращивает европейская школа, грядущее «иль пусто, иль темно». Китайские педагоги, не так давно приглашенные в качестве экспертов, пришли к заключению, что в значительной, если не в большей своей части это никчемные молодые люди, годные только на роли праздношатающихся. И если мусульмане и другие иммигранты не помогут делу, европейская экономика пойдет на спад уже в третьем десятилетии XXI века — из-за одной только нехватки кадров, независимо от всех прочих условий. В этом случае, говорят эксперты, нам, то есть китайцам, придется озаботиться поставками в Европу гуманитарного риса (то ли это сказано всерьез, то ли иронически — поди разбери).

Было бы странно, если бы в глубине «европейской души» не взыграла память о былой ее значительности. Память, требующая действий. К чему призывает, например, популярный немецкий блогер, выступающий под ником Mixi: «СОПРОТИВЛЕНИЕ! Если будет нужно, силой»[12]. Ганнибал у ворот! Хотя сейчас уже скорее по сю сторону ворот.

Европейская жизнь — река, в которой можно различить два очень разных слоя. Верхний — теплый, излучающий приветливость и доброжелательство; здесь еще что-то остается от изящной гуманности XIX века. Нижний слой, иногда вырывающийся на поверхность, — холодный и злой; особенно он дает о себе знать в сфере воображаемого. Один из самых ярких примеров — фильм Ларса фон Триера «Догвиль», в котором благодушные с виду обыватели долго измываются над пришлой девушкой, а девушка в итоге всех их безжалостно расстреливает (действие перенесено автором в Соединенные Штаты в силу особой его неприязни к этой стране, но вполне могло бы быть разыграно и в Европе). Между прочим, если говорить о фильмах, то именно «Догвиль», по признанию Андерса Брейвика, побудил его совершить то, что он совершил. (После такого признания режиссер фильма поспешил принести свои извинения: у него, дескать, в фильме одна только игра воображения, которую не следует впутывать в реальную жизнь; но человеческая жизнь так устроена, что реальное и воображаемое в ней не отделены друг от друга непроницаемой перегородкой, но обладают способностью в определенных случаях сквозь нее просачиваться).

Самый, пожалуй, известный на сегодня немецкий философ Слотердайк в книге «Гнев и время» (слово Zorn в заглавии может быть переведено как «гнев» и

как «ярость»; я выбрал более мягкий вариант) считает, что не следует прятать гнев под поверхностью благодушия; ибо гнев может играть конструктивную роль. Первая строка «Илиады» «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына» была первым словом европейской цивилизации. В гомеровские времена и позже гнев был «конструктивным инстинктом», а сейчас он рассеян или подавлен; в последнем случае он превращается в ressentiment (злую память). Длительное время, пишет Слотердайк, христианство, как и ислам, было «школой гнева», но теперь оно в этом качестве, в отличие от ислама, уже «не работает».

Раз уж зашла речь о христианстве, следует заметить, что как раз отсутствие в дехристианизированной Европе высших, всеобъемлющих смыслов бытия порождает в человеке (среди прочих причин) подспудное раздражение и злобу. А выражение «школа гнева», употребляемое Слотердайком применительно к христианству, слишком неопределенно. В этом аспекте, как и в некоторых других, христианское сознание, скажем так, «разноэтажно». В верхнем его «этаже» гнев смиряется упованием на высший суд: «Мне отмщение и Аз воздам». Но в нижнем «этаже» при определенных обстоятельствах п р а в е д н ы й гнев смеет искать выход, как в частной жизни, так и особенно на войне.

Никаких рекомендаций в своей книге Слотердайк не дает. В сущности, мы находим у него просто констатацию, типа:

Тучи над городом встали,
В воздухе пахнет грозой.

Но из какой тучи ударит гроза и кого она побьет, об этом ничего не говорится. «Никто, — утверждает Слотердайк, — ни на земле, ни в небе, не знает, что делать с праведным гневом людей»[13].

Так писал Слотердайк несколько лет назад. Но за эти несколько лет что-то в атмосфере изменилось, и теперь Слотердайк, когда-то бывший учеником неомарксиста Т. Адорно и еще недавно мировоззренчески причислявший себя к киникам, откровенно дрейфует в сторону новых правых. В том же замечены и Саррацин, долгие годы состоявший в партии социалистов, и известный писатель-антифашист Мартин Вальзер, и не менее известный кинорежиссер Ганс-Юрген Зиберберг и еще кое-кто из менее значительных фигур. Это все немецкие примеры, но подобный же дрейф наблюдается и во Франции, и в некоторых других странах.

Гнев, считают новые правые и те, кто идут с ними на сближение, надо канализовать сразу в двух направлениях: против мусульман и против собственных элит, которые необходимо принципиально обновить. Если этого не сделать вовремя, Европу ждет место на «кладбище погибших народов».

Неформальные лидеры французских и немецких новых правых Фэй и Кребс считают неизбежными гражданские войны, которые скорее всего перерастут во внешние войны. «Увы, — пишет Фэй, — только настоящая гражданская война может решить проблему колонизации, африканизации и исламизации — трагедии, которую Европа еще не переживала за всю свою историю». И дальше: «Я не призываю к войне, я просто считаю ее неизбежной»[14]. Кребс полагает, что гражданские войны могут начаться тогда, когда некоторые муниципалитеты начнут переходить в руки мусульман, а это скорее всего произойдет уже в ближайшие годы.

Фэй рисует широкую картину грядущего великого противостояния Севера

и Юга Евразии. Условного «леса» и условной «пустыни». Северу, по его убеждению, следовало бы соединиться в единую империю — «Евро-Русь», «от Лиссабона до Владивостока»; с высокой степенью автономии отдельных ее частей. Это, пишет Фэй, был бы подлинный Третий Рим, которым Россия в отдельности не смогла стать.

Наверное, это все-таки фантастический план. Но сближение или даже тесный союз народов России и Европы (каковы бы ни были на сегодня их взаимные чувства) мне кажется в высокой степени вероятным, почти неизбежным. Основанием для него стала бы не только их этнокультурная близость, но и прагматические соображения: это был бы союз слабеющих — на данном историческом этапе — народов против народов, входящих в силу.

«Титаны возвращаются в город»?

Я вижу на холме героев, могучих и гневных.
Н. Гумилев

Вера в героев, которые придут и все переменят, — постоянный мотив новых правых. Некоторые из них считают, что время для этого приспело уже сейчас. «Титаны возвращаются в город», — утверждал Кребс пару лет назад.

Пока что лишь один «титан» явил себя миру — Андерс Брейвик. Но и он, по мнению многих новых правых, оказался не совсем тот или даже совсем не тот, кого они ждали.

Во-первых, «профессорские» кружки новых правых все-таки шокировала учиненная им бойня. Одно дело планировать гражданскую войну на бумаге и совсем другое — выпускать пулю за пулей в трепещущие от боли тела.

Во-вторых и в главных, Брейвик вышел с «лесной» тропы язычества на большак христианства; по крайней мере, он сделал это декларативно. Мы видели, что язычество изначально было коньком, на котором выезжали новые правые, даже те из них, кто, подобно Фэю, терпимо относился к христианству. Последователь Фэя — Фьордман, непосредственный, хотя бы и заочный, наставник Брейвика, сделал шаг в сторону христианства, признав, что Европа обязана ему величайшими своими культурными свершениями. Но для Фьордмана приемлемым в христианстве является то, что объединяет его с античным языческим миром; а что разъединяет, остается вне его поля зрения.

Брейвик же заявил себя христианином и христианским рыцарем, «тамплиером», готовым сразиться за крест, положив за него сколь угодно жизней, в их числе и свою собственную.

Мне уже приходилось комментировать Манифест Брейвика на страницах «Дружбы народов»[15]. Повторю только, что в нем он объявляет войну сразу на два «фронта»: против культурмарксизма и против мусульманства. Новые правые изначально (точка отсчета — 1968 год) явились антиподами культурмарксизма, но они, как правило, считают его неизбежным «продолжением» либерализма, а Брейвик совершенно справедливо видит в нем извращение либерализма. Мимикрируя под либерализм, пишет Брейвик, культурмарксизм грозит стать его могильщиком; и станет им, если его самого прежде не загнать в могилу.

Самое существенное, что выделило Брейвика, это готовность к действию.

Его кровавая акция одних новых правых перепугала, но других восхитила. Видный новый правый Себастьян Ронин, глава международной организации Renaissance Vanguard International, пишет, что «кровавое и архаическое событие» на острове Утейя «стало для нас (новых правых), хотим мы того или нет, политическим Рубиконом». Назад пути нет: «акция Брейвика на годы вперед определяет дискурс и политическую траекторию белого этно-националистического движения»[16].

Обозреватель сетевого издания «Counter–Currents Publishing» Грег Джонсон пишет, что если нет сегодня у Брейвика единомышленников-«тамплиеров», то они наверняка появятся. «Будет много Брейвиков». Со временем он может стать культовой фигурой, и его портрет будет красоваться на майках, как это случилось с портретом Гевары. То, что он поубивал беззащитную молодежь, не помешает его возвеличиванию: Нельсон Мандела и Менахем Бегин, напоминает Джонсон, тоже были террористами, но со временем стали национальными героями. А Брейвик, в отличие от иных террористов, не убивал людей без разбора, в качестве мишеней он выбрал «детей предательской элиты», которые в будущем должны были занять место отцов»[17].

Последнее утверждение слишком категорично: о молодом человеке никогда нельзя сказать с уверенностью, кем он станет в будущем. Между прочим, наставник Фьордман в юности состоял в организации тех же «молодых социалистов», которых расстрелял Брейвик.

В пользу Брейвика высказываются иногда люди, как будто далекие от новых правых. Так, писатель Ришар Милле, лауреат Французской академии, заявил: «Норвегия заслужила Брейвика». Потому что «мультикультурализм... это худший путь для Европы»; он «создает мозаику из гетто, в которой (принимающая) нация перестает существовать». Почему бы тогда не сказать: Европа заслужила Брейвика? Впрочем, выступление Милле вызвало скандал во Франции. Английская «Guardian» писала по этому поводу (в номере от 18.4.12), что очень многие в Европе думают сегодня, как Брейвик, но не признают этого на словах и даже осуждают тех, кто публично высказывается в его пользу.

Распространенные характеристики Брейвика: «предвестник»; просто «вестник»; даже «буревестник»; еще «симптом близких перемен». Лидер Гиперсионистского движения (ставящего целью создание Великого Израиля) раввин Авраам Шмулевич пишет: «Феномен Брейвика много глубже, чем это кажется на первый взгляд. Это — начало новой духовно-милитаристской мобилизации Европы»[18].

Кинорежиссер Зиберберг назвал Брейвика Черным рыцарем. Понятно, почему — черный, но все-таки — рыцарь? Может быть, Белого рыцаря типа Лоэнгрина, приплывшего на лебеде, Европа просто не заслужила? Лоэнгрин ведь тем является, кто в него верит.

Конечно, в юридических категориях Брейвик — злодей, а по человеческим понятиям заслуживает смертной казни. Но преступление, как писал И.А. Ильин, может иметь духовную значимость. У Брейвика ведь нет психологической склонности к насилию над себе подобными (сравните с кинематографическими героями, даже вполне, как будто, положительными: они сплошь и рядом убивают с о в к у с о м); напротив, он принуждал себя сделать то, что он сделал. Брейвик полагал, что, принося свою гекатомбу, он начинает «священную войну» и призывал судить его как воина, а не как уголовного преступника.

Фишка, как теперь говорится, здесь в том, что один в поле не воин. Вот е с л и, не приведи бог, в Европе начнется гражданская война, тогда новоявленный «Сигурд» (как называет себя Брейвик в память норвежского короля Сигурда I, принявшего участие в Первом крестовом походе; норвежские саги любовно описывают, как Сигурд Крестоносец с дружиною, состоящей из великанов, освобождал Гроб Господень) окажется, фигурально выражаясь, на коне и его кровавая акция сможет быть оценена — по крайней мере, одной из воюющих сторон — как превентивная (на чем он сегодня настаивает).

Брейвик — фигура «рисковая», притом в двояком смысле, ибо он поставил на кон не только собственную жизнь, но, может быть, и судьбу Европы. Неведомо чем кончится гражданская война, к которой призывает Брейвик, как и некоторые новые правые теоретики, если она однажды начнется. Это, правда, не означает, что она обязательно кончится плохо. Не всегда худой мир лучше доброй ссоры.

Жизнь по сути своей трагична: в этом согласны христианство и язычество (только в христианстве любая трагедия — светлая, если она не связана с отдалением от Бога, а в язычестве, не знающем выхода из мира сего, трагедия по-настоящему трагична). В то же время для человека естественно стремиться к мирному и безопасному существованию. И если ход жизни принимает трагический оборот, это значит, что есть на то воля Божья. В таких обстоятельствах человек может стать «орудием Провидения», но он не должен брать на себя эту роль добровольно-сознательно. «Человек, — пишет Б.П. Вышеславцев, — не имеет права становиться на точку зрения Провидения в своей этической деятельности и в своих этических суждениях»[19]. И даже если совершенное им преступление отвечает вышнему замыслу, это не освобождает его от наказания. Сказано: взявший меч мечом и погибнет.

Можно, однако, извлечь из кровопролития, учиненного Брейвиком, некоторый позитив: оно привлекло широкое внимание к его Манифесту. Который в части, относящейся к культурмарксизму, содержит, как мне уже приходилось писать, вполне справедливую и очень своевременную его критику.

И если новые правые, действительно, будут переориентироваться на идеалы Брейвика (христианство плюс все то ценное, что заключал в себе «классический» либерализм), что, как мы видели, отчасти уже происходит, это будет исторически очень значимая и перспективная — для Европы и, разумеется, для самих новых правых — трансформация.

В этом случае движение консервативных революционеров (назовем его общим для него родовым именем) в лице наиболее дальновидных его участников повторит путь, пройденный одним из его кумиров — Рихардом Вагнером, который после пронзительно-возвышенного «Лоэнгрина» углубился в темный «немецкий лес» (в тетралогии «Кольцо нибелунгов»), но затем вышел из него — к «христианской мистерии» (по авторскому определению) «Парсифаля», великолепным образом завершив свой творческий путь. Кстати говоря, на байрейтской сцене Парсифаль традиционно выступает со щитом тамплиера (красный крест на белом поле — геральдический знак святого Георгия).

А вот поступь движения будет по-настоящему действенной лишь в том случае, если оно, несмотря ни на что, последует проекту де Бенуа, лидера новых правых на раннем этапе, — постепенное завоевание умов; ибо дух строится не

силой, но убеждением. Только двигаться надо не в «лес» (где, по меткому русскому слову, «пенью богу молятся»), а в противоположном направлении.

Будущее, писал Ницше, принадлежит людям «долгой (в смысле большого объема) памяти». Но даже культурно богатое греко-римское язычество занимает в памяти европейцев относительно скромное, сравнительно с христианским периодом, место. А северное, «лесное» язычество сохранилось на задворках ее в виде обрывков, за ветхостью не подлежащих даже реконструкции, не говоря уже о реставрации.

Между тем на другом «фронте» Брейвика взгляды на ислам, которые он разделил с частью новых правых, грешат сильным упрощением.

Заметим, что изначально новые правые испытывали определенную симпатию к исламу. Ее им завещал Рене Генон, остающийся для них одним из первейших авторитетов. Генон ценил в исламе приверженность интегризму, верность истокам и отвержение модерна, что соответствовало вкусам новых правых. Де Бенуа говорил даже, что скорее предпочел бы жить в соседстве с мечетью, чем с торговым центром.

Но ближе к концу прошлого века во взглядах новых правых на ислам произошел поворот, инициатором которого явился опять-таки Фэй: большинство из них склонилось к мысли, что «нашествие» мусульман угрожает идентичности Европы и с ним необходимо так или иначе бороться. Эти настроения нашли крайнее выражение в идее Брейвика о возобновлении Крестовых походов, ставящих целью изгнание всех мусульман из Европы (не исключая балканских *потурченцев,* исповедующих ислам уже несколько веков) и, паче того, возвращение христианам некоторых территорий на Ближнем Востоке.

Между тем некоторые новые правые или близкие к ним мыслители и сейчас смотрят на ислам иначе. Так, английский историк Гэри Гленн пишет: «Мы можем найти некоторое утешение в допущении, что исламская культура жизни (то есть ставящая целью продолжение жизни. — *Ю.К.*) может оказаться более соответствующей достоинству человека, чем европейская и, конечно, не только европейская, культура смерти. Папа Бенедикт сказал, что "реальный антагонизм, типичный для современного мира, — не между различными религиозными культурами; скорее это антагонизм между радикальной эмансипацией человека от Бога, от корней жизни, с одной стороны и великими религиозными культурами с другой"»[20]. (Кстати, слова о надвигающейся на Европу «культуре смерти» принадлежат тому же Бенедикту XVI.) Полагаю, что доля истины в этом соображении есть.

Сходный взгляд на ислам и у обозревателя лондонской «Financial Times» американца Кристофера Колдуэлла. В своей книге «Размышления о революции в Европе» (перекличка с «Размышлениями о Французской революции» Э. Берка, чьи взгляды автор во многом разделяет) он пишет: «То, что секулярная Европа называет сегодня «исламом», представляет собою порядок ценностей, который Данте и Эразм признали бы своим… А вот то, что сегодня называют "основополагающими европейскими ценностями", и Данте, и Эразма сильно озадачило бы». Правда ли, задается вопросом Колдуэлл, что мусульманский мир — отсталый? Или это Европа слишком далеко убежала «вперед», оторвавшись от своих корней? Встреча с подлинным исламом, заключает он, «может быть болезненной, но она может обернуться тем, что нынешняя бесцветная, погрязшая в

мелочности и материализме интеллектуальная жизнь Запада получит необходимый ей кислород»[21]. Положим, и Данте, и Эразм хорошо знали, чем ислам отличается от христианства, но в остальном рассуждения Колдуэлла в высокой степени справедливы — они показывают напряженную проблемность отношений современной Европы с миром ислама.

М. Цветаевой сказано: «правда — перебежчица». Конечно, не всегда и не везде, но применительно к нашей теме это верно, и чтобы дойти до сути дела, надо следить за перемещениями правды «туда и обратно». Подчеркну, что речь идет о правде, а не об истине, которая всегда остается «на своем месте».

В то же время агрессивный исламизм нуждается в решительном противодействии — это задача равно Европы и России; и переселенческому движению мусульман, пусть даже вовсе и не агрессивных, следовало бы поставить определенные пределы.

А в рядах новых правых, судя по всему, крепнет интуитивная догадка, что попытка окопаться в языческой идее бесперспективна, что противостоять исламу может только христианская Европа, а отнюдь не языческая, давным-давно отыгравшая свое.

Возможны ли новые Крестовые походы? Скорее всего, эта идея Брейвика, выглядящая сегодня достаточно фантастически, останется висеть в воздухе. Другое дело, что ко времени стала бы объективная оценка крестоносного движения XI — XIII веков, которого европейцев за последние годы приучили стыдиться. Это тоже немаловажный вопрос: должны ли люди краснеть за своих предков или гордиться их свершениями. Напомню, для сравнения, что в европейских аристократических фамилиях особым «знаком качества» считалось участие предков в Крестовых походах.

Характерную для современного европейского сознания оценку Крестовых походов дал Слотердайк в его кинический период. Тогда он называл их «социально-психологическим взрывом протофашистского свойства» и «попыткой христианизированных феодальных властей выплеснуть наружу собственный цинизм» (хотя и признавал, что с ними связаны также «несказанные лишения и проявления отваги»)[22]. В угоду такого рода общественному «запросу» историки подчеркивают чисто материальные причины Крестовых походов: обилие «непристроенных» рыцарей (результат действия системы майората, лишавшего наследства младших сыновей), занявшихся грабежом и разбоем, коммерческие интересы на Востоке и т.п. Все это хорошо известно, но самое примечательное в Крестовых походах другое — «возгонка» материального до идеального. Материальные интересы оказались невольными пособниками высокого стремления к отвоеванию Гроба Господня. В иных случаях даже игра гормонов канализовала себя в том же направлении, что нашло отражение и в поэзии (шиллеровский рыцарь Тогенбург, пушкинский «рыцарь бедный»).

Объективная оценка крестовых походов важна для «самочувствия» современных европейцев перед лицом мусульманского мира. Необходимо знать, на кого опираться и от чего отталкиваться.

Конечно, в истории порою сбываются и самые фантастические планы, поэтому нельзя совершенно исключать возможность новых Крестовых походов как «сетевой» войны[23]. И материальные основания для них могут появиться. Экономисты считают почти неизбежным падение ВВП в европейских странах в третьем десятилетии и, как следствие, резкий рост безработицы, а значит, и

рост преступности. Сложится таким образом контингент, способный в XXI веке сыграть роль «непристроенных» рыцарей XI века. И вождь у них может появиться — если новоявленный «Сигурд» по тем или иным причинам будет выпущен из тюрьмы или же его силой освободят оттуда какие-нибудь великаны.

«Высота» завоевательных или, если угодно, «отвоевательных» задач, поставленных Брейвиком, едва ли под силу даже великанам. Сейчас не IV век до Р.Х., когда Запад совершил мощный рывок в восточном направлении, на длительное время повлекший греческое господство на обширных пространствах Азии (в бассейне Инда и в Средней Азии на три столетия, в Восточном Средиземноморья на целое тысячелетие), целиком обязанное энергии одного человека — Александра Великого[24]. Но Брейвик поставил нарочито «высокие» задачи, чтобы пробудить героические чувства, уснувшие в его соотечественниках по Европейскому союзу.

Героика и вправду нужна Европе (Северу в целом) — хотя бы как ответ на явление шахадата. Многажды было сказано, что современный террорист-смертник — *извращенный* шахид; но это все-таки извращенный *шахид*: героическое начало в нем сохранено, но поставлено на службу ложным и преступным целям. Разумеется, ответ должен быть, как говорится, ассиметричным.

Чуткий Андрей Белый писал в 1923 году: «Мы ждем Персеваля» (Парсифаля)[25]. Впору и сегодня повторить эти слова надежды. Напомню, что вагнеровский Парсифаль не с мусульманами сражается[26], он совершает совсем иной подвиг: священным копьем излечивает короля Амфортаса от страшной раны (символ человеческой греховности), которую он получил в объятиях колдуньи.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Бенуа А.де*. Как можно быть язычником. — М.: 2004. — С. 90.

[2] *Krebs P.* Fighting for the Essense. — London: 2012. — P. 137.

[3] *Camus R.* La grande deculturation. — Paris: 2008. — P. 43, 44.

[4] *Faye G.* Archeofuturism. — Sausalto (Calif.): 2010. — P. 33.

[5] Там же, p. 35.

[6] Это подтверждает и советский опыт. Советская культура в 30-х годах складывалась «от почвы», опираясь на некоторые русские традиции (притом что другие русские традиции были отброшены и забыты). Роль организующего центра здесь сыграла коммунистическая идеология, первоначально народным сознанием отторгаемая, но затем принятая «через не хочу» (по принципу «стерпится — слюбится»). Зато когда ее ложь стала очевидной, тогда и все здание культуры рассыпалось.

[7] *Fay G.* Why We Fight. — London: 2011. — P. 91. (Во французском оригинале книга вышла в 2002-м.)

[8] См., например: http://missioneuropak.martell.wordpress.com/category/fjordman/.

[9] К.Н. Леонтьев, который, как известно, вовсе не был западником, писал, тем не менее: «В жизни европейской было больше разнообразия, больше лиризма, больше сознательности, больше разума и больше страсти, чем в жизни других, прежде погибших исторических миров». (*Леонтьев К.Н.* Записки отшельника. — М.: 1992. — С. 165). И это еще не все, что можно поставить в заслугу европейцам былых времен на ниве культуры.

[10] *Саррацин Т.* Германия: самоликвидация. — М.: 2012. — С. 343.

[11] Это выражение (white trash) родилось на рабовладельческом Юге США. Негры-рабы

«уважали» «настоящих господ» — рабовладельцев, а небогатых белых фермеров, которым они тоже обязаны были оказывать знаки почтения, между собой называли «белой швалью».

[12] http://Wnov.pi-news.net/2009/03/deutschlands-zukunft-zwei gedankenspiele.

[13] *Sloterdijk P.* Zeit und Zorn. — Frankfurt am Main: 2006. — S. 282.

[14] *Fay G*. Why We Fight, p. 92, 93.

[15] См. «Что нам готовит год 2083?» (№ 11, 2011).

[16] http://sites.google.com/site/breivikreport/articles/the-breivik-action-the-first-archeofuturist-victory.

[17] http://www.counter-currents.com2012/05/breivik-a strange-new-respect.

[18] http://www.apn.ru/publications/article 26440.htm.

[19] *Вышеславцев Б.П*. Трагическая теодицея. — Париж: Путь, 1928. — № 9, с. 14.

[20] *Glenn G*. Is secularism the end of liberalism? — «The Catholic Social Review», 2008, № 13, p.102.

[21] *Caldwell Ch.* Reflections on the Revolution in Europe. — London: 2009. — P. 16, 39.

[22] *Слотердайк П*. Критика цинического разума. — Екатеринбург: 2001. — С. 267. В оригинале книга вышла в 1983 году и представляет собою уникальную, наверное, попытку критики цинизма — с позиции кинизма. Как если бы между ними существовала какая-то принципиальная разница!

[23] Футурологи прогнозируют, что в наступившем веке межгосударственные войны будут вытесняться «сетевыми», субъектами которых станут религиозные ордена и конгрегации, мафии и различные экономические структуры. Примером «сетевой» войны может служить террор, который осуществляет Аль-Каида. Исторические Крестовые походы тоже можно считать разновидностью «сетевой» войны.

[24] Между прочим, мусульманские завоевания VII века можно рассматривать, как «реванш» собирательного Востока: мусульмане дошли почти в точности до тех границ, с которых начинали свою экспансию греки и римляне (если считать Востоком — для чего есть все основания — и Карфаген, простиравшийся до Пиренеев). И только турки спустя века продвинулись дальше, захватив Малую Азию и Балканы.

[25] *Белый А*. На перевале. — Берлин: 1923. — С. 139.

[26] Мусульманская тема присутствует в «Парсифале» лишь намеком. Замок короля Амфортаса расположен в Астурии, на христианском Севере Испании, а замок злодея Клингзора в мусульманской ее части. Но Клингзор не мусульманин, он колдун, а колдовство равно отвратительно христианству и мусульманству.

Лариса Нода

Под одним небом, под одним шанырaком

В мирном котле всегда щи жирные.

Финская пословица

Уезжают, уезжают...

Город пустеет. Каждый год уезжают друзья, знакомые, коллеги. Львиная доля покидающих Казахстан — лица некоренной, нетитульной национальности: славяне, немцы, евреи. Что гонит их из внешне стабильного, спокойного Казахстана? Что заставляет бросать нажитое? Неуверенность. Беспокойство за детей, за их будущее. А конкретный повод отъезда назовет каждый — Закон о языках. Или как его называют в народе «50&50». И хотя закон устанавливает равные соотношения языков — государственного, казахского, и языка межнационального общения, русского, на самом деле все несколько иначе. Государственное телевидение больше чем наполовину вещает на казахском языке. И хотя каждый год огромные деньги налогоплательщиков идут на развитие госканалов, по мнению большинства друзей, «смотреть там нечего». Люди смотрят кабельное телевидение, где этот закон не действует, а каналы там сплошь на русском да английском. Как исключение — на татарском.

В сегодняшнем Алматы в поликлиниках и больницах нет или очень мало русского языка. Все объявления и таблички перед кабинетами — на казахском. Хотя огромная доля пациентов — русскоязычные пожилые люди. На почте, в ЦОНе (Центр обслуживания населения. — *Л.Н.*) и в сберкассе бланки на двух языках. Работающие с населением, но с трудом говорящие на русском языке люди напоминают оралманов, то есть казахов, проживавших за рубежом — в Монголии, Китае, например, — и вернувшихся на историческую родину.

Кстати, то же самое было в начале 90-х в Киргизии, власти которой в одночасье объявили государственным языком киргизский. Сделано это было

Лариса Павловна Нода — журналист, старший преподаватель кафедры печати и электронных СМИ факультета журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ), лауреат премии Союза журналистов Казахстана и Международной Пушкинской премии (2011), автор множества методических пособий по истории мировой и казахстанской журналистики, ведущая полосы «Взрослым о детях» в газете МОН «Класс-Time». Художественный руководитель студенческого театра КазНУ «Эйдос».

наспех, без предварительной подготовки, без учета реального положения дел. Как результат — массовый отток из страны русскоязычного населения.

Сколько славян осталось в Узбекистане? Риторический вопрос.

И кто ж выиграл от этого переселения-бегства?

Доля населения, свободно владеющего русским языком, по выводам исследователей Фонда «Наследие Евразии», в Казахстане на конец 2007 года составляла 63 %, а оценка степени использования русского языка в семье, в общении и производственной сфере — 46 %. По данным того же опроса, 42 % респондентов полагают, что к 2030 году подавляющее число граждан Казахстана, независимо от их национальности, будет владеть государственным языком и повсеместно его использовать, но в то же время 37 % считают такую ситуацию маловероятной или вообще невозможной. Так как доминирующим языком общения во всех сферах в Казахстане является русский, приведенные выше данные свидетельствуют о поляризации мнений в отношении статуса как казахского, так и русского языков.

Главное — учитель

В свое время Казахстан отказался от российских учебников, тогда же начался процесс выработки новых стандартов образования, новых учебных программ, новых учебников для средней школы, в том числе программ и учебников по русскому языку. Сейчас в расписании старших классов русского языка — два часа в неделю. Результат — повальная безграмотность выпускников. В 1997 году подписана Лиссабонская конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию. Казахстан ратифицировал ее в том же 1997 году, и с этого момента начался процесс интеграции страны в мировое образовательное сообщество в качестве равноправного участника. Реформы в образовании получили правовой статус, в 1998 году в Казахстане приняли новый закон «Об образовании». Теперь мы с нашей трехуровневой системой высшего образования — впереди планеты всей.

Кстати, 99,3 % русских, подавляющее большинство (67,4 %) представителей других национальностей, проживающих в Казахстане (101 национальность среди опрошенных учеников средних школ), и 19 % представителей титульной нации предпочитают получать среднее образование на русском языке. А в вузах, так же как и в школах, детсадах, — два отделения: русское и казахское, в последних все больше деток неказахов. Родители, связывающие свое будущее с Казахстаном, отдают детей-славян в казахские группы. Русские и казахские группы равноправны: одна раздевалка, одна столовая на всех. Все вместе.

Но главное, разумеется, — учитель. Вот что рассказывает учительница с 30-летним стажем Зухра Бердигожина, которая преподает историю в русско-казахской школе № 32 города Алматы:

«У моих родителей — разные национальности: папа — туркмен, мама — казашка. Я владею русским, туркменским и казахским языками. Но меня всю жизнь сопровождают русский язык, русская книга, русская культура. И это меня фантастически обогащает. Историческая проблематика занимала огромное место в раздумьях и творчестве Пушкина. Великий поэт интересовался казахской реальностью и в своих произведениях о пугачевском бунте, в комментари-

ях к ним не только упоминает, но и дает любопытные сведения, связанные с историей казахов. Поэтому на своих уроках я часто ссылаюсь на произведения поэта. Например, при изучении крестьянской войны под руководством Емельяна Пугачева использую «Историю пугачевского бунта» или «Капитанскую дочку». Во время пребывания Пушкина в Уральске им была записана казахская поэма «Козы-Корпеш и Баян-Сулу».

К разуму, которым гордится человек, к правде, к которой он стремится, ведет только один путь — через язык. Как знание русского языка помогает мне и моим ученикам в жизни? Приведу примеры из своей работы с учениками. История Верного, строительство которого началось по приказу императора Николая Первого, — часть истории российской империи. Из маленького военного укрепления на окраине империи вырос город Верный, впоследствии — Алма-Ата, ныне — Алматы. Без Верного невозможно представить историю Семиречья и Казахстана. Жизнь и дела наших прадедов достойны уважения и преклонения, а славное имя Великой России навсегда вписано в историю Казахстана. Тему «История города Верного» мы изучаем в восьмом классе. Ученикам я даю задание — узнать у родственников, не было ли в их роду верненцев, поискать в семейных альбомах старинные фотографии с видами Верного. Восьмиклассник Сева Шендрик прознал у своей бабушки, что его прапрапрадедушка Яков Демидов был верненским купцом. И дом, в котором жила семья Демидовых, сохранился. Сейчас в нем находится пакистанское посольство. Во время дележа купеческого наследства потомки переругались между собой, и семейный альбом с фотографиями оказался в руках родственников, с которыми родители Севы давно не общаются. Сева получил новое задание: в память о деде найти общий язык с родней и узнать правду о Якове Демидове. Пусть наша общая история послужит и примирению родни.

Начата работа над школьным научным проектом. Мы по крупицам собираем материал об истории города Верного, его жителях. История семьи Якова Демидова станет страницей этой истории. А наши ученики почувствуют неразрывную связь поколений, сопричастность истории. Большую помощь в работе над проектом нам оказывает книга известного краеведа Александра Григорьевича Лухтанова «Город Верный и Семиреченская область» (Алматы, 2011). В конце книги огромное количество ссылок на документы, опубликованные в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, источники XIX века.

Пятиклассникам было дано задание: написать рассказ о прадедах, прабабушках — участниках Великой Отечественной войны, принести фотографии военных лет. На следующий день Андрей Бобков принес бережно завернутую в бумагу коробочку, в которой лежало благодарственное письмо Верховного командования его прадедушке Николаю Семеновичу Доле, герою войны. Когда Андрей сказал, что в их семье много военных, участвовавших в войне, и тех, кто сейчас несет военную службу, родилась идея проекта «Династия Бобковых — защитники Отечества». В ходе работы открылось много интересного и удивительного. Несколько поколений семьи Бобковых являются военными людьми. Прапрадедушка Семен Доля — участник Первой мировой войны, три прадеда, прабабушка, два деда — участники Великой Отечественной, дядя — участник войны в Афганистане, в настоящее время двоюродные дядя и брат, а также родители Андрея — военнослужащие армии Республики Казахстан. В семье Бобковых есть русские, украинцы, поляки, татары. История одной семьи отра-

жает военную историю целой страны. С этим проектом Андрей участвовал в исторической олимпиаде. В этом году его работа направлена в Екатеринбург на конкурс «История моей семьи в военной истории Отечества». Все выполнено на русском языке.

При подготовке к урокам я часто использую российские методические пособия по истории, журналы, а также газеты. Рубрика «История» в «Российской газете» — самая любимая, жаль только, что газета у нас в Казахстане не распространяется, все материалы приходится копировать с сайта.

Что общего у Казахстана с Россией? В голову приходит многое — голод, сталинские репрессии, война, целина, Байконур. Много событий пережито вместе за семьдесят лет советской истории, и сейчас казахстанские юноши и девушки получают образование в российских вузах. В мире есть люди, открыто выражающие неуважение к общему с Россией прошлому. Встречается немало фактов героизации нацистских преступников и их пособников, фальсификации итогов Второй мировой войны, попытки их пересмотра. Кое-где создаются неофашистские группировки молодежи. Советский Союз даже объявляют виновником и зачинщиком войны. А потому подлинные уроки Второй мировой важны и сегодня, спустя почти семь десятилетий. В годы Великой Отечественной войны казахи самоотверженно защищали родину, СССР. Каждый второй погибший казах лежит в русской земле. Может быть, во имя этого, во имя памяти погибших и совместно пролитой крови русские и казахи должны быть братьями и вместе делить радость и горе, трудности и достижения? Мы победили вместе! У нас общая, богатая, очень интересная, трудная, но и героическая история. В нашем прошлом много достойного, чем можно гордиться и что нельзя забывать. Кто, если не мы, будет рассказывать об этом нашим детям?

В современном мире немаловажно развивать многостороннее взаимодействие стран СНГ в гуманитарной сфере, в том числе через образование, язык. Могу ли я, учитель истории, помочь развитию русского языка в Казахстане?

Мы с семиклассниками проводили мероприятие, посвященное году России в Казахстане, «Дела давно минувших дней». Ученики отвечали на вопросы викторины о русской истории, культуре, готовили костюмы, инсценировали сценку из «Скупого рыцаря» Пушкина, читали стихи поэта. В этом году мы готовимся к мероприятию, посвященному 200-летию Отечественной войны 1812 года. Читаем «Войну и мир» Толстого.

На протяжении десяти лет ученики нашей школы тесно сотрудничают с республиканской газетой «Дружные ребята». Газета очень известная, издается с 1933 года, выходит еженедельно на русском языке. Мои ученики — авторы многих заметок, стихов, публикаций, постоянные и активные участники Форума юных корреспондентов, проводимого ежегодно факультетом журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби. Пять моих учениц выбрали профессию журналиста, учатся на русском отделении факультета журналистики. Мы с ребятами верим, что язык до правды доведет, поэтому народам разных стран, несомненно, нужен язык правды и дружбы. Русский язык — главный язык в моей жизни».

Саша и Арман

В первый же день учебы первоклассники — русский Саша и казах Арман — подружились. До последнего времени пацанята встречали друг друга в коридоре школы, радостно обнимаясь, заходили в класс, по пути умудряясь обменяться машинками и принесенными из дома вкусностями. За одной партой сидели, на праздниках стояли-пели рядышком, на всех прогулках — парой, в общем, не разлей вода. Да и их родители поощряли эту дружбу. На школьных переменах друзья вытаскивали из своих рюкзачков по два яблока или банана, по четыре конфеты. Сашка приносил русские пирожки, Арман — казахские баурсаки. Все на двоих. Совместных фотографий тоже накопилось много: серьезный белокурый Сашка и улыбчивый смуглый Арман. В обнимку.

Но однажды Саша пришел домой из школы напряженный. На вопросы старших отвечал уклончиво, был явно чем-то огорчен. Наконец мама аккуратно выпытала-вызнала, что же опечалило сына. Оказывается, на уроке труда дети лепили из пластилина. И Арман, видя, что у друга отменно получился пестрый попугай — как настоящий, только маленький, а его пластилин так и остался разноцветной грудой, высокомерно заявил: «А я все равно умнее тебя, потому что я казах».

Рассказывая это, Сашка чуть не плакал. В его семье никогда дурно не говорили о других нациях. Эта тема не была под запретом, просто ее никому не приходило в голову поднимать, тем паче что многонациональные посиделки родительских друзей в их гостеприимном доме происходят регулярно: вместе с детьми к ним приходят и приезжают армяне и украинцы, дунгане и якуты, русские и евреи, казахи и узбеки. Обсуждают все животрепещущие темы — интеллигенция же! Все споры-разговоры ведутся по-русски. Но никогда у них не обсуждали тему национальности, не спрашивали, кто ты по паспорту. Национальностей просто не существовало в их доме: ведь под одним небом живем.

Сашиной маме, позвонившей мне с вопросом — как быть, как рассказать о происшествии Гуле, маме Армана, я посоветовала обратиться к учителю этих ребят. И правда, мудрый педагог без излишней назидательности нашла верные слова, организовала несколько интернациональных праздников, не один классный час посвятила рассказам о дружбе народов, учить которой, я уверена, необходимо с младых ногтей. Учить на конкретных жизненных примерах, показывать, как необходимо поступать и как нельзя вести себя. И почему надо всегда быть терпимым. Именно учитель должен умно и тактично в зародыше гасить любую, самую мало-мальскую агрессию, сеять уважение к другому, пусть отличающемуся чем-то от тебя, но такому же, как и ты, *человеку*. Давным-давно психологи доказали, что именно стереотипы, тяготеющие над нами, рождают высокомерное отношение к представителям других наций. Их-то и нужно развенчивать терпеливо, повседневно, исподволь.

Заносчивость, высокомерие заведут любые отношения в тупик, из которого потом почти невозможно выбраться. А мягкость и уступчивость — первые шаги к взаимопониманию. Этой самой надменности и спеси я насмотрелась, на собственной шкуре ощутив резкий контраст отношений между людьми разных национальностей, но так же познала я на себе и искреннюю дружбу народов.

Ретивая тетенька из ЗАГСа

Я родилась в тогдашней столице Казахстана Алма-Ате, потом мы жили на юге — в тогдашнем Чимкенте, где в дошкольные годы лучшим моим другом был сосед Нурлан, Нурик. Вместе строили шалаш во дворе, жгли костры, ходили в парк. Потом моего отца, военного журналиста, служба занесла в российский город Киров. Десять школьных лет я проучилась на Вятской земле, где никто никого не делил на нации, не принято это было, национальностей было две: русские и... все остальные. Мы не чурались этой темы, но и не педалировали ее. Все знали, например, что наша одноклассница Лилия Шайхитдинова татарка. Но это была простая констатация факта, не более. Сейчас профессиональная актриса Лилия Каимовна живет в Москве, играет в театре, играет, по-моему, здорово.

Но в 16 лет мне не давала паспорта ретивая тетенька из ЗАГСа. Увидев в графе «национальность» моей анкеты «украинка», она энергично наставляла меня: «Выйдешь замуж — фамилию поменяешь, а национальность-то изменить уже не сможешь». Мой ответ был прост: «Замуж выйду, но фамилию не сменю! А национальность выбрала по отцу, а как же иначе? С такой-то фамилией — и русская...»

В конце концов мой паспорт забрал папа, тоже выслушав лекцию паспортистки о необходимости выбора «правильной» национальности. На Вятской земле никого, кроме этой истовой чинуши, не волновала моя национальность, ни в школе, ни на радио, ни в газете, где я сотрудничала в старших классах, никто ни разу не спросил об этом. Правда, когда я вернулась на родину в Алма-Ату, едва ли не каждый второй интересовался — какой же я национальности? Но и то было чистое любопытство — с такой-то фамилией!

В Казахстане и сегодня в основном в мире и согласии живут представители более 130 наций и народностей, и мы гордимся этим. Однако не все, разумеется, так радужно и у нас, и на просторах нашей бывшей родины. В ноябре позапрошлого года я была свидетелем страшной сцены. В подмосковной электричке на глазах изумленной публики группа подростков избивала паренька азиатской внешности, отрабатывая на нем приемы карате. Все произошло в одно мгновение: компания подростков шла по вагонам, случайно увидели азиата, сначала подсели, заговорили, нарочито провоцируя его, а потом принялись избивать! Изощренно: двое держали двери электрички, чтоб с разбегу, чтоб больнее! Мужчины разогнали озверевшую толпу. По печально-ироничному стечению обстоятельств, я направлялась в РУДН на Международную научно-практическую конференцию «Эволюция содружества независимых государств: достижения и проблемы». Содружество. Братство. Какими далекими оказались эти высокие понятия в отдельно взятом вагоне электрички.

Некоторое время назад было очень распространено словосочетание «культура межнациональных отношений», но оттого, что употребляли его во всех СМИ больше, чем надо, оно подзатерлось, истрепалось. Видно, не нашлось никого, кто объяснил бы этим парням, что на свете нет уз, святее товарищества. Гоголь писал это не только о русском и украинском народах. Растолковывал ли кто-либо этим отморозкам, что все мы под одним небом живем, а значит, изначально равны под ним, даже если различаемся цветом кожи и разрезом

глаз? Что в годы Великой Отечественной войны нерусские жители среднеазиатских республик без лишних слов приняли в свои дома их прабабушек с их будущими родителями? Что эвакуированные на юг и восток некогда огромной страны нашли приют у казахов и узбеков, уйгуров и таджиков? Которые, не требуя ничего взамен, делились последним. Рассказал ли им хоть кто-нибудь, как все вместе воевали наши деды, их прадеды? А потом также дружно восстанавливали страну?

Нужно ли учить дружбе народов?

Проблемы — как ужиться мирно, как понять другого, встают, когда люди хотят показать свое мнимое превосходство и могущество. А ведь у истинного-то человека душа многоцветна. От дружбы еще никто не умирал, а от войн и вражды — миллионы.

Именно эти слова, написанные мною в эссе для XI Международного Пушкинского конкурса, ежегодно проводимого для стран СНГ, Балтии, Болгарии, стали его лейтмотивом. Тема конкурсного эссе была «Нужно ли учить дружбе народов?». Пятьдесят победителей собрались в Москве, говорили все — грузинки, белорусы, казахи, прибалты, киргизки, таджики, туркмены — на русском языке, который объединил нас, русоведов, живущих в бывшем СССР.

Объединяющий язык — великое дело, изначальный инструмент взаимопонимания. Недаром первым шагом советской власти было создание Народного комиссариата по делам национальностей, Наркомнац — государственный орган РСФСР, контролировал в 1917–1923 годах вопросы так называемого национального строительства. С 1990 года похожие функции стал выполнять Государственный комитет по делам национальностей, а с 1994 года — Министерство по делам национальностей и региональной политике. Наркомнац выпускал журнал «Жизнь национальностей», интересное, скажу вам, было чтиво. Многоплановое, поднимавшее жгучие проблемы, рассказывавшее историю каждого народа нового Содружества. Сейчас мы тоже что-то придумываем, пытаемся изобретать очередной велосипед. На радио и телевидении с 1992 года вещает «Мир» — межгосударственная компания стран СНГ. Соучредителями «Мира» выступили десять из двенадцати стран СНГ: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Вещание ведется на русском языке, объединяющем нас.

Очередной проект — «100 сторон» — общий для СМИ стран СНГ и Балтии, решение о создании которого было принято в 2009 году на Форуме европейских и азиатских медиа. На сайте публикуются новости и авторские материалы ведущих СМИ стран постсоветского пространства, в том числе партнеров РИА Новости в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане и Молдове. «100 сторон» — интерактивная площадка для обсуждения профессиональных вопросов, а с помощью рубрики «Свободное мнение» представители СМИ публикуют авторские статьи, в том числе по актуальным проблемам современной журналистики. Одна из главных — толерантность, взаимное уважение. Ведь от того, как подана информация в СМИ, во многом, хотя, разумеется, не во всем, зависят представления, взгляды и установки людей на подобающее в многонациональной среде житие, на сотрудничество, на межнациональные конфликты.

Однако всем нам надо бы помнить: формирование любых качеств в человеке и в обществе — дело людей; ни один учебник, ни одно СМИ не способны заменить учителя, преподавателя, а тем паче родителей, обязанных ежедневно закладывать в души своих детей терпимость, с которой начинается труднейший процесс воспитания. Ведь от культуры каждого зависят и межнациональные отношения в целом. Что ребенок услышит в семье, то и понесет во двор, в школу. А вот здесь уже учителя должны корректировать мышление и поведение подрастающего поколения. Как? Равным, одинаковым отношением!

Не панацея, но все же...

Сегодня картина межнациональных отношений и положение русского языка в Казахстане зависят от множества факторов, но в первую очередь — от культуры людей. В коллективах многое идет от личной культуры руководителя, а также — это очень важно — от того, каковы его этические установки. Это знают все! Но воспринимают как теорию.

Мононациональный юг диктует свои правила: кругом сплошь азиаты, представителям нетитульной нации без знания языка, традиций очень сложно выжить. А потому хочешь не хочешь начинаешь впитывать, по чуть-чуть говорить на красивом казахском языке. Ведь поздороваться, поблагодарить, спросить, как дела и здоровье по-казахски, совсем нетрудно. Это азы, а вот дальше в освоении языка славянам приходится трудновато. Нет методики изучения языка. Местные телерадиоканалы вещают на государственном языке, русского вещания, как и печатных СМИ, все меньше. Объявления, вывески — сплошь по-казахски, собрания, праздники ведутся на казахском языке и чуть-чуть на русском. Если в смешанном коллективе больше русскоязычных, они не поймут тех, кто собрался уезжать из страны из-за языковой ситуации. На севере и в центре огромного Казахстана — свои сложности: что коллективы, что многие семьи — многонациональные. Как не ущемить достоинство представителей отдельных, малочисленных здесь наций? Как сохранить толерантность? Ведь самоидентификация народа определяется поведением среди иных народов.

Не панацея, конечно, но мне кажется, что этому по-своему служат, например, многочисленные конкурсы, в которых мы со студентами факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби принимаем самое активное участие. В прошлом году Россотрудничество в Казахстане, казахстанская ассоциация учителей русских школ при содействии Посольства Российской Федерации в Республике Казахстан объявили конкурс сочинений «Слово о России». Я пришла в аудиторию, объявила о нем студентам. На собственном примере поведала о многочисленных бесценных связях с северными соседями. Кто-то из студентов обрадовался такой теме, кто-то загрустил, но все задумались. Написали. Все, принявшие участие в конкурсе, наглядно продемонстрировали теплое отношение к соседнему государству, несмотря на то, что некоторые из моих студентов никогда не бывали в России. Так появились впечатляющие эссе-прогулки по Питеру, поучительное сочинение «Российские уроки», лиричная переписка с воображаемым русским другом, повесть о первой любви на границе Европы и Азии, а еще — машина времени, перенесшая студентку в Санкт-Петербург, к самой Екатерине Великой. Мы говорили о многочисленных точках нашего ка-

захстанского и российского соприкосновения, вспоминали уроки нашей общей истории, выясняли, чему можем научиться друг у друга. Финалистов конкурса наградили ценными подарками и вручили дипломы, а авторы лучших работ в апреле побывали в Москве на Всемирной молодежной конференции, посвященной победе русского оружия в Отечественной войне 1812 года. Работы моих студентов-победителей опубликованы в российских средствах массовой информации, часть их эссе появилась в журнале «Единство в разнообразии».

На занятиях мы перечитали эти сочинения, и я с радостью отметила, что ни для одного автора Россия, русский язык, история уже не были чужими. Еще раз с историей России мы встретились, готовя постановку «200 лет победы русского оружия» — к 200-летию Бородинской битвы. Студенты написали сценарий вечера, распределили роли, отрепетировали, пригласили на представление наших подшефных — учащихся школы № 32 города Алматы. Вечер прошел на ура! Его изюминкой стала инсценировка баллады студентки третьего курса Натальи Батраковой «Роковая ошибка» — об ошибках Наполеона Бонапарта. В большинстве школ Казахстана не изучают теперь историю России. Но мы все же провели викторину среди школьников, которые блестяще ответили на все вопросы. Конечно, это заслуга их учителя истории Зухры Бердыгожиной, с монолога которой я начала свои заметки, и подтверждение тому, что, казалось бы, банальные педагогические приемы работают! Россотрудничество отметило нашу постановку как лучшую среди вузов Казахстана. Кстати, Наталья читала свою балладу в Москве в апреле 2012 года на Международном молодежном форуме. Вот что она сама рассказывала по этому поводу: «В апреле 2012 года в Москве состоялся Международный молодежный форум. Россотрудничеству удалось собрать около 150 делегатов. Ребята прибыли из Китая, Казахстана, Аргентины, Грузии, Узбекистана, Молдавии, Эквадора, Австралии, Мексики, США, Голландии и других стран. Объединяющим для всех фактором был русский язык. Я заметила, что каждый участник форума говорил «по-своему». Интонация, ударения, построение фраз имели своеобразные оттенки. Несмотря на то, что все говорили на русском, чувствовались нотки влияния родного языка. Однако это не мешало нам понимать друг друга. Кроме того, я обратила внимание на язык самих россиян, участвовавших в организации форума и присутствовавших на нем. Язык выступавших на форуме известных российских деятелей культуры был богаче, ярче, чем тот, к которому я привыкла в Казахстане, я буквально заслушивалась. Разговорный язык тоже был более живой. Но, невзирая на все нюансы, мы прекрасно понимали друг друга, учились и учили, ощущали себя частью — нужной частью — чего-то общего, большого, важного и хорошего. По вечерам мы обсуждали проблемы, с которыми сталкивается русский язык в разных странах, рассказывали о его положении. Не все могли похвалиться тем, что язык не ущемляется и всячески поддерживается государством. Наоборот, многие сетовали на то, что и язык, и русскоговорящее население притесняется в правах».

Кстати, под патронажем Россотрудничества уже двенадцать лет действует Страноведческая школа, в которой готовят школьников для участия в олимпиадах по русскому языку. Энтузиасты — преподаватели вузов и школьные учителя — трудятся в Страноведческой школе бесплатно. Я разговаривала со многими школьниками, студентами, учителями. Вот мнение восемнадцатилетней студентки, приехавшей в Алматы из маленького казахского городка.

«О роли русского и казахского языков в моей жизни я задумалась лет шесть назад, когда в ответ на мой вопрос — как сказать по-казахски «удовлетворенность» — мама возмущенно посмотрела на меня. С этого моего вопроса начался «геноцид» русского языка в нашем доме. Отныне говорить и думать на нем мне запрещалось. Конечно, мама не брала в расчет то, что почти вся наша библиотека была на русском, так что перестать как минимум читать на нем я не могла. Казахскоязычная среда не мешала мне ни думать, ни говорить по-русски. В течение всех восемнадцати лет моей жизни в нашем городке половина жителей воспринимала меня как приезжую. Я думала, одевалась и даже вела себя иначе. Может, потому что я была под влиянием русских классиков? Да, я знаю устный казахский язык в совершенстве, ну почти в совершенстве, но осилить книги на нем мне еще не удавалось. Я считаю казахский язык родным, восхищаюсь им, наслаждаюсь, когда люди красиво и правильно говорят, но думаю все-таки на русском.

Но в Алматы все изменилось: везде русская речь, и тут я начала скучать именно по казахскому. Слушать песни на казахском, смотреть только казахские телеканалы. Но среду перебороть очень сложно. Только тогда я поняла, о чем говорили мои родственники из России, поняла, почему они скупают все казахские диски и, когда приезжают, просят при них говорить по-казахски. Они не знают его даже на среднем уровне, но само звучание приносит им огромное наслаждение. Кто сказал, что по языку нельзя скучать? Дома мы разговариваем на казахском языке, дедушка и бабушка играют свою роль. Но с друзьями все обстоит несколько сложнее, трудно назвать язык, на котором мы разговариваем, казахским или русским. Это скорее микс, или каша из нескольких языков сразу. Немного русского, немного казахского, приправленное английским и несколькими фразами из испанского. Теряешь грань, изучая несколько языков сразу, это, конечно, упрощает общение, но правильно ли это? Ты с легкостью переведешь текст с английского, напишешь статью здесь на русском, там на казахском, но тебя преследует чувство, словно ни один из этих языков ты не знаешь по-настоящему.

Я считаю, что государству, где почти 85 % населения владеет русским языком, следует беречь это сокровище. Наличие богатейшей литературы гарантирует русскому языку его развитие. Не школа научила меня этому языку, а огромное количество интереснейших книг на русском языке».

Нуждается ли в защите русский язык?

Ценности мира и согласия, прочно утвердившиеся в сознании большинства казахстанцев, не совместимы с идеей насилия во имя достижения каких-либо целей. Сегодня важно не утратить эти основные ориентиры. Именно СМИ являются связующей системой обогащения ценностей общества и приобщения к ним массовой аудитории. А потому редакционному коллективу и каждому журналисту эти проблемы надо поставить и решить для себя — каков характер ответственности в продвижении ориентиров, которые передаются от поколения к поколению как вечные ценности. А какие ценности у нас сейчас?

Двадцать лет назад перестал существовать Советский Союз. Огромная империя распалась на полтора десятка государств, в которых великий и могу-

чий русский язык стал преподаваться как иностранный, но остался официальным языком Содружества независимых государств. Выросло целое поколение, которое никогда не жило в СССР. Русский по-прежнему остается языком мирового общения, одним из шести рабочих языков ООН, родным для 170 миллионов человек. На постсоветском пространстве он стал реальным языком межгосударственного общения, огромным сегментом мирового Интернета. Он является родным для соотечественников, проживающих в новых независимых государствах, становится необходимым для миллионов соседей, приезжающих в Россию на работу. Не влияет ли это на сам русский язык, не нуждается ли он в защите и помощи? Вот и Россия в тревоге, коли введен для мигрантов экзамен по русскому языку, вызвавший такую неоднозначную реакцию общественности.

Взаимообусловленность явлений, взаимосвязь людей разных вероисповеданий и национальностей сегодня очевидна. Специалисты говорят о необходимости воспитания, в том числе средствами массовой информации толерантного сознания, ведь влиянию СМИ особенно подвержено подрастающее поколение. Под толерантным сознанием понимается беспрекословное уважение прав каждого человека, независимо от национальной принадлежности, вероисповедания и языка. При этом важнейшим становится умение ненасильственно решать любые возникающие конфликты, а задача СМИ — показывать эти цивилизованные пути решения.

Ценности же, пропагандируемые современными медиа, нацеливают, скорее, на обогащение, увеличение материального достатка, а не на воспитание духовности. Это особенно опасно, когда речь идет о детской и юношеской аудитории. Формирование толерантности как важнейшей нравственной ценности общества должно стать приоритетной задачей СМИ, они обязаны воспитывать уважение к чужой культуре, а через культуру — к другому народу.

Ассамблея народов Казахстана и ее задачи

Разумеется, это задача не только средств массовой информации. У нас в стране активно работает Ассамблея народов Казахстана. Функции этого уникального общественного института в сфере межнациональных отношений заключаются в следующем:

— оказывать конструктивное воздействие на процесс интеграции этнокультурных организаций и объединений;

— проводить профилактическую работу по предупреждению возникновения конфликтных ситуаций и противоречий в межнациональных отношениях;

— принимать активное участие в решении вопросов в области популяризации государственной национальной политики;

— обеспечивать развитие языков различных этносов, проживающих в Казахстане.

Какова сейчас картина языковой политики в постсоветских республиках? В Азербайджане русский язык считается иностранным. Хотя русская диаспора там немногочисленна, составляет всего 150 тысяч человек, около 70 % всего населения в той или иной степени еще владеют русским языком. Ежегодно для местных 29 русских и 393 смешанных школ Россия в качестве гранта передает школьные учебники. В силу численного преобладания коренного народа населе-

ние в основном говорит на государственном азербайджанском языке, однако существует 19 филиалов российских вузов и Славянский университет. На Украине русское население, хотя и составляет 26,6 % от всего населения страны, 67,5 % считают русский язык родным. До 15 мая 2003 года русский язык считался языком межнационального общения, однако после присоединения республики к европейской Хартии региональных языков и языков малочисленных народов русский язык получил статус языка малочисленного народа. В Грузии русский язык признан языком межнационального общения, однако с уменьшением численности русского населения уменьшается количество русских школ. В Кыргызстане русский язык утратил статус официального языка в 2005 году, но говорят там (городское население) по-русски и объявлений больше на русском языке. В Таджикистане большое количество желающих овладеть русским языком, так как он необходим для трудовой миграции в Россию.

«Дорожная карта мира и согласия Казахстана»

Едва ли нужно убеждать здравомыслящих людей в том, что как для развития конкретного этноса, так и для межнационального сотрудничества вредно противопоставление одного народа другому, проявление агрессивного национализма и шовинизма, культивирование психологии национальной исключительности, что свободное национальное развитие того или иного народа в сотрудничестве с другими народами не только не исключает, а, напротив, усиливает его национальную консолидацию на основе общности культурно-исторического прошлого. Однако, чтобы победить существующие в быту, что греха таить, предрассудки, требуются усилия государства и общества. Как сказал российский ученый и политик Рамазан Абдулатипов, необходимо проводить национальную политику согласия в качестве важнейшего направления деятельности государства.

На встрече президента Нурсултана Назарбаева с представителями этнокультурных объединений Восточно-Казахстанской области руководитель еврейского центра Владимир Лебедев предложил создать новую государственную программу под названием «Дорожная карта мира и согласия Казахстана». Эту инициативу поддержали руководители других этнокультурных объединений. На встрече в областном Доме дружбы они заявили, что надо создавать условия не только для развития этнических культур, традиций, обычаев и языков, но и для углубления диалога с властью, дальнейшего развития толерантного мировоззрения, расширения сотрудничества с зарубежными этнокультурными объединениями, творческими коллективами, музеями. А руководитель татарского центра Габдулхай Ишмуратов предложил для начала провести сабантуй не как чисто татарский праздник, что было всегда, а как общегородской фестиваль, а руководитель чечено-ингушского центра Татьяна Кагерманова — проехать общей агитбригадой по всем городам нашей страны. Член Ассамблеи народов Казахстана Лео Шик высказался за необходимость поднять статус областного Дома дружбы, финансировать работу школы толерантности. Руководители этнокультурных объединений области договорились совместно доработать проект «Дорожной карты мира и согласия Казахстана». Ведь каждому из нас нужно прочное многонациональное государство. Государство, в котором тепло и спо-

койно каждому гражданину, в котором — большие красивые города с площадями, а не «улицы с односторонним движением». Духовный, высококультурный человек никогда не будет агрессивен, ему чуждо враждебное отношение к другим, его мысли и силы направлены на созидание.

Как-то студентка-казашка русского отделения рассказала: перед занятиями зашла в библиотеку, хотела заполнить формуляр, но, как назло, закончилась паста в ручке. Времени в обрез. Просит буквально на минуточку ручку у студентки казахского отделения. А в ответ слышит: «Попроси по-казахски».

Этот маленький пример свидетельствует об исключительной важности социолингвистического аспекта проблемы. Ему АНК тоже уделяет большое внимание, ставя перед собой следующие задачи:

— формирование социолингвистической среды в целях укрепления и расширения социокоммуникативной функции государственного языка;

— оказание поддержки для сохранения общекультурной функции русского языка;

— оказание должного внимания языковым программам республиканских национально-культурных центров и использование их для определения госзаказа в сфере языковой политики.

В связи с последним пунктом как журналист и воспитатель будущих журналистов замечу, что — в частности — было бы недальновидным со стороны государства и общественных организаций не воспользоваться таким уже существующим проводником межнационального согласия и укрепления в этом деле функции русского языка как журнал «Дружба народов» и не оказать ему совместную поддержку. Я сама являюсь благодарной читательницей этого журнала и энергично рекомендую его своим студентам.

Сначала экономика — потом политика

Летом прошлого года, обедая в Москве на Арбате, услышала знакомую речь. Два парня азиатской внешности довольно громко разговаривали на родном языке. Естественно, мы познакомились. Оказалось, ребята из Кыргызстана. Соседи! Один тут же убежал в подсобку — работа, а со вторым мы побеседовали. Следующие несколько минут я говорила исключительно по-казахски, Айганжон прекрасно меня понимал. Окончив в интернате 9 классов, с учебой он завязал. Отец болеет, в ауле работы нет, в семье кроме него — еще семеро детей, с ними живут аже и ата (бабушка и дедушка). Всех одеть, обуть, накормить. На лекарства отцу много денег уходит. Получается, что только на него, Айганжона, и надежда. Лишь бы хозяин из кафе не выгнал. Семнадцать человек из Киргизии снимают на южной окраине Москвы двухкомнатную квартиру. В иные дни и до двадцати доходит, если кто-то приезжает. Расходы Айганжона — оплата квартиры, естественно, вскладчину, и транспорт, больше никуда не тратит. Работая на полторы ставки, он не ходит по музеям и театрам, его главная задача — выжить, отсылая домой все, что заработал. И таких приезжих в Москве становится с каждым днем все больше и больше. «Понаехали».

Как быстро оказалась забыта мудрая пословица «Где родился, там и пригодился». А что делать, если там, где он родился, работы нет? Закрыты предприятия. Если за один и тот же труд дома и в России платят совершенно разные

зарплаты? Куда бежать, если родное государство не заинтересовано в нем, молодом, здоровом работнике? Кстати, знаете, что интересовало парня больше всего? Правильно: кто я по национальности, если при славянской внешности язык знаю.

Глядя на Айганжона, вспомнила своего любимого писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова: «Я убежден, что лозунг «Сначала экономика, потом политика» себя полностью оправдал… В тех краях, где увлеклись политикой, руки до экономики так и не дошли. Население этих новых государств пополнило ряды чернорабочих Москвы и Питера. Украинцы, молдаване, таджики, узбеки, киргизы… Среди них нет казахов. Это тоже можно считать достижением. Оно говорит о развитии национальной экономики больше самых бравурных цифр».

И действительно, работы в Казахстане полно. Но уже есть организации, в которые берут на работу только людей со знанием казахского языка. Президент Н. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана в декабре 2012 года особо подчеркнул необходимость общественного порицания за ущемление граждан по принципу языка.

«В Казахстане созданы все условия и будут создаваться, чтобы каждый этнос сохранял свой язык, культуру и традиции. Еще раз хочу сказать, в нашей стране никто не должен ущемляться по принципу принадлежности к тому или иному этносу или языку. Если кто-нибудь в нашей многонациональной стране ущемлен в правах по этому принципу, особенно при приеме на работу, при поступлении в вузы и так далее, надо считать, что ущемлен весь Казахстан».

Миграция была всегда: воссоединялись с родственниками, уезжали на учебу, на лечение. Другое дело, что сегодня эти процессы приняли массовый характер, регулировать который государства СНГ уже не в состоянии. Приходится говорить о вынужденной миграции по экономическим и этическим причинам, когда жить или учиться на родине по тем или иным обстоятельствам становится невозможно. Недавно в правительственной «Российской газете» был опубликован актуальный материал замечательного публициста, писателя Ирины Пуля «Разноцветный урок. Почему родители не хотят отдавать детей в «смешанные» классы?» Проблема огромна. Не от хорошей жизни люди мигрировали, дома-то и стены помогали, а теперь — нет. А детям-то учиться надо!

Меня поразили в этой аналитической публикации цифры: 66 % опрошенных родителей против того, чтобы их дети учились в одном классе с мигрантами. У 24 % отношение нейтральное, и только 8 % относятся к многонациональным классам одобрительно. И хотя столичные учителя отмечают много положительных черт среди большой части приезжих детей, в частности, их воспитанность, уважение к старшим, львиная доля родителей против. Стараюсь их понять и… не могу. Этих бы взрослых к нам сюда, в Казахстан. В наши сплошь многонациональные семьи, классы, дворы, в которых живут и дружат, невзирая на национальности. Или пригласить бы их на праздник «День языков народов Казахстана», который ежегодно 22 сентября проходит во всех учебных заведениях. Цель праздника — расширять знания учащихся о языках и традициях народов своей страны, воспитывать любовь и уважение к родному языку и прививать интерес к знанию государственного, формировать патриотизм через изучение культурного наследия всего многонационального народа. Кстати, уча-

щиеся сами выбирают тот народ, культуру которого они будут представлять. Выбрали — и начали готовиться: читать-изучать историю, культуру, традиции.

По-моему, это очень важно, чтобы о родине, об Отечестве мы вспоминали не только тогда, когда нам плохо, когда что-то случается. А ведь мы по привычке поступаем именно так и именно тогда начинаем выдвигать одну за другой национальные идеи, подчас смешные. Вспоминать мыслителей и героев. Прославлять их в СМИ. Раньше это называли кампанейщиной: поговорили — «шумим, братец, шумим» — и благополучно забыли.

Моно или мульти?..

И еще немного статистики, теперь казахстанской. В 1989 году казахов в Казахстане насчитывалось 39 % от общего количества населения, в 1999-м — уже 53, в 2009-м — 67. Здесь есть над чем задуматься. По мнению Олжаса Сулейменова, если верить итоговым материалам переписи, каждое десятилетие после 1989 года численность казахов в республике увеличивалась на 14 %. Ни одна нация в мире за двадцать лет не возросла на 28 %. За счет чего случился такой рекордный скачок?

Может быть, так резко возросли рождаемость и средняя продолжительность жизни? Если так, подчеркивает Олжас Сулейменов, то — бурные аплодисменты! Но, увы, проценты эти хоть и демонстрируют рост численности, но относительный, а не абсолютный. Эти взволновавшие ура-патриотов проценты увеличивались за счет уменьшения численности неказахской части населения. В объединившуюся Германию перебрались почти все немцы, в Украину — много украинцев, русские продолжают уезжать в Россию... Если темпы такого нашего «роста» сохранятся, то мы станем моноэтническим государством уже через следующее двадцатилетие. А если поднажмем, то и раньше! И есть желание поднажать, подчеркивает Сулейменов, этот процесс убывания неказахского населения напоминает весьма модную ныне тенденцию сгонки веса. Однако врачи, спохватившись, предупреждают худеющих, что зачастую человек, увлекаясь потерей лишних килограммов, вместо ненужного жира лишается мышц. Обессиливает.

И для политиков настала пора говорить с предельной откровенностью, называя явления своими именами. Исход русских из Казахстана лишает нас не только специалистов промышленности, сельского хозяйства и науки (такую потерю можно со временем наверстать), но, главное, мононационализирующийся Казахстан теряет надежного, историей проверенного союзника. Мы оказываемся одинокими в окружении вежливых соседей, давно имеющих к нам пока негласные территориальные претензии.

Государству и обществу надо делать все, чтобы сохранить спасительную многонациональность Казахстана. Сохранить конституционное двуязычие. Развивая казахский язык, внедрять его постепенно в новые сферы общественной жизни, но не за счет искусственного сокращения поля русского языка, что лишает русскоязычную молодежь будущего в Казахстане. Русских школ еще много, но русских студентов в наших вузах почти нет. Выпускники школ уезжают поступать в университеты России.

А раз уезжают, то будущее свое видят в другой стране, не в Казахстане.

Интернационалист, поэт, общественный деятель Олжас Омарович Сулейменов озвучил то, о чем стыдливо умалчивают политики. А интеллигенция продолжает делить себя на ранги и роды. У нас даже в СМИ теперь нередко встречается выражение «асфальтный казах» — выросший в городе, получивший образование на русском языке. Таких много. И сегодня они, русскоязычные городские казахи, пытаются наряду со славянами и корейцами осваивать казахский язык, продолжая думать и сочинять на русском.

«Я рада, что владею русским»

Да-да, сочинять. В республике выходят русскоязычные СМИ, издаются литературные журналы «Простор», «Нива». Благодаря энтузиастам Райхан Бектемисовой и Людмиле Мананниковой ежегодно выпускается альманах «Литературная Алма-Ата» — замечательная литература на русском языке! Кто авторы? Современные казахстанцы: русские, казахи, украинцы, корейцы, белорусы, татары. Пишущие на великом и могучем, часто непрофессиональные литераторы. Но их произведениями зачитываешься. Я, воспитанная на классической литературе, буквально влюбилась в некоторые их произведения! Это ж надо сегодня, когда о страстях все уж сказано, так образно, так красиво описать любовь, да и саму вечную тему взаимоотношений мужчины и женщины.

Людмила Борисовна Мананникова, журналист, пресс-секретарь русского ТЮЗа имени Натальи Сац, делает все, чтобы поддержать пишущих по-русски: издает сборники стихов и рассказов, ведет несколько литературных, педагогических, театральных сайтов, устраивает конкурсы рассказов, сказок, стихов. Огромный труд, направленный на развитие русского языка в Казахстане.

В многонациональной семье Галибабаевых есть татары, русские, немцы и турки. На семейных сборах равноправны два языка: татарский и русский. Молодое поколение говорит исключительно по-русски, так как с детства общается лишь на нем. В этой семье смотрят телевизионные передачи, слушают радио и читают газеты только на русском языке. Старшее же поколение, бабушки и дедушки, говорят по-татарски. В школе, где учится София Галибабаева, все разговаривают на русском — и педагогический коллектив, и школьники. Мероприятия также проходят на русском языке. София хочет стать журналистом, публикуется в республиканской детской газете «Дружные ребята» и считает, что писать на татарском неперспективно, так как в Казахстане русский язык затрагивает больше сфер применения и имеет большую аудиторию как среди молодежи, так и среди пожилого населения. В удостоверении личности Софии в графе «национальность» указано «татарка», но она считает себя обрусевшей, так как не только говорит, пишет и думает по-русски, но и внутренне чувствует близость именно к этому языку.

Для студентки факультета журналистики Екатерины Журавлевой оба языка — и русский и казахский — равно близки. Мама казашка, а папа русский.

«С самого рождения я слышала два языка: русский и казахский, для меня сегодня это только плюс. Я знаю, что ни среди родственников мамы, ни среди родственников папы никогда себя лишней чувствовать не буду. Я родилась в многонациональном государстве, где язык каждой народности имеет право на жизнь. В основном на улице мы слышим русский и казахский. Но и сегодня еще

русский язык, как и раньше, открывает и будет открывать новые возможности для людей. На нем мы имеем возможность читать книги зарубежных авторов, в частности и из тех стран, с которыми прежде входили в состав одного государства, смотреть фильмы. А вообще любой язык — это стук сердца каждого из нас. И любой из нас может внести свой вклад в развитие прекрасного языка мировой культуры.

Я очень рада, — продолжает Катя, — что владею русским языком. В нашей стране он занимает особое место, он дает возможность общаться между собой казахстанцам разных национальностей. Думаю, в наших интересах развивать его и сделать так, чтобы на нем говорили и писали правильно. Но в такой стране, как наша, следует уделять внимание каждому языку и научиться уважать каждый из них. Неправильно навязывать только изучение одного или двух языков в школе. Необходимо дать право на выбор».

Моральная ответственность СМИ

В том, чтобы стать центром общественного и гражданского согласия — одно из главных предназначений и средств массовой информации, в этом — высокая моральная ответственность тех, кто работает в структурах «четвертой власти».

По мнению президента Академии журналистики Сагымбая Козыбаева, в целях сохранения гражданского мира и внутриполитической стабильности нужно строить национальную политику на основе своевременного учета национальных интересов входящих в состав нации этносов и диаспор, согласовывать эти интересы друг с другом, с общегосударственными интересами страны в целом. Соответственно, национальной политике должны быть присущи определенные основополагающие принципы, которые обязаны осуществляться системой органов государственной власти, а также всеми демократическими институтами и средствами массовой информации: уважение прав и основных свобод человека, независимо от его национальности, происхождения, социального положения; сохранение территориальной целостности и единства страны, внутриполитической стабильности, гражданского мира; гарантия защиты личной безопасности человека, обеспечение безопасной жизни каждого этноса; развитие многонационального общества на основе свободного, демократического диалога между гражданами — с одной стороны, и властью всех уровней — с другой; защита от любых форм дискриминации по национальному признаку, пресечение политических, идеологических и пропагандистских акций, разжигающих расовую, национальную вражду и рознь. Эти принципы образуют фундамент национальной политики современного демократического государства. Вместе с тем они, по сути, являются принципами деятельности СМИ, а неуклонное следование им определяет эффективность реализации стратегии национальной политики и способствует формированию в полиэтничном государстве общенационального согласия. С. Козыбаев подчеркивает: нет плохих наций, нет плохих народов, нам всем надо жить в мире и согласии. Как наши предки.

Если говорить об ответственности журналистов в сфере освещения межнациональных отношений, то здесь на первый план выходит правильная расстановка акцентов в национальной политике, исходя из формирующейся культуры

межнациональных отношений в современных государствах, превратившихся за последние сто лет по большей части из моноэтничных в полиэтничные структуры. Верные подходы в этой тонкой сфере могут быть выработаны, если она будет постоянно находиться в поле зрения массмедиа.

Следует учитывать, что на нынешнем этапе развития наций и межнациональных отношений социально-психологические проблемы жизнедеятельности народа выходят на первый план. Как показывает мировой опыт, кризис в экономической области, рост социальной конкуренции ведут к усилению межэтнической напряженности. В такой ситуации начинают активно действовать этнические элиты, которые формируют образ врага из инонациональных групп или национальных меньшинств. Для того чтобы блокировать подобные явления, власти следует сосредоточить усилия на придании созидательным процессам общегражданского характера, а социальную заботу, внимание должны ощущать все социальные и национальные группы. Только так можно создать идейно-нравственную и психологическую атмосферу, которая будет работать на сплочение всех граждан многонациональной страны.

Между тем для того, чтобы СМИ могли играть роль посредника между потенциально конфликтными этническими группами, журналисты должны уметь использовать приемы, методы, способы снятия противоречий в области межнационального общения. То есть чрезвычайно важно руководствоваться пониманием нового этнополитического мышления. Его основу составляют взгляды, идеи, теории и концепции, выработанные на протяжении всей человеческой истории в экономической, этнической, психологической и других сферах национально-государственных отношений, которые регламентируются документами ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций с учетом позитивного и негативного зарубежного опыта.

«Кто прячет прошлое ревниво...»

Одна из любимых читаемых мною дисциплин в вузе — история журналистики России. Я частенько привожу строки Александра Твардовского: «Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу».

Прошлое прятать не нужно, его нужно изучать. Анализируя тексты прошлого, обращаю внимание нынешних молодых журналистов на насыщенный язык, на стиль публицистики прошлых веков. Мы ищем исторические аналогии, проводим параллели с современностью, видим, как многое из нашей общей истории повторяется сегодня. Рассматривая публицистику прошлых веков, учимся извлекать эти самые уроки истории.

Очень многое сегодня могут сделать учителя-словесники, интернационализм ведь закладывается в семье, а закрепляется в школе и в вузе. Пусть кто-то отнесется к этому скептически, но я уверена: дружбу надо пропагандировать — организовывать фестивали народов мира, на конкретных примерах показывать общность нашего исторического прошлого, приглашать в классы и аудитории интересных людей разных национальностей. Я приглашаю, и никто ни разу не отказался прийти.

Нам бы еще помощь государства в съемках фильмов, выпуске газет и журналов. Помните, какие сердечные фильмы снимали в Союзе о многонацио-

нальных семьях, где под одной крышей миролюбиво уживались люди разных национальностей, владеющие несколькими языками, воспитанные в разных культурах и традициях. Таких немало и сегодня. Кстати, многоязычных журналистов тоже много. Имя алматинца Герольда Карловича Бельгера вызывает заслуженное уважение, я бы сказала благоговение в казахской, немецкой и русскоязычной среде. Это редкий человек, пишущий на трех языках — казахском, русском, немецком. Яркий публицист, выдающийся критик, литературовед. Одна из самых известных его книг, «Многоликий Казахстан», зачитана до дыр. Его семья и его творчество — истинные примеры реальной, а не напускной дружбы народов.

Еще один пример истинного интернационализма — организация и проведение на факультете журналистики Казахского национального университета традиционного Национального форума юных корреспондентов. Объявляем конкурс на лучшее сочинение среди школьников и абитуриентов. Перед самим форумом — неделя абитуриента. С первого ее дня школьники, съезжающиеся со всех концов страны, казахи и русские, украинцы и татары, таджики и немцы, уйгуры и белорусы — полноправные участники процесса. Сидят на занятиях, снимают вместе со старшекурсниками клипы, делают видеогазеты и журналы, пляшут и поют. 31 марта подводим итоги. Каждый предлагает что-то свое. Оригинальное, самобытное. Наши дети всех национальностей очень талантливы. Лучшие сочинения публикуем в русскоязычной детской газете «Дружные ребята», которой в феврале 2013 года исполняется 80 лет, это одна из старейших газет республики, сотрудничать в которой начинали многие нынешние корифеи пера и микрофона.

Моя названая дочь

У меня есть названая дочь по имени Адель. Названая, потому что она сама себя так назвала. Адель казашка. Точнее, ее отец казах, а мать узбечка. Очень хорошие уважаемые люди. А получилось вот как. В студенческой группе выделяется девушка — умная, старательная. На семинарах отвечает отлично. К тому же красивая, с огромными глазами. Телегеничная. Как-то на перемене спрашиваю:

— Где работаешь?

— Сейчас нигде.

— Пошли на телевидение!

Я в то время консультировала телевизионные программы одного из телеканалов. Оказалось, что у Адель и опыт телевизионный есть, и идей масса. В тот же день привела ее в утреннюю программу, сначала она стала корреспондентом, потом — ведущей прямого эфира.

Как-то, отсматривая эфир, я ужаснулась ошибкам ее и партнера. Обидно было, ведь накануне разобрали всю программу по минутам. Вбегаю в эфирную, ругаюсь: «Дети!..» Все опустили глаза — виноваты, я в гневе опять: «Дети!..» На что Адель лукаво отвечает: «Да, мама...»

Так и повелось: «мама» — «доча». В моей сотке так и записано — «Доня». Мой сын зовет ее «сестра». Первый раз переступив порог моего дома, Адель, обнимая моих родных, искренне воскликнула: «Вы моя семья!»

Дочь окончила магистратуру, вышла замуж, мой любимый зять Максут зовет меня «теща номер два», я не против. А через некоторое время дети

осчастливили меня, сделав бабушкой. Моей любимой внучке-смуглянке пять лет. Когда эта узкоглазка обращается ко мне: «Бабуля», я понимаю — счастье есть. Мы дружим семьями, несмотря на наши перемешанные национальности, цвет кожи и разрез глаз. Радуемся успехам, помогаем друг другу. У нас интернациональные праздники, интернациональная кухня. Но объединяет нас русский язык, на котором мы общаемся.

У нас, казахстанцев и россиян, живущих без СССР уже 20 лет, хвалящихся сегодня своей независимостью, общие корни, общие история и литература. О чем негоже забывать. И именно учитель в школе, преподаватель в вузе обязаны после родителей и семьи быть главными воспитателями толерантности и дружбы народов. Методистам вновь (ведь это было уже при Союзе) не мешало бы разработать классные часы для школьников и кураторские для студентов. Не унижая ни одну нацию, не возвышая себя, учить-показывать на доступных примерах: как сосуществовать без вражды, без войн и распрей, дружно жить на этой благодатной земле, принявшей 130 народов. Дружных народов некогда единой огромной страны.

Россия и Казахстан. Джамбул, казахстанцы под Москвой и на Ленинградском фронте. Алма-Ата и разъезд Дубосеково, Алма-Ата и Ленинград. Как все переплелось-перемешалось в наших судьбах и в наших семьях. Я родилась в Алма-Ате, а долгие годы училась в российском городе Кирове. Сын родился в Алматы, а учится в России. Кстати, высшее образование в городе на Неве, в основном на популярном юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, до 1917 года получили 23 казаха. У себя на родине они стали лидерами Кокандской автономии, правительства Алаш-Орда, руководили Казахской Советской Республикой. Еще обязательно нужно вспомнить Чокана Валиханова. Именно в его судьбе теснейшим образом переплелись Казахстан и Россия. Европа и Азия. Степь и горы. Именно Валиханов первым привез в северную столицу России дух Казахстана, правдивое представление об огромном южном соседе как о стране высокоразвитой культуры с многовековыми традициями, тем самым поспособствовав налаживанию дружеских связей двух народов.

В 1860 году в журнале «Русский вестник» публицист, прекрасный знаток жизни окраинных народов Павел Небольсин писал: «…сложилась в народе поговорка, объясняющая их приверженность к России и стремление сколько можно теснее сблизиться с русскими. Поговорку эту, сколько она мне помнится, можно по нашему передать следующими словами: «Не говори просто — русский, скажи: наше счастье». По-киргизски (по-казахски. — *Л.Н.*) оно выходит проще и лучше, да и игривее, вследствие созвучья начальных слов «русский» и «счастье».

Мы все живем под одним небом, под одним шаныраком. Шанырак — это круг, образующий потолок юрты. Для казахов шанырак имеет большое символическое значение. Это символ дома, домашнего очага, продолжения рода, не случайно шанырак изображен на гербе современного Казахстана.

Заметили? В торговых делах не бывает проблем с языком: любой рассудительный, благоразумный торговец подстраивается под своего клиента, выучив десяток самых ходовых выражений на языке того народа, который идет к нему за покупками. Может, и всем так надо?

Коммерсанту — ради процветания своей торговли.

Нам всем — ради процветания своей родины. И всей земли.

Алматы, декабрь 2012 г.

Осознание границ или жизнь за заборчиком?

Литературные итоги 2012 года. Заочный «круглый стол»

Мы предложили участникам — литературным критикам — ответить на два вопроса:

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

Из мозаики субъективных мнений, а порой и весьма пристрастных оценок (если угодно — «вкусовщины») не только складывается жанровое полотно отечественной словесности и ее окрестностей, но и прорисовывается коллективный портрет самой сегодняшней критики.

Ольга Балла, литературный критик, журнал «Знание–сила», г. Москва

Прочитанное-2012: субъективный список

I. Все вышедшие в этом году книги, которые чем бы то ни было оказались для меня, читателя вполне дикорастущего, важны и интересны, разделим для удобообозримости на две больших категории — художественное и нехудожественное («non-fiction»), а каждую из них внутри — на русские тексты и переводы. Художественное разделим также на поэзию и прозу; особо выделим периодику.

Неравномерность наполнения категориальных ячеек этих библиографических (скорее, библионавтических[1]) воспоминаний об ушедшем годе объясняется единственно неравномерностью читательских пристрастий, склонностей и восприимчивостей сумбурного автора этих сумбурных строк. К тому же, к сожалению, не все из вышедшего в этом году и кажущегося интересным мне удалось раздобыть и прочитать. Здесь пойдет речь почти только о том, что раздобыть и прочитать удалось — с совсем немногими исключениями: некоторых изданий из числа упомянутых у меня еще нет, но не назвать их не могу, поскольку в их значительности не сомневаюсь.

Поэзия:

Среди важных художественных изданий прежде всего вспоминаются мне появившиеся в этом году сразу несколько значительных сборников уже умерших поэтов — конечно, это не относится к текущей литературе, зато очень относится к текущему чтению и безусловно формирует контекст.

Окончание. Начало см.: «ДН», № 1, 2013.

[1] Библионавтика — принципы ориентирования в книжном пространстве.

(1) Прежде всего — это небольшой, но яркий сборник «Тяжелая слепая птица» Михаила Лаптева (1960–1994). Это — поэт, по моему чувству, очень сильный и значительный (рискну сказать — едва ли не масштаба Мандельштама) и изданный — после давнего и совсем небольшого сборника «Корни огня» (М.: ЛИА Р. Элинина, 1994) фактически впервые — в рамках серии «Зоософия» «Крымским клубом» (о котором речь впереди). Что до серии «Зоософия», Лаптев умещается в нее лишь чрезвычайно условно. Думаю, он еще будет и прочитан, и как следует издан, и как следует оценен. Лаптев, я думаю, большее открытие для читающих по-русски, чем все, кого я назову сразу вслед за ним, просто хотя бы потому, что гораздо менее известен, — поэтому его стоит вспомнить первым. (2) Ян Сатуновский. Стихи и проза к стихам / Составление, подготовка текста и комментарии И.А. Ахметьева. — М.: Виртуальная галерея; (3) Константин Вагинов. Песня слов. — М.: О.Г.И.; (4) Лев Лосев. Стихи. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха [наиболее полное на сегодня собрание стихотворений Лосева]; (5) Борис Рыжий. В кварталах дальних и печальных: Избранная лирика. Роттердамский дневник. — М.: Искусство-XXI век.

Проза:

(1) Михаил Новиков. Природа сенсаций: Рассказы / Предисловие Леонида Костюкова. — М.: Новое литературное обозрение. — (Уроки русского). В связи с Новиковым (1957–2000) — автором столь же интересным, сколь и непрочитанным (хотя при жизни он публиковался более активно, чем затворник Лаптев) — стоит сказать о том, что в этом году вообще была возобновлена, на сей раз «Новым литературным обозрением», прекратившаяся было в 2011-м серия «Уроки русского», что меня чрезвычайно радует. В этом году в ней успели выйти также: (2) «Видоискательница» Софьи Купряшиной (слава Богу, жива) и (3) «Мандустра» Егора Радова (1962–2009).

Здесь я должна также назвать вышедший уже под самый конец года, соединяющий в себе и поэзию, и прозу, и переводы, трехтомник Анри Волохонского (НЛО), из которого я читала только первый том в его электронном облике, но существуют уже все три, и на бумаге. Его издание — безусловно большое событие.

То есть я бы отметила в качестве важной черты уходящего издательского года — если вообще возможно отваживаться на этих основаниях на какие бы то ни было обобщения (а почему бы и нет?) — внимание к ресурсам русской литературы, в том числе недовостребованным, — стремление к их актуализации и осмыслению; понимание богатства и плодоносности нашего «культурного слоя».

Из живого, помимо уже названной Купряшиной:

Проза:

(1) Андрей Левкин. Вена, операционная система. — М.: НЛО; (2) Дмитрий Дейч. Прелюдии и фантазии. — М.: Гиперион-бук; (3) Макс Фрай. Сказки старого Вильнюса. Т. 1. — СПб: Амфора, ТИД Амфора. (Двое из названных авторов, Дмитрий Дейч и Светлана Мартынчик — Макс Фрай — живут за пределами географически понятой России, что не мешает им создавать полноценную русскую прозу — в связи с чем одной из тенденций — не только ушедшего года, но

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

и нескольких последних лет — стоит назвать срастание «российского» и «внероссийского» литературных русскоязычных пространств в одно; образование общего контекста.)

Поэзия:

(1) Николай Звягинцев. Улица Тассо. — М.: НЛО; (2) Фаина Гримберг. Четырехлистник для моего отца. — М.: НЛО; (3) Елена Генерозова. Австралия. — М.: Воймега; (4) Григорий Кружков: Двойная флейта. Избранные и новые стихотворения. — М.: Воймега; Арт Хаус медиа; (5) Появившийся уже под самый конец года в издательстве «Corpus» (его у меня пока нет, но безусловно хочется — чтобы прочитать подряд, как целое) трехтомник Сергея Гандлевского.

Между прозой и поэзией, ближе к последней, стоит поместить — и непременно упомянуть — сборник Александра Уланова «Способы видеть» (М.: НЛО).

Отдельно назовем соединяющий в себе поэзию и прозу преинтересный сборник «Новый метафизис» (НЛО).

Переводы — пусть будут без деления на стихи и прозу, тем более что некоторые из достойных упоминания книг соединяют в себе и то и другое. Тут в этом году было много важного: (1) Янош Пилинский. Избранное / Перевод с венгерского Майи Цесарской. — М.: Водолей. — (Венгерские тетради. Выпуск I). Я очень рада самому факту того, что вообще завелась такая серия, и очень надеюсь, что у нее случится продолжение; (2) Тумас Транстремер. Стихи и проза / Перевод со шведского А. Афиногеновой, А. Прокопьева. — М.: ОГИ; (3) Шеймас Хини. Боярышниковый фонарь. Избранное. / Seamus Heaney. The Haw Lantern. Selected Poems [на английском языке с переводом на русский язык] / Составление, перевод, предисловие и комментарии Григория Кружкова. — М.: ООО «Центр книги Рудомино»; (4, 5) Вальтер Беньямин. Берлинское детство на рубеже веков / Пер. Г.В. Снежинской; науч. ред. А.В. Белобратова. — М.: ООО «Ад Маргинем Пресс»; Екатеринбург: Кабинетный ученый; и его же: Улица с односторонним движением. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс». — (Библиотека журнала «Логос» (эти тексты Беньямина, при всей его, вообще, трудноклассифицируемости, вполне можно, думаю, числить по ведомству художественного). Этот год вообще порадовал нас русскими изданиями Беньямина; к еще одной его книге мы вернемся в разделе, посвященном нехудожественным текстам; (6) Витольд Гомбрович. Дневник / Перевод с польского Ю. Чайникова. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха; (7) Шарль Бодлер. Избранные письма / Перевод с французского под редакцией и с примечаниями С.Л. Фокина. — СПб.: Machina; (8) Уильям Батлер Йейтс. Винтовая лестница. — М.: Книговек. — (Поэты в стихах и прозе); (9) Хосе Лесама Лима. Зачарованная величина: Избранное / Перевод с испанского Б. Дубина. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха; (10) Жорж Перек. Просто пространства: Дневник пользователя / Перевод с французского В. Кислова. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха; (11) Умберто Эко. Пражское кладбище: Роман / Перевод с итальянского и предисловие Е. Костюкович. — М.: Астрель; CORPUS; (12) Сборник переводов из польской поэзии Асара Эппеля, сделанных им за всю его переводческую жизнь, собственноручно им составленный: Асар Эппель. Моя полониана: Переводы из польской поэзии / Асар Эппель. — М.: Новое литературное обозрение; (13) Уходя из Сарагосы: Поэты

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

еврейской Испании в переводах Михаила Генделева. Со статьей и комментариями П. Криксунова. — Б.м.: Salamandra P.V.V. — насколько я понимаю, эта книга существует только в электронном виде; (14) Пауль Целан. Говори и ты / Составление, перевод с немецкого и комментарии Анны Глазовой. — New York, Ailuros Publishing.

Вообще очень стоит отметить нью-йоркское русское издательство «Ailuros Publishing», внимательное к современной русской поэзии, издавшее, кроме того, к моей читательской радости, следующее: (15) Алексей Цветков. Онтологические напевы; (16) Сергей Круглов. Натан. Борис Херсонский. В духе и истине. / Предисловие Ильи Кукулина, послесловие Ирины Роднянской.

Особо хочется выделить группу книг Чеслава Милоша и о нем, вышедших в этом году (видимо, в связи с его прошлогодним столетием): (1) Чеслав Милош. Долина Иссы: Роман / Перевод с польского Никиты Кузнецова. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха; (2) Наталья Горбаневская Мой Милош. — М.: Новое издательство; (3) Владимир Британишский. Введение в Милоша. Статьи о Милоше. Переводы из Милоша: стихи, очерки, эссе, лекции, речи, воспоминания. — М.: Летний сад.

Периодика:

В этом году стал выходить литературный журнал «Homo Legens», посвященный современной русской литературе; притом за один год его издатели успели уже очень много: вышел первый номер и сдвоенный 2–3-й; сейчас готовится к изданию четвертый.

Из нехудожественного:

Качественным и разнообразным нон-фикшн меня очень радовала в этом году (и не только в этом) издательская работа «Алетейи», «Нового литературного обозрения», издательств РГГУ и НИУ-ВШЭ. В частности, издательский дом НИУ-ВШЭ в этом году, в серии «Исследования культуры», выпустил следующие книги, представляющиеся мне важными для нашего самопонимания: (1) Ян Левченко. Другая наука: Русские формалисты в поисках биографии; (2) СССР: Жизнь после смерти / Под ред. Ирины Глущенко, Бориса Кагарлицкого, Виталия Куренного (сборник исследований, в том числе студенческих).

Отдельно хочется упомянуть вышедшую в той же серии книгу: (3) Михаил Маяцкий. Спор о Платоне: Круг Штефана Георге и немецкий университет.

Из книг «Нового литературного обозрения» достойными называться событиями мне кажутся: (4) большая и подробная биография Александра Галича: Михаил Аронов. Александр Галич. Полная биография. — 2-е издание, исправленное и дополненное; (5) любопытная книга записок немецкой славистки о московской жизни: Катарина Венцль. Московский дневник. 1994–1997, — не переводная, ибо написанная, что делает книгу еще более интересной, на русском языке — прожитого исходно иноязычным автором изнутри иначе, чем проживаем его мы с вами. (6) Константин Богданов. Из истории клякс: Филологические наблюдения. — (Научное приложение. Выпуск CVI); (7) Ревекка Фрумкина. Сквозь асфальт: Эссе и статьи; (8) Михаил Вайскопф. Влюбленный демиург; (9) Сергей Зенкин. Работы о теории: Статьи. — (Научное приложение. Вып. CXII); (10) замечательный сборник эссеистики и критики Александра Скидана

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

«Сумма поэтики» (год издания у него указан 2013-й, но, к счастью, прочитать можно было уже в этом декабре).

Из книг петербургской «Алетейи» мне показались важными следующие: (11) Марина Михайлова. Эстетика классического текста; (12, 13) Сергей Лишаев. Эстетика Другого: Эстетическое расположение и деятельность. — (Тела мысли). (Формально это второе, исправленное издание. Первое вышло маленьким тиражом лет девять тому назад в Самаре, так что это для столичной публики может смело считаться первым.) У него же в этом году, в той же «Алетейе», вышла книга «Помнить фотографией» — об антропологии фотографирования и восприятия фотографии / о фотографировании и рассматривании фотографий как о человекообразующей практике; (14) сборник статей разных авторов «Золотой век Grand Tour: Путешествие как феномен культуры».

Из книг издательства РГГУ: (15) Сергей Зенкин. Небожественное сакральное: Теория и художественная практика; (16) Леонид Кацис. Смена парадигм и смена Парадигмы: Очерки русской литературы, искусства и науки XX века.

Из книг других издательств: (17) Гасан Гусейнов. Нулевые на кончике языка: Краткий путеводитель по русскому дискурсу. — М.: Издательский дом «Дело», РАНХГиС; (18) Осип Мандельштам. Египетская марка: Пояснения для читателя / Составители: О. Лекманов, М. Котова, О. Репина, А. Сергеева-Клятис, С. Синельников. — М.: ОГИ; (19) Светозар Чернов. Бейкер-стрит и окрестности. Эпоха Шерлока Холмса. — М.: ФОРУМ [путеводитель по предметному и смысловому миру эпохи]; (20) Роман Якобсон. Будетлянин науки: Воспоминания, письма, статьи, стихи, проза / Составление, подготовка текста, вступительные статьи и комментарии Бенгта Янгфельдта. — М.: Гилея; (21) книга эссеистики Самуила Лурье «Железный бульвар». — СПб.: Азбука; (22) книга Ирины Ясиной о жизни с неизлечимой болезнью, очень сильная: История болезни: в попытках быть счастливой. — М.: АСТ. (23, 24) Не могу не вспомнить продолжающийся «автоархеологический» проект Владимира Мартынова, из которого в ушедшем году появились две книги: Владимир Мартынов. Автоархеология. 1978–1998. — М.: Издательский дом «Классика-XXI», и заключительная — «Автоархеология на рубеже тысячелетий» того же издательства. Датирована эта последняя 2013 годом, но вышла и стала моим читательским событием, как и Скидан, уже в этом декабре. (25) Владимир Бибихин. Дневники Льва Толстого / Вступительная статья О.А. Седаковой. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха (на момент написания этих строк еще не читала — только что куплено на «Нон-фикшн» — но, думаю, это должна быть значительная книга). (26) В этом же году, почему-то в Саарбрюкене, вышла интересная книга Александра Люсого «Новейший Аввакум: текстуальная революция в России в свете первой мировой Крымской семиотической войны», посвященная культурологическому анализу Крымского текста (в мои руки она попала только в электронном варианте; не уверена, что у нее существует бумажный). (27) А еще в издательстве «Индрик» (Москва) вышла маленьким тиражом и прошедшая, кажется, практически не замеченной интереснейшая книга: Сергей Ступин. Феномен открытой формы в искусстве XX века. (28) В этом же году, хотя и ближе к разным его «полюсам», появились, не сговариваясь, две книги на, по существу, одну и ту же тему, обе — принадлежащие перу

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

отечественных авторов: об общих смысловых корнях философии и психиатрии — Ольги Власовой: Рональд Лэйнг: Между философией и психиатрией. — М.: Издательство Института Гайдара, и Александра Перцева: Молодой Ясперс. Рождение экзистенциализма из пены психиатрии. — СПб.: РХГИ. Они непременно должны быть осмыслены вместе.

Переводное:

(1) Карой Кереньи. Мифология / статьи; перевод с венгерского Ю. Гусев и др. — М.: Три квадрата. — (Bibliotheca hungarica. — Вып. 9); (2) Пьер Байяр. Искусство рассуждать о книгах, которые вы не читали / Перевод с французского А. Поповой. — М.: Текст. — (Краткий курс). [Книга куда более важная и глубокая, чем может показаться, — речь в ней идет, по существу, о защите человека от культуры, о техниках безопасности существования в ней.]; (3, 4) Томас Венцлова. Собеседники на пиру: Литературоведческие работы. — М.: НЛО. — (Научное приложение. Вып. CVIII) и его же «Вильнюс: Город в Европе», вышедший в петербургском издательстве Ивана Лимбаха в переводе Марии Чепайтите; (5) Мишель Пастуро. Символическая история европейского Средневековья / Перевод с французского Е. Решетниковой. — СПб.: Александрия; (6) Вальтер Беньямин. Учение о подобии. Метаэстетические произведения: Сборник статей / Перевод с немецкого И. Болдырева, А. Белобратова, А. Глазовой, Е. Павлова, А. Пензина, С. Ромашко, А. Рябовой, Б. Скуратова и И. Чубарова. — М.: РГГУ. — (Современные гуманитарные исследования. Кн. 1); (7) Лу Саломе. Эротика. — М: Культурная революция. [«Наговаривание», наращивание, формирование европейской идеологемы любви в частности и межгендерных отношений вообще]. Из изданного «Текстом» в сотрудничестве с «Книжниками» в серии «Чейсовская коллекция», которую вообще надо отметить особо, хотя она относится не только к этому году; (8) Майкл Векс. Жизнь как квеч. Идиш: язык и культура / Перевод с английского Аси Фруман; (9) Дэвид Г. Роскис. Страна идиша: Воспоминания / Перевод с английского В. Апанасика, Л. Черниной; (10) Мелвин Коннер. Еврей телесный / Перевод с английского Е. Левина. (11) И раз уж мы об этом, то не могу не вспомнить еще одну книгу об идишской культуре, тоже переводную, не слишком глубокую, но все равно доставившую радость автору этих строк: Пол Кривачек. Идишская цивилизация: Становление и упадок забытой нации. — М.: Мосты культуры / Гешарим. (12) Ханна Арендт: Ответственность и суждение. — М.: Издательство Института Гайдара; (13) Сьюзен Зонтаг. О фотографии. — М.: Ад Маргинем. (Двух последних книг я, к сожалению, еще не читала, не имевши пока возможности, но знаю, что они важные.)

На рубеже переводного и оригинального стоит вспомнить яркий сборник, состоящий отчасти из переводных, отчасти из русских текстов — «Онтологии артефактов: взаимодействие "естественных" и "искусственных" компонентов жизненного мира» (М.: Издательский дом «Дело»).

Периодика:

(1) Новое литературное обозрение. Семиотика августа в XX веке: Трансформация жизни частного человека в эпоху социальных катаклизмов. — № 116/117 (4/5'2012). Кстати, в том же «НЛО» несколькими номерами раньше, в № 113, был интересный блок материалов об антропологическом повороте в

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

гуманитарных науках; (2) три последних номера журнала «Логос»; (3) у возобновившихся после перерыва в несколько лет «Отечественных записок» был интересный № 3 (48), посвященный «Городскому организму» (закономерностям существования городов и их осмысления).

Особым пунктом надо вспомнить интересный издательский проект — не сводящийся ни к художественному, ни к нон-фикшн, ни к оригинальному, ни к переводному, — намеренный относиться к этому всему, но, увы, кажется, закрывшийся из-за недостатка денег, — очень хочется надеяться, что не навсегда. За исключением первой книги («Коварных крымцев» Игоря Сида, вышедших в самом конце 2011-го), все книги в рамках издательской программы — трех его серий — Крымского клуба появились в этом году. Успели выйти (кроме упомянутого Лаптева): (1) Дэвид Вонсбро. Кольца танивы / Перевод с английского, составление: Екатерина Гаевская. — М.: Крымский клуб; Издательство Независимая Газета. — (Зоософия); (2) Татьяна Бонч-Осмоловская. OZ. — М.: Крымский клуб; Издательство Независимая Газета. — (Геопоэтика); (3) Екатерина Дайс. Психея и рок: Статьи о современной культуре. — М.: Крымский клуб. — (Герменевтика), (4) а кроме того — аудиоантология «Современная поэзия от авторов».

2. Из писателей ближнего зарубежья к числу моих читательских впечатлений и открытий этого года принадлежали авторы Ташкентской и Ферганской поэтической школ: Санджар Янышев, Хамдам Закиров, Вадим Муратханов, а прежде всего — «ферганский затворник» Шамшад Абдуллаев — которым (а через него и обеими «школами») меня заинтересовал Дмитрий Бавильский, сделавший с Абдуллаевым интервью в «Частном корреспонденте» еще в 2011 году, но попалось оно мне на глаза в этом. Читала я его стихи и прозу в Интернете — основная масса прочитанного была написана и издана явно в другие годы. Должен еще быть непременно назван Сухбат Афлатуни — писательское обличье критика Евгения Абдуллаева (он опять же связан с Ташкентской школой): читала все, что нашла по ссылкам, из написанного в этом году тоже есть что вспомнить: роман «Поклонение волхвов» — «Октябрь», № 4, 5.

Не знаю, в какой мере здесь корректно говорить именно о собственных читательских открытиях, пришедшихся на этот год, независимо от того, когда открытое было написано и издано — если корректно, я бы назвала еще Даура Зантарию и Гранта Матевосяна. В этом же году прочитала я — изданную в Харькове четырьмя годами раньше — книгу харьковского, пишущего по-русски автора Андрея Краснящих «Парк культуры и отдыха» (издательство «АОЗТ Тяжпромавтоматика», серия «Проза Nova»). Намечен к прочтению, но пока не прочитан вышедший в этом году сборник русских переводов из латышской поэтессы Лианы Ланги «Вещество взгляда» (у меня его, собственно, даже еще нет — надеюсь раздобыть).

В этом пункте (и чтобы все-таки что-то сказать об изданном именно в 2012-м) надо еще раз вспомнить Макса Фрая — Светлану Мартынчик: она, выросший на Украине и живущий в Литве человек русской культуры, пишет европейскую, «всечеловеческую» экзистенциальную (как это назвала Ольга Лебедушкина) прозу: Макс Фрай. Сказки старого Вильнюса: [рассказы]. — СПб.: Амфора, ТИД Амфора. — Том 1.

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

И вообще, что до тенденций, то — частью угадываю, частью чувствую предметом надежды — врастание бывших этнических окраин советской ойкумены, хотя бы и посредством русскоязычной литературы, во всечеловечность; преодоление провинциальности (я бы сказала — соблазна провинциальности), выпутывание из локальных смыслов в их сугубой локальности и превращение их в своеобразную, с собственными незаменимыми возможностями, оптику для рассматривания бытия вообще.

Владимир Бондаренко, литературный критик, главный редактор газеты «День литературы», г. Москва

«Есть еще порох в наших пороховницах»

1. Нынешний, 2012 год, заканчивающийся морозами, а заодно и ожидаемым концом света, в литературном плане для меня скорее — весенний год, я вижу, как набухают почки, у мощной молодой поросли отечественной литературы выходят во множестве книги. Не все из них удачные, но в этом литературном состязании талантов неизбежно появляются лидеры. Алексей Иванов, Александр Терехов, Олег Павлов, Захар Прилепин, Михаил Елизаров, Сергей Шаргунов... Это само по себе событие, после пустых нулевых годов.

Одновременно наступила пора последнего всплеска у поколения нынешних 70–75-летних. И тому примеры — недавние романы Владимира Маканина, Владимира Личутина, Александра Проханова, стихи Юнны Мориц и Владимира Кострова, Евгения Рейна и Глеба Горбовского. Даже непрекращающаяся литдеятельность наших ветеранов-фронтовиков Даниила Гранина, Юрия Бондарева, Владимира Бушина, пусть и риторическая, ностальгическая, самоповторяющаяся проза или критика, вдохновляет и их более молодых коллег.

Когда появляется настоящая литература, возникают и споры вокруг нее. В этом году я бы выделил два ярких литературных события.

Это прежде всего книга архимандрита Тихона Шевкунова «Несвятые святые». Удивительно, что в наше время пустой беллетристики, кровавых сериалов и заумной литературы для избранных народ без всякой рекламы раскупает простую и светлую книгу об обычных христианах XX века. Это не пафосные жития святых. Хотя среди героев книги и отец Иоанн Крестьянкин, и схиигумен Савва. Но есть и заблуждающиеся грешники, есть покаявшиеся в проступках монахи, есть и светские люди, среди них Булат Окуджава, Андрей Битов. Люди разных поколений, разных слоев.

Это и история Псково-Печерской обители, история церковной жизни. Живые современные притчи, искренние проповеди священника, молитвы его за всех нас, грешных, простые истории из церковной жизни... Давно я не читал такую простую, светоносную прозу. Но одновременно это в каком-то смысле истории из иной реальности, об ином бытии. Этот иной мир — не инопланетяне, не далекая экзотика из жизни тропиков и джунглей. Как признает сам отец

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

Тихон: «Рядом с нашим миром, известным всем, ... существует абсолютно реально иной мир». Христианский мир. Церковный русский мир.

И как же все истосковались по такому миру. За короткое время уже распродано более миллиона экземпляров книги. Это разве не литературное событие? Вот уж правильно сказал Александр Проханов: у нас появилась новая монастырская проза, мессианская проза о русском чуде, но рассказанная самыми обычными словами. Мы уже отвыкли от такой искренней, достоверной прозы. И вроде бы нет там никаких душещипательных или же остросюжетных историй, а тем не менее книга привлекла внимание всех слоев нашего общества. Он не идеализирует монастырь, скорее слегка иронизирует над монахами, подверженными соблазнам, и над своими приключениями. Но за всеми этими житейскими историями, от собственного плача после удара хвоста коровы, измазанного навозом, до нагоняя от Иоанна Крестьянкина за просмотр телевизора, исходит лучезарный свет Христовой веры, обретается смысл бытия в Боге. Книга написана отнюдь не богословским языком, но истинно верующим человеком, каких и в церкви не всегда встретишь. Много в книге и русского народного юмора.

Появление в наши дни книги «Несвятые святые» и впрямь можно сравнить с появлением в середине 60-х прошлого века «Привычного дела» Василия Белова и с его же забавными «Бухтинами вологодскими».

Как событие в православной жизни России 2012 года, я бы сравнил книгу «Несвятые свтые» с многочасовой очередью сотен тысяч людей в храм — приложиться к поясу Богородицы. Тоже ведь было непривычное явление для России.

Но какое же литературное событие без полемики вокруг него? Зависть ли взыграла у иных признанных писателей, или же какая-то тайная нелюбовь «креативного класса» ко всему христианскому и народному, но книга «Несвятые святые» неожиданно оказалась еще и в центре крупнейшего литературного скандала. Вполне заслуженно книгу отца Тихона Шевкунова выдвинули на премию «Большая книга». И наша просвещенная интеллигенция задрожала от ужаса. И уже на последнем этапе, после безусловной победы отца Тихона и его книги «Несвятые святые» и в читательском голосовании, и по голосованию большого жюри, эта книга-открытие и откровение вдруг куда-то подевалась. Даже не вошла в тройку лучших.

Пишет журналист Анна Наринская в газете «Коммерсант»: «Главная интрига нынешней «Большой книги» состояла в том, получит ли архимандрит Тихон «профессиональную» премию из рук жюри или дело ограничится только народным выбором — настолько же беспрецедентно единодушным, насколько вообще беспрецедентным был успех этой книги... Дать, конечно, было бы не совсем прилично — тогда вышло бы, что прогрессивная в большинстве своем общественность, составляющая обширное (несколько десятков человек) жюри этой премии, мало чем отличается от населения, увлекающегося православными байками. И вообще довольно странно (хоть и занятно) было бы видеть, как архимандрит Тихон — наместник московского Сретенского монастыря, ректор Сретенской духовной семинарии, ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре, а по слухам еще и личный духовник Владимира Путина — эту

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

премию из рук этой общественности получает, в то время как девушки из Pussy Riot находятся в колонии».

Если Наринская отражает мнение этих прозаседавшихся, остается пожалеть русскую литературу.

Во-первых, конечно же прогрессивная элита «Большой книги» в корне отличается от быдловатого русского народа, «увлекающегося православными байками». Вспомним из советских учебников: «Узок круг их интересов. Страшно далеки они от народа».

Во-вторых, премию наши прогрессивные лидеры «Большой книги» дают не за качество литературы, а за ту или иную ее политическую или религиозную направленность.

Я могу сто раз быть законченным атеистом или буддистом, но как литературный критик я оцениваю книги не по степени их близости к Pussy Riot или к той или иной религии, а по художественному достоинству, по качеству и значимости книги. Что же нам делать с сочинениями графа Льва Толстого или Николая Лескова, что нам делать со старцами Федора Достоевского? Всех за борт за поиски веры?

Увы, но седины Даниила Гранина, награжденного за книгу «Мой лейтенант», вряд ли прикрыли нежелание жюри премировать явного фаворита. Не повезло и авторам книги об Аксенове, моему давнему приятелю Евгению Попову и Александру Кабакову. Думаю, они предпочли бы получить премию «Большая книга» за свою собственную, далеко не худшую прозу, нежели за наспех написанную книгу воспоминаний о своем друге. Спросите их самих, считают ли они лучшей в своем творчестве эту первую совместную книжку воспоминаний о покойном друге? Или это опять задним числом как бы премия Василию Аксенову?

Думаю, что для премии «Большая книга» и на самом деле настал в 2012 году конец света. Апокалипсис. Вряд ли кто-то серьезно в дальнейшем будет ее воспринимать.

А вот отец Тихон и его книга только выиграли. Как не хотел священник уйти от лишнего шума, а неплохой пиар в результате получился. И книга «Несвятые святые» начнет распродаваться уже по второму миллиону. А если к этому добавить такую же православно-монастырскую прозу Олеси Николаевой, Владимира Крупина, стихи отца Владимира Нежданова и даже еретические выплески Ивана Охлобыстина, мы получим новую литературную тенденцию с предсказуемой православной реакцией.

Вторым таким же шумным, и таким же литературно значимым событием 2012 года я считаю художественное эссе-памфлет Захара Прилепина «Письмо товарищу Сталину». Прежде всего хочу сказать, что это блестящий литературный жест, чисто литературное явление, а не публицистика.

Первый раз я прочел «Письмо товарищу Сталину», как яркую антилиберальную сатиру. Так, забава для мозгов, не более.

Во второй раз кроме самого текста в меня влезал и его подтекст. По сути, там языком гротеска и постмодернизма сказана русская правда о русском народе. Думаю и эту хлесткую сатиру на либеральное общество, какой бы беспощадной она ни была, не заметили бы. Понимал это и сам Захар Прилепин. Как

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

угодно ругай русский народ, русские власти, русских миллионеров — никому до этого дела нет.

И вдруг полемика по всему мировому Интернету. Пишут свои колонки Шендерович и Иртеньев, Быков и Кох, Ольшанский и Долина. Что новое нашли?

Нанесен удар по нашему креативному классу, пришедшему на смену русской интеллигенции, классу активных потребителей, лишенных любых — и левых, и правых — идей и смыслов.

То, что говорит наш новый креативный класс, не смеем говорить мы.

Думаю, поначалу заигрался и Прилепин в своей дружбе с креативным классом. В своих поездках, в своих тусовках он говорил с ними на равных, говорил о том же самом, и его уже считали вполне своим. Но Захар решил заговорить их креативным языком о русском народе и о нашей стране. Он переступил черту дозволенного. Вот сейчас ему и покажут его место.

Сегодня, особенно после публикации «Письма товарищу Сталину», Прилепина обвиняют и в патриотической критике, и в либеральной, в излишней тусовочности, в голом подражательстве, фокусничестве. Считают, что о нем говорят больше, чем он того заслуживает. О нем и впрямь после этого письма писали почти во всех газетах и журналах.

Я рад случившемуся. Наша патриотика давно уже, кроме прохановского острия, не рвется на баррикады, не рвется защищать культуру России. Да и просто не пишет ничего интересного. К тому же многие официальные патриоты крайне отрицательно относятся ко всей прилепинской «банде». Также когда-то не любили лермонтовскую «банду», гумилевскую «банду», куняевскую «банду», прохановскую «банду». Ждали болотного покоя. И вдруг — вызов.

«Письмо товарищу Сталину» — художественный памфлет, свифтовская глубокомысленная ирония. Мне кажется, Прилепин начинал писать немного и из фронды, но уже когда писал, подключился к русскому национальному нерву. Сталин здесь скорее фон, и для автора, и для его оппонентов. Спор не о нем. Прилепин глубоко копнул в традиционное противостояние в России народа и придворной элиты. Глубоко сидит в Захаре эта нижегородская глубинка, не выкорчевать. Но, если от этого письма всколыхнулась Россия, значит, весомо еще писательское слово. Не исчезнет и русская литература.

Третьим, уже печальным событием в русской литературной жизни я бы назвал кончину 4 декабря 2012 года великого русского писателя Василия Ивановича Белова.

Ушел в мир иной простой, кряжистый русский человек, очень похожий на своего героя Ивана Африкановича из «Привычного дела». Но его книги, его уже при жизни ставшие классическими романы, рассказы и повести о жизни русского крестьянина не просто вошли в сокровищницу русской литературы, но и определили одно из ее главных направлений.

Василий Белов дал нам русскую крестьянскую Вселенную. Я ценю его «Кануны», смеюсь над его завиральными «Бухтинами», вижу всю трагедию крестьянства во вроде бы неприхотливых «Плотницких рассказах». Удивляюсь его прозорливости в романе «Все впереди». Рядом с классической повестью «Привычное дело» я бы поставил все-таки его книгу о народной эстетике — «Лад», книгу,

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

которая дает системное представление о самом укладе русской жизни. Белову досталась тяжелая участь, он прикрывал веки уходящему русскому крестьянству, он и сам был как бы последним вздохом, мощным, но прощальным, былой крестьянской Руси.

Он завещал похоронить себя в родной Тимонихе, рядом с могилой матери Анфисы Ивановны, недалеко от построенной им церкви.

Еще одно святое сакральное русское место появилось на нашей земле, рядом с Ясной Поляной, Михайловским, станицей Вешенской... Уверен, будут туда ездить люди, будут в Тимонихе и ежегодные литературные беловские чтения. Будет и беловская литературная премия.

Смерть все ставит на свои места. Сразу всем, и левым, и правым, стало ясно — ушел великий русский писатель. Хранитель русского Лада.

Я понимаю, что главные события в нашей литературе выглядят не совсем толерантными и могут не понравиться редакции журнала. Вам решать. Но «жизнь такова, какова она есть, и больше никакова» — писал поэт Владимир Костров. А отмеченные мною события и тенденции стали и на самом деле главенствующими и в мире литературы, и в окололитературной жизни. На эти события обратил внимание миллионный читатель. Что меня и радует. Есть еще порох в наших пороховницах.

2. Увы, за период перестройки исчезла лучшая в мире школа художественного перевода. Да и издательства, перейдя на коммерческий подход, практически не издают писателей ближнего зарубежья. Когда-то я хорошо знал, что пишут Энн Ветемаа и Яан Кросс, братья Туулики в Эстонии, Чабуа Амирэджиби и Нодар Думбадзе в Грузии, Ион Друце в Молдавии. Что сейчас происходит в литературах стран ближнего зарубежья, кроме узких специалистов не знает никто. Книги писателей из стран ближнего зарубежья исчезли с прилавков книжных магазинов. Да и в журналах, кроме «Дружбы народов» никто не заказывает переводы, не пишет о тенденциях и направлениях, о новых именах.

Я, насколько могу, слежу за литературой близких мне украинских писателей. Отмечу книги Юрия Андруховича, его «Перверзию», автора «Дружбы народов Юрия Издрыка — «Двойной Леон», Оксаны Забужко — «Музей покинутых секретов» и «Полевые исследования украинского секса», Василя Шкляра — «Ключ» и «Элементал», Сергея Жадана — «Anarchy in the UKR», Олеся Бузины — «Тайная история Украины-Руси». Жаль, что и этих ведущих писателей Украины переводят крайне редко, по одной-две книги. И все равно заметно, что развиваются и русская, и украинская литература примерно одинаково, заметны общие тенденции. Я искренне жалею, что у нас сейчас нет тесного контакта, совместных симпозиумов, литературных встреч. Думаю, все равно уже приходит время, когда украинские писатели вновь начинают чувствовать свою связь с великой русской литературой.

С другими литературами стран ближнего зарубежья дело обстоит еще хуже. Мы просто ничего не знаем о них. Но я рад, что усилился интерес к такой стране из ближнего зарубежья (географически), как Китай. Вышла книга хорошо знакомого мне по поездкам по Поднебесной, ныне лауреата Нобелевской премии Мо Яня «Страна вина», готовится выход романа «Большая грудь, широкие бедра», печатаются повести и рассказы Су Туна и Цзя Пинвы.

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

Впрочем, наши евразийские писатели Анатолий Ким и Тимур Зульфикаров, на мой взгляд, ничуть не слабее китайского лауреата. Может, и мы дождемся Нобелевской премии? Кстати, за весь XX век не было присуждено ни одной Нобелевской премии ни одному из высокоталантливых писателей нынешнего ближнего зарубежья. Ни Чингизу Айтматову, ни Олжасу Сулейменову, ни Чабуа Амирэджиби, никому. А жаль!

Евгения Вежлян, литературный критик, журнал «Знамя», г. Москва

«Сейчас формируется новая литературная фронда, новый андеграунд»

1. Скажу сразу, что нынешний литературный год (если брать год календарный) несколько меня разочаровал.

Вся «литературная конструкция» (говоря языком Тынянова) — куда-то ощутимо сползает, как бы проседая. «Промежуток», как кажется, затянулся. Литературный процесс продолжает напоминать салон Анны Павловны, который Толстой сравнивал с прядильной мастерской, где «хозяин, посадив работников по местам, прохаживается по заведению и примечает, все ли вертятся веретена». Веретена издательств, премий, вечеров и репутаций вертятся исправно. Все известно заранее — вплоть до того, кого именно встретишь в том или ином литературном месте. График премий и ярмарок — тоже вполне неукоснителен. «Брендированные» издательствами авторы-лауреаты исправно выдают по роману в год—полтора (а то и чаще), исправно же соответствуя возложенным на них ожиданиям. «Дебют» каждый год поставляет в это производство новый материал. На языке современной политики такое состояние называется стабильностью. С точки зрения литературной эта стабильность означает, что за 1990–2000-е новая русская литература (как ее называют в вузовских учебниках) из множества ручейков, процессов, процессиков и потоков сотворила себе единый мейнстрим, рынок недавних (уже относительно недавних), но устойчивых репутаций, на признании которых сходятся так или иначе все основные «игроки» — от премиальных институций и издательств до толстых журналов и различных клубных площадок. Премиально-издательский пул писателей, фестивальный пул поэтов — набор «несомненных» имен, которые теперь знают и СМИ (еще в середине 2000-х такое трудно было себе представить, их эрудиция не простиралась дальше Бродского и Сорокина). Даже запустили передачу о современной поэзии по ТВ «Культура». Даже поэтические спектакли в Политехническом собирают большие аудитории. Проект «Новая русская литература» окончательно перестал быть стартапом. Он вполне кристаллизовался, центрировался и стал конвертируем в «большое общество». Лучшим новогодним подарком для продвинутых в начале уходящего года была книжечка проекта «Гражданин поэт», продающаяся даже на Выхино, и притом довольно бойко.

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

Ну и что, спросите вы. Что за тон? Радоваться надо. Не к этому ли мы стремились последние 20 лет?

Кажется, все же не к этому. Точнее, не совсем к этому.

В тот момент, когда литература вплотную придвинулась к социуму, этот самый социум, увлекаемый различными экстралитературными факторами, начал отползать — в противоположном направлении. Уходящий 2012 год с его протестами и митингами как-то все расслоил и запутал. С одной стороны — литератор и впрямь теперь больше чем литератор. Одна «Прогулка с писателями» чего стоит! А недавнее обсуждение — это если брать противоположный цвет спектра — письма Захара Прилепина, который как-то резко переметнулся и то ли показал свое истинное лицо, то ли еще что... Литературные старожилы радостно потирали руки и предвкушали возвращение «великой русской литературы» — как компенсацию за все более трудные и невыносимые времена. То есть такой литературы, которая есть инстанция альтернативной власти и владеет умами с помощью больших идей. Но не случилось.

Протесты создали новое поле напряжения и поиска смыслов. Социальная мысль черпает пищу непосредственно из действительности. Раньше литература была неизвестна социуму. Теперь — избыточна по отношению к возникающим в нем вихрям, потокам и смыслам. На ярмарке «Нон-фикшн» этого года «фикшн» был предсказуем, и смотрелся поэтому довольно бледно. На стендах почти не было поэзии. Вернее, была, но в значимой позиции находились «итоговые», а не «открывающие» книги. Скажем, первый том «Собрания сочинений Д.А. Пригова» — начало очень важной и необходимой работы. К слову, наиболее значимые поэтические книги года (полный И. Сатуновский, полный Вс. Некрасов) — примерно такого же плана.

Зато разнообразный нон-фикшн был ярок и востребован. Долгожданные переводы Зонтаг и Арендт, архивная книга Натальи Громовой о детях советских писателей, диалоги Рубинштейна и Акунина — множество книг, все невозможно перечислить... Не романы, не стихи даже, но документы, публицистика, фельетоны и философские трактаты — вот основной тренд года. Прямое производство смысла, прямое прикосновение к нему — а не косвенная передача.

То есть вся эта отлаженная машина литературного мейнстрима, машина репутаций и репрезентаций опять работает на себя, посылая социуму лишь месседж о своем существовании, и не более того. Но при этом социум со всеми своими проблемами — дефицитом свобод, например, оставляет отпечаток на деятельности самых крупных литературных институций. О чем свидетельствуют премиальные итоги года, которые никак не отражают положения дел в текущей литературе.

Не прибавился ли к прочим факторам отбора еще и автоцензурный? Сможет ли теперь такой писатель, как, например, Николай Кононов, войти в шортлист «Большой книги» или «Букера»? Ситуация с Кононовым (и не только с ним) напоминает мне сцену из фильма «Приключения Электроника». Робот Электроник заменяет своего приятеля Сыроежкина на спортивных соревнованиях. Но выясняется, что он должен пройти медосмотр. «Представляете, что будет, если его — осмотрят?!» — спрашивает приятель двойников, Гусев. Ведь если Коно-

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

нов попадет в шорт «Большой книги», то его, скорее всего, прочтут. Откроют для себя, например, члены Академии. Или, не дай бог, кто-то из высоких покровителей премии. А у него — чего только нет... Нет-нет, ничего особенного. Но по нынешним-то временам, когда тираж детской книжки изъяли за то, что в ней употреблялось слово «сука» применительно к самке собаки... Я бы вот тоже побоялась включать любимого писателя в короткий список — может быть, побоялась бы.

Или — оставим пока цензуру в покое, в конце концов, может, еще все обойдется — не преобладают ли над прочими просто некие внелитературные, этические или политические соображения? Работа Букеровского жюри показывает, что — да, так и есть. Итоги «Большой книги» говорят о том же. И я не присоединюсь к тем, кто показывает пальцем на «виновников» или побивает ни в чем не повинных лауреатов. Просто внелитературные факторы сейчас — сильнее литературных. И чем «центрее», мейнстримнее институция, тем сильнее она системно от них зависит — помимо воли и решений конкретных участников.

Поэтому, что касается прозы, то я бы провела — и результаты были бы, кажется мне, интересными — конкурс альтернативных коротких списков — по модели «Московского счета».

В моем списке были бы «Синяя кровь» Буйды, «Фланёр» Николая Кононова, «Город в долине» Алексея Макушинского (объемный, тонкого плетения роман о поколении «восьмидесятников» — на мой взгляд, важный текст, открывающий линию «мемуарных» романов о 80–90-х — важный тренд этого года), «Описание города» Дмитрия Данилова, «Высотка» Екатерины Завершневой (она — в том же тренде «молодых мемуаров»), и различная нероманная проза, которая кажется мне гораздо более значимой для развития литературы, чем так называемые романы. Здесь к безусловно значительным событиям года я бы отнесла издание второго выпуска питерского альманаха «Русская проза», который издают молодые литераторы Никита Бегун, Денис Ларионов и Станислав Снытко. Они тщательно выстраивают свою собственную модель литературного прошлого: так, в номере приведены тексты из архивов Павла Улитина и Леона Богданова — писателей, значимых для нашей прозы, но никак невидимых из «мейнстрима».

Мне вообще сейчас интересней те процессы, которые происходят вне луча прожектора, вне области премий, презентаций и прочих «банкетных» событий. (А эта область склонна, кстати, поглощать все, к ней прилежащее. Кто в состоянии указать хотя бы пять отличий НОСа прошлого года от Букера и «Большой книги» — поднимите руки.)

Мне иногда кажется, что сейчас формируется — исподволь, тихо — новая литературная фронда, новый андеграунд. Поколение 20-летних (уже почти 30-летних) набирает вес и организуется, втягивая в этот процесс значимых для себя «старших», опираясь на «подземные», самые неожиданные традиции. На различных литературных площадках в текущем году возникают совершенно особые форматы литературных мероприятий — не презентационно-банкетного, а семинарско-академического типа. Это курируемый Кириллом Корчагиным и Денисом Ларионовым цикл вечеров Igitur, это проводимые в Литературном институте Галиной Рымбу встречи студентов с современными литераторами,

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

цикл вечеров «Поэзия Now», который курирует Константин Бандуровский. И это существенно меняет литературную сцену.

Новая молодая литература тяготеет к сложности, к своеобразному эстетству. Но это — не эстетство посмодернистов, а какая-то совсем другая утонченная игра, в которой сочетаются опора на эмпирическое (в отличие от постмодернистского солипсизма), на своего рода «стихийную чувствительность», и — утонченная эрудиция. В этой тенденции мне сейчас особенно интересно то, что делают Ксения Чарыева и та же Галина Рымбу. Эта «школа утонченной стихийности» как бы подстраивает под себя и восприятие других авторов — задним числом. Происходит довольно причудливое соединение разных в некоторое ассоциативное единство. Здесь и Василий Бородин, и Игорь Булатовский, и Марианна Гейде, и Алексей Порвин, частично и Василий Ломакин — лауреат поэтической нынешней премии Андрея Белого, которая в этом году наиболее адекватна тому новому, что происходит в литературе.

Из писателей ближнего зарубежья хочу отметить двух авторов журнала «Знамя», с которыми мне довелось работать — в качестве редактора.

Это Елена Стяжкина и Владимир Рафеенко. Оба из Украины. Оба открыты Русской премией (вот, кстати, еще одна премия, которая обладает необходимым «открывающим» потенциалом).

У Елены Стяжкиной недавно вышла книга прозы «Все так» в издательстве «Астрель». Ее манера писать подкупает той чертой, которая у наших прозаиков, на мой взгляд, встречается довольно редко. Это какой-то незаметный юмор. Не грубое комикование, не кви-про-кво и юмор положений, а юмор, который пронизывает каждую фразу, отчего текст напоминает узор, вывязанный крючком.

Владимир Рафеенко — автор, нашими издателями очень сильно недооцененный. У него все как-то густо, ярко, поэтично и — ни на кого не похоже. А между тем много ли у нас писателей, которых можно было бы опознать по одной фразе, и при этом — захватывающе сюжетных? Если меня сейчас читают издатели — пусть считают эти слова моей настоятельной рекомендацией. А еще — по романам Рафеенко (хотя это, пожалуй, не вполне романы, это — притворяющиеся романами и повестями поэмы) хорошо снимать кино. Правда, в главной роли в этом кино мне почему-то видится Джонни Депп. А где наши режиссеры возьмут Деппа?

Алиса Ганиева, литературный критик, г. Москва

«Писатели продолжают экспериментировать с коммуникационным полем»

1. Год, хотя и високосный, ничем особенным не выделялся. В литературе все тот же фюжн фантастики и документалистики, аскетичная «социалка» все так же компенсируется усложненным нарративом ни о чем, а тематика варьирует от

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

непритязательной детальной хроники дня (доведенной до полного обнажения приема у Дмитрия Данилова) до далеко идущих футуристических прогнозов. Писатели продолжают экспериментировать с коммуникационным полем «автор—читатель»: Александр Архангельский вывешивает свой роман «Музей революции» в открытый электронный доступ еще до выхода бумажной книги, а Евгений Попов и вовсе выстраивает «Арбайт. Широкое полотно» в формате живого интерактивного ЖЖ-общения с френдами, которые, собственно, и голосуют за следующий поворот фабулы.

Издания этого года, которые вспоминаются мне в первую очередь, относятся скорее к жанрам «нон-фикшн». Это долгожданная книга Валерии Пустовой «Толстая критика». Туда вошли далеко не все ее статьи (книга и без того по объему соответствует своему названию), зато включены самые ранние, широко обсуждаемые экспертами в начале нулевых. Этот-то хронологический диапазон, это соседство под одним корешком программных манифестов, филологических исследований и аналитической, но при этом очень задорной, эмоциональной, а иногда слегка сентиментальной критической эквилибристики, создает эффект странный и удивительный — эффект текстуального вспарывания прошедшего десятилетия.

Трудно обойти вниманием и фундаментальный труд Сергея Белякова «Гумилев, сын Гумилева» с разносторонним разбором взглядов, работ и деятельности Льва Гумилева. Подобного, насколько мне известно, в гумилевоведении еще не предпринималось.

Ну и, конечно, порадовал очередной энциклопедический выпуск от Сергея Чупринина — «Русская литература сегодня». Собрание справочной информации обо всех и вся без исключения и деления на «своих», «чужих», «стоящих» и «не стоящих». В толстом томе Чупринина, не обошедшегося, что естественно при таком объеме работы, без некоторых фактических ошибок, можно с удобством и быстротой почерпнуть необходимые сведения о поэтах, прозаиках, драматургах, критиках, эссеистах, переводчиках, писательских союзах, премиях, фондах, журналах, газетах да и вообще обо всем, что составляет живой, современный литпроцесс.

И еще событие сугубо личное — выход после некоторой задержки, связанной со слиянием «АСТ» и «Эксмо» (кстати, главное событие в мире издательском), и моей книжки. Это роман «Праздничная гора» о сегодняшнем и самом реальном российском Кавказе, но с одним допущением: этот самый Кавказ неожиданно перестает быть российским, а по ставропольской границе возводится вал, граница.

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья? Удалось. В основном, когда читала рукописи, приходившие на премию «НГ-Нонконформизм». В финал в итоге попали в том числе авторы из бывшего Союза, к примеру, Платон Беседин из Украины. Рада, что попалась в руки новая книга талантливого абхазского писателя Даура Начкебиа. А с конца августа до середины ноября я участвовала в международной писательской программе в американском городе Айова-Сити, куда приезжали также белорусский поэт из Минска Андрей Хаданович и русский поэт из Ташкента Алина Дадаева. Стихи Хаданови-

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

ча в переводе Игоря Белова я до этого читала в «ДН», а в Айове то и дело слушала их на белорусском в экспрессивном, почти перформансном авторском исполнении. Помогал ему с декламацией английской версии поэт из Зимбабве, так что выглядело это зрелищно. А стихи молодой, но уже совсем не начинающей Алины Дадаевой можно найти не только в узбекистанской периодике, но и в российских «толстяках» — «Звезде», «Дне и Ночи», «Новой Юности».

Евгений Ермолин, литературный критик,
зам. главного редактора журнала «Континент», г. Москва

«Закапывайте траншеи, ломайте стены (почти по Фидлеру)»

Уходящая (?) волна антиутопий, накрывшая было литературу в нулевых, иногда оставляет на песке интересные, слегка запоздалые опыты; такова книга Алисы Ганиевой «Праздничная гора». В романе воздвигли, как известно, стену между Россией и Северным Кавказом. Сам мотив стены, отделяющей нас от остального мира (или его части) не нов. Но Ганиева решила посмотреть на то, что ЗА стеной, а не внутри... Характерно для поиска молодых авторов, что эта книга, можно сказать, сопровождается шуточной видеорепликой трио ПоПуГан (Погорелая—Пустовая—Ганиева) на youtube.com, где сама Ганиева предстала умопомрачительно правоверной мусульманкой...

Стены есть, увы, и в нашем сознании. В минувшем году я, к примеру, очень точечно интересовался литературой ближнего зарубежья: в основном и лишь русскоязычной поэзией и прозой Украины и Казахстана.

Но вообще я нахожу у многих литераторов стремление по многим поводам отгородиться не стеной так заборчиком. Общественная жизнь в 2012-м стала явно интереснее литературы; впервые за долгое время, как будто некий джин вырвался из амфоры, поднятой со дна моря. Оказалось, что в актуальной литературе крайне слаб ресурс сообщительности. Она изрядно аутична.

Поэзия звучала глухо. Так ли уж хороши отменно хорошие стихи, если они не вызывают вообще никакого резонанса? Означает ли это, что литература вообще отказалась от читателя и существует теперь помимо него, как вещь в себе? Мне кажутся убедительней и перспективней как идея рискованные попытки поэтов по-новому найти своего адресата и вступить в интерактивную коммуникацию (Дмитрий Быков, Вера Полозкова, Всеволод Емелин и, конечно, Pussy Riot с их молитвой Богородице).

Многие лучшие наши прозаики пропустили этот год или опубликовали не очень важные тексты. Внезапно в лидеры прозы вышел Андрей Дмитриев. Я б порадовался за него, но обделенная вниманием «Бухта Радости» (2008) кажется мне интереснее «Крестьянина и тинейджера». А новый роман вписывается в давно уже обозначившийся в нашей литературе тренд бегства современного героя от общества. Социальная ткань мертвеет, миазмы душат, и все живое

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

пытается жить как-то на обочине, где тоже несладко, но хотя бы продувает. Попытки же вернуться в социум, вступить с ним в активный контакт чреваты... Опус Дмитриева, пожалуй, далеко не худший в этом ряду, где, к примеру, «Анархисты» Александра Иличевского, «Франсуаза» Сергея Носова и пр., а также много умелой, приятной и неопасной прозы о былом и давнем, с подостывшим драматизмом («Женщины Лазаря» Марины Степновой, «Крысолов» Георгия Давыдова, «Земля жаворонков» Георгия Гратта, «Учитель цинизма» Владимира Губайловского и т.д.), и откровенно пофигистских эстетских упражнений для симпатизантов-филологов (Дмитрий Данилов, Лена Элтанг и пр.). Эскейп Дмитриева все же разомкнут навстречу миру хотя б сюжетно. Заборчик усадьбы у дмитриевского героя свалился набок; так и ментальный барьер между Я и ОНО в прозе Дмитриева лишен принципиального, концептуального самодовления.

Премия «Большая книга» в этом году, по моему сугубо личному мнению, оказалась полупарализована. Вспомнилась коллизия «Кроликов и удавов» Искандера. Роль удава сыграла книга маститого иерея о. Тихона Шевкунова «Несвятые святые». Примерно половина жюри хотела отдать главную премию о. Тихону, а половина — была довольно категорически против. (Характерная, кстати, резонансная поляризация — и между мирским и церковным, и между жанрами религиозной литературы, стилизацией патерика у Т.Ш. и молитвой PR.) В итоге о. Тихон со своей книгой пролетел куда-то в тундру, как стерх над Салехардом, заняв лишь шестое место в общем зачете (http://www.bigbook.ru/news/detail.php?ID=14800), но и победители довольно странно представляют литературный рельеф года. Впрочем, эксперты и вообще замысловато, как обычно, отобрали кандидатов в список для голосования. В частности, как я понимаю, они поломали введенные ими же прошлогодние правила с запретом на биографии писателей и нон-фикшн.

На этом фоне выигрывает и, конечно, небезынтересно смотрится хоть какой-нибудь значительный и важный личный опыт. Книга Сергея Белякова о Льве Гумилеве. Воспоминания Гранина. Беседы Александра Кабакова и Евгения Попова об Аксенове, «Плясать до смерти» Валерия Попова... Причем чем ближе этот опыт к современности, тем он скуднее, теряет существенность, при внешней даже яркости, как в «Стыдных подвигах» Андрея Рубанова.

Антитеза вялости литпроцесса, мне кажется, двояка.

С одной стороны, всегда возникают возмутители спокойствия с прозой, имеющей революционный заряд. На сей раз это Елизавета Александрова-Зорина с ее «Маленьким человеком»: не то чтобы благословение индивидуальному террору или тем более его апология, но и явное, причем громкое эхо того настроения, которое породило, например, распутинскую «Мать Ивана, дочь Ивана» и фильм старого, еще не успевшего облечь себя в парадные кремлевские регалии Говорухина «Ворошиловский стрелок»... Более мирный, стоический тип вызова обстоятельствам представил Роман Сенчин в повести «Полоса», где автор открыл нового для себя, перспективного героя и новую финальную интонацию надежды. Стоическим (или, скорее, смиренно-христианским) настроением проникнут и роман Александра Эбаноидзе «Предчувствие октября». Едва ли не всю периферию повествования там захватил хаос, а в центре — герои, которые пытаются стоять прямо...

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

С другой стороны, это поиск способов свободного высказывания и общения за пределами старых форматов. Такова поисковая книга Евгения Попова «@рбайт», отчасти основанная на материалах блога писателя в ЖЖ (evgpopov.livejournal.com). Наиболее же органичными в этой связи видятся мне некоторые писательские опыты в социальных сетях, которые там и живут, не претендуя на печатную форму (она по своим ограничивающим возможностям для них не годится). Пример — отличный блог Аркадия Бабченко в ЖЖ starshinazapasa.livejournal.com. Бабченко удалось там творчески развить те достоинства, с которыми он пришел в литературу: живой, предметный слог, честный документализм, исповедальность и публицистическая острота.

Елена Иваницкая, литературный критик, г. Москва

«"Серьезная литература" претендует на правду и подлинность, но разбивается о "документ"»

1. Проблематизация «договора» читателя с «серьезной» литературой — вот тенденция. Все более отчетливая и резкая.

Договор читателя с масслитом остается прежним и понятным. Писатель (натуральный или сборная команда) сочиняет, закручивает покруче сюжет и прочие выдумки, а читатель прочитал, сразу забыл и протянул руку за новым детектив-love-horror-фэнтези продуктом. А может, не протянул.

Но писатель серьезной, высокой, группы А, настоящей (как ни назвать) литературы — он-то что делает? Зачем сочиняет?

...Скажи, писатель, а это правда было? Да или нет? Вот прямо так и было? С тобой? Зачем же ты написал, что с Иван-иванычем? Что-что, не слышу?... Не совсем так? А как? Ах, вот так! Зачем же ты подсочинил иначе? Что ты там бормочешь и охаешь? О-о-образ, о-о-обобщение... Знаешь, я сам все обобщения сделаю, если захочу. Ты говори толком, зачем перекособочил документ? Переврал живую правду? Что молчишь? Все-таки язык не поворачивается ляпнуть про художественный метод и типические характеры с обстоятельствами? А! Ты про них уже забыл и теперь на «картину мира» упираешь? Куда годится твоя «картина», если документ и память говорят так, а ты подправил-подчистил, убрал-добавил, а теперь, видите ли, «картина мира». Зачем мне твоя выдуманная картина, у меня своя есть, настоящая. Ах, ты не подчищал, не подправлял, а выявлял и одухотворял? Ты б еще про тенденциозность заныл. Или про вынесение приговора действительности вспомнил...

Говоря серьезно, «серьезная литература» все-таки претендует на правду и подлинность, но разбивается о «документ» — мемуары, письма, дневники, аналитику, «совершенно секретные» отчеты и протоколы, совершенно открытые приговоры и постановления.

Журнал «Знамя» целиком посвящает одиннадцатый номер той подлиннос-

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

ти в литературе, которая удостоверяется реальным «Я» пишущего. В издательстве НЛО выходит сборник «Статус документа: окончательная бумажка или отчужденное свидетельство?» (М., 2013), ибо и с документом дело обстоит слишком непонятно. Что такое исторический документ? Что такое мгновение документа и полнота памяти? (Или наоборот?) Что такое документальная биография? Какой была работа с документом в русской литературе 2000-х годов? А прежде? В «Колымских рассказах» Варлама Шаламова — деформация документа, подлинность документа или деформация как подлинность?

Прежде литература была простодушно-самонадеянной, но теперь-то мы не можем не видеть, что «художественный текст» может (способен) иметь дело только с узким сегментом жизни. За пределы этого сегмента, в реальный кошмар реальности «художеству» соваться нельзя.

У нас есть очень тяжелые доказательства, что нельзя. Например, текст Александра Фадеева «Молодая гвардия». Сочинителю заказали — он сочинил. Коммунистическую агитку на крови замученных детей. Сочинителю скомандовали, чтоб коммунистов подсочинил побольше — он подсочинил. А потом еще и поучал потрясенных родителей: «Хотя мои герои носят действительные имена и фамилии, я писал не действительную историю "Молодой гвардии", а художественное произведение, в котором много вымышленного и даже есть вымышленные лица. Роман имеет на это право».

Не имеет. Повторяю по слогам: не-и-ме-ет. Такой роман не имеет права и не способен существовать. Он и не существует. А текст, в котором настоящие имена погибших детей вмешаны в заказные выдумки, называется не романом, а совсем иначе.

Но ведь не только бессовестная фальшивка Фадеева, но и совестливое страдание Василия Гроссмана доказывает то же самое. В романе «Жизнь и судьба» автор доводит своих героев до газовой камеры — и входит туда с ними — и правдивейший писатель писал кровью сердца — и думал о своей погибшей матери... А все равно получается — «автор сочиняет». Сочиняет о том, о чем сочинять нельзя.

Это осознание границ — «литература мало что может», «нет, все-таки больше, чем кажется», «мы теряем читателя», «да...», «нет...», «а если попробовать так?» — тоже несомненная тенденция.

2. Из писателей ближнего зарубежья я читаю и перечитываю Бориса Крячко. В связи со вторым вопросом анкеты опять открыла повесть «Битые собаки», и роман «Края дальние...», и «Автобиографические эскизы». Да так и не оторвалась, пока не дочитала. Великий недооцененный писатель.

А что нового прочла? Оглядываюсь... Думаю. Выходит, что только «мини-роман» Ундине Радзявичуте «Франкбург» («Дружба народов, 2012, № 7, перевод с литовского Анны Глуховой). Роман крепкий, социальный, проблемный. С чертами абсурдизма и антиутопии. Умный: «Грустить могут только свободные люди. Все остальные должны демонстрировать оптимизм, позитивность и гибкость».

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

Майя Кучерская, прозаик, литературный критик, г. Москва

«Разговор шел, но оборвался»

1. В нашем деле все становится хуже — вот основное ощущение от 2012 года. Все схлопывается. Все меньше мест, где пишут про книги. Все меньше резонанса вызывают литературные премии. От мира современной российской литературы все сильнее ощущение резервации, границы которой с каждым днем сужаются. Мне не хватает старого и исчезнувшего в прежнем виде «Openspace» с его литературными разборами, иногда блистательными, иногда возмутительными — какая разница! Они были, разговор шел, но оборвался. И уже никогда не зазвучит в прежнем виде. У «Colta» уже не было ни сил, ни ресурсов заговорить о литературе с той же силой и властью. Мне остро не хватает и колонок Андрея Немзера. Хотя я тоже вовсе не всегда могла с ним согласиться. Но вот Андрей Семенович замолчал, не по своей воле, и стало еще безотраднее. Потому что исчез еще один живой голос не только профессионала высокого класса, но и человека, которому хотя бы не все равно. На этом невеселом фоне случилось, впрочем, и два отрадных события — вышел очень хороший роман Андрея Дмитриева «Крестьянин и тинейджер». Пусть отчасти и камерный, но важный. Искренне восхищалась этим нежным и страшным текстом, тем не менее критикой он был практически не замечен. Слава Богу — Букеровское жюри все-таки оценило роман по заслугам, всем промолчавшим, поленившимся прочесть — в укор! И второе — вышел роман Евгения Водолазкина «Лавр». Ничего похожего — по смелости замысла, по уровню исполнения и глубине сказанного — в нашей литературе не было уже давно. Хоть одна настоящая литературная радость под Рождество — роман Водолазкина, кстати, еще и очень религиозным получился.

2. Я прочитала роман Сергея Жадана «Ворошиловград», который мне очень понравился. Это сильный текст. Пусть мне не слишком близок его герой, не очень нравится отсутствие в нем рефлексии, но, с другой стороны, это и не интеллектуальная проза, а быстрый цветной и объемный снимок той кошмарной растерянности, потерянности, в которой все еще пребывает наша страна после развала СССР, причем не только старшее поколение, но и совсем молодые люди.

Ольга Лебёдушкина, литературный критик, г. Балашов

«Удачи года в эстетическом отношении очень разные»

По общему впечатлению, жаловаться на нехватку хороших книг в этом году не приходится. И самое главное — удачи года в эстетическом отношении очень разные. Год начался «Крестьянином и тинейджером» Андрея Дмитриева, о котором сразу было понятно, что это — событие. Про «две России» — столичную и деревенскую — и что «с места они не сойдут», писали и пишут многие, это давно уже литературная традиция, а с недавних пор — и политический тренд, но в

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

романе Дмитриева все происходит как раз наоборот — эти два полюса национальной жизни сдвинулись с мест и начали движение навстречу друг другу, так что само противопоставление вдруг оказалось ложным и надуманным. Можно только порадоваться выбору Букеровского жюри этого года: на мой взгляд, эта книга в современной русской литературе останется надолго как живая точка притяжения.

Среди событий — безусловно, трехтомник избранного Сергея Гандлевского, вышедшая чуть раньше в том же «Corpus'е» его новая автобиографическая повесть «Бездумное былое» и новый сборник эссе Льва Рубинштейна «Знаки внимания». Как-то неожиданно в сюжетах литературных биографий обоих поэтов обнаружилось сходство. Гандлевский не уходил в эссеистику так явно, как Рубинштейн, но том эссе в трехтомнике кажется не менее значительным, чем собрание стихов и прозы под теми же обложками. Эта «философическая» составляющая, «поэзия мысли», вышедшая на поверхность, сегодня заставляет совершенно по-новому перечитать тексты и московского концептуализма, и «Московского времени».

Ближе к осени вышел в свет «Саратов» Николая Кононова — большой сборник короткой прозы, в котором не меньше половины — новые рассказы. Как и «Фланёр», «Саратов» — книга для медленного, дозированного чтения. Проглотив залпом, можно или отравиться, или, наоборот, вообще ничего не почувствовать. Современный читатель, к сожалению, все больше привыкает к жидковатому, разбавленному языку текущей словесности. У Кононова вещество прозы, кажется, достигает предельной концентрации, что не мешает ему оставаться прекрасным рассказчиком историй — ужасных, смешных, странных. Обычно сюжеты Кононова — вылазки в кунсткамеру человеческого бытия, в его отдаленные и опасные провинции (здесь Саратов, удачно названный однажды «запредельным топосом» русской культуры (А. Ф. Седов) превращается в метафизическую метафору). Исключением становятся только истории любви, которая в мире прозы Кононова всегда проявляется как редкое явление божественной меры, территорию нелюбви заселяют чудовища, между отсутствием любви и монструозностью здесь всегда стоит знак равенства. Этот жесткий контраст был менее заметен в романе «Фланёр», очень интересно, что будет дальше. По словам самого автора, он работает над романом, который должен завершить что-то вроде трилогии. По крайней мере, одинокий странник, объединяющий «Фланёра» и «Саратов» в разных цветовых гаммах, по замыслу автора и издателя, кажется, останется и на обложке будущей книги...

Именно потому, что лучшие книги года такие разные, чрезвычайно сложно говорить о тенденциях. Не знаю, тенденция ли то, что условно можно обозначить как второе рождение «тамиздата». Нью-йоркское издательство «Айлурос» (главный редактор — поэт Елена Сунцова) только в этом году выпустило почти полтора десятка книг современных авторов, среди которых собрание прозы «Чумной покемарь» Виктора Іваніва, получившего за эту книгу премию Андрея Белого, две поэмы Бориса Херсонского и Сергея Круглова — «В духе и истине» и «Натан» под общей обложкой, сборник прозаических и поэтических миниатюр «Мы не знаем» Виктора Боммельштейна — писателя, которого можно назвать главным открытием года (неоткрытие он разве что для пользователей ЖЖ, которые его давно знают и любят), наконец, несколько очень хороших поэтичес-

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

ких книг — «Поражение Марса» Геннадия Каневского, «Коренные леса» Елены Сунцовой и «Письма водяных девочек» Марии Галиной. Собирая для себя условную двадцатку лучших книг года, я обнаружила, что половина — книги «Айлуроса». И это притом что в ту же двадцатку стоит включить и сборник рассказов Александра Чанцева «Время цикад», также изданный в Нью-Йорке Сергеем Юрьененом. Конечно, этот новый «тамиздат» рожден совершенно иной культурной ситуацией. Это результат существования русской литературы в отсутствие границ и занавесов, еще одна возможность ее выхода к читателю, как в России, так и за ее рубежами. Но определенные выводы волей-неволей напрашиваются: не важно, в России или за ее рубежами, издание некоммерческой литературы (то есть литературы как таковой) в большинстве случаев по-прежнему остается делом подвижников, говорящих самим себе «если не я, то кто».

2. В первую очередь это вторая книга трилогии Сухбата Афлауни «Поклонение волхвов» — «Мельхиор» («Октябрь» № 4–5, 2012). На этот раз — «серебряный век» в восточных декорациях, еще один этап пути России в Азию.

Поэзия Бориса Херсонского, которую читаю преимущественно в Интернете — на Facebook'е, на сайте «Полутона» и в «Журнальном зале». В этом смысле Сеть действительно не имеет и не признает границ, но все-таки хочется надеяться на выход новых книг Херсонского в России.

Если речь о переводной литературе, больше всего запомнился «Франкбург» Ундине Радзявичуте («Дружба народов» № 7, 2012) — замечательная европейская проза, остроумная, язвительно-афористичная. Честно говоря, среди авторов, пишущих на русском, не припомню никого, кто умел бы писать так смешно.

Алла Марченко, литературный критик, г. Москва

«Пуговки спороли, фасончик и крой использовали…»

1. На редкость бесцветный, «мелкотравчатый» год. Словно романная наша проза, вдруг и вроде бы беспричинно, заняла «горизонтальное положение». Как если б у всех, скопом, включая лауреатов престижных премий, обнаружился СЭВ (синдром эмоционального выгорания). И в рассуждении «что и про что», и в отношении того, «как это сделано». От Степновой (плюс Чижова) до Дмитриева и Терехова — сплошное бэу, кое-как перелицованное и подштопанное. Пуговки спороли, фасончик и крой использовали. Не под копирку, на глазок, но узнаваемо. Потому как срисовано не с именных образцов. Безымянный ширпотреб, демонстрируя стиль середины века, выглядит убедительней.

2. Из писателей ближнего зарубежья в бумажно-книжном варианте удалось прочесть Сергея Жадана («Ворошиловград», Астрель, 2012) и Юрия Петкевича («С птицей на голове», Астрель, 2012). Очень интересен в интерпретации Юрия Барабаша портрет Виктора Петрова — «самой загадочной фигуры в украинской культуре XX века» («Новый мир», 2012, № 8 — «Кто вы, Виктор Петров? В. Домонтович (Петров) и его повесть "Без почвы": все не то, что кажется»).

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

Лиза Новикова, литературный критик, обозреватель газеты «Известия», г. Москва

«Востребованы "речовки" и "кричалки"»

1. В 2012-м вышло много интересных книг, из которых главным событием, на мой взгляд, стала публикация романа Владимира Богомолова «Жизнь моя, иль ты приснилась мне». Но именно в последний год усилилась гражданская активность общества и одновременно во много раз вырос запрос на тексты, которые бы отображали и объясняли этот процесс.

Пока что эту функцию выполняют сами гражданские активисты и блогеры. Но активисты не всегда умеют красиво выразиться, а блогеры говорят много лишнего. Запрос не означает, что писатели должны обозначить свои политические взгляды, свою партийность. Они — по-прежнему — никому ничего не должны. Просто запрос существует.

Приведу пример: в нескольких гражданских акциях этого года участвовала «научно-образовательная колонна». Студенты и преподаватели использовали так называемые «речовки» или «кричалки»: «Дайте ученым зарплату ОМОНа», «Что Париж, что Москва — лишь борьба дает права!». Однако текстов было явно не достаточно. И вот как помогли несколько поэтов, к которым я обратилась.

Андрей Родионов: «В агонии социалка! / Врача и учителя жалко!»

Евгений Лесин: «Боится грамотных чинуша, / Как вошь и гнида, — бань и душа», «До чего дошел регресс / Приходит в школу мракобес», «В больнице врач один настоящий полковник/ И это лишь врач, а не жулик-чиновник» (публикуется впервые).

Сергей Жадан предложил речовку, которая вошла в последний альбом, записанный им с группой «Собаки в космосе»: «Вчи історію! / Готуй революцію! / Лишай аудиторію! / Виходь на вулицю! / Не тряпицу на заплату, / А достойную зарплату».

2. Событие года — роман Сергея Жадана «Ворошиловград» в переводе Завена Баблояна.

Валерия Пустовая, литературный критик, журнал «Октябрь», г. Москва

«Прославленные писатели дебютировали в пограничных жанрах»

В уходящем году было много поводов заглянуть за края литературы, увидев ее плоской и скругленной, как древняя земля, а смежное с ней пространство — неизмеримым и центробежным, как будущее. Прославленные писатели дебютировали заново в пограничных жанрах. Издали своеобразные авторские путеводители Роман Сенчин («Тува»), Александр Иличевский («Город заката»), Линор Горалик («Библейский зоопарк»), Василий Авченко («Глобус Владивостока»), Андрей Левкин («Вена, операционная система»), а Дмитрий Данилов опубликовал универсальный путеводитель по любому российскому городу, о котором все равно больше никто не напишет («Описание города»). Писатель Захар Прилепин собрал книгу остроумных колонок под видом литературной критики («Книгочет»),

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

критик Сергей Беляков презентовал остросюжетный любовно-исторический роман под видом научной биографии («Гумилев сын Гумилева»), журналисты Сергей Полотовский и Роман Козак выпустили литературоведческую монографию под видом популярного жизнеописания («Пелевин и поколение пустоты»), недавняя дебютантка в прозе Алиса Ганиева представила полевое исследование национальной архаики и глобальной модернизации под видом антиутопии («Праздничная гора»). Новое художественное произведение Майи Кучерской не вызвало единодушного одобрения, но нужно поблагодарить ее за куда более легкую, строгую и давнюю ее книжку «Современный патерик» — в уходящем году многие продолжали именно эту линию на стыке литературы, жития и исторического анекдота: поэт Олеся Николаева во втором выпуске просветительской серии по мотивам знаменитой книги архимандрита Тихона (Шевкунова) («"Небесный огонь" и другие рассказы»), филолог Евгений Водолазкин в книге увлекательных цеховых баек, увековечивающих по-своему священный образ ученого-книжника в сознании общества, разучающегося читать («Инструмент языка»), журналист Ксения Луценко в емком документальном сериале («Матушки. Жены священников о жизни и о себе»). В этом смешанном жанре запечатлевали писатели и самих себя: наконец вышла публиковавшаяся отрывками книга интервью Линор Горалик с действующими поэтами («Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими»), изданы автобиографические записи Сергея Гандлевского, Людмилы Улицкой. Чистоту жанра в условиях бума писательских автопрезентаций выдержали Андрей Рубанов с исповедью в рассказах («Стыдные подвиги») и Лев Рубинштейн с колонками высокого образца («Знаки внимания»).

Особо хочется отметить книги поэтического избранного: для балансирующего чтения в городском транспорте и самолете — Ингу Кузнецову («Воздухоплавание»), для чтения скрепя сердце утром в понедельник — Станислава Львовского («Все ненадолго»), для рождественского чтения в снегу под елью — Светлану Кекову («Сто стихотворений»).

Главные открытия года случились со мной под самый его финал: теория искусства и искусствоведения в бесхитростных причитаниях Евгения Гришковца («Письма к Андрею»), чеховская меланхолия в драме Саши Денисовой («Пыльный день»), советская история как пролог к апокалипсису и новому небу культуры в философской работе Владимира Мартынова («Автоархеология на рубеже тысячелетий»).

Мария Ремизова, литературный критик, журнал «Октябрь», г. Москва

«Или год пустой, или не повезло»

1. Ужас в том, что я очень мало что читала из вышедшего в этом году. А из того, что читала, ничего особо приметного на глаза не попалось. Или год пустой, или не повезло. Наверное, о тенденциях говорить просто не имею права — или это и есть тенденция, что у критиков становится все меньше возможностей следить за процесссом. Но если говорить не только о прозе, то больше всего меня обрадовал выход книги Валерии Пустовой «Толстая критика» — это очень полезная книга очень хорошего критика, и еще страшно понравилось стихотворение Леонида Каганова от имени памятника Абаю.

2. Из ближнего зарубежья читала замечательный роман Сергея Жадана

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

«Ворошиловград» (М.: Астрель, 2012). И, кстати, возвращаясь к первому пункту, для меня этот роман был, наверное, главным литературным событием прошлого года. Роман очень хорошо написан, притом умный, глубокий и совершенно не занудный, читается просто на одном дыхании. Прямо завидно, что это не на русском языке появилось, в смысле — в оригинале.

Андрей Рудалев, литературный критик, г. Северодвинск

Литература на острие общественных дискуссий

Год начался в митинговых страстях, в повышенном градусе общественной активности. Вначале было «великое» предвыборное противостояние Болотной и Поклонной, которое стало восприниматься не столько идеологическим, сколько социальным противостоянием: силы, влекущие страну вперед к изменениям, столкнулись с якорем консерватизма, нежелания преобразований, который якобы сидит в широких народных массах. Выборы прошли, градус упал, хоть еще впереди и были «марши миллионов», но все, по сути, свернулось в своеобразному общественному перформансу — «окупай Абай». В кои-то веки в этом году заявили о себе и наши литераторы, проведя в Москве «марш писателей», во главе протестного движения обозначились Дмитрий Быков, Борис Акунин. Свою «левую» колонну, но уже на поле Интернет-СМИ, развернули новореалисты: Сергей Шаргунов и Захар Прилепин возглавили «Свободную прессу».

Ну и, конечно, центральным событием года, равносильным по пиар-значимости с президентскими выборами, стала февральская, нет, не революция, а скоморошеская акция «Пусси Райт». В литературе она, естественно, найдет свое отражение. Уже есть первые сполохи: от романа Александра Архангельского «Музей революции», где под занавес действа художники-акционисты крушат бензопилой деревянную церквушку, до откровенного пренебрежения отличной книгой Тихона Шевкунова «Несвятые святые» в финале «Большой книги». Кстати, в новом романе Дмитрия Быкова «Американец» вообще представлен взрыв храма Христа Спасителя. Тенденция о многом говорит…

Во всем этом как раз обозначились основные проблемы, которые так или иначе предстоит решать, в том числе и в литературе.

Образ и место православной церкви. Все кипучие разговоры и баталии года, многие околоцерковные дискуссии показали, что в современном обществе царит если не крайняя безграмотность в вопросах религиозной культуры, то, по крайней мере, устойчивое непонимание ее. Церковь оценивают исключительно с позиций мирского сознания, рассуждают о ней методами аналогии, то сопоставляют с госмашиной, то примиряют позиции чиновничьего, бизнес-сознания. Но нет настоящего погружения в нее, нет открытого переживания ее сути, а вместо этого люди штампами начинают говорить, что она нам и вовсе не нужна, и мы сами без посредников найдем пути к Богу. Как раз в этом контексте очень важным оказалось появление книги архимандрита Тихона Шевкунова «Несвятые святые». Он без настырного дидактизма показал, что религиозная жизнь проходит по грани посю- и потустороннего, надмирного и многое в ней с точки зрения обыденной логики не объяснить. Это очень светлая книга, хотя и раздаются упреки в ее елейности и в том, что избегает острых вопросов.

Поэтому очень разочаровал в этом году финал «Большой книги», который, повторюсь, показательно пренебрег книгой Шевкунова. Конечно, здесь была чистая политика и, возможно, еще и ревность, что посмел покуситься на лите-

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

ратуру. Эта очень плохая тенденция нашего литсообщества — самоограждение от всего прочего, тяготение к кружковости и отсутствие широты. Такой поведенческий образ восторжествовал в девяностые, тогда современная литература сама себя загнала на периферию общественного сознания, замкнулась в маленькой и душной каморке, эти норные инстинкты до сих пор еще в силе и жаждут реванша.

Это особенно наглядно отразилось на социальном противоречии, проявившемся в этом году. Вновь на повестке дня дискуссии о народности, о необходимости хождения в народ, и в то же время — выпуклое противопоставление креативного класса, интеллигенции и народа, который часто высокомерно выставляется олицетворением стихии инерционности, отсталости. Эта проблема разделенности показывает слабость общества.

Многие наши интеллектуалы до сих пор мыслят теми же клише, что и «просвещенная» публика, о которой писал еще итальянский мыслитель Антонио Грамши. По его словам, для них «люди "из народа" не обладают внутренним миром, лишены неповторимой индивидуальности. Они — что-то вроде животных». Этакое бессловесное стадо, «бесформенная животная масса», погруженная в пучину низменных инстинктов. И в этом плане крайне прискорбно, что литература в обществе за собой настырно закрепляет полумаргинальный статус, сами же литдеятели норовят воспринимать себя носителем меты элитарности. Нарастает противоречие, которое приводит к отчуждению широкого читателя от современной литературы. Становится уже практически бесспорным фактом нашего времени, что литература замыкается на «креативном классе» и на эго автора. Эту тенденцию необходимо переломить, тем более что, если судить по финалам крупнейших премий: «Букер» и «Большая книга», она только прогрессирует. Как написал один из моих друзей в соцсетях: книги победителей этих премий можно читать только по приговору суда. Может, это и чрезмерно жестко, но где-то близко к правде...

Неплохо проявили себя в этом году критики. Алексей Колобродов, критик из Саратова выдал любопытный сборник с интригующим названием «Культурный герой» и с подзаголовком «Владимир Путин в современном российском искусстве». Безмерно порадовал Сергей Беляков — у него наконец вышла биография Льва Гумилева, над которой он в последнее время любовно и кропотливо работал. Закономерная и заслуженная радость у Валерии Пустовой — одного из ведущих современных критиков: вышел сборник ее критических статей, опубликованных в нулевые, под названием «Толстая критика».

В очередной раз проявил себя как острый и крайне актуальный публицист Захар Прилепин. Своим «Письмом товарищу Сталину» он развернул широкую и крайне важную дискуссию. Больше ни у кого из наших писателей ничего подобного не получается, а жаль. Писатель должен бить и работать словом по всем фронтам, влиять на общественное сознание, провоцировать на дискуссию.

2. Из писателей ближнего зарубежья познакомился с творчеством молодых. У жителя Севастополя Платона Беседина вышла книга «Книга Греха», а повесть «Generation G» одессита Всеволода Непогодина опубликовала питерская «Нева». Ощущение общего духовно-культурного пространства, не заимствованного откуда-то как некая условная данность, а именно пророщенное личным жизненным, душевным опытом — вот что мне показалось крайне важным у них.

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2012 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей ближнего зарубежья?

Валентин Курбатов

Материя жизни

Размышления литературного критика из Пскова Валентина Курбатова о прочитанных в минувшем году книгах вылились в самостоятельную проблемную статью о современной литературе и читателях, о жизни — «жадном "сейчас" и неясном "завтра"» и тоске по твердой земле под ногами.

Все прошлое лето я просидел за чтением соискателей премии «Ясная Поляна». Их только в длинном списке было семьдесят семь. А ведь длинный-то список тоже еще сложить надо было, так что поначалу число и вовсе переваливало за сотню.

Немудрено, что я не увидел лета и не помню, было ли оно дождливо, солнечно, пасмурно. Некогда было поднять глаза от книг. В этом году они были представлены для чтения милосердно — книги и книги. А в прошлом пришлось прочитать половину соискателей с экрана компьютера. И это была гибель — и их, и моя. Никто из «экранных» (хотя бы они были семи пядей во лбу) премии получить не мог просто потому, что текст с порога сквозил, был призрачен, иллюзорен и никак не хотел быть родней толстовской плоти бумажного текста.

Я тогда сделал для себя запоздалое «открытие», которое, очевидно, давно известно всем читателям Интернета: что книжная и интернетовская страница — это параллельные, вовек не пересекающиеся страницы, что даже и читатели «Войны и мира» или «Братьев Карамазовых», сидящие за книгой и за экраном компьютера, вовек не встретятся друг с другом. И даже если они одного возраста, им будет не о чем поговорить.

Из этого уже тогда сделалось ясно, что мир стоит на пороге, которого не хочет видеть и обдумывать, предпочитая считать всякий этап эволюции само собой разумеющимся и прогрессивным, и закрывая глаза на то, что ему все труднее смотреть телевизионные новости, которые все более обесценивают человеческую жизнь.

Эка куда повернул! А литература-то здесь при чем? А вот при том самом. Забвение плоти слова, перевод его в экранный призрак, незаметно, но неуклонно разрушает реальность. Когда-то я улыбался, слушая в Невеле под Великими Луками, как молодые философы и музыканты М.М. Бахтин и М.В. Юдина со товарищи придумали озеро Нравственной реальности, куда и ходили купаться с серьезностью священнодействия. Озеро-то, положим, было среди местных жителей просто «Ивановским» (по имени хозяина здешних мест Ивана Иваныча Михельсона, получившего эти земли от матушки Екатерины за то, что Иван Иваныч пленил злодея Пугачева). Но молодые люди, переименовавшие озеро, не шутили. Они догадались, что нравственность так же реальна, как деревья,

небеса, травы и птицы, что «Вначале было Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог» не метафора, а тело жизни.

И это только внешне невпопад и «по касательной», а я при прошлогоднем экранном и сегодняшнем привычно книжном чтении соискателей «Ясной Поляны» отлично слышал, что мир стоит перед выбором реальности или самообмана, живой плоти или ее удобного в обращении словесного перевода, с которым можно проделывать все, что угодно. Опять подтверждалось, что «литературный процесс» — это не филологическая забава, а сама жизнь с ее политикой, экономикой и философией. И, судя по этому процессу, материя жизни истончается, уступая все более агрессивному умозрению, призрачным фикшн да экшн, при которых сознание прощается с землей, втискиваясь в квадрат компьютерного монитора.

И это не причуда, скажем, прозаика Андрея Столярова, когда в его романе «Мы, народ...» молодые герои, не отходя от экрана, вмешиваются в мировой процесс, парализуя целые державы тем, что обрушивают сайты посольств, банков и правительств и ждут не дождутся, когда, наконец, мы, еще сопротивляющиеся компьютерному миру, «уйдем, загнемся, перестанем путаться под ногами, когда мы, наконец, выдохнемся и сгинем вместе с раздражающей кутерьмой наших мелких смешных проблем. И когда, наконец, их стремительно расширяющийся виртуал полностью сольется с реальностью — так что уже невозможно будет отличить одно от другого...»

Не удивительно, что мир полегчал и как-то незаметно перестал относиться к себе всерьез. Автор, не торопящийся «освободить мир» для «расширяющегося виртуала», ищет сопротивления своему герою, но не готов к нему, потому что вокруг-то, как все мы, больше видит людей, которые «уже давно махнули на все рукой. Им теперь абсолютно до лампочки: кто, что, каким образом, зачем, почему? Кто виноват, кто прав, что делать, куда бежать? Ничто не может привлечь внимания больше, чем на секунду. И если бы даже сейчас на Землю явились галактические пришельцы, эта новость держалась бы в топе дней пять или шесть. Потом ее вытеснил бы очередной «звездный развод», или скандал со взятками, или диета, сжигающая избыточный вес». И хоть это тяжело слушать, но ведь это чистая правда, что «мы превращаемся в рыхлую, неопределенную массу. Мы объелись политикой, обещаниями, речами, проектами, проповедями. Мы хотим одного: чтобы все они, все — куда-нибудь провалились...»

А наша боевая «оппозиция» удивляется, что не может выбрать себе лидера и сформулировать программу. Из «виртуала» и из «чтоб они все провалились» ее не построишь. Как не построишь и из сознания молодых хватких героев другого питерского прозаика Павла Крусанова из его романа «Белый ворон», которые успели увидеть, что для времени на дворе «культура, традиция, долг — попсня» и «надо устремляться за жирной новизной». Кажется, «желтый зверь Апокалипсиса» в этом романе Крусанова и есть «жирная новизна», и зверю этому уже надо противостоять не безволием, не «пропади все пропадом», а прямым взглядом, слышанием Творца, соработничеством Ему и бесстрашием перед смертью, как воины его «стаи белого ворона», ставшие «братством красного орла», которые догадались, что «Родина — это не пространство, а время» и что борьба идет между «забыть и отринуть» либерализма и «сохранить и помнить» здорового консерватизма, который сегодня требует настоящего мужества.

А может быть, дело и не только в том, что реальность истончается. Может, справедливее сказать, что она находит меньше защитников, чем прежде, что

русская литература не то что отворачивается от страдающего человека, а просто устает ходить его дорогами. Как это хорошо сказано Олегом Павловым в его «Дневнике больничного охранника»: «...реальность дает себя почувствовать не во всех обстоятельствах. Есть лишь точки соприкосновения с ней и все эти точки болевые». Так ушибается об эти «болевые точки» сам Павлов. Так глядит на эту реальность Дмитрий Поляков (Катин), который в повести «Скользящие в рай» пишет ту часть общества, которую общество брезгливо обходит — жителей подвалов, подземных переходов, вокзальных углов и теплых тамбуров метрополитена. Бомж ищет прописки в литературе, потому что все множится в «пространстве и времени» реальности. Так он входит и в рассказы Евгения Шишкина — ненужный обществу и потому свободный, со своей этикой и даже эстетикой. Только и отличия от старой сострадательной к «маленькому человеку» литературы, что тут и художник как будто вместе с героем говорит: «А-а, пошли вы все!» — и остается со своим героем там, в подворотне свободы.

Похоже и Сергей Самсонов в повести «Проводник электричества», поглядывая на этот мир, хочет вырваться из плена семи миллиардов «страстных рассказчиков приватной полуправды», и рассказать нам полную правду. И пишет все время на взводе, горячечно, с повышенной температурой, словно диктует ему текст сама эта «эстетика» выкинутого из жизни человека. От такого чтения скоро устаешь. В конце концов говоришь: «Хватит! Достал!» — и отходишь, не переживая, словно автор перед тобой забил свою полную правду ногами. Оказывается, и о жестоком надо писать, не перевозбуждаясь, не нагнетая, иначе перестаешь этой «полной правде» верить — жизнь загораживается злой энергией словаря. Текст замкнут на самом себе. Словно они сами, герой и писатель, за тебя все и пережили, ничего тебе не оставив. Они к тебе злы, ну и ты в ответ тоже — опять же нынешнее завоевание.

Стиль вообще понемногу теснит героев. Слово поглядывает на слово и им уже не до жизни — хватает самих себя. Это искушение понятное. Слово за долгую русскую историю побывало в таких переделках и столько всего повидало, что хочешь сказать одно, а оно натащит столько оттенков, что ты уже и не узнаешь начального замысла. Это сама история, память человеческая норовит протиснуться в сегодняшнюю жизнь, удержаться в ней. Как когда-то Георгий Семенов, дивный русский прозаик рассказывал мне, что пытался, чтобы не выдумывать имен для героев, взять их с кладбищенских плит — так они там бывают чудно живы и согласны, выдумывай — не выдумаешь. Да имена-то сразу так ухватывались за героев, что тем уж и свободы никакой не оставалось. Все те, списанные, норовили отодвинуть плиты над собой и снова пожить. Уже и не рад был, и закаялся. Прошлое ревниво. И словарь это знает лучше всего.

Начнешь после Самсонова читать «Антипитерскую прозу» Анатолия Бузулукского и улыбнешься — ну слава богу: хоть тут тебя никто не теснит, не заводит, не мучает. Но не успеешь нарадоваться, как уж, глядишь, попался в другие силки — в любование словом, в счастливое щегольство и озорство, когда даже во время похорон герой видит, как провозят тело близкого человека по Аничкову мосту, и успевает отметить: «Голые архаровцы, казалось, могли смутить мертвую тетю Женю. Казалось, сквозь опущенные веки она могла еще стыдливо любоваться их неистовой наготой». Но потом вчитаешься и увидишь, что это уже сам мир облегченно словесен в политике, предпринимательстве, власти, что об этой «густо населенной безвестностью жизни» только так играючи и можно писать. Что на ряженую реальность только и можно глядеть с иронической независимостью, чтобы ничто не стесняло твоей художественной свободы:

«ни либеральные плавки, ни патриотическое семейные трусы». «Пиши как будто нет предела», — ставит себе условие герой «Прозы» писатель Новочадов и посмеивается, что, коли бы воскресли сейчас классики и поглядели на эту разыгравшуюся свободу, то, или скорей, снова закрыли бы глаза, чтобы не видеть полегчавшего мира, или запотирали ручки от писательского зуда — обойти нынешних. А в конце-то игры, наглядевшись на своих героев и выказав замечательную стилистическую сноровку, писатель будто устал притворяться и выговорил вдруг такое мучительное наблюдение, после которого уже ни со строгостью, ни с игрой не будешь знать, как за перо взяться: «Люди разлюбили литературу, потому что сами стали противны друг другу. Читать про то, как живут и умирают другие люди, как они наслаждаются и ненавидят, какие их посещают мысли — стало занятием бесплодным и даже презренным. Какой смысл в литературе, когда интерес к человеку исчез?»

Поневоле руки опустишь. Чего, правда, людям о бомжах читать, и о чужих несчастьях, и о том, как люди из этих несчастий выбираются, если сами читатели жизни не рады. Литература хороша в устойчивых обществах, чтобы подтвердить правоту этого общества или опровергнуть ее. А когда никаких стен в твоем доме нет и ты как будто на сквозняке живешь, до литературы ли тебе? До чужой ли жизни? И литература поневоле пускается в игру, в «тексты», чтобы самой от жизни и неуверенности защититься.

С улыбкой прочитал в письме Л.Н. Толстого М.Е. Салтыкову-Щедрину: «...с тех пор, как мы с вами пишем, читающая публика страшно изменилась... Прежде самая большая и ценная публика была у журналов... теперь сделалось то, что качество интеллигентных читателей очень понизилось — читают больше для содействия пищеварению». Про пищеварение, может быть, и не вовсе правда. Теперь явился читатель, Толстому неведомый. И писатель для этого читателя — тоже. Они оба — дети книжного шкафа. Дети высокого знания. Их простой правдой не проймешь. Они, как Николай Крыщук в романе «Кругами рая», сразу спросят: «Разве есть в литературе такое понятие — правда? Правда в искусстве это жанр, то есть чувство уместности, чувство материка, то есть верность природе, языку, смирение перед законами гармонии». Ну и как только правду как жанр и смирение перед гармонией определишь, то можно и за сочинение садиться: «Заряжу-ка я роман, — подумал Г.Н. — Навру с три короба. Кафка прав: ложь больше открывает, чем скрывает. Пусть потом разбираются».

Вот и «заряжают», а мы «разбираемся». И коли спокойны, то и перебираем с охотой вместе с Крыщуком Бергсона и Кафку, Борхеса и Фуко, Хейдеггера и Гессе, Хлебникова и Заболоцкого, утешаясь, что не одна наша жизнь забита цитатами и не в нашем только быту книжная пыль вытеснила воздух жизни. И радуемся этой счастливой филологии, не особенно приглядываясь к сюжету и не особенно переживая, что автору не до нас. В этом покойном состоянии хорошо с нежностью пролистать прекрасный ампирный слогом «Любовный канон» Натальи Соколовской или вполглаза прочесть роман Герберта Кемоклидзе «Тысяча» с его высокой переглядкой культур и традиций, Корана и Библии, легко уходя в придуманную писателем страну Руговию и ее сочинителя Ругова, чьи тексты наведываются в русскую историю, чтобы проверить правды «купитализма», антимаркса и контрэнгельса.

А как жизнь заденет, так уж ты менее снисходителен к авторам, которые отодвигают тебя для счастья писания, для умной игры с филологией или политикой (будь это книги Крыщука, Бузулукского или Иличевского с его нынешними «Анархистами» и недавними «Математиком» и «Персом»), и труднее перено-

сишь равнодушие к тебе. Равнодушие — тоже новое приобретение времени, и оно не особенно тревожит писателей. Это Юрий Казаков мог в письме корить Виктора Конецкого за рассказ «Еще о войне»: «Какой-то, старик, твой рассказ не всеобщий. Как ни здорово, а частный случай и на меня не распространяется». А им нынче и не надо, чтобы «распространялось». Им довольно своего одиночества. Так вполне самодостаточна Юлия Кисина в ее эффектной, ироничной, кокетливой повести «Весна на Луне» с отважными школьными менструациями и онанизмом. Так самодостаточен, как мужской перевод Юлии Кисиной, Андрей Рубанов с его «Стыдными подвигами», где и все подлое и страшное переодето в «фиолетово»: «Я дембель, мне по фигу служба, командиры, салабоны, черпаки».

Главное — не принимать жизнь всерьез. Даже и гибельную ее сторону. Как театр абсурда, где вчерашние роли переписаны наново: неужели это был (была) я? — смешно! И вот это я считал (считала) проблемами? Все только повод к тексту. Постжизнь в постистории. И все вроде и честно, и жестко, и умно и иронично, но отчего после чтения так грустно на душе? Словно все хотят жить, а у них не выходит, как не выходило у героев Пелевина, Гуцко, Сенчина, Геласимова, и тогда они решают, что вот это не получающееся и есть жизнь, а не то, что о ней напридумывали предшественники. Но подосадуешь-подосадуешь на их жесткую независимость и равнодушие к тебе, а потом и удержишься от суда, потому что и за их инфантильным цинизмом увидишь, что они такие же дети, как в свой час мы, да, кажется, и искреннее нас. Ведь и Кисина, и Рубанов не придумывают детства и отрочества своих героев, а только пишут, что видят. Кто виноват, что их злые дети не так чисты, как герои «Детства» Толстого, не так героичны, как их сверстники в прозе шестидесятых у Гладилина или Аксенова, не так деревенски светлы, как дети Астафьева. Кто так повернул общество, что молодым людям стало интересно жить, когда «немеряно бабла», и понимать новую реальность в новых же определениях «Кто первым огородил участок земли и сказал: это мое, был основателем гражданского общества». Они пишут не для нас. Они — поколение и поймут и оценят друг друга. Нам их по плечу уже не похлопать. Да они нам и не дадут. Идите, скажут, — это вы сами напросились на нас. Мы следствие вашей трусости да нерешительности мыслей, а вы сами хотели того же, да не смели. Мы — ваши сбывшиеся сны, которые, оказывается, в воплощении так противны.

Вот и мечешься между неприязнью и пониманием. И читаешь, словно в два сердца. А они прямо своих взглядов не растолковывают и бегают от публицистики — чего толковать и подталкивать жизнь (а ведь публицистика всегда подталкивание, указывание пути). Гляди: все так, как оно есть — жизнь не поправишь. А кто помнит о праве писателя на суд, те часто обрывают себя на полслове, потому что не знают, кому адресовать упреки, кто должен побледнеть и смутиться. Русский писатель всегда «не мог молчать» кому-то прямо в лицо, чтобы тот устыдился перед лицом истины, которая очевидна всякому сердцу. Сегодня эта общая истина как будто перестала быть общей, и ее спокойно пропускают мимо ушей как раз те, кому она более всего адресована. Похоже, они просто не слышат ее, проводя по ведомству «философии», истории русской мысли, которую можно даже не без любопытства полистать, но которой уже странно руководствоваться, если не хочешь выпасть из времени. И если писатели все-таки договаривают в глухие уши, то потому, что сердце не терпит, — русский же писатель, а он, как ни уходи с головой в новое время, все-таки традицию-то и ответственность русского слова помнит.

Тут бы хотелось не постесняться длинной цитаты. Как были мужественны критики XIX века — страницами не стеснялись цитировать, только бы убедить читателя. А мы уж будто стыдимся, словно все читают одни книги и чего, мол, тут рассусоливать — напомнил автора и довольно. А читатель-то и слыхом твоего автора не слыхал. Я вот уже не раз упоминал Андрея Столярова. А и у коллег спрашивал — пожимают плечами. Кто видел журнал «Нева» с его сочинением? Кто вообще видит сегодня журналы с их жалкими тиражами? А между тем роман дорог мне, начиная с обязывающего имени «Мы, народ...» до соответствующего имени грозного содержания.

Так вот там есть эпизод, где молодой ученый разговаривает с иностранным профессором, сулящим хорошую заграничную практику и убедительно аргументирующим приглашение: «Страны вашей, извините, за прямоту больше нет, денег на гуманитарные исследования никто не дает, впереди, это нетрудно предвидеть, вас ждут колоссальные пертурбации. Вряд ли жизнь наладится в ближайшее двадцать лет». А молодой ученый отказывается, и ответ его замечателен: «... представьте себе, что у вас умирает мать. А вам в это время предлагают поехать куда-нибудь в отпуск. /.../ И вы точно знаете, что пользы от вас в больнице никакой /... / мать вас даже не узнает. Все, что нужно, сделают квалифицированные сестры, врачи, сделают лучше вас, вы будете им только мешать... И все равно, понимаете, все равно — уехать нельзя. /.../

— Да, это сильный образ. /.../ Только мне кажется, что исходная предпосылка не очень верна. Быть может, это не мать, а мачеха — судя по тому, как она к вам относится? /.../ Бог ты мой, я иногда спрашиваю себя — /.../ а нужна ли русским Россия? /.../ Возьмите очевидные факты: у вас было десять лет нефтяного бума, страну в буквальном смысле этого слова орошали золотые дожди. /.../ Все можно было наладить, аккуратно продумать, организовать: сформировать экономику, построить нормальное государство. А что вы делали все это время? Пилили бабло? Так, кажется, у вас говорят. /.../

— Доктор, вы все время критикуете нас за то, что мы не такие, как вы. Ну, мы не такие, да, я согласен. /.../ У нас другая история, другой национальный менталитет, мы по природе антиномичны /.../ — нам нужно либо все, либо вообще ничего. И то, что вы называете «нормальное государство», вызывает у нас, простите, онтологическую тоску, потому что фактически оно представляет собой скопище офисных идиотов, мелкотравчатый унылый планктон, живущий от сих до сих. /.../ Это для нас не жизнь. /.../

— А... опять архетипы. /... / Каждый раз, когда вы оказываетесь по уши в какой-нибудь ... дурнопахнущей... лабуде... вы начинаете говорить, что таковы ваши этнические константы, что вы — особая цивилизация и что нельзя вас мерить той же меркой, что и других. В чем, извините, заключается эта ваша особенность? В том, чтобы устремляться в «завтра», не думая о «сейчас»? В том, чтобы вдохновенно взирать на небо, но шлепать при этом по непролазной грязи? Так, быть может, пора обратить свой взор к грешной земле?..»

Простите мне этот XIX век в длительности цитаты. Просто хотелось подкрепить душу. И, Бог даст, не одному себе, а и еще кому-то из читателей. О, если бы все книги были таковы и все молодые ученые! Да только уж мы, к сожалению, из социологических опросов знаем, что 50 процентов наших юношей услышали аргументы доктора и давно предпочли жадное «сейчас» еще неясному «завтра» и ждут — не дождутся «свалить за бугор», оправдываясь, что они там «нужнее», на какой крючок их и ловит умный доктор.

Но ловит все-таки не всех. И какие бы мы были русские, если бы среди нас

не осталось молодых людей, которые своих отцов не сдадут. Я, как в дни моего детства, когда учителя еще читали после уроков вслух то, что казалось им достойным, теперь читал бы в старших классах молодую вызывающую повесть Ирины Богатыревой «Товарищ Анна». Вызывающую уже потому, что героиня и ее товарищи из молодого патриотического клуба, приговорив сегодняшнюю реальность по всем пунктам, ищут ее преодоления в святых идеалах советского прошлого, в которых для них «чувствовалось что-то счастливое — то, ради чего, вероятно, мы и приходим в этот огромный мир. Не ради денег, а ради человеческой справедливости... Было в этом что-то похожее на христианство, только не за пределами бытия, а земное, близкое и родное, возможное и сейчас». Как это молодое заблуждение не похоже на «сейчас» умного доктора! Как бы понял эту Анну герой недавнего лауреата «Ясной Поляны» Захара Прилепина Санькя, с его иначе понимаемым, но таким же решительным исповеданием справедливости. И как отчего-то радует, что они словно не слышали общих приговоров этой социальной справедливости.

Старый историк, за которым пошли герои «Анны», учивший опытом минувшего, что революция это не романтика и матросы, а «перемена сознания», умно объяснил им, что страдания Ивана Карамазова — это страдания русской интеллигенции XX века, осознавшей, что толпы смердяковых, уничтоживших страну, разбужены не кем-нибудь, а ею самой, и звал к новой интеллигенции. И я тотчас вспомнил «стаю белого ворона» Павла Крусанова, когда его герои, выходящие против Антихриста, тоже поняли, что от интеллигенции, как и от армии, зависит судьба государства, они тоже пришли к убеждению, что «ее надо сделать контрактной». Эти ребята поняли бы друг друга и, пожалуй, сошлись в «братстве красного орла», противостоящем Желтому зверю «жирной новизны».

Как в этих «товарищах», «стаях», «братствах» слышна тоска по духовной твердости, по «звездному небу над головой и нравственному закону во мне», просто по земле под ногами. Наверно, не зря пока читаешь, сто раз вспомнишь «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах нашей Родины» (ах, были ли в родной истории дни, когда эти сомнения не были тягостными?) и сто раз убедишься, что русского человека всегда спасала родная литература. Вот и нынче. Кто из писателей (Дэн Шорин — «Бхишма» и Юрий Мамлеев — «После конца») укрывается в утопиях и антиутопиях — там ты властен сложить свою систему координат и встроить в нее реальность и беспокойную мысль. Кто — в классической традиции, когда писатель не бегает за днем, зная, что человек с Рождества Христова все человек, и его любовь или печаль и страдание близки во все времена, и пишет вечную русскую деревню, как Галина Козловская в «Лоскутном одеяле», или всегда очень заметную в малых городах любовь, словно там все на виду друг у друга, как Игорь Гамаюнов в «Жасминовом дыме» или Алексей Клочковский в «Любить и верить». Или — как лауреат этого года Евгений Касимов, который в «Назовите меня Христофором» ситуации-то берет нынешние, а пишет их умным сердцем «старинного» любящего русского писателя, который умеет примерить всякую судьбу и носить ее, не раня доверившегося героя.

Но, кажется, больше всего, как, впрочем, и во все времена, писатели «спасаются» в детстве, которое мнится нам нерушимой крепостью, на какие бы времена ни приходилось. Это одно из простейших и потому непостижимых чудес света. У детства свое время, которое не пересекается со взрослым календарем. Оно может приходиться на минувшие века, на революцию, Гражданскую войну, смерть Сталина, «оттепель» или застой, но оно окажется целостно и

прекрасно, и укроет Аксакова, обоих Толстых, Гарина-Михайловского, Горького, Пришвина, Астафьева... В длинном «яснополянском» списке детство будет спасать Крыщука и Касимова, Юлию Кисину и Наума Нима («Господи, сделай так»), А. Фурмана («Страна несходства») и Бориса Минаева («Мужской день»), Олега Зайончковского («Петрович») и Константина Арбенина («Заявка на подвиг»). Но ты уже научен жизнью и опытом и догадываешься, что от мира не укроешься. И действительно — и в светлейших книгах в конце концов радость сходит, как улыбка с лица, и время напоминает, что и детство может оказаться и оказывается под угрозой.

А основа «конституции» Премии — это внимание к тенденциям XXI века, к тому лучшему, что вернее всего определяет устремления скоро меняющегося времени. Оглядываясь на прочитанное, я пока вижу, что мы еще донашиваем мысли и чувства века XX, остерегаясь скоро уступать новизне. Гуманистическая традиция, с которой новый век торопится проститься как с последним тормозом к окончательной свободе, не пускает. Но уже и не можем никуда деться, и сейчас по одному нашему списку отлично видно, что уже вошло — когда прямо, а когда пока партизански, но уже неотменимо и будет только крепнуть: это именно стилистическая игра, ирония, переведение человека из прямой реальности в метафизическую, где границы зыбки и где человек неуверен в «сейчас», потому что оно трепещет между вчера, завтра и всегда, как в книгах Крусанова, как в убеждении столяровского героя, что нам пора перестать путаться под ногами победительного «виртуала», как в героях повести Марии Галиной «Медведки», которые весело теснят нас в мир бэтменов и фейнов, лузеров и бодигардов, в победный мир текстов и дискурсов, фрилансеров и дресс-кодов.

А сойдется все с особенной яркостью в писателе, к которому мы все никак не выработаем уверенного отношения, потому что он все время «выбивает нас из седла» и возмущает в старинном понимании этого слова, «приводит в движение», со времен цикла рассказов «Прусская невеста». Я говорю о Юрии Буйде, родившемся в старинном (XIII века) городке Велау под Кенигсбергом, который после 1945 года стал городком Знаменском Калининградской области. О, это тут очень важно и многое в чутком писателе определяет, потому что, оказывается, в пространствах чужой мифологии и духовной генетики душа изостряет зрение до необыкновенной тонкости и глубины. После «Прусской невесты» он напишет роман «Ермо» о вымышленном русском эмигрантском писателе Ермолаеве, которого поселит в Венеции и заставит писать о ней (это после Генри Джеймса-то с его навсегда потрясающими «Письмами Асперна»!), а потом подружит его с Феллини и Бергманом и наградит Нобелевской премией, приведя там и Нобелевскую лекцию героя, которая еще ждет своего случая, потому что мысли, высказанные там, остро живы и долго будут беспокоить нас.

Свое сочинение «Синяя кровь», вошедшее в короткий список, он начнет таким образом: «Часы в Африке пробили три, когда старуха сползла с кровати, сунула ноги в домашние туфли с надписью на стельках «Rose of Harem», надела черное чугунное пальто до пят — у порядочных женщин нет ног — и высокосную шляпу, распахнула окно и выпустила из спичечного коробка Иисуса Христа Назореянина, Царя Иудейского, Господа нашего, Спасителя и Stomoxys Calcitrans». Когда б я был смел, то тут бы и оборвал статью, оставив читателя самого искать выход и отвечать на старинный вопрос пушкинской «Осени» «куда ж нам плыть?»... Но от того, что храбрости независимости мне не хватает, я добавлю еще цитату о героях Буйды, перечислю его население, собравшееся после похорон старухи в «высокосной» шляпе, чтобы помянуть ее: «Тут были

доктор Жерех, аптекарь Сиверс, начальник милиции Пан Паратов, знахарка и колдунья Свинина Ивановна, тощая Скарлатина со своим Горибабой, /.../ начальник почты Незевайлошадь, старенький прокурор Швили с женой Иголочкой, /.../десятипудовая хозяйка ресторана Малина, горбатенькая почтальонка Баба Жа, Эсесовка Дора, /.../ пьяница Люимний, глухонемая банщица Муму, /.../ директриса школы Цикута Львовна, прекрасная дурочка Лилая Фимочка и множество Однобрюховых...» (многоточия означают только, что я, дабы у читателя не закружилась голова, перечислил лишь половину героев). Те, кто внимательно читает писателя, вспомнят, что они уже знавали некоторых из них прежде, а кто открывал после «Синей крови» пилотный номер журнала «Человек на земле», тот видел, что они и дальше живут в своем малом городке Чудове где-то в соседстве со столицей. И, конечно, вспомнит фолкнеровский городок Иокнапатофа и маркесовский Макондо, как малую модель мира, где можно поместить человечество, так что традиция тут вполне почтеннная и нимало не подражательная, потому что тут скорее Достоевский «женат» на Цветаевой, а Толстой на Ахматовой — так проникли Серебряный век и матушка-постистория в порядок жизни и так отравили ее. Отчего тут и не могло обойтись без капли «синей крови», которая есть «выдержка, расчет, мастерство, то, что заставляет художника критически взглянуть на его создание, убрать лишнее и добавить необходимое. Синяя кровь — это то, что дает художнику власть над зрителем или читателем», как давала она эту власть его героине — великой актрисе Иде Змойро, как дает ему самому, чтобы удержать сложнейшие сюжет с десятком линий, чтобы они сошлись потом на последней странице в инвентарную опись, как при начальном перечислении чудовского населения: «Красный снег. Баба Шуба. Стеклянное золото закатов. Черное пятно судьбы... Александр Змойро, командир Первого красногвардейского батальона имени Иисуса Христа Назореянина и его жена Лошадка... Сюр Мезюр... Синяя кровь... Наконец, бог — и бог тоже, тоже, бог любви и печали, бог памяти, бог лиловый и золотой» (и опять многоточие, чтобы не закружилась голова)...

...Если бы время не было так торопливо, об одном только этом читательском лете можно было написать книгу, где сошлись бы все искушения времени, все его добродетели и пороки, все надежды и разочарования. Вся наша жизнь в ее любви, ожесточении, сиюминутности и вечности, вся удерживающая сила традиции и стеснительный цинизм. Жизнь, потерявшая опорную идею и духовную уверенность, и человек в своеволии и тоске по земле и дому.

А ведь есть еще Букер, Большая книга, чьи длинные списки так же длинны. «Громада двинулась и рассекает волны. Плывет... Куда ж нам плыть?»

Общность человеческой души

О книге «Пушкин и Абай»

Минувшим летом издательством «Художественная литература» осуществлен уникальный проект — книга «Пушкин и Абай».

Оригинальна концепция этого проекта: под одной обложкой собраны как произведения классиков русской и казахской литературы, так и интересные исследовательские материалы, повествующие о зарождении русско-казахских литературных связей. В сущности, читателю представлена богатейшая казахстанская пушкиниана, в истоке которой гениальное творчество великого Абая.

Публикации материалов сборника предпослана содержательная статья его составителя Сауле Мансуровой, в которой убедительно обосновывается историко-культурная неизбежность сближения творческих орбит Пушкина и Абая в одном духовно-интеллектуальном пространстве.

«Как Пушкин для России, так Абай для Степи был первым народным университетом, — подчеркивает исследователь. — Народу были очень нужны его слова. Тематика, содержание, выразительность стихотворений Абая были созвучны сердцу даже самого простого человека».

Почему именно Пушкин, его герои стали особенно близки и понятны простому казаху? Отвечая на этот вопрос, С. Мансурова приводит слова академика М. Каратаева: «Народность Пушкина была причиной его необычного успеха в казахском народе... Она же была причиной глубокой любви Абая к Пушкину».

В книге поднимается одна из важнейших тем современной пушкинистики — проблема перевода произведений поэта, специфики их восприятия в иноязычной среде. Для более полного ее освещения предпримем небольшой исторический экскурс.

Гений Пушкина планетарен. Однако национальные границы он переступил нелегко и небыстро.

Встретившись с Гете, друг поэта В.А. Жуковский не преминул рассказать европейскому «властителю дум» о Пушкине, показал «Сценку из Фауста». Тот был растроган и послал российскому собрату свое перо, сопроводив подарок трогательным четверостишием. Проспер Мериме специально выучил русский язык, чтобы переводить Пушкина. Именно благодаря его переводам, муза Пушкина стала «обживать» не только западное, но и восточное культурное пространство. Такого рода примеры можно продолжить.

И все-таки наш великий поэт уступает в популярности за рубежом, скажем,

Тургеневу, Толстому, Чехову и особенно Достоевскому. Причин тому называют много, главная же из них — трудности перевода. Даже И. С. Тургенев, тонкий знаток французского языка, переводил стихи Пушкина прозой.

Не оттого ли самым популярным произведением поэта у зарубежных читателей стал шедевр его прозы — «Капитанская дочка»: она издавалась 258 раз в 27 странах. Любопытно, что первыми перевели это произведение на свои языки Япония и Китай. Но правы мудрецы Востока, утверждая, что всякий перевод — это рисунок с обратной стороны ковра: так слабы, едва различимы его контуры и размыты цвета. Об этом сравнении невольно вспоминаешь, когда знакомишься с обратным переводом Пушкина с японского. Иногда перед вами совсем другой ковер. Например, первое переложение «Капитанской дочки» на японский язык, осуществленное в 1883 году, имеет весьма загадочное для русского читателя название: «Дневник бабочки, размышляющей о душе цветка. Удивительные вести из России».

Переводы Пушкина на казахский были несравненно ближе к оригиналу. Хотя в лучших своих образцах, как мы сможем убедиться, не обошлось без некоторых «вольностей». Еще в начале прошлого века, благодаря гениальным переводам Абая, казахская степь запела Пушкина. Герои «Евгения Онегина», особенно, Татьяна Ларина (Татиш), органично вошли в богатейшую устно-поэтическую традицию казахского народа. Как очень точно отметил Виктор Шкловский, один из лучших переводчиков Абая на русский язык, «Абай не только сумел перевести Пушкина, он сумел перевести его так, что письмо Татьяны к Онегину стало песней, которую поют уже много десятилетий женщины аула. Он понял общность человеческой души, понял, что казаху есть дело до всего человечества и что казах имеет что сказать всему человечеству».

Вот об этой общности человеческой души, о том, что сказали человечеству два великих поэта и как их голоса эхом отозвались в судьбах их соплеменников, повествует книга «Пушкин и Абай». Ее составитель Сауле Мансурова предлагает читателю не только еще раз перечитать Пушкина и Абая, но как бы приглашает к сотворчеству, давая возможность сравнить подлинник и перевод.

И здесь нас ждут неожиданные открытия. Приведу одно из них. По мнению С. Мансуровой, в своем переводе Абай выделил темы: «Портрет Онегина», «Слово Онегина», «Письмо Онегина Татьяне», «Слово Татьяны», «Из монолога Ленского». Завершает цикл «Предсмертное слово Онегина». Но такой части у Пушкина нет. Его роман завершается для русского читателя интригой, предложением самому домыслить, «чем сердце успокоилось». И вот Абай, предполагает исследователь, рассуждая, что произведению необходима логическая развязка, в буквальном смысле сочинил собственную версию. В своем переводе финальной сцены «Евгения Онегина» он придал ей иную, более трагическую, чем у Пушкина, тональность. По логике перевода, Онегин после последней встречи с Татьяной уже не в состоянии оправиться от глубокой душевной раны и должен умереть. Именно поэтому Абай от себя добавил «предсмертные слова Онегина»:

«Открой объятия, черная земля,
Отныне мне ты — отец и мать.
Нигде в жизни не нашел я себя,
В тебе только вижу благодать».

После Абая возникло много фольклорных переложений романа Пушкина, в которых трагический финал соответствует традиционным образам устного поэтического творчества, где стержневой идеей выступает формула — «истинные влюбленные не могут быть счастливы».

Солидаризируясь с Абаем, представляется, что подобная вольность в трактовке финальной сцены романа вполне соответствует душевному состоянию героя. При внимательном прочтении этой сцены и в самом деле вдруг приходит осознание обреченности, трагической безысходности его положения:

«Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражен.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен».

Не симптомы ли это если не физической, то духовной смерти героя? Такие предположения позволяют понять логику интерпретации Абаем финальной сцены романа Пушкина, а вслед за ним и народных сказителей.

Переводческая сила Абая, благодаря которой герои произведений Пушкина вселились в сердца людей, такова, что имя Татьяны в казахскую среду вошло под привычным, ласкающим слух, девичьим именем Татиш, а сам Пушкин превратился в персонажа казахского фольклора.

В заключение хочется подчеркнуть: книга «Пушкин и Абай» вполне соответствует основной задаче подобного рода изданий — повысить саму культуру восприятия классики, вернуть читателей к текстам великих поэтов, пробудить мысль, чтобы обрести новые смыслы в их творчестве.

Олег КАРПУХИН,
доктор социологических наук, профессор,
вице-президент Академии российской словесности

Волшебная Бухара Марата Садыкова

У действительного члена Академии художеств Узбекистана Марата Садыкова счастливая судьба. И художническая, и житейская, которые вполне успешно переплелись: жена Людмила и дочь Диана — тоже художники. Династия. Сам Марат удивительно гармоничен в своих проявлениях. Складывается впечатление, что судьба его складывалась каким-то органически волшебным образом,

хотя этот внешний взгляд, конечно, обманчив, скрывает не видимую зрителю огромную работу. Дело еще и в ракурсе, в том, что брать за основу. Родился и вырос Марат в Бухаре. В городе, на взгляд трезво скептический, исключительно жарком. Помню, как лет тридцать назад наш Як-40, летевший из Ташкента в Самарканд, по причине сильного ветра в аэропорту назначения «промахнулся» и сел в Бухаре. И я, живший тогда в Ташкенте и к жаре вообще-то привычный, никогда не забуду, как из прохладного салона шагнул в густой раскаленный воздух. А сам город, особенно его историческая часть, — тесный и пыльный, если, опять-таки, оценивать трезво. Но культурно-историческая память поколений совершенно мифологизировала Бухару, сделав ее сказочно прекрасной. Вот и в акварелях Садыкова Бухара, словно наследуя эту традицию, удивительно радушна, гостеприимна и таинственна.

Свет в них не палящий, а загадочный. Хаотично разбросанные плоскости глиняных крыш и стен под гармонизующим взглядом художника складываются в какое-то подобие ритмичного восточного орнамента, настраивающего на философское созерцание. И самое удивительное, что источают это настроение пейзажи акварельные. То есть, художнику, работающему в этой сложнейшей технике на пленэре, просто необходимо обрести особую, немыслимую сноровку, так как смоченная бумага сохнет на такой жаре с невероятной скоростью. Таким образом, сами обстоятельства, похоже, подталкивали художника двигаться от буквальной достоверности к обобщению, символу. Эпичность Бухары и — шире — по-восточному «стоячего» времени в сочетании с мгновенностью, пульсирующим мерцанием акварели и дают тот особый эффект садыковских пейзажей. Марат пришел к этому парадоксальному сочетанию не сразу, пробуя себя в разных жанрах и техниках, но когда он, в соответствии с мудрым принципом «ищи себя, пока не встретишь», нашел искомое, то употребил весь свой недюжинный талант и трудолюбие на достижение совершенства.

Рассматривая на недавней выставке «Искусство наций — II», посвященной 20-летию Международной конфедерации союзов художников, серию акварелей Марата Садыкова «Белая Бухара», я вновь убедился, что сила культурной мифологизированной памяти оказывается сильнее буквальной и приземленной. Вот он, все тот же, вечный «нас возвышающий обман»...

Юрий ПОДПОРЕНКО

Садыков Марат Файзиевич

1 января 1945 — родился в г. Бухаре, Узбекистан.

1968 — окончил Республиканское художественное училище в г. Душанбе.

1973 — окончил отделение промышленной графики Ташкентского театрально-художественного института им. А.Н. Островского

1974 — принят в члены Союза художников СССР

С 1972 — участник более 80 республиканских, всесоюзных и международных выставок во многих городах мира.

С 1985 — проведено 25 персональных выставок в Ташкенте, Бухаре, Гиждуване (Узбекистан), Сиэтле (США), Хельсинки (Финляндия), Астана (Казахстан) и других городах

2000 — удостоен звания «Заслуженный деятель культуры Узбекистана

2004 — избран действительным членом Академии художеств Узбекистана

2007 — Семейная выставка в Германском обществе по техническому сотрудничеству(GTZ). Ташкент

2010 — Семейная выставка в Национальной галерее Узбекистана, Ташкент

Произведения Садыкова находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее искусства народов Востока (Москва), Государственном Музее Искусств Узбекистана, а также галереях, музеях и частных собраниях США, России, Германии, Финляндии, Италии, Франции, Японии и других стран мира.

Живет и работает в Ташкенте.

Марат Садыков

ТЁПЛЫЙ ВЕЧЕР.
Из серии «Белая Бухара». 2005.
Бумага, акварель

Марат Садыков

РИТМЫ СТАРОГО ГОРОДА.
Из серии «Белая Бухара». 2005.
Бумага, акварель

Марат Садыков

МЕРЦАЮЩИЕ ТЕНИ.
Из серии «Белая Бухара». 2005.
Бумага, акварель

Марат Садыков

ВЕЧЕР. ПОСЛЕДНИЙ ЛУЧ.
Из серии «Белая Бухара». 2005.
Бумага, акварель

Рубикон генерала Ермолова

Рубрику ведет Лев Аннинский

«Чеченцы, возмущают весь Кавказ. Проклятое племя!»
Алексей Ермолов

Похоже, что память о генерале Ермолове переживает вторую весну. Ему вновь ставят памятники. Вышла его двухтомная биография, написанная питерским историком и писателем Яковом Гординым — «Солдат и его империя». Обсуждая эту книгу, «Российская газета» пишет о генерале как о великом человеке русской истории. Как о нашем русском Цезаре, но без Рубикона. Здесь знаменательны две краски. Во-первых, эпитет «великий» — в коем есть какая-то окончательность. И во-вторых, неперейденный Рубикон, в коем есть какая-то неокончательность. То ли не решился великий человек перейти свой Рубикон, то ли обстоятельства помешали. (Среди «обстоятельств» — неприязнь императора Николая I, который отозвал генерала с Кавказа, где генерал наводил порядок по велению высоко ценившего его императора Александра I.)

Я в гущу этих подробностей попал, оказавшись в Краснодаре на Международном фестивале православных документальных фильмов, — ярчайшей в программе была лента Сергея Роженцева «По следам генерала».

Оставляю за скобками чисто кинематографическую энергию ленты: острый монтаж планов, где психологически тонкие портретные стоп-кадры взаимодействуют с безудержем массовых сцен с кувыркающимися людьми и конями, — все это в экранном порядке вещей: такой профессионал, как Роженцев, и должен делать хорошее кино. Куда неожиданнее действовали на меня при просмотре задетые здесь общечеловеческие мотивы.

Первое, что зацепило ум и душу, — праисторический контекст кавказской темы. Ощущение Кавказа как уникальной на планете точки, где естественные пути пресекаются естественными же преградами, и в узких проходах и щелях сшибаются и бурлят человеческие потоки на протяжении тысячелетний. Со времен Ноя и Прометея. Ворота миров, перекрестки народов: этруски, хазары, косоги, ясы-аланы, авары, готы, мидийцы, скифы, ассирийцы, сарматы, римляне, татаро-монголы, арабы, персы, турки...

В какой грандиозный поток сменяющихся укладов, культур и цивилизаций встраиваемся мы сегодня на кавказских перекрестках, и виден ли конец этой многоактовой драме?

Современные документальные съемки перемежаются в фильме с документами вековой давности, но не разнобой стилей ощущаешь на стыках, а неизбыв-

ность праисторического сюжета, неизбежность нынешних тупиков и прорывов, вечный кавказский лейтмотив: столкновение красок, где каждый оттенок — самоцель. Каждый мужчина — воин, каждый аул — крепость, каждая община в потенции — столица независимого государства. Какую общую крышу можно возвести на этом содрогающемся основании?

Перекличка ермоловских времен и времен нынешних — только что отгремевших двух чеченских войн — второе, что мучало меня во время просмотра. Страшнее наваленных трупов и покалеченных пытками лиц действовали слезы чеченских женщин, что-то объясняющих у грузовиков нашим солдатам... Не было ни ответа этим плачущим женщинам в моем сознании, ни выхода из круговорота, в который и они, и мы попались на этом вечном перекрестке, где со времен Ноя и Прометея, выходит, ничего не переменилось?

И третья загадка, терзавшая мое зрительское сознание, — сама фигура Алексея Ермолова. Герой Бородинского сражения, отбивший у французов ключевые флеши, — и усмиритель мятежного края, спасший из развалин разбитого аула чеченского мальчика и воспитавший его (мальчик стал знаменитым русским художником и в благодарность оставил нам портрет генерала). Так кто перед нами на портрете? Военачальник-покоритель? Или администратор-устроитель? Как сказали бы теперь, — образцовый хозяйственник, тащивший Чечню из партизанского беспредела на путь современной цивилизации?

Кому мы должны ставить памятник? Где ставить? И что писать на постаменте?

Этими вопросами донимал я в Краснодаре автора фильма.

Диалог с ним если не разрешил, то высветил для меня эти русские «проклятые вопросы».

Привожу запись беседы.

* * *

— Сергей Викторович, в финале вашего фильма — установка памятника генералу Ермолову — сейчас, в наше время. Мой вопрос к вам как к знатоку вопроса: сколько всего монументов генералу было установлено, какие сохранились, какие нет и почему?

— Был такой военный историк — автор фундаментального труда «Кавказская война» в шести томах — генерал-лейтенант Василий Александрович Потто, вот его трудами и стараниями век назад, в августе 1909 года в ознаменование 50-летия пленения Шамиля, в городе Грозном и был установлен бюст на высоком пьедестале — памятник основателю города Алексею Петровичу Ермолову. Большевики, которые в революцию вели войну и против царизма, и против казачества, в 1922 году в соответствии с декретом Ленина об уничтожении памятников царям и их слугам этот монумент снесли. После депортации чеченцев, по окончании Великой Отечественной войны в 1949 году этот бюст был восстановлен, и в середине 50-х годов он уже встречал чеченцев, которых Хрущев возвратил из сталинской ссылки. При советской власти это был памятник именно основателю города, что и было написано на постаменте. Чеченцы же видели в нем олицетворение зла, ненависти, геноцида...

— А когда этот памятник ставили в первый раз, он таковым не ощущался?

— Царская власть была сильна, поэтому чеченцы вынуждены были с ней

считаться, хотя генерала Ермолова по известным причинам и не любили. А после смерти Сталина, при Хрущеве, в ситуации оттепельной либерализации, после недавней ссылки, настроения переменились. И дело тут не только в личности генерала Ермолова. Дело в том, что пока чеченцы отбывали сталинскую ссылку, на их землю были насильно переселены люди из других регионов России и Украины. Что и стало причиной очередного обострения отношений между вернувшимися чеченцами и русскоязычным населением.

— И памятник Ермолову взорвали?

— Не так просто. Чеченцы его регулярно повреждали, оскверняли, давали почувствовать свое отношение...

— А власть?

— А власть городская, видя все это, реагировала театрально-комически: отлила с десяток запасных бюстов генерала и спрятала в подвале местного театра — заменяя ими поврежденные. Об этом мне рассказывали жители Грозного. В эпоху перестройки в 1989 году, когда власть в стране зашаталась, памятник Ермолову был чеченцами взорван.

— Только памятник Ермолову убрали?

— Не только! И памятники Лермонтову и Пушкину, и другим великим русским людям. Дудаев готовил Чечню к войне с Россией, курс был взят на полное уничтожение русского влияния, на вытеснение русских из жизни республики и на вытеснение русской культуры из памяти чеченцев. Уничтожались и разворовывались русские музеи, архивы, книгохранилища, вообще все... Самое интересное, что видя эту вакханалию, из Чечни уезжала чеченская интеллигенция — люди, воспитанные на русской культуре, кто куда мог. А на улицы выходили выпущенные Дудаевым из тюрем уголовники. И уничтожали все русское...

— Бюст Ермолова?..

— Да что там бюст! Они даже нефтяные промыслы начали громить, потому что все это построили русские! Потом сообразили, что там золотая жила, взяли под охрану и стали качать деньги...

— А Ермолов-то из позапрошлого века как попал в этот новый погром?

— Националистам всегда нужна какая-то фигура, вокруг которой (или вокруг ненависти к которой) можно сплотиться. Ермолова они ненавидели за то, что он их...

— Победил в войне?

— Не в этом дело! Он вовсе не победу в войне вынашивал как цель, он вынашивал идею мира! Мира русских и чеченцев в общем Российском государстве. Но такой мир угрожал самому тысячелетнему образу жизни чеченцев, основанном на грабеже, разбоях и продаже людей в рабство! Ермолов понимал, что Кавказ нельзя брать штурмом — слишком дорогую цену пришлось бы за это заплатить. Поэтому он решил перейти к неторопливой осаде. Он просто брал их земли и заселял. Одно дело, когда русские пришли и ушли, и совсем другое дело, когда русские пришли и остались.

— За солдатом является казак, за казаком пахарь, — так? И противостояние переходит совсем в другое качество? У Ермолова перешло? Или не успело? Я имею в виду то, что ему приписывают ненависть к чеченцам — не как к военным противникам, а как... не решаюсь произнести... к чеченцам как таковым. Тогда

еще не было в ходу слово «геноцид»... Но отсвет его можно ли уловить в высказываниях генерала?

— Если хотеть.

— А чеченцы хотели?

— Руслан Мартагов, современный чеченский писатель, мне рассказывал, что когда их отцов вернули из ссылки, то их встретил в Грозном не только памятник генералу Ермолову, но и надпись на нем: «Не успокоюсь, пока жив хоть один чеченец».

— Но Ермолов действительно так говорил или это ему приписали? Мартагов это где-нибудь читал, видел или он только пересказывал то, что носится в воздухе?

— Мартагов говорил, что каждый чеченец узнает это... с молоком матери.

— Но откуда в молоко-то такие вещества попадают? Откуда фраза взялась?

— Оттуда же взялась, откуда у терских казаков взялась фраза о том, что чеченцы — это народ, который не подлежит перевоспитанию, а только уничтожению. Тоже Ермолову приписывают.

— А эту казачью фразу вы у генерала нашли?

— Нет, не нашел. Приписать-то все, что угодно можно, особенно в разгар войны. Но к пониманию личности Ермолова такие фразы не ведут. И к взаимопониманию людей, живущих рядом на этих землях, не ведут, будь то чеченцы, русские или еще кто. Надо искать правду, а не травиться легендами. Я работал в исторических и военных архивах, перечитал всю частную и официальную переписку генерала Ермолова, общался с историками, в том числе с кавказскими, я даже многие диссертации читал...

— И что же?

— Ничего подобного у Ермолова нет. Военное противостояние — есть. Чеченца той поры, живущего по своим кавказским законам, он считал бандитом. Хотя сами чеченцы такого человека считали джигитом. Разные уклады жизни — разные системы оценки. Это долгим соседством определяется и долгим же соседством примиряется. Но не уничтожением!

— Так говорил или не говорил Ермолов об уничтожении чеченцев именно за то, что они чеченцы? Что на этот счет ответил Руслан Мартагов?

— Он сказал: позвони через неделю, я это тебе найду.

— Нашел?

— Нет, сказал: позвони еще через две недели.

— Еще через две недели нашел?

— Нет. Ни у Грибоедова не нашел, который писал о Ермолове, ни в других источниках. Нет этой фразы! А в «молоке матери» — есть... Будто Ермолов хотел уничтожить чеченцев как таковых. В этом каждый чеченец убежден, и спорить с этим, что-то доказывать — бесполезно. Мне один чеченец так и сказал: «Найди ты мне у Ермолова любые цитаты и выписки противоположного толка, — это для моего подсознания все равно будет ложь». Я когда делал фильм, это чувствовал. Да чеченцы, едва прочтя в титрах, что это фильм о Ермолове, встанут и уйдут! Смотреть не станут!

— Так кто же все-таки пустил в ход эту фразу об уничтожении чеченцев как чеченцев?

— Тут надо понимать, кому это было выгодно. Главным соперником России на Кавказе в ту пору оставалась Британия. Англичане стояли за спинами и у турок, и у персов. И инструкторы военные там были, и эскадры на горизонте мерещились, и шпионы свое дело делали. Им надо было поднять горцев на войну с русскими.

— Хоть один такой шпион известен?

— Журналист Спенсер. Полиглот. Приехал на Кавказ как врач. Прибыл через Турцию. Объездил все, что мог. Оставил записки. Вот в его записках я и увидел образ Ермолова как человека, ненавидевшего чеченцев как народ...

— И эта фраза канула бы безвозвратно в историю вместе с именем шпиона Спенсера...

— Да. Если бы ее не подхватили революционеры-большевики, для которых царский генерал Ермолов в качестве врага был куда важнее, чем английский агитатор Спенсер с его шпионскими шпильками...

* * *

А потом началась «война памятников». Мы с Сергеем Роженцевым сосчитали, сколько их теперь. Несколько. В Кав-Мин-Водах. В Пятигорске. В Ставрополе. И только что открытый — на могиле генерала в его родном городе Орле.

А в Грозном?

Нет. Нельзя. Надо же понимать, где истина, вечно сияющая в небесах, а где правда, напарывающаяся на другую правду здесь и сейчас.

В этом случае я согласен с Русланом Мартаговым, который говорит с экрана:

— Ставьте памятник. Организуйте аллею воинской славы где-нибудь... в Орле. Кто что скажет? Но привозить его на Кавказ и ставить памятник именно Ермолову... Не Паскевичу, не Воронцову, не Барятинскому, при котором та война закончилась, а именно Ермолову, — это больше чем памятник, это знак. Знак того, что в Российском государстве ничего не изменилось...

Что изменилось, что не изменилось в Российском государстве, я сейчас обсуждать не буду. Не в моих силах изменить историю. Ни прошлую, ни будущую.

Но в моих силах хотя бы немного унять саднящую боль при вопросе о том, призывал или не призывал к геноциду чеченского народа генерал Ермолов. Мне это важно даже не с точки зрения репутации генерала (хотя важно и это), а с точки зрения того, в каком народе живу я сам. В каком мире живу. Или в вечно-неизбывной войне?

В отличие от Сергея Роженцева, я не копался в архивах, а прибегнул к такому универсальному всезнайке, как Интернет.

Интернет выдал мне 10 высказываний Ермолова. О чеченцах, а не избирательно о боевиках, аманатах, абреках, джигитах и прочих сражавшихся против него воинах.

Я эти высказывания откомментирую.

«Проклятое племя»?

1. Даже наши солдаты бегут именно в Чечню. Их привлекает туда совершенное равноправие и равенство чеченцев, не признающих в своей среде никакой власти.

Так равноправие и равенство — это хорошо или плохо? И с чего это все бегут в Чечню — даже (!) наши русские солдаты? Может, дело не в чеченцах? Может, а каждом русском скрыто сидит «чеченец», не признающий нашей русской власти и готовый от нее сбежать?

2. Эти разбойники принимают наших солдат с распростертыми объятиями! Так что Чечню можно назвать гнездом всех разбойников и притоном наших беглых солдат.

Так кто разбойник: чеченец, принимающий русского беглеца с распростертыми объятьями, или наш разбойник, ищущий родные души? Где тут национальный вопрос?

3. Я этим мошенникам предъявлял ультиматум: выдать беглых солдат или мщение будет ужасным. Нет, не выдали ни одного солдата! Приходилось истреблять их аулы.

Тут, конечно, болевая точка — аулы. В аулах, как известно, живут не только «эти мошенники», но и их жены, дети, старики. Однако у чеченцев нет понятия «мирные жители». У них есть то, что Ермолов называет «азиатской войной». Он ее и ведет — в ответ. Не с целью истребить всех чеченцев, а — приняв обычай той войны, когда мирных жителей не бывает. Это ужасно, но это та их правда, на которую генерал отвечает нашей правдой. На том языке, который ими предложен. И нами принят.

И еще — насчет того, что чеченцы никого не выдают, несмотря на ультиматумы. А если бы выдавали? Это облегчило бы генералу ведение операций. Но вряд ли прибавило бы уважения к противнику, который так малодушен. Вот уж чего-чего, а малодушия в противниках генерал Ермолов не замечает...

4. Сего народа, конечно, нет под солнцем ни гнуснее, ни коварнее. У них даже чумы не бывает! Я не успокоюсь до тех пор, пока своими глазами не увижу скелет последнего Чеченца...

Ох, вот оно. «Скелет» — образное выражение, выдающее в Ермолове яростного вояку и неважнецкого стилиста. Нет гнуснее и коварнее? Только в состоянии умопомрачительного аффекта можно сказать такое. И призвать в помощь такое невменяемое орудие судьбы, как чума.

5. Ниже по течению Терека живут чеченцы, самые злейшие из разбойников, нападающие на линию.

Все, нападающие на Линию Кавказа и мешающие Петербургу сноситься с Тифлисом после Георгиевского трактата, — разбойники по определению. И, по определению же, в случае их успеха — злейшие.

6. Общество их весьма малолюдно, но чрезвычайно умножилось в последние несколько лет, ибо принимались дружественно злодеи всех прочих народов, оставляющие землю свою по каким-либо преступлениям.

А злодеи из всех прочих народов — не чеченцы, стало быть, а преступники, как теперь говорят, национальности не имеющие. Значит, не с чеченцами гене-

рал воюет, а с разбойниками, которых полно во всех землях, а в Чечню они бегут и всегда бежали... Почему?

7. Здесь находили они сообщников, тотчас готовых или отмщевать за них, или участвовать в разбоях, а они служили им верными проводниками в землях, им самим незнакомых. Чечню можно справедливо назвать гнездом всех разбойников.

Гнездо-то гнездо, да всех разбойников в него не втиснешь. Гнездо, как верно рассчитал Ермолов, можно уничтожить штурмом. Но лучше бы, не уничтожая, взять осадой. Осадив разбойников по всему фронту, превратив их в... сотрудников? В союзников? В соратников? К тому вроде бы и шло, и именно при Ермолове горцы стали служить в русской армии, сохраняя свою воинственность, — да новый царь, Николай Первый, отозвал генерала с Кавказа. И получил в результате необходимость очередного штурма, и не последнего...

8. Я видел много народов, но таких непокорных и неподдающихся как чеченцы, на земле не существует и путь к завоеванию Кавказа лежит через покорение чеченцев, а точнее, через полное их уничтожение.

По сути-то покорение превалирует над уничтожением, которое кажется здесь нервической оговоркой. Лучше бы этой оговорки не было.

9. Государь!.. Горские народы примером независимости своей в самых подданных вашего императорского величества порождают дух мятежный и любовь к независимости.

Независимость — слово, угаданное на двести лет вперед. И угадан опять же общий дух непокорства, прячущийся в подданных Российской империи, и прежде всего — в самих русских, о чем и докладывает генерал императору Александру Первому в рапортах, скорее всего — в мыслях о присылке на Кавказ дополнительных сил, а не в мыслях о национальном характере подданных.

10. Чеченцы сильнейший народ и опаснейший.

Чего тут больше? Опаски в борьбе с сильнейшим противником или уважения к его силе? Поровну? А все-таки уважения — больше.

Пахнет порохом. Пахнет кровью. Пахнет бунтом, не признающим государственных, национальных и прочих границ.

Геноцидом не пахнет.

Геноцид это такой Рубикон, который еще никто не перешел безнаказанно.